



АЙН РЭНД
МЫ ЖИВЫЕ

AYN RAND

WE THE LIVING

A SIGNET BOOK

АЙН РЭНД

МЫ ЖИВЫЕ



МОСКВА
2011

УДК 82-311.4
ББК 84(7)-44
Р39

Переводчики Д. В. Костыгин, С. А. Костыгина

Рэнд А.

Р39 Мы живые / Айн Рэнд ; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишерз, 2011. — 473 с.

ISBN 978-5-9614-1513-1

Это первый роман известной американской писательницы русского происхождения. Главная его тема — человек против государства, личное счастье против общественного блага — мастерски проведена через фон драматических событий в жизни Петрограда-Ленинграда начала 20-х годов. Автор без какого-либо снисхождения к своим героям рассказывает нам о том смутном периоде нашей истории. Бывший аристократ в служебном рвении перед новым режимом предает друзей и близких. Герой Гражданской войны после всех своих побед изменяет делу партии. Любовь главной героини к сыну расстрелянного адмирала приводит к любовной связи с сотрудником ГПУ.

Узел проблем затягивается.

УДК 82-311.4
ББК 84(7)-44

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу lib@alpinabook.ru.

© 1936, 1959 by Ayn Rand O'Connor
© 1983 by Eugene Winick, Paul Gitlin, Leonard Peikoff
© Перевод на русский язык. Д. В. Костыгин, 1993
© Иллюстрация. Студия Артемия Лебедева, 2011
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Альпина», 2011
Издано по лицензии Curtis Brown Ltd и литературного агентства Synopsis

ISBN 978-5-9614-1513-1 (рус.)
ISBN 0-451-15860-1 (англ.)

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая	7
Глава I	9
Глава II	20
Глава III	35
Глава IV	46
Глава V	62
Глава VI	77
Глава VII	89
Глава VIII	99
Глава IX	111
Глава X	121
Глава XI	132
Глава XII	145
Глава XIII	159
Глава XIV	172
Глава XV	191
Глава XVI	209
Глава XVII	229

Часть вторая	237
Глава I.....	239
Глава II.....	252
Глава III.....	264
Глава IV.....	282
Глава V.....	296
Глава VI.....	313
Глава VII.....	330
Глава VIII.....	347
Глава IX.....	362
Глава X.....	374
Глава XI.....	388
Глава XII.....	398
Глава XIII.....	410
Глава XIV.....	419
Глава XV.....	438
Глава XVI.....	448
Глава XVII.....	461

Часть первая

ГЛАВА I

В Петрограде воняло карболкой. Розово-серое знамя, которое было когда-то красным, развевалось в переплетении стальных перекладин. Высоченные балки поддерживали крышу из стеклянных панелей, серых, словно сталь, от многолетней пыли и ветра. Некоторые панели были разбиты, пронзенные давно забытыми выстрелами, острые края торчали на фоне такого же серого, как и стекло, неба. Под знаменем болталась бахрома паутины; под паутиной — огромные железнодорожные часы без стрелок с черными цифрами на пожелтевшем циферблате. Под часами толпа бескровных лиц и засаленных тулупов ждала поезд.

Кира Аргунова возвращалась в Петербург на подножке товарного вагона. Ее стройные ноги были загорелыми; в своем голубом выцветшем костюме она стояла прямо, неподвижно, с гордым безразличием пассажира роскошного океанского лайнера. Старый кусок шотландского шелка был замотан вокруг ее шеи. Короткие взъерошенные волосы выбивались из-под вязаной шапочки с ярко-желтой кисточкой. У Киры был спокойный рот и слегка расширенные глаза с вызывающим, восхищенным, торжествующим и выжидающим взглядом воина, который входит в незнакомый город и не совсем уверен, входит ли он как завоеватель или как пленник.

Вагон за спиной Киры был забит людьми и узлами. Вещи были завязаны в простыни, забиты в мешки из-под муки, прикрыты газетами. Люди кутались в истрепанные накидки и шали. Бесформенные узлы служили им постелями. Пыль вычерчивала морщины на иссушенной, потрескавшейся коже лиц, давно уже утративших всякое выражение.

Медленно, устало поезд приблизился к остановке, последней за долгий путь через разоренные просторы России. На трехдневный переезд из Крыма в Петроград ушло три недели.

В 1922 году работа железных дорог, так же, как и всего остального, все еще не была налажена. Гражданская война подошла к концу. Последние следы Белой армии были уничтожены. Но в то время как Красная власть взнуздывала страну, сеть стальных рельсов и телеграфных столбов все еще безвольно висела, ускользая от ее железной хватки.

Не было расписаний, не было справочных. Никто не знал, когда может прибыть или отправиться поезд. Неопределенные слухи, что он прибывает, собирали толпы встревоженных пассажиров на каждой станции. Они ждали часами, днями, боясь отлучиться с вокзала, где поезд мог появиться через минуту, а мог и через неделю. Заваленные мусором полы в залах ожидания воняли человеческими телами. Люди кидали узлы на пол, а свои тела прямо на узлы и спали. Они терпеливо жевали засохшие корки хлеба и семечки, не снимая одежду неделями. Когда наконец, фыркая и тяжело вздыхая, поезд подкатывал к перрону, люди бросались на приступ, вооруженные лишь кулаками, ногами и свирепым отчаянием. Они намертво прилипали к ступенькам, к буферам, к крыше. Они теряли багаж и детей; без звонка или объявления поезд внезапно трогался, унося с собой тех, кому посчастливилось зацепиться.

Кира Аргунова начинала свой путь не в товарном вагоне. Вначале у нее было отдельное место — маленький стол у окна пассажирского вагона 3-го класса; этот стол был центром купе, а Кира — центром внимания пассажиров.

Молодой совслужащий восхищался линией, которую силуэт ее тела вычерчивал на освещенном квадрате разбитого окна.

Рыхлая дама в меховой шубе негодовала, потому что вызывающая поза девушки чем-то напоминала танцовщицу кабаре, пристроившуюся на столике среди бокалов шампанского, но у этой «танцовщицы» лицо было исполнено такого строгого и надменного спокойствия, что женщина даже усомнилась: а может, все-таки не столик кабаре, а пьедестал?.. На протяжении многих верст соседи по купе всматривались в поля и луга России, мелькавшие словно фон для гордого профиля с копной каштановых волос, отброшенных с высокого лба ветром, который свистел снаружи в телеграфных проводах.

Из-за недостатка свободного места ноги Киры покоились на коленях ее отца. Александр Дмитриевич Аргунов устало сгорбился в своем углу, сложив ладони на животе; его красные, опухшие глаза были наполовину прикрыты дрожащими веками, время от времени он со вздохом вздрагивал, обнаружив, что дремлет с открытым ртом. Он кутался в залатанную накидку цвета хаки, на нем были высокие крестьянские сапоги со стоптанными каблуками и рубашка

из мешковины. На спине все еще можно было прочесть: «Украинский картофель». Это не было сознательной маскировкой, просто другой рубашки у Александра Дмитриевича не осталось. И он ужасно беспокоился, как бы кто не заметил, что оправа его пенсне из чистого золота.

Прижатая к его локтю, Галина Петровна, его жена, старалась держать спину прямо, а книгу высоко у кончика носа. Она сохранила книгу, но потеряла все свои заколки в борьбе за место в поезде, когда ее усилиями семье все же удалось протиснуться в вагон. Она старалась, чтобы соседи не заметили, что книга на французском.

Время от времени она осторожно касалась ногой под сиденьем самого драгоценного узла, чтобы убедиться, что он все еще на месте, закутанный крест-накрест в расшитую скатерть. Этот узел хранил последние остатки ее кружевного нижнего белья ручной работы, купленного в Вене перед войной, и столовое серебро с инициалами семьи Аргуновых. Она ужасно негодовала, потому что не могла помешать тому, что узел служил подушкой солдату, спавшему под скамейкой, — его сапоги торчали в проходе.

Лидии, старшей дочери Аргуновых, приходилось ютиться в проходе сразу за сапогами, на одном из узлов; но всем своим видом она давала понять каждому пассажиру в вагоне, что она не привыкла к такому виду передвижения. Лидия не старалась скрыть внешние признаки социального превосходства, из которых с гордостью выставляла три: жабо из запятнанных, но вышитых золотом кружев на истрепанном бархатном костюме, пару тщательно заштопанных шелковых перчаток и флакон одеколона. Она извлекала флакон через определенные промежутки времени, чтобы растереть несколько капель по своим заботливо ухоженным рукам, и быстро прятала его, отмечая страдальческий взгляд матери, искоса брошенный поверх французской книги.

Прошло уже четыре года с тех пор, как семья Аргуновых покинула Петроград. Четыре года назад текстильная фабрика Аргуновых на окраине столицы была национализирована именем народа. Так же во имя народа банки были провозглашены национальной собственностью. Сейфы Аргунова были взломаны и разграблены. Великолепные ожерелья из рубинов и бриллиантов, которые Галина Петровна с гордостью демонстрировала на блистательных балах и благоразумно прятала после приемов, попали в неизвестные руки, и больше никто никогда их не видел.

В те дни, когда тень растущего безымянного страха висела над городом, навалившись словно тяжелый туман на неосвещенные уличные углы, когда внезапные выстрелы разрывали ночь, грузовики,

ощерившись штыками, громыхали по мостовым и витрины магазинов разламывались со звонким вскриком стекла; когда круг знакомых Аргуновых внезапно растаял, как снежинки над костром; когда Аргуновы оказались в стенах их столичного гранитного особняка со значительной суммой денег, с несколькими последними украшениями, с постоянным ужасом при каждом звуке дверного звонка, побег из города стал единственным возможным действием.

Буря революционной борьбы в те дни уже замерла в Петрограде, безропотно и безнадежно признав победу красных, но на юге России она все еще грохотала на полях Гражданской войны. Юг находился в руках Белой армии. Разрозненные отряды этой армии были раскиданы по просторам страны, разъединенные тысячами верст искореженных железных дорог и безлюдных деревень: эта армия воевала под трехцветными знаменами, проявляя страстное, умопомрачительное презрение к врагу и полное непонимание его опасности.

Аргуновы уехали из Петрограда в Крым, чтобы там дожидаться освобождения столицы из-под красного ярма. Они покинули гостиные с огромными зеркалами, отражающими сверкающие хрустальные люстры; породистых лошадей и благоухающие в солнечные зимние дни меха; роскошные окна, выходящие на Каменноостровский проспект — богатейшую улицу Петрограда, где выстроились в ряд великолепные особняки. Их ожидали четыре года в перенаселенных летних лачугах, где пронизывающие крымские ветры свистели в дырявых каменных стенах; чай с сахарином и луковицы, поджаренные на льняном масле; ночные обстрелы и кошмарные рассветы, когда только по красным флагам или трехцветным знаменам на улицах можно было понять, в чьи руки перешел город.

Крым переходил из рук в руки шесть раз. В 1921-м борьба закончилась. От берегов Белого моря до берегов Черного, от границы с Польшей до желтых рек Китая красное знамя с триумфом поднялось под звуки «Интернационала» и позвякивание ключей — это двери других стран закрылись перед Россией...

Аргуновы покинули Петроград осенью, тихо и почти весело. Они рассматривали свою поездку как неприятное, но короткое недоразумение. Они рассчитывали вернуться назад весной. Галина Петровна не позволила Александру Дмитриевичу взять с собой шубу. «Вы подумайте! Он считает, что она продержится целый год!» — смеялась она, подразумевая советскую власть.

Пять лет она продержалась. В 1922-м, с безропотным, тупым смирением семья отправилась поездом обратно в Петроград, чтобы начать жизнь с начала, если такое начало вообще было возможно.

Когда они забрались в поезд и колеса лязгнули, дернувшись в первом рывке в сторону Петрограда, Аргуновы переглянулись, но не произнесли ни слова. Галина Петровна думала об их особняке на Каменно-островском и о том, смогут ли они получить его обратно; Лидия вспоминала старую церковь, где она в детстве преклоняла колени каждую Пасху, и думала о том, что обязательно зайдет туда в первый же день в Петрограде; Александр Дмитриевич ни о чем не думал; Кира внезапно вспомнила, что, когда она ходила в театр, любимым ее моментом был тот, когда гасли огни и занавес трепетал перед раскрытием, и она удивилась, почему она вспомнила именно этот момент.

Стол Киры располагался между двумя деревянными скамейками. Десять голов смотрели друг на друга, словно две напряженные, враждебные, раскачивающиеся в такт поезда стены — десять истощенных, пыльно-белых пятен в полумраке: Александр Дмитриевич и слабый отблеск его золотого пенсне; Галина Петровна с лицом блее, чем страницы ее книги; молодой совслужащий с новым кожаным портфелем, по которому плясали зайчики света; бородастый крестьянин, который был одет в вонючий тулуп и постоянно чересчурно пересчитывающая свои узлы и детей; смотрящие на них два босоногих лохматых мальчика и солдат с запрокинутой головой, желтые лапти которого покоились на чемодане из крокодиловой кожи, принадлежащем рыхлой женщине в меховой шубе — единственной пассажирке с чемоданом и с розовыми упитанными щеками, а рядом с ней бледное, веснушчатое лицо раздраженной женщины с гнилыми зубами, в мужском пиджаке и красном платке поверх волос.

Через разбитое окно луч света пробивался внутрь как раз над головой Киры. Пыль танцевала в луче, который обрывался на трех парах сапог, свисавших с верхней полки, где теснились трое солдат. Над ними, в багажной нише, скрючился, упираясь грудью в потолок, чахоточный юноша, беспробудно спящий. Он натужно храпел, дыша через силу. Под ногами пассажиров колеса стучали так, словно брусок ржавого железа разлетался на куски, и куски эти откатывались, громыхнув три раза: и вновь брусок и громыхающие куски, и снова брусок, и снова куски; колеса продолжали громыхать, а юноша иногда затихал, издавая слабый стон, и вновь поверх голов пассажиров разносилось мужское дыхание с присвистом, как будто воздух вырывался из проколотой шины.

Кире было восемнадцать лет, и она думала о Петрограде. Все попутчики говорили о Петрограде. Она не знала, были ли все фразы, прошепанные в пыльном воздухе, произнесены в течение

часа, или в течение дня, или на протяжении двух недель в грохочущем тумане, состоящем из пыли, пота и страха. Она не знала, потому что не вслушивалась.

— В Петрограде едят сушеную рыбу, граждане.

— И подсолнечное масло.

— Подсолнечное масло? Не может быть!

— Степка, не скреби голову надо мной, скреби в проходе!

— В кооперативах в Петрограде давали картошку. Немного подмороженную, но настоящую картошку.

— Вы когда-нибудь пробовали пирожки из кофейных зерен с патокой, граждане?

— В Петрограде грязи по колено.

— Вот простоице в очереди у кооператива три часа и тогда, возможно, получите что-нибудь съедобное.

— Но в Петрограде же нэп.

— А что это такое?

— Никогда не слышали? Вы несознательный гражданин.

— Да, товарищи, в Петрограде нэп и частные магазины.

— Если ты не спекулянт, то сдохнешь с голодухи, ведь денег-то пойти в частный магазин у тебя нет, а следовательно, будешь стоять в очереди у кооператива; но, если ты спекулянт, можешь пойти и купить все что захочешь, а раз ты там покупаешь, значит, ты спекулируешь и, следовательно, воруешь.

— В кооперативах дают пшено!

— Что ни говори, пустое брюхо — оно и есть пустое брюхо. Только вошь жирует!

— Прекратите чесаться, граждане.

Кто-то с верхней полки сказал:

— Вот доберусь до Петрограда, первым делом гречневой каши наверну.

— О, господи, — вздохнула женщина в меховой шубе, — одного и хотела бы, как приеду в Петроград, — принять ванну, прекрасную, горячую ванну с мылом.

— Граждане, — решила спросить Лидия, — продают ли мороженое в Петрограде? Я не пробовала его уже пять лет. Настоящее мороженое, холодное, такое холодное, что перехватывает дыхание.

— Да, — произнесла Кира, — так холодно, что перехватывает дыхание... но можно пойти побыстрее, и кругом огни, длинная цепь огней, проплывающих рядом с тобой, а ты идешь мимо...

— О чем это ты? — прищурилась Лидия.

— О чем? О Петрограде, — Кира взглянула на нее с удивлением. — Я думала, ты вспомнила Петроград и как там холодно, а разве нет?

— Нет. Ты опять ничего не слышала — как обычно.

— Я вспомнила улицы. Улицы огромного города, где столько всего возможно и столько разных приключений может с тобой произойти.

Галина Петровна сухо заметила:

— И ты говоришь об этом с таким восторгом? По-моему, мы все утомлены и с нас достаточно тех «приключений», что происходят сейчас. Разве тебе мало всего того, что мы пережили из-за революции?

— О да, — безразлично произнесла Кира. — Революция.

Женщина в красном платке развязала узелок, достала кусок сушеной рыбы и сказала в сторону верхней полки:

— Добром прошу, убери сапоги в сторону, гражданин. Я ем!

Сапоги не дрогнули. Голос ответил:

— Не носом же ты ешь.

Женщина откусила кусок рыбы, сердито пихнула локтем в меховую шубу соседки и язвительно прошипела:

— Конечно, пролетарии не в счет. Вот если бы у меня была меховая шуба... Только тогда я бы не ела сушеную рыбу. Я бы жевала белый батон.

— Батон? — испугалась дама в меховой шубе. — Но почему, гражданка? Какой нынче белый хлеб? К тому же у меня племянник в Красной армии, гражданка, и... да я и мечтать не смею о белом хлебе!

— Нет? А спорим, что сушеную рыбу жрать не будешь? Хочешь кусочек?

— Э... видите ли, да, спасибо, гражданка... Я немного проголодалась и...

— Ах, проголодалась? Вот как? Знаю я вас, буржуев. Вам бы только вытащить последний кусок из трудового рта! Но из моего рта не вытащишь!

Вагон пропах гнилым деревом, одеждой, которую не снимали несколько недель, и смрадом, распространявшимся из маленькой двери, распахнутой в конце вагона. Дама в меховой шубе поднялась и робко стала пробираться к двери, переступая через тела в проходе.

— Не можете ли вы посторониться на секунду, граждане? — вежливо попросила она двух мужчин, которые ехали с комфортом в коридоре: один из них на бачке для мусора, а другой растянулся в грязи на полу.

— Конечно, гражданка, — ответил сидящий и пнул того, который лежал на полу, чтобы разбудить его.

Закрывшись одна в туалете и убедившись, что ее никто не видит, дама в меховой шубе раскрыла сумку и развернула небольшой сверток в промасленной бумаге. Она не хотела, чтобы кто-нибудь в вагоне

знал, что у нее есть целая вареная картофелина. Давясь, она торопливо глотала ее большими кусками, стараясь, чтобы ничего не было слышно за дверью.

Когда она вышла, то обнаружила, что двое мужчин ожидают ее выхода около двери, чтобы вернуться на свои места.

Ночью два закопченных фонаря висели по одному над каждой дверью в разных концах вагона; два мерцающих желтых пятна в темноте и серое ночное небо, дрожащее в квадратах разбитых окон. Черные фигуры, заснувшие сидя, окоченевшие и безвольные, словно манекены, качались в такт перестуку колес. Некоторые храпели. Некоторые стонали. Никто не разговаривал.

Когда они проезжали станцию, луч света проскакивал сквозь вагон, и в его свете на мгновение вспыхивала ссутулившаяся фигура Киры, уткнувшей лицо в руки, сложенные поверх колен. Уже на исходе луч успевал разбросать искры в ее волосах.

Где-то в поезде солдат наяривал на аккордеоне. Он горланил час за часом, сквозь мрак, колеса и стоны, тупо, неустанно, безнадежно. Никто не смог бы сказать, веселая это песня или печальная, шутка или бессмертное творение: это была первая песня революции, взметнувшаяся из ниоткуда, бесшабашная, безрассудная, злобная, наглая; ее пели миллионы глоток, эхо песни раскатывалось по крышам поездов, на деревенских дорогах и на темных городских тротуарах; некоторые голоса смеялись, некоторые причитали; люди смеялись над своей собственной печалью; песня революции, не вышитая ни на каком знамени, но въевшаяся в каждую утомленную глотку, песня «Яблочко»: «Эх, яблочко, куда ж ты котишься?»

Эх, яблочко, куда ж ты котишься?

К немцам в лапы попадешь, не воротишься...

Эх, яблочко, да недоспелое.

Я-то в красные пошел, а милка в белые...

Эх, яблочко, куда...

Никто не знал, что это было за яблочко, но песню понимали все.

Каждой ночью много раз дверь темного вагона распахивалась пинком, и фонарь, покачивающийся в руке, разрывал темноту вагона, а за фонарем входили блестящие стальные штывки, военные формы, латунные пуговицы, винтовки, и мужчины с твердыми повелительными голосами приказывали: «Ваши документы!» Фонарь медленно проплывал, вздрагивая, вдоль вагона, останавливаясь на бледных, испуганных лицах с мигающими глазами и на трясущихся руках со скомканными клочками бумаг.

Галина Петровна, стараясь понравиться, повторяла:

— Здравствуйте, товарищи. Вот, товарищи, — и протягивала к фонарю кусок бумаги с несколькими напечатанными строчками, которые гласили, что это разрешение на переезд в Петроград дано гражданину Александру Аргунову с женой Галиной и дочерьми: Лидией, двадцати восьми лет, и Кирой, восемнадцати лет.

Мужчина с фонарем всматривался в бумагу, совал ее обратно и шел дальше, переступая через ноги Лидии, протянутые в походе.

Иногда некоторые мужчины бросали быстрый взгляд на девушку, которая сидела на столе. Она не спала, и ее глаза следили за ними. В этих глазах не было страха, они были самоуверенны, любопытны, враждебны.

Затем мужчины и фонарь исчезали, и снова где-то в поезде причитал солдат с аккордеоном:

*Эх, яблочко, да закатилось,
А России нет — провалилась...
Эх, яблочко, куда ж ты котишься?*

Иногда ночью поезд останавливался. Никто не знал, почему он останавливался. Не было никакой станции, никаких признаков жизни в бесплодной пустыне, протянувшейся на многие версты. Пустое пространство неба висело над пустым пространством земли; на небе было несколько черных пятен облаков; на земле — несколько черных пятен кустов. Чуть заметная красная трепещущая линия разделяла их; она выглядела словно далекая гроза или пожар.

Слухи расплозились по длинной цепи вагонов.

— Котел взорвался!..

— Впереди, в полуверсте взорван мост...

— В поезде обнаружили контрреволюционеров и теперь их расстреляют прямо здесь, в кустах...

— Если мы простои́м дольше... бандиты... вы знаете...

— Говорят, Махно где-то здесь, по соседству.

— Если он наткнется на нас, вы представляете себе, что это значит? Никого из мужчин не останется в живых. А женщины останутся, хотя многие и предпочли бы смерть...

— Прекратите нести вздор, гражданин. Вы нервируете женщин.

Прожекторы пронизывали облака и мгновенно пропадали, и никто не мог сказать, рядом они, эти прожекторы, или за много километров от поезда. И никто не мог знать, было ли замечен-

ное ими и вроде бы движущееся пятно всадником или всего лишь кустом.

Поезд трогался так же неожиданно, как и останавливался. Вздохи облегчения приветствовали скрежет колес. Никто никогда не знал, почему останавливался поезд.

Рано утром несколько мужчин стремительно прошагали сквозь вагон. У одного из них была бляха Красного Креста. Снаружи раздавались суматошные крики. Один из пассажиров купе последовал за мужчинами. Когда он вернулся, его лицо заставило остальных поежиться.

— В следующем вагоне, — выдавил он. — Глупая крестьянка. Ехала между вагонов и привязала ноги к буферу, чтобы не упасть. Заснула ночью, слишком устала. И свалилась. Ноги привязаны, ее волочило вместе с поездом под вагоном. Голову оторвало начисто. Зря ходил смотреть, не надо было.

На полпути к Петрограду, на одинокой маленькой станции, где стояла сгнившая платформа, по которой ходили расхлябанные солдаты и висели яркие плакаты, также изображавшие солдат, оказалось, что пассажирский вагон, в котором ехала семья Аргуновых, не может двигаться дальше. Вагоны не ремонтировались и не проверялись годами, и, когда в итоге они неожиданно разваливались, ремонт уже не мог помочь. Пассажирам просто приказывали быстро выбираться из вагона. Им оставалось лишь попытаться втиснуться в другие вагоны, и без того забитые. Иногда это удавалось.

Аргуновы пробились в товарный вагон. Галина Петровна и Лидия с благодарностью перекрестились.

Женщина с обвисшей грудью не смогла найти места для своих детей. Когда поезд тронулся, было видно, как она сидит на своих узлах, глядя на поезд тупым, безнадежным взглядом, а удивленные ребятишки дергают ее за юбку.

Через степи и болота ползла длинная цепь вагонов, за ними плыл и таял белыми перышками хвост дыма. Солдаты жались в кучки на покатых скользких крышах. У некоторых из них были губные гармоника. Наигрывая, они горланили «Яблочко». Песня летела за ними и таяла в дыму.

В Петрограде каждый поезд встречала толпа. Кира Аргунова столкнулась с ней, когда последний скрежет колес локомотива замер в сводах вокзала. Людями в бесформенных одеждах двигала жесткая, неестественная энергия долгой борьбы, которая стала привычкой; их лица были хмурыми и изможденными. За ними виднелись высокие зарешеченные окна; за окнами был город.

Киру теснили вперед нетерпеливые попутчики. Перед тем как прыгнуть на платформу, она на несколько коротких мгновений замерла в нерешительности, словно осознавая значение этого шага. На ее смуглых ногах были самодельные деревянные сандалии. На один миг ее нога повисла в воздухе. Затем деревянная сандалия прикоснулась к деревянному настилу платформы. Кира Аргунова была в Петрограде.

ГЛАВА II

«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»

Кира смотрела на слова, намалеванные на голых стенах вокзала. Штукатурка осыпалась, оставляя черные пятна, отчего стены казались прокаженными. Но на них были наляпаны свежие надписи. Красные буквы гласили: «Да здравствует диктатура пролетариата! Кто не с нами, тот против нас!»

Буквы были намазаны красной краской через трафарет. Некоторые линии получились кривыми. Некоторые буквы высохли, пустив длинные, тонкие подтеки красных извилин вниз по стенам.

К стене под надписями прислонился парень. Мятая овчинная шапка была нахлобучена на его соломенные волосы, которые развихрялись над бесцветными глазами. Он бесцельно пялился в пространство перед собой и щелкал семечки, сплевывая шелуху через угол рта.

Между поездом и стеной бурлил водоворот хаки и красного, затачивший Киру в гущу солдатских шинелей, небритых лиц, красных платков, беззвучно открытых ртов, чьи крики проглатывались грохотом двигавшихся по платформе сапог, усиленным эхом, отдававшимся в высоком стальном перекрытии. На старой бочке с ржавыми кранами и с жестяной кружкой, прикрепленной цепочкой, красовалась надпись «Кипяток» и огромными буквами «Берегись холеры. Не пей сырой воды». Беспризорный пес с ребрами как у скелета и поджатым хвостом принюхивался к грязному полу в поисках пищи. Двое вооруженных солдат продирались через толпу, таща за собой крестьянку, которая отбивалась и всхлипывала:

— Товарищи! Я ничего не сделала! Братцы, куда вы меня тащите? Товарищи, дорогие. Господи, помогите мне, я ничего не сделала!

Где-то внизу, среди сапог, плевков, грязных измятых юбок кто-то монотонно завывал; это был не человеческий голос, но и не собачий вой: женщина ползала на коленях, пытаясь собрать

рассыпавшийся мешок проса, всхлипывая, сгребая зернышки вперемешку с шелухой семечек и окурками.

Кира взглянула на высокие окна. Снаружи она услышала старый, знакомый с детства пронзительный звук трамвайного колокола. Она улыбнулась.

У двери с надписью «Комендант» стоял молоденький солдат-часовой. Его глаза были суровы и внушали страх, как темницы склепа, где лишь слабый огонек теплится под ледяными серыми сводами; безрассудная смелость застыла в чертах его загорелого лица, в руках, что сжимали винтовку, в шее, торчащей из расстегнутого воротника рубашки. Кире он понравился. Она взглянула ему прямо в глаза и улыбнулась. Ей показалось, что он понял ее, — увидел, что для нее начинается новая, большая жизнь.

Солдат холодно и безразлично скользнул по Кире взглядом. Она повернулась и пошла к своим немного разочарованная, хотя она и сама не знала точно, чего ожидала.

Солдат успел заметить лишь то, что у незнакомой девушки в детской вязаной шапочке были странные глаза; и еще — что на ней был светлый костюм, но не было лифчика; последнее его нисколько не покорило.

— Кира! — голос Галины Петровны прорвался сквозь гул вокзала. — Кира! Где ты? Где твои узлы? Что случилось с твоими узлами?

Кира вернулась к товарному вагону, где ее семья сражалась с багажом. Она совсем забыла, что должна нести три узла — носильщики были непозволительной роскошью. Галина Петровна отбивалась от них — здоровенных бездельников в истрепанных солдатских шинелях, которые хватали багаж без всяких просьб, нагло предлагая свои услуги.

И вот, отягченная тюками с последними остатками былого состояния, семья Аргуновых ступила на землю Петрограда.

Золотой серп и молот были прикреплены над выходом у вокзала. По сторонам висели два плаката. Один изображал громадного рабочего, чьи гигантские сапоги крушили игрушечные дворцы, в то время как его поднятая рука, с мышцами красными, словно кусок мяса, приветствовала столь же красное восходящее солнце. Над солнцем стояли слова: «Товарищи! Мы — строители Новой Жизни!»

Второй плакат знакомил с огромной белой вошью на черном фоне с красными буквами: «Вши распространяют болезни! Товарищи, все на борьбу с тифом!» Вонь карболки перебивала все остальные запахи. Здания вокзала были продезинфицированы от болезней, которые выплескивались на город с каждым поездом. Словно у больничного

окна вонь висела в воздухе, как предупреждение и зловещее напоминание.

Двери в Петроград открывались на Знаменскую площадь. Знак на углу провозглашал ее новое имя: «Площадь Восстания». Огромный памятник Александру III смотрел на вокзал на фоне серого здания гостиницы, на фоне серого неба. Капли падали одна за другой через долгие промежутки, медленно, монотонно, как будто небо протекало, как будто оно тоже нуждалось в ремонте, как и прогнившие деревянные настилы, на которых капли вспыхивали серебряными искорками в темных лужах. Это был ненастоящий дождь.

Закрытые крыши раскачивающихся и вздрагивающих двухколесных дрожек выглядели так, словно были сделаны из лакированной кожи; колеса чавкали в грязи словно голодные животные. Старые здания взирали на площадь мертвыми глазами закрытых магазинов, из чьих пыльных витрин паутина и скомканые газеты не выметались уже пять лет. Но один из магазинов нацепил картонную вывеску «Продовольственный центр». Очередь переминалась с ноги на ногу у двери, загибаясь за угол: длинная цепь ног в обуви, разбухшей от дождей, красных замерзших рук, опущенных голов, поднятых воротников, за которые свободно падали и скатывались вниз по спицам дождевые капли.

— Ну, — произнес Александр Дмитриевич, — вот мы и вернулись.

— Разве это не прекрасно! — сказала Кира.

— Грязно, как всегда, — сказала Лидия.

— Придется взять извозчика. Хоть и дорого! — сказала Галина Петровна.

Они набились в одни дрожки; Кира устроилась поверх узлов. Лошадь рванула вперед, окатив грязью ноги Киры, и повернула на Невский проспект. Длинная, широкая улица лежала перед ними, такая прямая, словно позвоночник города. Вдали тонкий золотой шпиль Адмиралтейства слабо блестел в серой дымке, словно длинная рука, взметнувшаяся в торжественном приветствии.

Петроград пережил пять лет революции. Первые четыре года перекрыли каждую его артерию, ликвидировали все магазины; национализация размазала пыль и опутала паутиной зеркальные витрины; последний год вернул мыло, метлы, свежую краску и привел новых владельцев, потому что новая экономическая политика провозгласила «временный компромисс» и позволила вновь робко открыться маленьким частным магазинчикам.

После долгого сна Невский медленно открывал глаза. Они долго привыкали к свету и наконец в нетерпении распахнулись

и теперь тарачились расширенные, испуганные, недоверчивые. Новые вывески были картонными полосками с яркими неровными буквами. Старые вывески были мраморными некрологами людям, исчезнувшим давным-давно. Золотые буквы напоминали о забытых именах на витринах новых владельцев, а пулевые отверстия и трещины все еще украшали стекло. Были магазины без вывесок и вывески без магазинов. Но между витринами и над закрытыми дверями, над кирпичами, досками и треснувшей штукатуркой город принарядился в мантию из ярких красок, похожую на лоскутное одеяло: тут и там висели плакаты с красными рубахами, и желтой пшеницей, и багровыми знаменами, и синими колесами, и красными платками, и серыми тракторами, и рыжими трубами; они вымокли, стали полупрозрачными под дождем, под ними проступили слои старых плакатов. Никому не подконтрольные, никем не сдерживаемые, эти плакаты размножались словно яркая городская плесень.

На углу старушка скромно держала в руках поднос с домашними пирожками, но ноги спешно проходили мимо, не останавливаясь; кто-то выкрикивал: «“Правда”!.. “Красная газета”! Последние новости, граждане!», а кто-то выкрикивал: «Сахарин, граждане!», а кто-то выкрикивал: «Кремни для зажигалок, дешево, граждане!» Внизу была лишь грязь да шелуха семечек; наверху, склоняясь над улицей из каждого дома, реяли размытые, когда-то красные знамена, истекавшие мелкими розовыми каплями.

— Я надеюсь, — сказала Галина Петровна, — что сестра Маруся будет рада видеть нас.

— Я сгораю от любопытства, — сказала Лидия, — интересно, как Дунаевы пережили эти годы?

— А мне не терпится взглянуть, что осталось от их состояния, если, конечно, хоть что-нибудь осталось. Бедная Маруся. Я сомневаюсь, что у них сохранилось больше, чем у нас.

— Даже если и сохранилось, — вздохнул Александр Дмитриевич, — какое это имеет значение сейчас, Галина?

— Никакого, — произнесла Галина Петровна, — но я надеюсь.

— Как бы то ни было, мы пока еще не бедные родственники, — гордо сказала Лидия и немного вздернула юбку, чтобы продемонстрировать прохожему свои оливково-зеленые высокие сапожки на шнуровке.

Кира не слушала их, она рассматривала улицы. Извозчик остановился у здания, где четыре года назад они в последний раз виделись с Дунаевыми в их великолепной квартире. В одной половине внушительной входной двери сохранилось огромное квадратное

зеркальное стекло; другая половина была наспех забита некрашеными досками.

Раньше, как припоминала Галина Петровна, в просторном вестибюле лежал мягкий ковер, и горел камин ручной работы. Ковер исчез; камин все еще стоял, но на белых животах его мраморных купидонов были нацарапаны надписи, по зеркалу над камином расползлась длинная, из угла в угол, трещина.

Заспанный дворник высунул голову из своей каморки под лестницей и с безразличием убрал ее обратно. Втащив узлы по лестнице, они остановились у двери Дунаевых; черная клеенка была содрана, и серые клочки грязной ваты okayмляли дверь.

— Хотела бы я знать, — прошептала Лидия, — остался ли у них до сих пор их величественный дворецкий.

Галина Петровна нажала на звонок.

Внутри послышались шаркающие шаги. Повернулся ключ. Рука осторожно приоткрыла дверь, защищенную цепочкой. Через узкую щель они увидели лицо старухи, закрытое свисающими космами, живот под грязным полотенцем, повязанным как передник, и одну ногу в мужском тапке. Старуха глядела на них, враждебно изучая, не проявляя намерения открыть дверь шире.

— Здесь ли Мария Петровна? — спросила Галина Петровна слегка неестественным голосом.

— А что надо? — прошамкал беззубый рот.

— Я ее сестра, Галина Петровна Аргунова.

Старуха не ответила, она повернулась и прокричала в комнату:

— Мария Петровна, здесь толпа, которая говорит, что они ваша сестра!

В ответ из глубины дома раздался кашель, послышались медленные шаги, затем бледное лицо выглянуло из-за плеча старухи и рот раскрылся в беззвучном крике:

— Господи боже мой!

Дверь распахнулась настежь. Две тонкие руки обняли Галину Петровну, прижимая ее к трясущейся груди.

— Галина! Дорогая! Ты ли это?

— Маруся! — губы Галины Петровны утонули в пудре, безуспешно скрывавшей отвисший подбородок, а нос — в тонких, сухих волосах, надушенных духами, пахнувшими ванилью.

Мария Петровна всегда была красой семьи, нежная и избалованная драгоценность, которую муж зимой носил на руках по снегу до самой кареты. Сейчас она выглядела старше Галины Петровны. Ее кожа была цвета грязного белья, ее губы были недостаточно красными, зато слишком красными были белки ее глаз.

Дверь за ней распахнулась, и что-то ворвалось в прихожую, что-то высокое, стройное, с гривой волос и глазами, как автомобильные фары: Галина Петровна узнала Ирину, свою племянницу, девушку с двадцативосьмилетними глазами и смехом восьмилетней девочки. За ней Ася, ее младшая сестра, медленно прокралась и встала в дверном проходе, угрюмо разглядывая приезжих; ей было восемь лет, ее давно не подстригали, а в волосах не хватало ленты.

Галина Петровна поцеловала девочек; затем она поднялась на цыпочки и поцеловала в подбородок своего шурина, Василия Ивановича. Она старалась не смотреть на него. Его густые волосы поседел; высокая, властная фигура сгорбилась. Даже увидев скрюченный шпиль Адмиралтейства, Галина Петровна не почувствовала бы такой горечи. Василий Иванович сказал:

— Неужели это мой дружок Кира?

Вопрос был теплее, чем поцелуй.

Его впавшие глаза выглядели как камни, в котором последние искрящиеся угольки безнадежно борются с мертвой сажей. Он добавил:

— Извините, Виктора нет дома, он в институте. Мальчик так много работает.

Имя его сына подействовало словно сильное дыхание, которое на мгновение оживило угольки.

Перед революцией Василий Иванович Дунаев был процветающим меховщиком. Он начинал охотником в дикой сибирской глуши, имея лишь ружье, пару валенок и руки, которые могли поднять быка. От медвежьих зубов у него остался шрам на бедре. Однажды его нашли погребенным под снегом; он пролежал там несколько дней; но руки его сжимали такого великолепного песка, какого нашедшие его напуганные сибирские крестьяне в жизни не видели. Его родственники ничего не слышали о нем в течение десяти лет. Когда он вернулся в Санкт-Петербург, он открыл магазин, даже дверные ручки которого были бы не по карману его родственникам, и купил серебряные подковы для своей тройки, которая гарцевала с каретой по Невскому.

Его руками добывались горностаи, края шлейфов из которых скользили по мраморным лестницам в царских дворцах; соболя, укутывавшие многие плечи, белые, как мрамор. Каждый волосок на шкурках, прошедших через его руки, был оплачен силой его мышц и бесконечными часами морозных сибирских ночей.

В шестьдесят лет его позвоночник был так же прям, как его ружье; его дух — так же прям, как его позвоночник.

Когда Галина Петровна поднесла к губам дымящуюся ложку пшенной каши в столовой своей сестры, она украдкой взглянула на Василия Ивановича. Она боялась всмотреться в него открыто, но вновь замечала сгорбленную спину и думала, что-то стало с его духом.

Она заметила перемены в гостиной. Ложечка в ее руках была не из столового серебра с монограммой, которую она хорошо помнила; она была из тяжелой жести, придававшей каше металлический привкус. Она помнила хрустальные и серебряные вазы для фруктов на буфете; сейчас его украшал одинокий глиняный кувшин.

Безобразные ржавые гвозди на стенах обозначали те места, где раньше висели старинные картины.

Напротив за столом Мария Петровна тараторила с нервной, прерывистой спешкой — странная карикатура на те капризные манеры, которые до революции завораживали любую гостиную, в которую она входила. Она произносила незнакомые Галине Петровне слова. Эти слова были словно веки всех лет разлуки и символ того, что случилось за эти годы.

— Продовольственные карточки — они только для совслужащих. И для студентов. Мы получаем только две продовольственные карточки. Лишь две карточки на семью — это очень нелегко. Студенческие карточки Виктора в институте и Ирины в Академии художеств. Но я нигде не служу, поэтому и не получаю карточку, а Василий...

Она прервалась на секунду, словно ее слова забежали слишком далеко, украдкой посмотрела на мужа — взгляд был полон рабочего. Василий Иванович уставился в тарелку и ничего не сказал.

Мария Петровна красноречиво взмахнула руками:

— Сейчас тяжелые времена, Господи, помилуй, какие тяжелые времена. Галина, ты помнишь Лилию Савинскую, ту, что никогда не носила никаких украшений, кроме жемчуга? Так вот, она умерла. Умерла в девятнадцатом. Вот как это случилось: у них несколько дней было нечего есть, ее муж бродил по улицам и увидел труп лошади, павшей от голода, там уже дралась толпа. Они рвали труп на части. Он выхватил немного. Принес кусок домой, они приготовили его и съели; я думаю, что лошадь умерла не только от голода, потому что они оба ужасно заболели. Врачи спасли его, но Лилия умерла. Конечно, он все потерял в восемнадцатом... Его сахарный завод — он был национализирован в тот же день, что и наш магазин мехов...

Она снова остановилась на мгновение, глядя на Василия Ивановича из-под дрожащих век, но он не произнес ни слова.

— Еще, — угрюмо сказала маленькая Ася и протянула тарелку за добавкой.

— Кира! — звонко позвала Ирина через стол голосом таким чистым и звонким, словно смахивала прочь все, что было сказано. — Ты ела свежие фрукты в Крыму?

— Да, немного, — безразлично ответила Кира.

— Я мечтала, тосковала и умирала, вспоминая виноград. Ты любишь виноград?

— Я никогда не замечаю, что я ем, — сказала Кира.

— Конечно, — заторопилась Мария Петровна, — муж Лилии Савинской сейчас работает. Он служащий в советском учреждении. Некоторые устраиваются на работу, несмотря ни на что...

Она многозначительно посмотрела на Василия Ивановича, но он не ответил.

Галина Петровна робко спросила:

— А как, как... наш старый дом?

— Ваш? На Каменноостровском? Даже не мечтайте о нем. Там теперь живет художник-оформитель. Настоящий пролетарий. Бог знает, где вы найдете квартиру, Галина. Теперь людей везде как собак нерезаных.

Александр Дмитриевич робко спросил:

— Вы не слышали о том, что... о фабрике... что случилось с моей фабрикой?

— Закрыта, — внезапно рявкнул Василий Иванович, — они не смогли запустить ее. Закрыта. Как и все остальное.

Мария Петровна залилась кашлем.

— Такая проблема для вас, Галина, такая проблема! Девочки ходят в школу? А как вы собираетесь получить продовольственные карточки?

— Но, я думала, нэп и все такое... сейчас у вас есть частные магазины.

— Конечно, нэп, новая экономическая политика, конечно, сейчас разрешили частные магазины, но где взять денег, чтобы покупать в них? Там заламывают в десять раз больше, чем в продовольственных кооперативах. Я еще ни разу не была в частном магазине. Нам это не по средствам. Это никому не по средствам. Мы не можем позволить себе даже сходить в театр. Лишь раз Виктор взял меня на постановку. Но Василий — ноги Василия не будет в театре.

— Почему же?

Василий Иванович поднял голову, его взгляд был суров, когда он торжественно произнес:

— Когда родная страна в агонии, развлекаться — непозволительная беспечность. Я в трауре — по моей стране.

— Лидия, — спросила Ирина своим бодрым голосом, — ты еще не влюблена?

— Я не отвечаю на неприличные вопросы, — ответила Лидия.

— Я скажу вам, Галина, — снова зашепила Мария Петровна и вдруг захлебнулась кашлем, но несколько мгновений спустя продолжила: — Я скажу вам, что вы должны сделать — Александр должен устроиться на работу.

Галина Петровна выпрямилась, словно ее ударили по лицу:

— На советскую работу?

— Видишь ли... любая работа — работа на Советы.

— Пока я жив — никогда, — с неожиданной силой произнес Александр Дмитриевич.

Василий Иванович уронил ложку — она звякнула о тарелку; безмолвно и торжественно он протянул над столом свою громадную ладонь и пожал руку Александру Дмитриевичу, бросив мутный взгляд на Марию Петровну. Она засуетилась, проглотила ложечку пшенки и закашляла опять.

— Про тебя, Василий, я ничего не говорю, — тихо возразила она. — Я знаю, ты не одобряешь и... м-м, никогда не одобришь... Но я всего лишь думала о том, что в этом случае они получают хлебные карточки, сало и сахар. Советские служащие получают это время от времени.

— Прежде ты станешь вдовой, Мария, — сказал Василий Иванович, — чем меня заставят пойти работать на советскую власть.

— Я ничего такого не говорю, Василий, только...

— Только прекрати нервничать. Проживем как-нибудь. Еще не известно, что будет впереди. У нас еще есть что продать.

Галина Петровна посмотрела на гвозди в стенах, затем на руки своей сестры, знаменитые руки, которые рисовали художники и о которых было написано стихотворение «Шампанское и руки Марии». Они замерзли до темно-фиолетового цвета, распухли и потрескались. Мария Петровна с детства понимала ценность своих рук: она научилась держать их в красоте постоянно, пользоваться ими с гибкой грацией балерины. Это искусство она не утратила. Галине Петровне было бы легче, если бы и эта привычка исчезла у нее — плавные, порхающие жесты этих рук были единственным напоминанием о прошлом. Василий Иванович внезапно разговорился. Он всегда обуздывал проявления чувств, но одна тема так задевала его, что он не мог не выговориться:

— Все это временно. Вы так легко потеряли веру. Это главная беда нашей бесхребетной, хныкающей, бессильной, болтливой, благодушной, слонявой интеллигенции. Поэтому мы сейчас там, где мы есть. Нет веры. Нет желания. Интеллигенция! Вместо

крови — какая-то размазня. Вы думаете, это все может продолжаться дальше? Думаете, Россия мертва? Думаете, Европа слепа? Взгляните на Европу. Она еще не сказала свое последнее слово. Придет день — скоро, — когда эти кровавые палачи, эти грязные негодяи, эти коммунистические отбросы...

Зазвенел дверной колокольчик.

Старая служанка, шаркая, пошла открыть дверь. Они услышали мужские шаги, проворные, звонкие, энергичные. Сильная рука распахнула дверь в столовую.

Виктор Дунаев выглядел как тенор в Итальянской королевской опере, что вовсе не было профессией Виктора. У него были широкие плечи, горящие карие глаза, густые непослушные черные волосы, сверкающая улыбка, надменно-уверенные движения. Остановившись на пороге, он сразу взглянул на Киру; она повернулась на стуле, и он перевел взгляд на ее ноги.

— Да это же крошка Кира! — были первые звуки его сильного, чистого голоса.

— Была когда-то, — ответила Кира.

— Да, да, какой сюрприз. Какой очень приятный сюрприз!.. Тетя Галина моложе, чем всегда! — Он поцеловал руку тете. — И моя обворожительная кузина Лидия!

Его черные волосы коснулись ее запястья.

— Извините за опоздание. Собрание в институте. Я член Совета студентов. Извини, отец. Отец не одобряет какие бы то ни было выборы.

— Иногда даже и на выборах не ошибаются, — сказал Василий Иванович, не скрывая отеческой гордости в голосе, и теплота в его глазах внезапно придала им беспомощное выражение.

Виктор развернул стул и сел рядом с Кирой.

— Ну, дядя Александр, — он сверкнул белоснежно-блестящей цепью зубов на Александра Дмитриевича, — вы выбрали удивительное время для возвращения в Петербург. Жестокое время, не без этого. Трудное время. Но самое восхитительное время, как и все катаклизмы истории.

Галина Петровна улыбнулась с восхищением:

— А где ты учишься, Виктор?

— В Технологическом институте. На инженера-электрика. У электричества великое будущее. Будущее России... Но отец так не думает... Ирина, ты когда-нибудь причисляешься? Какие у вас планы, дядя Александр?

— Я открою магазин, — торжественно, почти гордо провозгласил Александр Дмитриевич.

— Но это потребует определенных финансовых затрат, дядя Александр.

— Нам удалось немного накопить на юге.

— Боже мой! — воскликнула Мария Петровна. — Вы бы лучше потратили их как можно скорее. Новые бумажные деньги обесцениваются так быстро — вот, например, на прошлой неделе хлеб стоил шестьдесят тысяч за фунт, а сегодня уже семьдесят пять.

— У новых предприятий, дядя Александр, большое будущее в наше новое время, — сказал Виктор.

— До тех пор, пока правительство снова не раздавит их каблуком, — уныло произнес Василий Иванович.

— Нечего бояться, отец. Дни конфискации прошли. У советской власти очень прогрессивные политические планы.

— Начертанные кровью, — сказал Василий Иванович.

— Виктор, на юге носят такие смешные вещи, — торопливо заговорила Ирина, — ты заметил деревянные сандалии Кипры?

— Все в порядке, Лига Наций. Так мы зовем Ирину. Она старается поддерживать мир. О да, я бы очень хотел увидеть ее сандалии.

Кира безразлично подняла ногу. Ее короткая юбка лишь самую малость прикрывала ноги. Она этого не замечала, но заметили Виктор и Лидия.

— В твоём возрасте, Кира, — резко заметила Лидия, — пора носить юбки длиннее.

— Если бы ещё был материал, — безразлично произнесла Кира. — Я никогда не обращаю внимания на то, что я ношу.

— Лидия, дорогая, какая чепуха, — подвел итог Виктор, — короткие юбки — это апогей женского изящества, а женская элегантность — высочайшее из искусств.

* * *

Этой ночью, перед отходом ко сну, две семьи собрались в гостиной. Мария Петровна с большой неохотой отобрала три полена и развела огонь в камине.

Маленькие язычки пламени замерцали на глянцево-матовом фоне крошечной темноты за большими убогими окнами без занавесок; крошечные огоньки танцевали на полированных изгибах мебели ручной работы, оставляя в тени разорванную парчу; отблески огня переливались в тяжелой золотой раме единственной картины на стене, оставляя в тени саму картину — портрет Марии Петровны двадцатилетней давности: ее изящная ручка покоилась на плече, словно выточенном

из слоновой кости; она насмешливо куталась в вязаную шаль, которую живая Мария Петровна конвульсивно стискивала поверх дрожащих плеч, когда начинала кашлять.

Поленья были сырыми; чахлое голубое пламя, замирая, бегало по полену, постреливающему струйками едкого дыма.

Кира сидела у камнина на шкуре белого медведя, утопая в густой мягкой шерсти; ее рука нежно обвила огромную, свирепую голову чудища. С детства она обожала так сидеть. Когда она приходила в гости к дяде, она всегда просила рассказать историю о том, как он убил этого медведя, и, счастливая, хохотала, когда он пугал ее, говоря, что медведь сейчас оживет и съест непослушных маленьких девочек.

— Ну, — произнесла Мария Петровна, протягивая руки к теплу огня, — вот вы и в Петрограде.

— Да, — проговорила Галина Петровна, — мы опять здесь.

— О, Пресвятая Богородица! — вздохнула Мария Петровна. — Сейчас иногда так трудно представить себе будущее, ради которого стоило бы жить.

— Трудно, — отозвалась Галина Петровна.

— Ну, ладно, а каковы планы в отношении девочек? Лидия, дорогая, ты совсем уже барышня. Все еще свободна сердцем?

Улыбка Лидии не была благодарной. Мария Петровна вздохнула:

— Теперь мужчины такие странные. Они не думают о женитьбе. А девушки? В Иренином возрасте я уже нянчила сына. Но она и не мыслит о доме и семье. Академия художеств для нее важнее. Галина, ты помнишь, как она портила мне всю мебель своими проклятыми рисунками, не успев вылезти из пеленок? Ах, Лидия, а ты думаешь учиться?

— У меня нет такого намерения, — ответила Лидия. — Слишком большое образование — это неженственно.

— А Кира?

— Смешно подумать, что крошке Кире уже пора в университет, не правда ли? — сказал Виктор. — Прежде всего, Кира, ты должна будешь получить трудовую книжку — новый паспорт, ну, ты знаешь. Тебе уже за шестнадцать. А затем...

— Профессия так полезна в наше время, — торопливо продолжила Мария Петровна. — Я думаю, почему бы не послать Киру в Медицинский институт? Женщины-врачи получают такие прекрасные пайки!

— Кира — врач? — усмехнулась Галина Петровна. — Ха, маленькая себялюбивая Кира чувствует отвращение к физическим ранам. Она не поможет даже больному цыпленку.

— А по-моему... — начал было Виктор.

В соседней комнате зазвонил телефон.

Ирина выбежала туда и, вернувшись, возвестила:

— Тебя, Виктор. Эта Вава.

Виктор неохотно вышел. Через оставшуюся приоткрытой дверь они услышали обрывки разговора:

— Я знаю, что обещал прийти вечером. Но этот неожиданный экзамен в институте. По вечерам я должен учиться каждую минуту... О, конечно нет, никого, кроме тебя... Ты знаешь, что это правда, дорогая...

Он вернулся к камину и удобно уселся на спине белого медведя рядом с Кирой.

— По-моему, моя обворожительная маленькая кузина, — заговорил он, — многообещающую карьеру женщине предоставляет не институт, а устройство на работу в советском учреждении.

— Виктор, ты что, серьезно? — спросил Василий Иванович.

— В наше время человек должен быть здравомыслящим, — медленно отозвался Виктор. — Студенческий паек не сможет в достаточной мере обеспечить целую семью — вам ли этого не знать?

— Служащие получают сало и сахар, — произнесла Мария Петровна.

— Сейчас нанимают огромное число машинисток, — настаивал Виктор, — умение печатать — это дорожка в любое высокое учреждение.

— И еще они получают обувь и бесплатный проезд в трамвае, — продолжала Мария Петровна.

— Проклятье! — сказал Василий Иванович. — Никто не может превратить скакуна в тяжеловоза.

— Кира, разве тебе не интересно? — спросила Ирина.

— Интересно, — спокойно ответила Кира, — но я думаю, что обсуждать здесь нечего. Я поступаю в Технологический институт.

— Кира!

Семь пораженных голосов произнесли одно имя. Затем Галина Петровна сказала:

— Вот такие дочери даже собственную мать не посвящают в свои планы!

— Когда ты это решила? — задохнулась от удивления Лидия.

— Лет восемь назад, — ответила Кира.

— Но Кира! Что ты будешь там делать? — открыла рот Мария Петровна.

— Я стану инженером.

— Откровенно говоря, — подал голос Виктор, — я думаю, что инженерия — это профессия не для женщин.

— Кира, — робко сказал Александр Дмитриевич, — тебе же никогда не нравились коммунисты, а теперь ты выбираешь эту модную профессию, которая так нравится им.

— Ты хочешь строить для Красного государства? — спросил Виктор.

— Я хочу строить, потому что хочу строить.

— Но Кира! — широко раскрыв глаза, пораженная Лидия смотрела на нее. — Ведь такая работа — это грязь, железки, ржавчина, газовые горелки, грязные потные мужики и никакого женского общества, чтобы хоть как-то скрасить жизнь.

— Потому мне она и нравится!

— Это некультурная профессия, совсем не для женщины, — презрительно сказала Галина Петровна.

— Это единственная профессия, — произнесла Кира, — для которой не нужно учиться лгать. Сталь — это сталь. Бóльшая же часть наук — это чьи-либо размышления, чьи-то желания и ложь многих людей.

— Чего в тебе нет — так это духовности, — заметила Лидия.

— Честно говоря, — сказал Виктор, — твоя позиция слегка антиобщественна, Кира. Ты выбираешь профессию лишь потому, что ты этого хочешь, не подумав над тем фактом, что, как женщина, ты была бы намного полезнее обществу на более женской работе. Мы все должны считаться с тем, что у нас есть свои обязанности перед обществом.

— Кому конкретно ты обязан, Виктор, и чем?

— Обществу.

— Что такое общество?

— Если позволишь так выразиться, Кира, — это детский вопрос.

— Но, — проговорила Кира; ее глаза были широко раскрыты, а взгляд — устрашающе мягок, — я не понимаю. Кому это я обязана? Вашему соседу за смежной дверью? Или милиционеру на углу? Или служащему в кооперативе? Или старику, которого я видела в очереди, третьим от входа, в женской шляпе, со старой корзинкой?

— Общество, Кира, это огромное целое.

— Если ты напишешь целую вереницу нулей, они так нулями и останутся!

— Дитя, — сказал Василий Иванович, — что ты делаешь в Советской России?

— И сама не пойму!

— Дайте ей поступить в институт, — сказал Василий Иванович.

— Придется, — горько согласилась Галина Петровна. — С ней не поспоришь.

— Она всегда добивается своего, — обиженно сказала Лидия, — не понимаю, как ей это удается.

Кира наклонилась над огнем и подула на затухающее пламя. На мгновение, когда яркий язычок вырвался наружу, красный жар выхватил ее лицо из мрака. Оно было словно лицо кузнеца, склонившегося над горном.

— Я боюсь за твое будущее, Кира, — сказал Виктор, — сейчас самое время примириться с жизнью, такой, какая она есть. С подобными мыслями ты недалеко уйдешь.

— Это, — сказала Кира, — зависит от того, в какую сторону я хочу идти.

ГЛАВА III

Две руки держали маленькую книжечку в серой обложке. Две высохшие, мозолистые руки, познавшие многие годы труда — в машинном масле, в жару, в смазке грохочущих машин. В морщины на загрубевшей коже въелась черная многолетняя копоть. У потрескавшихся ногтей была черная кайма. Один палец украшало тусклое кольцо с искусственным камнем.

В кабинете были голые стены. Множество грязных рук использовало их в качестве полотенца: они были сплошь покрыты волнистыми следами, оставленными бесчисленными ладонями на выцветшем рисунке. До революции в этом доме, теперь национализированном для государственных учреждений, здесь размещалась ванная комната. Сама ванна была выброшена, но ржавая полоса с зияющими дырами от гвоздей все еще ухмылялась со стены, а две изломанные трубы висели словно выпущенные кишки раненого здания.

В окне торчала чугунная решетка и разбитые стекла, которые паук попытался склеить. Окно выходило на голую стену из красного кирпича, где картинка, когда-то рекламировавшая средство от облысения, теряла последние краски.

Совслуж сидел за массивным столом. На столе затаились полувысохшая чернильница и клякса, размазанная в одном углу. Совслуж был в военной форме и в очках.

Словно два безмолвных судьи, восседающих за спиной своего глашатая, два портрета расположились по бокам от его головы. Они были без рам, прикрепленные к стене четырьмя кнопками. На одном был Ленин, на другом — Карл Маркс. Красные буквы над портретами гласили: «В единстве — наша сила».

С гордо поднятой головой Кира ожидала перед столом.

Она пришла сюда, чтобы получить трудовую книжку. Трудовую книжку должен был иметь каждый гражданин старше шестнадцати лет. Было приказано носить ее с собой постоянно. Ее нужно было

предъявлять, и в ней ставилась печать всякий раз, когда владелец ее находил работу или увольнялся, въезжал в квартиру или выезжал из нее, поступал в институт, получал хлебные карточки или женился.

Новый советский паспорт был больше чем паспорт — это было разрешение на жизнь. Он назывался трудовой книжкой, так как труд и жизнь считались синонимами.

Российской Советской Федеративной Социалистической Республике предстояло заполучить нового гражданина.

Совслуж держал маленькую книжечку в серой обложке, страницы которой он собирался заполнить. У него что-то не заладилось с пером; оно было старое, ржавое и тщетно выцарапывало капли со дна чернильницы.

На чистой первой странице он начертил:

Имя: Аргунова Кира Александровна.

Рост: Средний.

* * *

Тело Киры было стройным, слишком стройным, и, когда она резко, быстро, с геометрической точностью двигалась, людей очаровывали сами ее движения. Всегда, какую бы одежду она ни надевала, даже «скрытое» присутствие ее тела придавало ей вид обнаженной. Люди не понимали, почему у них возникает такое ощущение. Казалось, что даже слова, которые она произносила, рождались из желаний ее тела, а резкие движения бессознательно отражали танцующую, хохочущую душу. Таким образом, душа ее казалась материальной, а тело — духовным.

* * *

Совслуж продолжал:

Глаза: Серые.

* * *

Глаза у Киры были темно-серые, цвета грозовых облаков, из-за которых в любой момент может выглянуть солнце. Они всматривались в людей тихо, прямо, с выражением, которое называют высокомерным. На деле это было лишь глубоким, уверенным спокойствием, которое, казалось, говорило людям, что взгляд ее слишком пронизателен и, чтобы разглядеть жизнь, ей никогда не понадобятся столь обожаемые ими очки.

* * *

Рот: Обычный.

* * *

Рот у Киры был тонкий, широкий. В молчании он был холоден, неукротим, и людям вспоминалась Валькирия в гуще сражения, в крылатом шлеме, с пикой. Но неуловимое движение рождало морщинку в углах ее губ — и тут же вспоминался чертенок, усевшийся на шляпке мухомора и хохочущий в лица маргариток.

* * *

Волосы: Каштановые.

* * *

Волосы у Киры были короткими, отброшенными назад со лба; светлые солнечные лучи терялись в их спутавшейся массе. То были волосы первобытной женщины джунглей, лицо же ее словно сбегало с мольберта современного художника, который очень торопился: лицо из прямых острых линий, набросанное неистово, в попытке уловить и запечатлеть звучащее в нем обещание.

* * *

Особые приметы: Нет.

Совслуж подцепил кончиком пера пылинку, растер ее в пальцах и вытер их о штаны.

* * *

Место и дата рождения: Петроград, 11 апреля, 1904 год.

* * *

Родилась Кира в сером гранитном доме на Каменноостровском.

В просторном особняке у Галины Петровны были и будуар, где вечерами служанка в черном защелкивала застёжки ее бриллиантовых коле, и приемная, где ее юбки из тафты торжественно шелестели, когда она принимала дам в соболях и с лорнетами. Дети

не допускались в эти комнаты, а Галина Петровна редко появлялась в каких-либо других.

У Киры была английская гувернантка, задумчивая девушка с очаровательной улыбкой. Кира любила свою гувернантку, но чаще предпочитала находиться в одиночестве, и ее оставляли одну. Когда она отказалась играть с калекой-родственником, которого добросердечие семьи превратило во всеобщего любимца, ее никогда больше не просили об этом. Когда она вышвырнула из окна первую же книгу о доброй фее, награждающей бескорыстную маленькую девочку, — гувернантка никогда больше не приносила ей ничего похожего. Когда ее взяли в церковь и в середине службы она одна прокралась наружу, заблудилась на улицах и возвратилась к своей сходящей с ума семье в полицейской машине, ее никогда больше не брали в церковь.

Летняя резиденция Аргуновых стояла на высоком холме, над рекой, одинокая среди своих роскошных садов, на окраине дорогого летнего курорта. Дом стоял спиной к реке, засмотревшись на парк, где холм грациозно сбегал в садик из лужаек, словно вычерченных по линейке, подстриженных кустов, превращенных садовником в арки, и мраморных фонтанов, созданных известным скульптором.

Противоположная сторона холма зависала над рекой, глыбница из камня и земли, словно выплюнутая вулканом и застывшая в хаотичном нагромождении.

Спускаясь по течению, люди замирали в ожидании, что вот-вот какое-нибудь чудовище высунет голову из глубины поросших папоротником расщелин, среди деревьев с огромными корнями, что росли параллельно земле, обметав уступы, словно пауки.

Летом, в те бесконечные годы, когда ее родители развлекались в Ницце, в Вене, Кира оставалась одна и проводила дни в дикой свободе скалистого холма, словно его единственная, полновластная императрица, в разорванной голубой юбке и белой блузке, у которой вечно отсутствовали рукава. Острый песок впивался в ее босые ноги. Она перепрыгивала с уступа на уступ, хватаясь за ветки деревьев, подбрасывая свое тело в пространство так, что ее юбка развевалась словно парашют. Она смастерила плот из веток деревьев и, сжимая в руках длинный шест, уплывала вниз по реке. На пути попадалось много опасных скал и водоворотов. Трепет борьбы поднимался от ее босых ступней, которые ощущали беснующийся поток под хрупким плотом, и разливался по всему напряженному телу, готовому встретить новый порыв ветра; голубая юбка колотила по ее ногам словно парус. Ветки, нависшие над рекой, хлестали ее по лицу. Она проносила мимо, оставляя в них клочья волос,

оббивших листья, а деревья теряли дикие красные ягоды, застрявшие в ее волосах.

Первое, что Кира осознала в жизни, и первое, что испуганные родители заметили в ней, была радость одиночества.

* * *

— Родилась в 1904-м, да? — спросил совслуж. — То есть тебе... Ну-ка, посмотрим... восемнадцать. Восемнадцать. Тебе повезло, товарищ. Ты молода и можешь посвятить много лет трудовой жизни. Целая жизнь, полная дисциплины и самоотверженного труда, труда на благо огромного коллектива!

У него был насморк, поэтому он достал огромный клетчатый носовой платок и затрубил носом.

* * *

Семейное положение: Не замужем.

* * *

— Я умываю руки насчет будущего Киры, — как-то сказала Галина Петровна. — Иногда я думаю, что она урожденная старая дева, а иногда, что урожденная... да, нехорошая женщина.

Кира начала носить удлиненные юбки и высокие каблуки во время их бегства в Ялту, где странное общество эмигрантов с севера — представители древних фамилий и обладатели канувших в Лету состояний — жались друг к другу, словно напуганные цыплята на холмике, когда наводнение медленно заглывает все вокруг них. Юноши с безупречным пробором и наманикюрованными ногтями с интересом посматривали на стройную девушку, которая размашисто шагала по улицам, помахивая веточкой, словно кнутом; на ее тело, брошенное против ветра, который раздувал ничего не прикрывающее платье. Галина Петровна с одобрением улыбалась, когда юноши стучались в их дверь. Но у Киры были необычные брови: она могла вскинуть их в такой холодной, издевательской насмешке, в то время как губы оставались бесстрастными, что любовные стихотворения и намерения юношей замерзали у самых твоих истоков. И Галина Петровна вскоре перестала удивляться тому, что молодые люди прекратили замечать ее девочку.

Вечерами Лидия, краснея, жадно читала душещипательные, полные греха романы, которые прятала от Галины Петровны. Кира

попробовала читать один из них, но заснула, не закончив его. И уже никогда не взялась за другой.

Она не видела разницы между сорняками и цветами; она зевала, когда Лидия вздыхала над красотой солнечного заката над одинокими холмами. Но она простаивала часами, глядя на черный силуэт высокого молодого солдата на фоне рычащего пламени пылающей нефтяной скважины, которую он охранял.

Она внезапно останавливалась, когда они шли вечером вниз по улице, указывала на необычный угол белой стены над покосившимися крышами, который светился в черной мгле под тусклым светом старого фонаря, с темным, зарешеченным, как у темницы, стеклом, и шептала:

— Как красиво!

— Что в этом красивого? — недоумевала Лидия.

— Она такая таинственная... манящая... словно там что-то могло бы случиться.

— Случиться с кем?

— Со мной.

Лидия редко интересовалась переживаниями сестры, тем более что они не имели отношения к ней самой, а были просто личными чувствами Киры. Сами родители тоже беспомощно пожимали плечами над тем, что они называли «душой» дочери. У Киры было одно и то же чувство и для несоленого супа за обедом, и для улитки, ползущей по ее голым ногам, и для умоляющих юношей с разбитыми сердцами, мягкими губами и влажными глазами, и для белых статуй древних богов на фоне черного музейного бархата, и для стальных стружек, и для ржавой пыли, и для шипящих паяльных ламп в железном грохоте возводящегося здания. Она редко посещала музеи. Но когда она выходила в город с родителями, то семья старалась обходить стороной какие бы то ни было строящиеся дома и особенно дороги и мосты. Она обязательно останавливалась и стояла часами, рассматривая красные кирпичи, дубовые сваи и стальные панели, вырастающие по воле человека. Но было невозможно заставить ее прогуляться в воскресный день в общественном парке, и она затыкала пальцами уши, когда слышала хор, поющий народные песни. Когда Галина Петровна взяла своих детей на один печальный спектакль, где показывалась тяжкая участь крепостных, которым царь Александр II даровал свободу, Лидия всхлипывала по поводу бедственного положения покорных, добрых крестьян, в испуге склонившихся перед хлыстом, в то время как Кира сидела неподвижно-прямо, следя потемневшими от восторга глазами за кнутом, щелкавшим в руке высокого молодого помещика.

— Как красиво! — говорила Лидия, глядя на декорации. — Почти как в жизни!

— Как красиво! — говорила Кира, глядя на окружающий пейзаж. — Совсем как на картинке!

* * *

— Таким образом, — продолжал совслуж, — у вас, товарищи женщины, есть преимущество перед мужчинами. Вы можете позаботиться о молодом поколении — будущем нашей республики. У нас так много грязных, голодных ребятишек, которым нужны любящие руки наших женщин.

* * *

Членство в профсоюзе: Не состоит.

* * *

Кира ходила в Ялте в школу. В школьной столовой стояло множество столов. В обед девочки садились за них парами, по четверкам, по дюжинам. Кира всегда садилась за стол в углу — одна. Однажды ее класс объявил бойкот маленькой веснушчатой девочке, которая навлекла на себя гнев всеми любимой одноклассницы — громкоголосой юной особы, у которой всегда были наготове улыбка, рукопожатие или окрик для любой из подруг.

В тот день за обедом маленький столик в углу столовой был занят двумя ученицами: Кирой и веснушчатой девочкой. Они уже наполовину опустошили свои миски с гречневой кашей, когда негодующая староста класса подошла к ним.

— Ты понимаешь, что ты делаешь, Аргунова? — спросила она, сверкая глазами.

— Ем кашу, — ответила Кира, — хочешь, садись с нами.

— Ты знаешь, что сделала эта девочка?

— Не имею ни малейшего понятия.

— Нет? Тогда почему ты за нее?

— Ты ошибаешься. Я не за нее, я против двадцати восьми остальных.

— То есть, по-твоему, очень умно идти против большинства?

— По-моему, когда вопрос спорный и есть сомнение в правоте любой из сторон, правильнее встать на сторону слабейшего из противников... Пожалуйста, передай мне соль.

В тринадцать лет Лидия влюбилась в одного оперного тенора. Она хранила его фото в кухонном шкафу, рядом с одинокой красной розой в тонком хрустальном стакане. В пятнадцать она влюбилась в святого Франциска Ассизского, который разговаривал с птицами и помогал бедным; и она мечтала уйти в женский монастырь. Кира никогда не влюблялась. Единственным героем для нее был викинг, историю которого она прочла еще ребенком. Викинг, чьи глаза никогда не заглядывали дальше острия его меча, но меч которого не знал преград. Викинг, который шел по жизни, разбивая барьеры и пожиная победы; и когда солнце высвечивало корону над его головой, он, светлый и прямой, шагал среди руин, не замечая ее веса. Викинг, который хохотал над королями, который смеялся над священниками, который смотрел на небеса, только когда наклонялся напиться из горного ручья, и там, в отражении воды, видел в небе собственное изображение. Викинг, который жил для радости, восхищения и славы того господина, которым был он сам. Кира не запомнила книги, прочитанные до этой легенды, и не хотела помнить прочитанные после нее. Но сквозь годы она несла в своей памяти конец легенды, когда викинг стоял на башне над покоренным городом. Викинг улыбался, как улыбается человек, глядя на небеса, но он смотрел вниз. Его правая рука казалась одной сплошной линией с опущенным мечом, его левая рука, такая же прямая, как его меч, взметнула к небу кубок с вином. Первые лучи восходящего солнца, все еще невидимого за горизонтом, позолотили хрустальный кубок. Он сверкал, словно зажженный факел. Его лучи освещали лица всех, кто стоял внизу.

— За жизнь, — сказал викинг, — которая ценна сама по себе.

* * *

— Итак, ты не член профсоюза, гражданин? — сказал совслуж. — Очень плохо, очень плохо. Профсоюзы — это стальные балки величественного здания нашего государства, так сказал... в общем, один из наших великих вождей сказал. Что есть гражданин? Лишь кирпичик, бесполезный сам по себе, пока он намертво не скреплен раствором с другими кирпичами, такими же, как и он сам.

* * *

Род занятий: Студентка.

* * *

Откуда-то из аристократических Средних веков Кира унаследовала убеждение, что труд и усилия низки. Она проучилась в школе с прекрасными отметками и с самыми неряшливыми тетрадками для сочинений. Она сожгла все свои музыкальные этюды и никогда не штопала себе чулок. Она карабкалась на пьедесталы статуй в парках, чтобы поцеловать холодные губы греческих богов, но засыпала на симфонических концертах. Она вылезала через окно, когда ожидали гостей, и не умела приготовить даже картошку. Она никогда не ходила в церковь и редко читала газеты.

Но позднее она выбрала тяжелейшее и ответственнейшее занятие. Она решила стать инженером. Она решила это, впервые задумавшись о той неопределенной вещи, которую называют будущим. И эта первая мысль была тихой и благоговейной, так как для нее будущее было светлым — ведь это ее будущее. В детстве она играла с механическими игрушками, не предназначенными для девочек, она строила корабли, мосты и башни, она наблюдала за сооружением стальных конструкций, кирпичной кладкой, паровыми котлами. Над кроватью Лидии висела икона, над Кириной — изображение американского небоскреба. Даже несмотря на то, что слушавшие ее недоверчиво улыбались, она говорила о том, как построит дома из стали и стекла, а из белого алюминия — мост через голубую реку. «Но, Кира, нельзя построить мост из алюминия». Она говорила о мужчинах, колесах и кранах, которыми будет повелевать, о восходе солнца над стальным скелетом небоскреба.

Она знала, что у нее есть жизнь и что это ее жизнь. Она знала работу, которую она выбрала для себя и которую так хотела получить от жизни. Остального, что ждет ее впереди, Кира не знала, поскольку у него не было имени, но это было обещано ей, твердо обещано в памяти ее детства.

Когда летнее солнце погрузилось за холмы, Кира усаживалась на высоком уступе и смотрела вниз по реке — на роскошное казино. Высокий шпиль музыкального павильона пронзал красное небо. Стройные черные тени женщин двигались на фоне оранжевых панелей и освещенных разноцветных стеклянных дверей. Внутри помещения звучал оркестр. Он рассыпался веселыми, искрящимися мотивами из музыкальных комедий. Павильон разбрасывал лучи из электрических огней, из звякающих бокалов, из сверкающих лимузинов, из ночей европейских столиц — в темное вечернее небо над безмолвной рекой и скалистым холмом с древними деревьями.

Беззаботные мелодии казино и пивных, напеваемые по всей Европе девушками с блестящими глазами и расквашивающимися

бедрами, имели для Киры такое значение, которого им никто другой не придавал. Она слышала в них необыкновенную радость жизни, такую необыкновенную, что она могла быть легкой, как ножка танцовщицы.

И потому что она обожала эту радость, она редко смеялась в своем кругу и не ходила смотреть комедии в театрах. Она чувствовала в глубине души протест против всего тяжеловесного, трагичного, торжественного. Но у Киры было почтительное благоговение перед теми песенками, полными вызывающего веселья. Они пришли из неведомого мира, где взрослые двигались среди разноцветных огней, белых столов, где было так много всего, непонятного ей, так много всего, что ожидало ее. Они пришли из ее будущего.

Она выбрала из них одну как свою личную песню — песню Киры: «Песню разбитого бокала» из старенькой оперетты. Впервые ее исполняла знаменитая венская красавица. Балюстрада на сцене стояла на фоне падающего занавеса с мерцающими огнями большого города. Гирлянда хрустальных кубков выстроилась на этой балюстраде. Красавица исполнила номер и один за другим, беззаботно, едва касаясь их туфелькой, разбивала хрустальные кубки, превращая их в разлетающийся трепет блестящих осколков вокруг плотных тонких чулок на самых прекрасных ножках в Европе.

В музыке были и резкие небольшие взрывы, и волны быстрых чистых нот, которые, вздымаясь, катились с чистым и нежным звуком разбитого хрусталя, и медленные звуки, такие медленные, словно струны скрипок трепетали в нерешительности от напряжения полнотой звука, совершая несколько осторожных шажков перед скачком в раскаты смеха.

Ветер растрепал волосы Киры так, что они хлестали ее по глазам, и вылизал холодным дыханием пальцы ее босых ног, свесившихся с края уступа. Казалось, в сумерках небо медленно набирало высоту, становясь темнее, и первая звезда падала в реку. Одинокая маленькая девочка на скользкой скале слушала свой собственный гимн и улыбалась тому, что он ей обещал.

Таким было посвящение Киры в жизнь. Некоторые начинают ее под серыми сводами собора со склоненной в благоговении головой, с отблеском жертвенных свечей в сердцах и глазах. Некоторые начинают ее с сердцем, подобным мостовой, истоптанной множеством ног, промерзшие до костей, моля о тепле, которое можно обрести в стаде. Кира Аргунова начала ее с мечом викинга, указывающим путь, и с мелодией из оперетты в качестве боевого марша.

* * *

Совслуж с досадой вытер перо своим клетчатым носовым платком, так как он посадил кляксу на последней странице.

— Труд, товарищ, — сказал он, — это высочайшая цель нашей жизни. Кто не работает, тот не ест.

Книжка была заполнена. Совслуж приложил резиновую печать к последней странице. На странице остался глобус с наложенными на него серпом и молотом.

— Вот это твоя трудовая книжка, товарищ Аргунова, — сказал совслуж. — С этого момента ты являешься членом самой огромной республики из всех, когда-либо провозглашавшихся в истории человечества. Пусть единство рабочих и крестьян всегда будет смыслом твоей жизни, так же, как это есть смысл жизни всех красных граждан.

Он протянул ей книжку.

На первой странице сверху был напечатан лозунг:

«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»

Под ним было написано имя:

Кира Аргунова.

ГЛАВА IV

На руках у Киры, в тех местах, куда особенно долго впивался острый шпагат, вздулись волдыри. Это было нелегко — тащить тюки вверх на четвертый этаж восемь пролетов каменной лестницы, которая воняла кошками, и чувствовать холод камня через тонкие подошвы туфель. Каждый раз, когда она спешила вниз за новой поклажей, резво перепрыгивая через ступеньки или съезжая по перилам, она встречала тяжело дышащую и горько вздыхающую Лидию. Та медленно карабкалась вверх, прижимая узлы к груди; пар шел из ее рта с каждым словом:

— Господи Боже!.. Пресвятая Богородица!

Аргуновы нашли квартиру.

Их поздравляли так, словно свершилось чудо. Реальность чуда была скреплена рукопожатием между Александром Дмитриевичем и управдомом — управляющим этим домом. После этого рукопожатия рука Александра Дмитриевича осталась пустой, в отличие от руки управдома. Три комнаты и кухня в переполненном городе стоили небольшой «благодарности».

— Ванна? — Управдом с негодованием повторил робкий вопрос Галины Петровны. — Не глупите, гражданка, не глупите.

Им была нужна мебель. Собравшись с духом, Галина Петровна нанесла визит в серый гранитный особняк на Каменноостровском. Она несколько мгновений постояла перед величественным зданием, поднимавшимся к небу, поплотнее кутая худое тело в выцветшее пальтишко с облезлым меховым воротником. Затем она открыла сумочку и припудрила нос: она чувствовала стыд перед гранитными плитами. Она достала носовой платок из открытой сумочки: слезы причиняли боль на холодном ветру. Затем она позвонила в колокольчик.

— Значит, ты и есть гражданка Аргунова? — произнес толстый, с лоснящимся подбородком художник-оформитель и, позволив ей войти внутрь, участливо выслушал ее объяснения.

— Конечно, можете забрать свой хлам назад. То есть все, что мне не нужно. Оно свалено в каретном сарае. Забирайте. Не такие уж мы бессердечные. Мы знаем, какая у вас тяжелая жизнь, граждане буржуи.

Галина Петровна бросила грустный взгляд на свое старое венецианское зеркало, на ониксовой подставке которого теперь стояло ведро с краской, и, ничего не сказав, пошла вниз, в каретный сарай на заднем дворе. Она отыскала несколько кресел без ножек, несколько бесценных предметов из старинного фарфора, умывальник, ржавый самовар, две кровати, сундук, набитый старой одеждой, и рояль Лидии; все это было завалено кучей книг из их библиотеки, старыми коробками, древесными стружками и крысиным пометом.

Они наняли подводу, чтобы перевезти эти пожитки в маленькую квартирку на четвертом этаже старого кирпичного дома, грязные окна которого смотрели на мутный поток Мойки. Но второй раз взять подводу семья не могла. Они одолжили тачку, и Александр Дмитриевич, молчаливо-безразличный, перевозил в их новый дом узлы, оставленные у Дунаевых. Вчетвером они таскали узлы вверх по ступеням, проходя по лестничным площадкам, где закопченные двери чередовались с разбитыми окнами; раньше такие лестницы назывались черными, ими пользовалась прислуга. Парадный вход в их новом доме отсутствовал. В нем не было электричества, водопровод был безнадежно испорчен: они должны были носить воду в ведрах с нижнего этажа. Желтые полосы, свидетельство прошедших дождей, расплзлись по потолкам.

— Здесь будет весьма уютно, нужно лишь немного уборки и художественного вкуса, — сказала Галина Петровна.

Александр Дмитриевич вздохнул.

Рояль разместили в столовой. На крышку рояля Галина Петровна поставила чайник без ручки и без носика — единственное, что осталось из ее бесценного чайного сервиза от Сакса. На полках из некрашенных деревянных дощечек, которые Лидия разукрасила гирляндами бумажных кружев, расставили разнокалиберные тарелки с трещинами. Под короткую ножку хромового стола подложили многократно сложенную газету. В длинные мрачные вечера фитилек, плавающий в блюде льняного масла, отбрасывал пятно света на потолок; утром высоко под потолком вяло покачивались на сквозняке клочья сажн, похожие на паутину.

По утрам Галина Петровна вставала первой. Она набрасывала на плечи старую шаль и изо всех сил дула в камин, чтобы занялись сырые поленья. Затем она варила пшенку на завтрак. После завтрака семья расходилась.

Александр Дмитриевич брел два с половиной километра до своего нового предприятия — магазинчика текстильных товаров. Он никогда не ездил на трамвае, — длинные очереди томились на всех остановках, и надежды пробиться внутрь у него не было.

Магазинчик раньше был булочной. Александр Дмитриевич не мог позволить себе новой вывески. На дверь он нацепил кусок полотна с кривыми буквами, а за стеклом одной из старых черных витрин, прикрыв позолоченный крендель, вывесил два платка и фартук. Соскоблив эмблему булочной со старых коробок, он аккуратно расставил их на пустых полках. Он весь день просиживал, пристроив замерзшие ноги возле чугунной «буржуйки», и дремал, сложив руки на животе.

Когда заходил посетитель, он прошаркивал за прилавок и приветливо улыбался:

— Лучшие платки в городе, гражданин. Совершенно верно, стойкие расцветки, такие же стойкие, как у заграничных товаров... Возьму ли я сало вместо денег? Конечно, гражданин крестьянин, конечно... За фунта? Вы можете взять два платка, гражданин, и еще три фута ситца.

Счастливо улыбаясь, он клал сало рядом с фунтом ржаной муки в большой выдвижной ящик, который служил кассой.

Лидия после завтрака, горько вздыхая, заматывала вокруг шеи старый вязаный шарф, брала в руки корзину и шла в кооператив. Она стояла в очереди, следя за стрелкой часов на далекой башне, медленно движущейся по циферблату, и убивала время, декламируя в уме французские стихотворения, которые учила в детстве.

— Но мне не нужно мыло, гражданин, — протестовала она, когда подходила ее очередь к некрашеному прилавку внутри вонявшего укропным рассолом и перегаром магазина. — И мне не нужно сухой воблы.

— Больше сегодня ничего нет, гражданка. Следующий!

— Хорошо, хорошо. Я возьму это, — торопливо говорила Лидия. — Нужно же принести хоть что-нибудь.

Галина Петровна после завтрака мыла тарелки, затем надевала очки и выбирала камешки из двух фунтов чечевицы, безнадежно с ними перемешанной. Со слезами, скатывавшимися по морщинам, она чистила луковицы, стирала рубашки Александра Дмитриевича в тазике с холодной водой, размальывала желуди для кофе.

Если ей нужно было выйти на улицу, она торопливо прокрадывалась вниз по лестнице, надеясь не встретить управдома. Если же встречала его, то слишком ярко улыбалась и нараспев говорила:

— Доброе утро, товарищ управдом!

Товарищ управдом никогда не отвечал. Она могла прочесть молчаливый приговор в его мрачных глазах: «Буржуи. Частники».

Киру приняли в Технологический институт. Насвистывая на ходу, каждое утро она шла туда, засунув руки в карманы старой серой шубы с высоким воротником, застегнутым до подбородка. В институте она слушала лекции, но сама разговаривала лишь с несколькими людьми. В толпе студентов она заметила много красных платков и услышала восторженные речи о красных строителях, пролетарской культуре и молодых инженерах — авангарде мировой революции. Но она не выкала в эти слова, так как раздумывала над последней математической задачей. Во время лекций время от времени она внезапно улыбалась, просто так, ничему конкретному; улыбалась собственной смутной, неопределенной мысли. Она чувствовала, что ее закончившееся детство было как бы холодным душем — веселым, сильным и бодрящим, а теперь начиналось утро, впереди ее ждала работа, и так много предстояло сделать.

Поздно вечером Аргуновы собирались вокруг фитилька на столе в столовой. Галина Петровна раскладывала по тарелкам чечевицу и пшенку. Их меню было не слишком разнообразным. Запасы пшена быстро таяли; то же самое происходило и с их сбережениями. Поскольку у них был лишь один масляный фитиль, после ужина Кира приносила свои книги в столовую. Она садилась за стол с книгой между локтей, зарываясь пальцами в волосы у висков. Ее раскрытые глаза поглощали кубы, кружки, треугольники, словно захватывающий роман.

Лидия рядом вышивала носовой платок, горько вздыхая:

— Ох, это советское освещение! Что за освещение! Подумать только, ведь кто-то изобрел электричество!

— И правда, — удивленно согласилась Кира, — здесь совсем темно. Смешно. Я никогда раньше этого не замечала.

Однажды вечером Галина Петровна обнаружила, что готовить, кроме воды, нечего — пшено кончилось. Они остались без ужина. Лидия вздохнула над своей вышивкой:

— Ох уж этот советский рацион!

— И правда, — сказала Кира, — мы сегодня еще не ужинали.

— Где ты витаешь? — гневно спросила Лидия. — Ты вообще хоть что-нибудь замечаешь?

Вечерами время от времени Галина Петровна ворчала:

— Женщина — инженер! Разве это профессия для моей дочери! Разве это путь для девушки? Ни одного юноши, ни одного единственного кавалера, никто к ней не приходит. Жесткая как подошва. Ни романов. Ни деликатности. Никаких возвышенных чувств. И это моя дочь!

В маленькой комнате, в которой Кира и Лидия ночевали, стояла только одна кровать. Кира спала на полу на матрасе. Чтобы сэкономить свет, они укладывались рано. Свернувшись калачиком под тонким шерстяным одеялом и шубой, накинутой поверх одеяла, Кира смотрела на белое пятно в темноте — фигуру Лидии в длинной ночной рубашке, стоящую на коленях в углу перед иконами. Дрожа от холода, Лидия жарко бормотала молитвы, крестясь торопливой рукой, низко склоняясь к маленькому красному огоньку и к нескольким отблескам на суровых бронзовых ликах.

Из своего угла на полу Кира смотрела на багряно-серое небо в окне и на золотой шпиль Адмиралтейства — далеко в холодной, туманной мгле, повисшей над Петроградом — городом, где так многое возможно.

* * *

Виктор Дунаев проявил внезапный интерес к семье своих кузин. Он часто приходил к ним, склонялся над рукой Галины Петровны с таким видом, словно присутствовал на королевском приеме, и заразительно смеялся — почти как в цирке.

В его честь Галина Петровна выкладывала к вечернему чаю вместо сахара последние бесценные кусочки сахара. Он приносил с собой безупречную улыбку и последние политические сплетни, свежие анекдоты и новости о последних заграничных изобретениях, четверостишия из новых стихотворений и свое мнение о теории рефлексов, теории относительности и об общественной миссии пролетарской литературы.

— Культурный человек, — объяснял он, — должен быть прежде всего человеком, созвучным своей эпохе.

Он улыбался Александру Дмитриевичу и поспешно предлагал огонек для его самокрутки; он улыбался Галине Петровне и торопливо вскакивал каждый раз, когда вставала она; он улыбался Лидии и серьезно слушал ее бесхитростные рассуждения о вере, но сестра он всегда старался рядом с Кирой.

Вечером 10 октября Виктор явился поздно. В девять часов вечера звяканье дверного колокольчика заставило Лидию торопливо выскочить в крошечную прихожую.

— Виноват. Ужасно, ужасно виноват, — извинялся Виктор, улыбаясь, кидая пальто на стул, поднося руку Лидии к губам и слегка приглаживая свои непослушные волосы после незаметного взгляда в зеркало — все в течение одной секунды.

— Задержали в институте. Студенческий совет. Я знаю, что это неприличный час для визита, но я обещал Кире прокатиться с ней по городу и...

— Виктор, дорогой, это совсем не страшно, — позвала из столовой Галина Петровна, — проходи и выпей чаю.

Крошечное пламя трепетало от каждого дыхания, в то время как все они усаживались за столом. Пять гигантских теней поднимались к потолку; хилый огонек отбрасывал треугольнички света под пятью парами ноздрей. Чай отсвечивал зеленью сквозь толстые стаканы, вырезанные из старых бутылок.

— Я слышала, Виктор, — доверительно, словно заговорщик, прошептала Галина Петровна, — я слышала от заслуживающих доверия людей, что этот их нэп — лишь начало многих перемен. Начало конца. Следом за этим они намереваются вернуть дома и здания бывшим владельцам. Подумать только! Ты помнишь наш дом на Каменно-островском? Если бы только... Служащий в кооперативе — это он сказал мне об этом. А у него двоюродный брат в партии, он должен знать.

— Это вполне возможно, — авторитетно подтвердил Виктор, и Галина Петровна довольно улыбнулась.

Александр Дмитриевич налил себе еще стакан чая; он посмотрел на сахар, заколебался, взглянул на Галину Петровну и отхлебнул чай без сахара. Затем угрюмо сказал:

— Времена сейчас ничем не лучше. Они назвали свою тайную полицию ГПУ вместо ЧК, но смысл так и остался тот же. Ты знаешь, что я слышал сегодня в магазине? Они только что раскрыли очередной антисоветский заговор и уже арестовали десятки человек. Сегодня арестовали старого адмирала Коваленского, того самого, который потерял зрение на войне, и расстреляли его без суда и следствия.

— Это лишь слухи, — сказал Виктор, — люди любят преувеличивать.

— Ну ладно, как бы то ни было, а еду доставать становится все проще, — сказала Галина Петровна, — мне сегодня попалась вполне приличная чечевица!

— А я, — сказала Лидия, — купила два фунта проса.

— И я, — отозвался Александр Дмитриевич, — заработал фунт сала.

Когда Кира и Виктор поднялись, чтобы идти, Галина Петровна проводила их до дверей.

— Виктор, дорогой, ты позаботишься о моей дочери, ведь правда? Не задерживайтесь допоздна! На улицах так беспокойно в наши дни. Будьте осторожны. И, ради бога, не разговаривайте ни с какими незнакомцами. Сейчас вокруг бродят такие типы!

* * *

Пролетка грохотала по притихшим улицам. Широкие, ровные, пустые тротуары напоминали длинные каналы, покрытые серым льдом, искрившимся под высокими фонарями, которые плыли вслед за ними, выныривая из-за извозчика.

Издвка навстречу попадались женщины в очень коротких юбках, которые немного покачивались на заплывших ногах в плотно зашнурованных туфлях.

Что-то похожее на черный силуэт ветряной мельницы раскачивалось на тротуаре — это неверными шагами передвигался моряк, едва не падая, сплевывая шелуху семечек и размахивая руками.

Тяжелый, ошестинившийся штыками грузовик прогрохотал мимо извозчика; среди винтовок Кира заметила отблеск бледного лица, пробитого двумя дырами черных от страха глаз.

Виктор говорил не умолкая:

— Современный культурный человек должен сохранять объективный взгляд, который независимо от его личных убеждений дает ему возможность смотреть на наше время как на величественную историческую драму, момент огромного значения для человечества.

— Чепуха, — сказала Кира. — Толпа существует и дает почувствовать свое существование. Это хорошо известный и отвратительный факт. В наше время толпа дала его прочувствовать с особенной мерзостью. Вот и все.

— Это необдуманная и антинаучная точка зрения, Кира, — сказал Виктор и углубился в разглагольствование об эстетической ценности скульптуры, о современном балете и о новых поэтах, чьи произведения издавались в прелестных маленьких книжечках в блестящих белых обложках; он всегда держал новые стихи на своем столе вместе с последними социологическими трактатами. «Для равновесия», — объяснял он.

Виктор декламировал свое любимое стихотворение в модной манере, то есть монотонно и гнусаво скандировал, при этом медленно наползая рукой на пальцы Киры. Кира отдернула руку и отвернулась к свету фонарей.

Извозчик повернул на набережную. Кира догадалась, что они едут вдоль реки; с одной стороны черное небо спало на землю в холодную унылую пустоту, сквозь которую лениво мерцали длинные серебряные ленты, расплываясь от огней, что повисли где-то очень далеко в темноте. С другой стороны особняки сплывали в черный горизонт из ваз, статуй, балюстрад. В особняках не было огней. Эхо от колотивших по мостовой подков лошади разлеталось по рядам пустых переулков.

Виктор отпустил извозчика у Летнего сада. Они пошли, шурша ногами по ковру сухих листьев, которые никто не подметал. Ни огни, ни посетители не нарушали молчаливую заброшенность знаменитого парка. Черные своды древних дубов мгновенно поглотили город, и в промозглой, шелестящей темноте ощущался аромат мха, сопревших листьев и осени. Белые силуэты статуй стояли по краям широких, прямых дорожек.

Виктор достал носовой платок и протер старую, влажную от росы скамейку. Они сели под статуей греческой богини с отбитым носом. Медленно вращаясь, пролетел листок и, перевернувшись в последний раз, опустился возле них.

Рука Виктора медленно обняла плечи Киры. Она отодвинулась. Виктор подсел к ней поближе и зашептал, вздыхая, что он мечтал побыть с ней наедине, что у него были девушки, да, много девушек, женщины были очень добры к нему, но он всегда был несчастлив и одинок, ища свой идеал, что он может понять ее, что ее чувствительная душа связана условностями и еще не пробудилась к жизни и любви. Кира отодвинулась еще дальше и попробовала сменить тему.

Он вздохнул и спросил:

— Кира, ты хоть когда-нибудь задумывалась о любви?

— Нет, никогда. И никогда не буду. Мне не нравится это слово. Теперь, когда ты это знаешь, мы пойдем домой.

Она встала. Он сжал ее запястье.

— Нет, нет. Не сейчас.

Она резко отвернула лицо, и страстный поцелуй, предназначенный ее губам, полоснул по щеке. Резким движением она освободилась, и это заставило его откинуться на скамейку. Она глубоко вдохнула и подняла воротник своего пальто.

— Спокойной ночи, Виктор, — спокойно сказала она. — Я пойду домой одна.

Он поднялся, сконфуженный, бормоча:

— Кира. Я виноват. Я провожу тебя домой.

— Я сказала, что пойду одна.

— Но так же нельзя! Ты знаешь, что нельзя. Это слишком опасно. Девушка не может находиться на улице одна в такой час.

— Я не боюсь.

Она направилась к выходу. Он последовал за ней. Они вышли из Летнего сада. На пустынной набережной милиционер перегнулся через парапет, серьезно изучая огни, отраженные в воде.

— Если ты меня не оставишь прямо сейчас, — произнесла Кира, — я скажу этому милиционеру, что ты — какой-то незнакомец, который пристает ко мне.

— А я скажу ему, что ты говоришь неправду.

— Может быть, тебе удастся доказать это — завтра утром. А до тех пор мы оба проведем ночь в каталажке.

— Хорошо. Ступай, скажи ему.

Кира подошла к милиционеру.

— Извините, товарищ, — начала она и увидела, что Виктор повернулся и торопливо зашагал прочь, — пожалуйста, не можете ли вы подсказать мне, как пройти на Мойку?

Кира шла одна по темным улицам Петрограда. Улицы, казалось, извивались вдоль заброшенных театральных декораций.

В окнах не было огней. Над крышами на фоне плывущих облаков возвышалась церковная башенка. Казалось, что она медленно переплывала через бесстрастное угрожающее небо, готовое рухнуть на улицу.

Фонари коптели над запертыми воротами; сквозь зарешеченные оконца глаза ночных сторожей следили за одинокой девушкой. Сонно-подозрительные милиционеры мельком коснулись на нее. От звука ее шагов проснулся извозчик и попытался предложить свои услуги. Матрос попытался последовать за ней, но, взглянув лишь раз на выражение ее лица, изменил свое намерение. Почувствовав ее приближение, беззвучно нырнул в разбитое подвальное окно кот.

Уже было далеко за полночь, когда она внезапно повернула на улицу, которая казалась живой в сердце мертвого города. Она увидела желтые занавешенные квадраты света, прорезающего суровые стены; квадраты света на голых тротуарах у стеклянных дверей; далекие темные крыши, казалось, смыкались над этой узенькой расщелиной из камня и огней.

Кира остановилась. Играл граммофон. Звук врвался в безмолвие через светящееся окно. Это была «Песня разбитого бокала».

Это была песнь безымянной надежды, и она испугала Киру, потому что обещала так много, что Кира не могла даже сказать, что же именно. По всему ее телу прокатилась волна сильнейшего чувства, почти боли.

Быстрые чистые ноты взрывались так, словно дрожащие струны не могли сдержать их, словно пара зазорных ножек разбивала хрустальные кубки. И сверху, сквозь прорехи в истрепанных облаках, темное небо будто брызгалось светящимся порошком, похожим на осколки разбитого бокала.

Музыка закончилась чьим-то громким хохотом. Обнаженная рука задернула занавеску за окном.

Вдруг Кира заметила, что она не одна. Она увидела женщин с алыми нарисованными губами, напудренных до снежной белизны,

в красных платках и коротких юбках, с ногами, втиснутыми в слишком туго зашнурованные ботинки. Она увидела, как какой-то прохожий взял под руку одну из женщин, как они исчезли за стеклянной дверью.

Она поняла, где оказалась. Резко повернувшись, Кира торопливо и нервно зашагала к ближайшему повороту.

А затем она остановилась.

Он был высок; воротник его пальто был поднят, шляпа надвинута на глаза. Его рот, спокойный, жесткий, презрительный, был словно рот древнего вождя, который мог приказать людям пойти на смерть, а глаза были такими, что могли бы спокойно взирать на это.

Кира прислонилась к фонарному столбу, глядя прямо ему в лицо, и улыбнулась. Она не думала, она улыбалась, оглушенная, не осознавая, что желает, чтобы он узнал ее, как она узнала его.

Он остановился и посмотрел на нее.

— Добрый вечер, — произнес он.

И Кира, которая верила в чудеса, ответила:

— Добрый вечер.

Он шагнул ближе и, улыбаясь, взглянул на нее прищуренными глазами. Но уголки его рта не взлетели в улыбке, а двинулись вниз, изгибая его верхнюю губу презрительной дугой.

— Совсем одна? — спросил он.

— Ужасно — и давно, — бесхитростно ответила она.

— Прекрасно. Пойдем.

— Да.

Он взял ее руку, и она пошла за ним. Он сказал:

— Мы должны поторопиться. Я хочу выбраться с этой людной улицы.

— Я тоже.

— Я должен предупредить тебя: не задавай никаких вопросов.

— У меня нет никаких вопросов.

Она смотрела на удивительные линии его лица. Она робко, недоверчиво прикоснулась к длинным пальцам руки, которая держала ее ладонь.

— Почему ты на меня так смотришь? — спросил он.

Но она не ответила.

Он сказал:

— Боюсь, я сегодня не слишком веселый собеседник.

— Хочешь, чтобы я тебя развлекла?

— Хм, а для чего же еще ты здесь находишься?

Он внезапно остановился.

— Сколько? — спросил он. — У меня не так много денег.

Кира посмотрела на него и поняла, почему он подошел к ней. Она стояла молча, глядя ему в глаза. Когда она заговорила, ее голос утратил трепетное благоговение. Спокойно и твердо она сказала:

— Недорого.

— Куда мы пойдем?

— Я проходила мимо маленького сада за углом. Давай сначала пойдем туда — ненадолго.

— А там нет поблизости милиционера?

— Нет.

Они уселись на ступеньках заброшенного дворца. Деревья заслоняли их от света уличного фонаря, так что их лица и стена за ними были усеяны пятнами дрожащих осколков света, круглых, удлиненных, в клеточку. Над головами в голом граните выстроились пустые окна. Особняк с горечью щеголял незатянувшимся шрамом над парадной дверью, откуда был содран герб владельца. Забор вокруг садика был искорежен, его высокие чугунные шипы пригнулись к земле, словно пики, склоненные в траурном церемониале.

— Сними шляпу, — сказала Кира.

— Зачем?

— Я хочу посмотреть на тебя.

— Тебя послали на розыски?

— Нет. Кто послал?

Он не ответил и снял шляпу. Ее лицо было как зеркало его красоты. В ее лице проявилось не восхищение, а изумленное, почтительное благоговение. Но она лишь произнесла:

— Ты всегда разгуливаешь в пальто с разорванным плечом?

— Это все, что у меня осталось. Ты всегда смотришь на людей так, словно твои глаза вот-вот лопнут?

— Иногда.

— На твоём месте я бы так не смотрел. Чем меньше видишь людей, тем лучше для тебя же. Если только у тебя не железные нервы и железный желудок.

— Железные.

— И ноги тоже железные?

Он кончиками двух прямых пальцев легко и презрительно вздернул ее юбку высоко над коленями. Ее руки вцепились в каменные ступени. Но она не одернула юбку. Она заставила себя сидеть без движения, без дыхания, словно примерзнув к ступеням. Он смотрел на нее. Его глаза двигались вверх и вниз, но уголки его губ двигались только вниз.

Она покорно прошептала, не глядя на него:

— Тоже.

— Прекрасно. Если у тебя железные ноги, так беги.

— От тебя?

— Нет. От всех людей. Ладно, не будем об этом. Поправь юбку.

Ты не замерзла?

— Нет. — Но юбку она одернула.

— Не обращай внимания на то, что я говорю, — сказал он. — У тебя дома есть выпить? Предупреждаю, что сегодня ночью я намерен напиться, как свинья.

— Почему ночью?

— Привычка такая.

— Это не так.

— Откуда ты знаешь?

— Я знаю, что это не так.

— Что еще ты обо мне знаешь?

— Я знаю, что ты очень устал.

— Это точно. Я шел всю ночь.

— Почему?

— По-моему, я предупреждал тебя, чтобы не было никаких вопросов.

Он посмотрел на девушку, которая сидела в пальто и прижималась к стене. Видно было лишь один серый глаз — спокойный и уверенный, а над ним — локон волос, и еще белое запястье засунутой в черный карман руки, черные вязаные чулки на ногах, плотно сжатых вместе. В темноте он полурассмотрел-полупредставил себе линию длинного тонкого рта и темный силуэт сжавшегося, немного дрожавшего стройного тела. Его пальцы обвилились вокруг черных чулок. Она не шелохнулась. Он наклонился ближе к невидимому рту и прошептал:

— Перестань на меня смотреть как на нечто невиданное. Я хочу напиться. Я хочу женщину, такую как ты. Я хочу опуститься так низко, насколько ты сможешь затащить меня.

Она сказала:

— Знаешь, а ты ведь очень боишься того, что не сможешь опуститься.

Его рука оставила ее чулки. Он посмотрел на нее чуть внимательнее и неожиданно спросил:

— Давно ты занимаешься этим делом?

— О... недавно.

— Я так и думал.

— Извини. Я старалась.

— Как это — старалась?

— Старалась действовать как опытная.

— Ты маленькая глупышка. Зачем тебе это? Я бы предпочел тебя такой, какая ты есть, с этими странными глазами, которые видят слишком много... Что заставило тебя впутаться в это?

— Мужчина.

— Он стоил того?

— Да.

— Какой аппетит!

— К чему?

— К жизни.

— Если нет аппетита, зачем садиться за стол?

Он рассмеялся. Его смех прокатился по пустым окнам, такой же холодный и пустой, как эти окна.

— Возможно, чтобы собрать под столом несколько крошек отбросов, — таких как ты. Это все еще может как-то развлечь... Сними шапку.

Она сняла с головы шапочку. На фоне серого камня ее спутанные волосы и свет, застрявший в листьях, блестели, словно нежный шелк. Он провел пальцами по ее волосам и резко откинул ей голову назад, так сильно, что ей стало больно.

— Ты любила этого мужчину? — спросил он.

— Какого мужчину?

— Того, который довел тебя до этого?

— Любила ли... — Она внезапно смутилась, удивленная неожиданной мыслью. — Нет. Я не любила его.

— Это хорошо.

— А ты... когда-нибудь... — Она начала вопрос и поняла, что не может его закончить.

— Говорят, что я способен на какие-либо чувства лишь по отношению к самому себе, — ответил он, — да и тех немного.

— Кто сказал это?

— Человек, который не любит меня. Я знаю многих, кто не любит меня.

— Это хорошо.

— Я еще не встречал человека, который бы сказал, что это хорошо.

— Одного ты знаешь.

— И кто же это?

— Ты сам.

Он вновь наклонился к ней, всматриваясь в темноту, затем отодвинулся и пожал плечами:

— По-моему, ты думаешь обо мне совсем не то, что есть на самом деле. Я всегда хотел стать советским служащим, который торгует мылом и улыбается покупателям.

Она сказала:

— Ты так несчастлив.

Его лицо было так близко, что она почувствовала его дыхание на своих губах.

— Мне не нужна твоя жалость. Не думаешь ли ты, будто сможешь сделать меня таким же, как ты? Так не обманывай себя. Мне совершенно наплевать на то, что я думаю о тебе, и еще меньше меня волнует то, что ты думаешь обо мне. Я всего лишь такой же, как любой другой мужчина, с которым ты была в постели, и как любой, который там будет.

Она сказала:

— Точнее, ты бы очень хотел быть таким же, как любой другой мужчина. И еще ты бы хотел думать, что не было ни одного другого мужчины — в моей кровати.

Он смотрел на нее, не произнося ни слова. Затем спросил резко:

— Ты... уличная женщина?

Она спокойно ответила:

— Нет.

Он вскочил на ноги:

— Тогда кто ты?

— Сядь.

— Отвечай.

— Я приличная девочка, которая учится в Технологическом институте и чьи родители вышвырнули бы ее из дома, если бы узнали, что она разговаривала на улице с незнакомым мужчиной.

Он посмотрел на нее: она сидела на ступеньках у его ног, глядя вверх ему в лицо. Он не видел ни страха, ни мольбы в ее глазах, только вызывающее спокойствие.

Он спросил:

— Почему ты так поступила?

— Я хотела узнать тебя.

— Зачем?

— Мне понравилось твое лицо.

— Ты маленькая глупышка. Если бы я был кем-нибудь другим, я, может быть... действовал бы иначе.

— Но я знала, что ты не кто-нибудь другой.

— А разве ты не знаешь, что так делать нельзя?

— Мне все равно.

Он внезапно улыбнулся, спросив:

— Хочешь, я кое в чем признаюсь?

— Да.

— Я ведь в первый раз пытался... купить женщину.

— Зачем же ты решил это сделать сегодня?

— Не все ли равно. Я шел несколько часов. И во всем городе нет дома, куда бы я мог войти сегодня ночью.

— Почему?

— Не задавай вопросов. Я не мог заставить себя подойти к какой-нибудь из... из тех женщин. Но ты... мне понравилась твоя странная улыбка. Что ты делала в такой час и на такой улице?

— Я поспорилась кое с кем, а денег на извозчика не было, я пошла домой одна и заблудилась.

— Благодарю тебя за этот необычный вечер. Он останется незабываемым впечатлением о моей последней ночи в этом городе, и я унесу его с собой.

— Твоей последней ночи?

— Я уйду на рассвете.

— Когда ты вернешься?

— Никогда — я надеюсь.

Она медленно поднялась и стояла, рассматривая его. Затем спросила:

— Кто ты?

— Если я даже и верю тебе, я не могу сказать этого.

— Я не могу позволить тебе уйти навсегда!

— Да и я бы тоже хотел тебя увидеть еще раз. Я уйду недалеко. Возможно, я вернусь в город.

— Я дам тебе свой адрес.

— Нет. Ты живешь не одна. Я не могу войти в чей-то дом.

— Могу ли я прийти в твой?

— У меня нет дома.

— Но тогда...

— Давай встретимся здесь — через месяц. Если я буду еще жив, если я все еще смогу войти в город — я буду ждать тебя здесь.

— Я приду.

— Десятого ноября. Но давай встретимся при дневном свете. В три часа дня. На этих ступеньках.

— Да.

— Ну вот. Это такое же безумие, как и наша сегодняшняя встреча. А теперь тебе пора домой. Ты не должна разгуливать в такое время.

— Но куда пойдешь ты?

— Я буду идти до рассвета. А он уже через несколько часов. Пойдем.

Она не спорила. Он взял ее за руку. Кира пошла за ним. Они перешагнули через согнутые прутья изуродованного забора. Улица была безлюдна. Извозчик, стоявший далеко на углу, поднял голову на звук

шагов. Он тронулся. Четыре подковы рванулись вперед, разрывая тишину.

— Как тебя зовут? — спросила она.

— Лео. А тебя?

— Кира.

Извозчик подъехал. Он протянул кучеру банкноту.

— Скажи ему, куда тебе нужно ехать, — сказал он.

— До свидания, — сказала Кира, — через месяц.

— Если я еще буду жив, — сказал он, — и если не забуду.

Она вскарабкалась на сиденье и, встав на колени, всматривалась в окошечко пролетки. Когда она тронулась, непокрытые волосы Киры всколыхнулись в воздухе, она смотрела на мужчину, который стоял, глядя ей вслед.

Извозчик завернул за угол, а она оставалась на коленях, только ее голова поникла. Беспомощная рука лежала на сиденье ладонью вверх; и Кира чувствовала, как кровь стучит в пальцах.

ГЛАВА V

Галина Петровна каждое утро выговаривала:
— Что с тобой происходит, Кира? Ты не обращаешь внимания, ешь ты или нет. Ты не обращаешь внимания, мерзнешь ты или нет. Ты не слышишь тех, кто с тобой разговаривает. В чем дело?

Вечерами Кира возвращалась домой из института и, затаив дыхание, следила за каждой высокой фигурой, тревожно впиваясь глазами в каждый поднятый воротник. Она не надеялась найти его в городе; она не хотела его найти. Она никогда не задумывалась над тем, любит ли он ее. У нее не было никаких мыслей о нем, кроме той, что он существует. Но для нее оказалось тяжело помнить, что существует что-то помимо него.

Однажды, когда она вернулась домой, дверь открыла Галина Петровна с красными, заплаканными глазами.

— Ты получила хлеб? — было первым вопросом, брошенным в холодную щель приоткрытой двери.

— Какой хлеб? — спросила Кира.

— Какой хлеб? Твой хлеб! Институтский хлеб! Сегодня ты должна была его получить! Только не говори, что это вылетело у тебя из головы!

— Я совсем забыла!

— О господи! Боже мой!

Галина Петровна тяжело села, и ее руки беспомощно упали.

— Кира, что с тобой происходит! Получает паек, на который и котенка не прокормишь, и даже о нем забывает! Хлеба нет! О, боже милосердный!

В темной столовой Лидия сидела у окна, заштопывая чулки под светом уличного фонаря. Александр Дмитриевич дремал, положив голову на стол.

— Хлеба нет, — возвестила Галина Петровна. — Ее величество забыла о нем.

Лидия усмехнулась. Александр Дмитриевич вздохнул и поднялся.

— Я пойду на кровать, — пробормотал он. — Когда спишь, голод чувствуется не так сильно.

— Сегодня ужина не будет. Проса совсем не осталось. Трубы лопнули. В доме нет воды.

— Я не голодна, — сказала Кира.

— У тебя одной на всю семью есть хлебная карточка. Но, боже, ты, кажется, совсем не думаешь об этом!

— Я виновата, мама. Я получу хлеб завтра.

Кира зажгла фитилек. Лидия подвинула свое шитье поближе к маленькому пламени.

— Ваш отец ничего не продал сегодня в этом своем магазине, — сказала Галина Петровна.

Спицы Лидии позвякивали в тишине.

Резко, настойчиво зазвенел дверной колокольчик.

Галина Петровна нервно вздрогнула и поспешила открыть дверь. Тяжелые сапоги пробухали через прихожую.

Управдом вошел без приглашения, его сапоги оставляли грязные следы на полу в столовой. Галина Петровна семенила за ним, тревожно комкая свою шаль. Он держал в руке лист бумаги.

— Из-за этого происшествия с водопроводными трубами, гражданка Аргунова, — не снимая шапки, сказал он, швыряя лист на стол, — домовый комитет утвердил резолюцию собрать с жильцов деньги в соответствии с их социальным положением на замену водопроводных труб, в дополнение к квартплате. Здесь список, кто сколько платит. Деньги должны быть завтра утром, не позднее десяти. До свидания, гражданка.

Галина Петровна закрыла за ним дверь и трясущейся рукой поднесла бумагу к огню.

Дубенко — рабочий — в кв. 12 — 3 млн рублей.

Рыльников — совслужащий — в кв. 13 — 5 млн рублей.

Аргунов — частник — в кв. 14 — 50 млн рублей.

Бумажка упала на пол; лицо Галины Петровны упало на ее руки на столе.

— В чем дело, Галина? Сколько там? — послышался из спальни голос Александра Дмитриевича.

Галина Петровна подняла голову.

— Здесь... не много. Спи. Я скажу тебе завтра. — У нее не было носового платка; она вытерла глаза уголком своей шали и прошаркала в спальню.

Кира склонилась над учебником. Маленькое пламя колыхалось, танцуя по страницам. Единственного предложения, которое она

могла бы прочитать или запомнить, в книге напечатано не было: «...Если я все еще буду жив — и если не забуду...»

* * *

Студенты получали хлебные карточки и бесплатные трамвайные билеты. В старых неудобных помещениях Технологического института они простаивали в очередях, чтобы получить карточки. Затем в студенческом кооперативе они опять стояли в очереди, чтобы получить хлеб.

Кира прождала час. Служащий за прилавком совал ломти черствого хлеба в медленно движущуюся вдоль него цепочку студентов. Затем нырял рукой в бочку, чтобы выудить селедку, обтирал руку о хлеб и сгребал измятые бумажные банкноты. Незавернутые хлеб и сельдь исчезали в портфелях, набитых книгами. Студенты весело насвистывали и отбивали ногами чечетку по полу, усыпанному опилками.

Молодая женщина, которая стояла в очереди за Кирой, внезапно с дружеской, доверительной усмешкой оперлась о ее плечо, хотя Кира никогда ее прежде не видела. У женщины были широкие плечи, она носила мужскую кожаную куртку; ее короткие толстые ноги были обуты в плоские мужские полуботинки; красный платок был аккуратно повязан поверх коротких прямых волос; ее глаза были широко расставлены на круглом веснушчатом лице; тонкие губы были сведены с такой очевидной и страстной целеустремленностью, что казались слабыми; перхоть белела на черной коже плеч ее куртки.

Она ткнула в направлении большого плаката, призывавшего всех студентов принять участие в выборах в Студенческий совет, и спросила:

- Ты идешь днем на собрание, товарищ?
- Нет, — ответила Кира.
- Но ты должна пойти, товарищ. Непременно. Это колоссально важно. Ты обязательно должна проголосовать.
- Я никогда в жизни не голосовала.
- Так ты первокурсница, товарищ?
- Да.
- Замечательно! Замечательно! Разве это не прекрасно?
- Что прекрасно?
- Начать свое образование в такое славное время, как сейчас, когда наука свободна и возможности открыты для всех. Я понимаю, это в новинку для тебя и должно показаться очень странным. Но не бойся, дорогуша. Я здесь старожил. Я тебе помогу.
- Я ценю ваше предложение, но...

— Как тебя зовут, дорогуша?

— Кира Аргунова.

— Меня Соня. Просто Товарищ Соня. Так меня все зовут. Знаешь, я чувствую, что мы будем прекрасными друзьями. Больше всего люблю помогать умным молодым студентам, таким как ты.

— Но, — сказала Кира, — я что-то не припомню, чтобы сказала что-то особенно умное.

Товарищ Соня громко рассмеялась.

— Но я знаю девушек, и я знаю женщин. Мы — новые женщины, которые стремятся получить полезное для общества образование и занять свое место рядом с мужчинами в мировом производстве — вместо нудной работы на кухне, — должны сплотиться. Ничего не радует меня больше, чем новая женщина-студентка. Товарищ Соня всегда будет твоим другом. Товарищ Соня — это друг для всех.

Товарищ Соня улыбнулась. Она улыбнулась прямо в глаза Киры, словно мягко и необратимо забирая в свои руки эти глаза и скрытый за ними мозг. Улыбка Товарища Сони была дружеской; теплое, настойчивое дружелюбие, взявшее на себя первую роль и намеренное ее сохранить.

— Спасибо, — сказала Кира. — Что ты хочешь, чтобы я сделала?

— Ну, начнем с того, товарищ Аргунова, что ты должна пойти на собрание. Мы выбираем наш Студенческий совет на год. Нас ждет жестокая борьба. Есть среди старых студентов сильный антипролетарский элемент. Ну, ты знаешь — наши классовые враги. Молодые студенты, такие как ты, должны поддерживать кандидатов от нашей партиячейки, которые, собственно, и стоят на страже твоих интересов.

— Ты одна из кандидатов партиячейки, Товарищ Соня?

Товарищ Соня расхохоталась:

— Вот видишь? Я говорила тебе, что ты умна. Да, я одна из них. Состою в совете в течение двух лет. Тяжелая работа. Но что я могу сделать? Товарищи студенты выбрали меня, и я должна выполнять свой долг. Ты просто иди со мной, а я скажу тебе, за кого голосовать.

— А... — сказала Кира. — А что потом?

— Я расскажу тебе. Все Красные студенты несут ту или иную общественную нагрузку. Ты же не хочешь, чтобы тебя подозревали в буржуазных наклонностях. Я организую марксистский кружок — небольшую группу молодых студентов, где я — председатель, — чтобы изучать настоящую пролетарскую идеологию, которая нам пригодится, когда мы войдем в мир и будем служить пролетарскому государству. Ведь для этого все мы и учимся, не так ли?

— А тебе не приходила в голову такая мысль, — начала Кира, — что я, может быть, здесь по очень необычной причине? Я хочу

научиться делу, которое мне нравится, и только потому, что оно мне нравится.

Товарищ Соня посмотрела в серые глаза товарища Аргуновой и поняла, что совершила ошибку.

— Что же, — сказала Товарищ Соня, уже не улыбаясь, — как хочешь.

— Но я думаю, что пойду на собрание, — сказала Кира, — и, думаю, буду голосовать.

* * *

Амфитеатр из переполненных скамеек возвышался, словно плотина, так и не сдержавшая волны студентов, которые выплеснулись на ступеньки в проходах, на подоконники, на низкие шкафы и на пороги открытых дверей.

Юный оратор стоял на трибуне, потирая ладони, словно торговец за прилавком. Его лицо выглядело словно выцветшая реклама из витрины магазина: требовалось чуть больше цвета, чтобы сделать его волосы белыми, его глаза голубыми, его кожу здоровой. Бледные губы не создавали никакого обрамления для темного провала рта, который он широко раскрыл, выкрикивая во внимательно слушающую аудиторию слова, как боевые приказы.

— Товарищи! Двери науки открыты для нас, сыновей труда! Наука сегодня в наших собственных мозолистых руках! Мы переросли старую буржуазную ложь об объективной беспартийности науки. Наука не беспартийна. Наука — это оружие в классовой борьбе. Мы здесь не для того, чтобы потворствовать своим личным мелочным амбициям. Мы переросли слюнявый эгоизм буржуа, который скулил из-за своей личной карьеры. Наша единственная цель поступления в красный Технологический институт — это выучиться на достойных бойцов авангарда пролетарской культуры и созидания!

Выступивший покинул трибуну, потирая ладони. Некоторая часть публики шумно захлопала. Большинство же осталось безучастным и не вынимало рук из карманов старых пальто или из-под парт.

Кира наклонилась к веснушчатой девушке позади себя и спросила:

— Кто это?

Девушка прошептала:

— Павел Серов. Из партячейки. Член партии. Будь осторожна. У них везде свои шпионы.

Студенты сидели беспорядочной, доходящей до потолка толпой, состоящей из бледных лиц и старых, бесформенных пальто.

Но их разделяла невидимая линия. Линия, которая не пролегла прямо поперек скамеек, а зигзагами проползла по залу. Линия, которую никто не мог видеть, но все чувствовали; линия тонкая и аккуратная, как острое лезвие ножа. Одна сторона носила упраздненные новыми правителями зеленые студенческие фуражки, носила их гордо, вызывающе, словно знак отличия и превосходства; другая сторона носила красные косынки и щегольские военные кожаные куртки. Первая сторона, большая, тоже выставила на трибуну ораторов, которые напомнили аудитории, что студенты всегда знали, как бороться против тирании, независимо от того, какой у нее цвет. Гром аплодисментов прокатился от потолка до подножия трибуны, аплодисментов слишком громких, слишком долгих, горячих, торжествующих, словно это был единственный путь, оставленный людям, чтобы выразить себя, словно их руки говорили больше, чем могли произнести их голоса.

Вторая сторона смотрела на них без улыбки, холодными глазами. Ее ораторы воинственно ревели о диктатуре пролетариата, не обращая внимания на внезапный смех, который, казалось, возник из ниоткуда. Шелуха семечек бесстыдно летела точно в носы выступавшим. Студенты были молоды и слишком уверены в том, что им нечего бояться. Они впервые поднимали голоса в то время, когда всю страну давным-давно заставили замолчать. Они были благородно-вежливы со своими врагами, и их враги были вежливо-благородны и называли их «товарищи». Все они осознавали, что идет безмолвная борьба не на жизнь, а на смерть; но только одна сторона, меньшая, знала, чья будет победа. Молодые и самоуверенные в своих кожаных куртках и красных косынках, они смотрели со смертоносной терпимостью на тех, других, таких же молодых и самоуверенных, но эта терпимость сверкала холодом припрятанной винтовки, и они были уверены, что очень скоро подойдет и ее очередь.

Павел Серов наклонился к соседу, стройному юноше с худым, истощенным лицом, и прошептал:

— Вот такие речи здесь выдают. Сколько еще предстоит работы! Посмел бы кто-нибудь на фронте...

— Фронт, товарищ Серов, — ответил мягкий, невыразительный голос его соседа, — изменился. Внешний враг разбит. Так что теперь нам нужно окапываться на внутреннем фронте.

Он наклонился ближе к товарищу Серову. Его длинные тонкие пальцы прижались к парте; он слегка приподнял один палец и медленно покачал им, обводя аудиторию от стены до стены.

— На внутреннем фронте, — прошептал он, — нет гранат, нет пушек. Когда наши враги падают — нет крови или криков. Мир

никогда не узнает, когда они были убиты. Иногда они и сами этого не знают. Сейчас, товарищ Серов, настало время борцов за красную культуру.

Когда закончилось последнее выступление, было проведено голосование. Кандидаты по очереди покидали аудиторию, в то время как другие выступали с речами о них; затем поднимались руки, и студенты, встав на столы и размахивая карандашами, подсчитывали голоса.

Кира увидела Виктора, выходящего наружу, и услышала слова его сторонника о мудрости товарища Виктора Дунаева, который руководствуется духом взаимопонимания и сотрудничества; обе стороны зааплодировали, обе стороны проголосовали за товарища Дунаева. Кира не голосовала.

— Кандидата Павла Серова просим удалиться, — возвестил председатель собрания. — Слово предоставляется товарищу Пресняковой.

Под грохот аплодисментов Товарищ Соня выскочила на трибуну, сдернула красную косынку и самозабвенно потрянула короткими, взерошенными волосами.

— Просто Товарищ Соня! — представилась она собравшимся. — Сердечный пролетарский привет всем! И особенно — нашим товарищам женщинам! Ничто не радует меня так сильно, как вид новой женщины-студентки, женщины, вырвавшейся из векового рабства тарелок и пеленок. Поэтому я здесь — Товарищ Соня — к вашим услугам! — Она подождала, пока затихнут аплодисменты. — Товарищи студенты! Мы должны бороться за наши права! Мы должны научиться выражать нашу пролетарскую волю и заставить наших врагов призадуматься. Мы должны наступить нашим пролетарским сапогом на их белые глотки и на их предательские планы. Наши красные школы только для красных студентов. Студенческий совет должен стоять на страже пролетарских интересов. Ваша задача — избрать тех, чья пролетарская преданность вне всяких сомнений. Вы слышали выступление товарища Серова. Я здесь для того, чтобы сказать вам, что он опытный боец в рядах коммунистов, член партии еще с дореволюционного времени, боец Красной армии. Давайте же все проголосуем за коренного пролетария, красноармейца, героя Мелитополя товарища Павла Серова!

Под грохот аплодисментов ее тяжелые башмаки пробухали вниз по ступенькам трибуны, живот ее вздрагивал, лицо расплылось в широкой улыбке, ладонью она вытирала капельки пота под носом.

Товарищ Серов был избран; так же, как и Товарищ Соня; так же, как и товарищ Дунаев; но были избраны и члены из числа зеленых фуражек. Они составили две трети нового Студенческого совета.

— И чтобы закрыть собрание, товарищи, — прокричал председатель, — мы споем нашу старую песню «Дни нашей жизни».

Нестройный хор торжественно загудел:

*Быстры, как волны,
Дни нашей жизни...*

Это была старая застольная песня, выросшая до звания студенческого гимна; медленная, печальная мелодия с показной веселостью в раскатах ее неодоухотворенных нот, родившаяся задолго до революции в душных комнатах, где небритые мужчины и мужеподобные женщины обсуждали философию и с показной бравадой глотали дешевую водку за тщету всего земного.

Кира нахмурилась; она не пела; она не знала эту старую песню и не желала учить ее. Она заметила, что студенты в кожанках и красных косынках тоже безмолвствуют.

Когда песня закончилась, Павел Серов прокричал:

— А теперь, товарищи, наш ответ!

В первый раз в Петрограде Кира услышала «Интернационал». Она пыталась не слушать его слов. Эти слова говорили об униженных, голодных рабах, о тех, «кто был ничем, а станет всем»; в величественном кубке музыки эти слова не опьяняли, как вино, не внушали ужас, как кровь; они были серыми, как сточная вода.

Но музыка звучала, словно четкий и уравновешенный марш тысяч ног, словно барабаны, в которые ударяют твердые и неторопливые руки. Музыка напоминала топот солдат, марширующих на рассвете на победный бой: песня будто поднималась с пылью дорог из-под солдатских сапог, словно сами солдатские подметки отбивали ее по земле.

Мелодия звучала тихо, со спокойствием необъятной силы, постепенно нарастая в еще сдерживаемом, но вскоре ставшем неконтролируемым экстазе, ноты поднимались, трепетали, повторялись, слишком восхитительные, чтобы кто-то мог сдерживать их; они были словно руки, вознесенные и машущие среди развевающихся знамен.

Это был гимн, обладающий силой марша, и марш, обладающий волшебством гимна. Это была песня солдат, несущих священные знамена, и священников, несущих мечи. Это был гимн во славу силы. Все должны были вставать, когда звучал «Интернационал».

Кира стояла, улыбаясь музыке.

— Это первая красивая вещь, которую я обнаружила в революции, — сказала она своей соседке.

— Осторожнее, — прошептала веснушчатая девушка, пугливо оборачиваясь вокруг, — кто-нибудь может услышать тебя.

— Когда все это закончится, — сказала Кира, — когда даже последняя память об их республике будет вытравлена из истории — какой из этого выйдет величественный похоронный марш!

— Ты что, идиотка? О чем ты говоришь!..

Мужская рука схватила запястье Киры и развернула ее.

Она взглянула в два серых глаза, которые казались глазами ручного тигра, но не было полной уверенности в том, действительно ли он приручен или нет. На его лице было четыре прямые линии: две брови, рот и шрам на правом виске.

В течение нескольких секунд они стояли лицом к лицу, молча, враждебные, пораженные глазами друг друга.

— Сколько, — спросила Кира, — вам заплатили за шпионство?

Она попробовала освободить свое запястье. Но он крепко держал ее.

— Ты знаешь, где место таким девочкам, как ты?

— Да. Там, где таких мужчин, как вы, не пустили бы даже через черный ход.

— Ты, должно быть, новенькая здесь. Я бы посоветовал тебе быть осторожнее.

— У нас скользкие ступеньки, а нужно подняться на четвертый этаж, так что будьте осторожны, когда придете арестовывать меня.

Он отбросил ее запястье. Она посмотрела на молчаливый рот — он говорил о многих прошедших сражениях больше, чем шрам на его лбу; он также говорил о том, что появится еще много новых ран.

«Интернационал» звенел, словно шаг, отбиваемый по земле сапогами солдат.

— Ты что, необыкновенно храбрая или просто глупая? — спросил он.

— Попробуйте сами разузнать это.

Он пожал плечами, повернулся и зашагал прочь. Он был высок и молод. Он носил кепку и кожанку. У него была походка солдата, его шаги были неторопливы и очень уверенны.

Студенты пели «Интернационал», его восторженные звуки поднимались, трепетали, повторялись...

— Товарищ, — прошипела веснушчатая девушка, — что ты надедала?

* * *

Первым звуком, который Кира услышала, когда позвонила в дверной колокольчик, был кашель Марии Петровны. Затем повернулся

ключ. В следующий момент волна дыма ударила ей в лицо. Сквозь дым она разглядела слезящиеся глаза Марии Петровны, трясущейся в ужасном кашле, и ее распухшую ладонь, прикрывавшую рот.

— Кира, дорогая, заходи, заходи, — выдавила Мария Петровна. — Не бойся. Это не пожар.

Кира окунулась в серый туман, который врезался в ее глаза словно едкий лук; Мария Петровна шаркала следом за ней, болезненно чередуя слова и кашель:

— Это печка... эти советские дрова... мы достали... не загораются... так отсырели, что нельзя... Не снимай пальто, Кира... слишком холодно. Мы открыли окна.

— Ирина дома?

— Точно, она здесь, — чистый, звонкий голос Ирины прозвенел откуда-то из тумана, — если только сможешь найти ее.

В столовой огромное двойное окно было открыто; водоворот дыма бурлил вокруг него, захлебываясь холодным воздухом улицы. Ирина сидела за столом, дуя на застывшие и посиневшие пальцы, на ее плечи было наброшено зимнее пальто.

Мария Петровна отыскала дрожащую маленькую тень в углу за буфетом и вытащила ее на свет.

— Ася, поздоровайся с кузиной Кирой.

Ася угрюмо смотрела, глаза ее были красные, а маленький влажный нос прятался в отцовском меховом воротнике.

— Ася, ты слышишь меня? И где твой носовой платок? Скажи «здравствуйте» кухне Кире.

— Здравствуйте, — пробормотала Ася, глядя в пол.

— Почему ты сегодня не в школе, Ася?

— Закрыта, — вздохнула Мария Петровна. — Школа закрыта на две недели. Нет дров.

В тумане хлопнула дверь. Вошел Виктор.

— О, здравствуйте, Кира, — холодно сказал он. — Мама, когда прекратится этот дым? Как можно учиться в такой адской атмосфере? О, мне, конечно, все равно. Если я не сдам экзамены, всего лишь не будет хлебных карточек для семьи!

Когда он вышел, дверь хлопнула еще сильнее.

Кира присела, рассматривая набросок Ирины. Ирина училась рисованию и посвящала много времени благоговейному исследованию древних шедевров в музеях; но ее быстрая рука и злонамеренный глаз создавали нахальные изображения, подходящие для газет. Она рисовала карикатуры, когда бы ей ни предложили и во все остальное время. Рисовальная доска лежала на ее коленях. Время от времени она откидывала голову и волосы назад, чтобы быстро

взглянуть сквозь дым на Асю: она рисовала набросок со своей маленькой сестры. На бумаге Ася была превращена в домового с огромными усами и животом, колдующего на спине улитки.

Василий Иванович вернулся домой с рынка. Он довольно улыбался. Простояв на рынке весь день, он продал люстру из гостиной. Ему за нее хорошо заплатили. Его улыбка стала шире, когда он увидел Киру, и он приветливо кивнул ей. Мария Петровна поставила перед ним миску с горячим супом. Она спросила робко:

— Не хочешь ли немного супа, Кира?

— Нет, спасибо, тетя Маруся. Я только что пообедала.

Она знала, что у Марии Петровны осталась только одна порция супа, припасенная для Василия Ивановича, и она видела, что Мария Петровна вздохнула с облегчением.

Василий Иванович ел, разговаривая с Кирой так, словно она была его персональной гостьей; так он разговаривал лишь с немногими из их гостей, поэтому Мария Петровна и Ирина тревожно наблюдали за улыбкой, столь редкой на его лице.

Он усмехнулся:

— Взгляни-ка на Иринины рисунки. Малюет весь день напролет. Неплохо, а, Кира? Это я про рисунки. Как Виктор в институте? Не последний, надеюсь... Ну ладно, и в нас еще кое-что осталось. Да, в нас еще кое-что осталось.

Он внезапно наклонился вперед над супом, его глаза сверкнули, голос понизился:

— Ты читала вечерние газеты, Кира?

— Да, дядя Василий. Вас что-то заинтересовало?

— Новости из-за границы. Конечно, в этой заметке не сказали многого. Они бы ни за что не пропустили. Но ты-то умеешь читать между строк. Лишь взгляни в нее и запомни мои слова. Европа зашевелилась. Ждать осталось недолго... и скоро...

Мария Петровна нервно закашляла. Она привыкла к этому; в течение пяти лет она слушала то, что Василий Иванович вычитывал между строк — о грядущем освобождении, которое так и не приходило. Она вздохнула, даже не пытаясь спорить. Василий Иванович довольно усмехнулся:

— И когда это произойдет, я готов начать опять с того момента, когда пришли они. Это будет нетрудно. Конечно, они закрыли мой магазин и растащили всю обстановку, но... — Он наклонился ближе к Кире, шепча: — Я знаю, куда они унесли ее. Я знаю, где все это сейчас.

— Вы знаете, дядя Василий?

— Я отыскал манекены в государственном обувном магазине на Большом проспекте, а кресла — в фабричной столовой

на Выборгской стороне; а люстра — люстра в новом Табачном тресте. Я не зря терял время. Я готов. Как только времена изменятся — я буду знать, где все это найти, и я снова открою свой магазин.

— Это чудесно, дядя Василий. Я рада, что они не разломали вашу мебель или не сожгли ее.

— Да, на мое счастье, они не сделали этого. Она все еще почти как новая. Я видел трещину на одном из манекенов — это позор, но это можно исправить. А... о, это самая забавная вещь, — он лукаво захохотал, как будто ему удалось перехитрить своих врагов, — вывески, Кира, ты помнишь мои вывески — позолоченное стекло с черными буквами? Так вот, я даже их нашел. Они висят над кооперативом около Александровского рынка. На одной стороне читаем: «Государственный кооператив», но с другой, с другой стороны все еще видно: «Василий Дунаев. Меха».

Он уловил выражение глаз Марии Петровны и нахмурился.

— Маруся уже больше ни во что не верит. Она не думает, что мы все это получим обратно. Она так легко потеряла веру. Как насчет этого, Кира? Ты думаешь всю свою жизнь прожить под красным сапогом?

— Нет, — сказала Кира, — это не может длиться вечно.

— Конечно, не может. Определенно не может. Вот и я говорю — не может. — Он неожиданно поднялся. — Иди сюда, Кира, я тебе кое-что покажу!

— Василий, — вздохнула Мария Петровна, — разве ты не доешь суп?

— При чем тут суп? Я не голоден. Идем в мой кабинет, Кира.

В кабинете Василия Ивановича совсем не осталось мебели, кроме стола и одного стула. Он отпер ящик стола и вытащил узелок из старого пожелтевшего носового платка. Он развязал тугой узел и, гордо и счастливо улыбаясь, распрямив сгорбленные плечи, показал Кире аккуратно перевязанные пачки крупных купюр царских времен.

Это были большие пачки, в них содержалось многотысячное состояние.

Кира задыхнулась:

— Но, дядя Василий, они... они ничего не стоят. Их запрещено использовать и даже хранить. Это... опасно.

Он рассмеялся:

— Конечно, они ничего не стоят — сейчас. Но подожди немного и увидишь. Настанет день, когда положение дел изменится. Ты увидишь, как много вот здесь, в моем кулаке.

— Но, дядя Василий, где вы достали их?

— Я купил их. Тайно, конечно. У спекулянтов. Это опасно, но их можно достать. Это мне обошлось недешево. Я скажу тебе, почему я купил так много. Ты понимаешь, как раз... как раз перед

тем, как они национализировали магазин... Я задолжал крупную сумму — за мои новые витрины, я получил их из-за границы, из Швеции, ни у кого в городе не было таких. Когда они отняли магазин, они своими сапогами расколотили витрины, но это неважно, я все еще должен за них одной фирме. Сейчас для меня нет никакой возможности заплатить — нельзя посылать деньги за границу, но я жду. Я не могу заплатить за них этим дрянным советским бумажным хламом... ха, за границей им не воспользовались бы даже в туалете. И нельзя достать золото. Но это — это будет почти как золото. И я оплачу свой долг. Я проверил. Старик из той фирмы умер, но его сын жив. Он сейчас в Берлине. Я ему заплачу. Я не люблю быть в долгу. Я никогда в жизни никому не был должен ни рубля. — Он взвесил бумажный сверток на своей огромной ладони и мягко сказал: — Послушай один совет старика, Кира. Никогда не оглядывайся назад. Прошлое мертво. Но всегда есть будущее. Всегда есть будущее. И в этом мое будущее. Прекрасная идея, а, Кира, собирать деньги?

Кира выдавила улыбку, отвернулась от него в сторону и прошептала:

— Да, дядя Василий, очень хорошая идея.

Прозвенел входной колокольчик. Затем они услышали в прихожей девичий звонкий смех. Василий Иванович нахмурился.

— Опять она здесь, — сердито сказал он. — Вава Миловская. Подруга Виктора.

— В чем дело, дядя Василий, она вам не нравится?

Он пожал плечами.

— Да нет, наверное, она неплохая. Она не то чтобы не нравится мне. Просто в ней нет ничего, что могло бы нравиться. Всего лишь легкомысленная молоденькая женщина. Не такая девушка, как ты, Кира. Пойдем, я думаю, ты с ней должна познакомиться.

Вава Миловская стояла в центре столовой словно два светлых круга: нижний и больший — длинная юбка из розового накрахмаленного ситца; верхний и меньший — завитая хризантема блестящих черных кудрей. Ее платье было всего лишь из ситца, но оно было новым и, очевидно, дорогим. Кроме того, она носила узкий бриллиантовый браслет.

— Добрый вечер, Василий Иванович! — пропела она. Ее розовая юбка взметнулась, когда она подпрыгнула, положив руки на его плечи, и чмокнула его в суровый лоб.

— А это — я знаю — Кира. Кира Аргунова. Я так рада наконец-то познакомиться с вами, Кира!

Виктор вышел из своей комнаты. Вава несколько раз повторила, что пришла проведать Ирину, но он знал, как знали и все остальные,

кто был действительный объект ее визита. Он смотрел на нее, улыбался, трепал Асю за ухо, поддразнивая ее, принес теплую шаль Марии Петровне, когда та закашлялась, рассказывал анекдоты и однажды даже заставил Василия Ивановича, который угрюмо сидел в темном углу, улыбнуться шутке.

— Я кое-что принесла, чтобы показать всем вам, — таинственно возвестила Вава, доставая маленький сверток из своей сумочки. — Кое-что... кое-что очаровательное. Такого вы еще никогда не видели.

Все головы склонились над столом, над крошечной круглой оранжево-золотой коробочкой. Вава прошептала волшебные слова:

— Из-за границы.

Они благоговейно смотрели на коробку, боясь дотронуться. Вава гордо зашептала не дыша, стараясь придать голосу непринужденность:

— Пудра. Французская. Настоящая французская. Контрабанда. Одна из папиных пациенток дала ее ему — как часть платы.

— Ты знаешь, — сказала Ирина, — я слышала, что за границей пользуются не только пудрой, но — представьте — губной помадой!

— Да, — сказала Вава, — и эта женщина, папина пациентка, пообещала достать мне губную помаду в следующий раз.

— Вава! Ты же не осмелишься пользоваться ею!

— О... Я не знаю. Может быть, чуть-чуть. Время от времени.

— Ни одна порядочная женщина не красит губы, — сказала Мария Петровна.

— Но говорят, что там, за границей, красят — и это совершенно нормально.

— Заграница, — жалобно вздохнула Мария Петровна, — такое место, должно быть, и вправду где-то существует, а? Заграница...

* * *

Снег не выпал, но сильный мороз сковал слякоть на тротуарах. Выросли первые сосульки, похожие на усы у ртов водосточных труб. Небо было чистым, сверкающим холодными блестками льда. Люди передвигались медленно, неуклюже, будто учились кататься на коньках; иногда они поскользывались и вскидывали высоко в воздух беспомощную ногу, хватаясь за ближайший фонарный столб. Лошади испуганно скользили по застекленевшим мостовым; осколки летели из-под их копыт, беспомощно бивших по льду.

Кира шла в институт. Сквозь тонкие подошвы замерзший тротуар дышал холодным воздухом ей в ступни. Она спешила, но ее ноги непрерывно скользили, придавая походке неуверенность.

Она услышала позади себя шаги, очень твердые уверенные шаги, которые заставили ее непроизвольно обернуться. Она увидела ручного тигра со шрамом на лбу. Их глаза встретились. Он улыбнулся. И она улыбнулась ему. Он прикоснулся к козырьку своей кепки.

— Доброе утро, — сказал он.

— Доброе утро, — ответила Кира.

Она посмотрела на его высокую, торопливо, но уверенно идущую по льду фигуру и на прямые плечи в кожанке.

Около перехода через дорогу от института он неожиданно остановился, ожидая ее. Она подошла. Высокий тротуар резко обрывался вниз под крутым, опасно заледеневшим углом. Он предложил руку, чтобы поддержать ее. Ее нога предательски скользнула, и тогда сильная рука сомкнулась на ее запястье и быстро, мастерски поставила ее на ноги.

— Спасибо, — сказала она.

— Я подумал, что, может быть, вам потребуется помощь. Но затем, — он посмотрел на нее с легкой улыбкой, — я решил, что вы не испугались.

— Напротив. Я очень испугалась — на сей раз, — ответила она и улыбнулась в благодарность за неожиданное понимание.

Он дотронулся до козырька кепки и прошел через ворота института в длинный коридор.

Кира увидела знакомого юношу. Указав на исчезающую фигуру в кожанке, она спросила:

— Кто это?

Юноша всмотрелся и странно, предостерегающе зашевелил губами.

— Остерегайся его, — прошептал он и выдохнул три странные буквы: — ГПУ.

— О, он оттуда? — спросила Кира.

— Оттуда, — ответил с протяжным негодующим присвистом юноша.

ГЛАВА VI

В течение месяца Кира не бывала вблизи особняка с разбитым забором вокруг сада; она старалась не вспоминать об этом месте, потому что не хотела видеть его пустым даже в своем воображении. Но десятого ноября она спокойно пошла туда, ровно, не спеша, без сомнений.

Приближалась темнота, но не от серого прозрачного неба, а от углов домов, где тени без видимой причины наливались чернотой. Ленивые завитки дыма над трубами казались ржавыми в лучах холодного, невидимого за облаками заката. В витринах магазинов стояли керосиновые лампы. Желтые круги расплывались по огромным заиндевелым стеклам вокруг крошечных оранжевых точек дрожащего пламени. Падал снег. Первый снег, втоптаный в грязь копытами лошадей, походил на бледный кофе с мелкими оплывающими кусочками сахара. Он погрузил город в мягкую, вязкую тишину. Копыта стучали сквозь слякоть с тихим влажным звуком, словно кто-то ритмично цокал языком; звук рассыпался, замирая, по длинным мрачнющим улицам.

Кира повернула за угол и увидела черные прутья, склонившиеся к снегу, и деревья, собиравшие обрывки облаков в черную сеть голых ветвей. Вдруг неожиданно ей стало страшно посмотреть в сад; она на секунду остановилась; затем посмотрела туда.

Он стоял на ступеньках особняка, засунув руки в карманы, подняв воротник. Она остановилась, чтобы всмотреться в него, но он услышал звук ее шагов и быстро повернулся.

Он пошел навстречу. Он улыбнулся ей, изогнув рот насмешливой дугой:

— Привет, Кира.

— Добрый вечер, Лео.

Она высвободила руку из тяжелой черной рукавицы; несколько секунд он держал ее руку в своих холодных сильных пальцах, затем спросил:

— Глушцы мы, а?

— Почему?

— Я не думал, что ты придешь. Да и у меня не было большого желания.

— Но ты здесь.

— Когда я проснулся сегодня утром, я уже знал, что буду здесь — признаюсь, наперекор здравому смыслу.

— Ты сейчас живешь в Петрограде?

— Нет. Я не был здесь с той ночи, когда встретил тебя. Часто мы оставались без еды, потому что я не мог поехать в город. Но я вернулся, чтобы увидеть девушку, которую встретил на углу улицы. Мои поздравления, Кира!

— Кто оставался без еды из-за того, что ты не мог поехать в город? Его улыбка сказала ей, что он понял вопрос. Но он ответил:

— Давай сядем.

Они сели на ступеньки, и она постучала ногой об ногу, стряхивая снег. Он спросил:

— Итак, ты хочешь знать, с кем я живу? Видишь? Мое пальто заштопано.

— Вижу.

— Это сделала женщина. Очень хорошая женщина, которая любит меня.

— Она хорошо шьет.

— Да, но зрение у нее уже не такое острое. И волосы у нее уже седые. Она моя старая няня, и у нее есть лачуга в деревне. Хочешь еще о чем-нибудь спросить?

— Нет.

— Знаешь, мне не нравятся вопросы, которые задают женщины, но я не уверен, понравится ли мне та, которая не даст мне насладиться отказом отвечать на них.

— Мне нечего спросить.

— Есть кое-что, что ты не знаешь обо мне.

— Я не обязана знать.

— Вот еще о чем я хочу тебя предупредить: мне не нравятся женщины, которые слишком ясно дают понять, что я им очень нравлюсь.

— Почему? Ты думаешь, я хочу, чтобы ты увлекся мной?

— Тогда почему ты здесь?

— Только потому, что ты нравишься мне. Но мне безразлично и то, что ты думаешь о женщинах, и то, сколько их у тебя уже было.

— Да, вот это был бы вопрос. И ты не получила бы никакого ответа. Но я скажу тебе, что ты мне нравишься, ты, высокомерное маленькое создание, независимо от того, хочешь ты это слышать

или нет. И я тоже задам несколько вопросов: что такое дитя, как ты, делает в Технологическом институте?

Он ничего не знал о ее настоящем, но она рассказала ему о своем будущем; о стальных каркасах, которые она собиралась построить, о стеклянных небоскребах и алюминиевом мосте. Он молча слушал ее, и уголки его губ поникли презрительно, удивленно, печально.

Он спросил:

— Нужно ли все это, Кира?

— Что?

— Усилие, творение. Твой стеклянный небоскреб. Это, должно быть, было нужно лет сто назад. Может быть, это будет нужно опять лет через сто, хотя я сомневаюсь. Так что, если бы мне дали выбор родиться в любом столетии — я бы в последнюю очередь выбрал этот проклятый век. А скорее всего, если бы я не был таким любопытным, я бы предпочел вовсе никогда не родиться.

— Если бы не был любопытен или если бы не был голоден?

— Я не голоден.

— У тебя нет мечты?

— Есть. Одна: научиться мечтать о чем-нибудь.

— Это настолько безнадежно?

— Не знаю. К чему все это? Чего ты ждешь от мира за свой стеклянный небоскреб?

— Я не знаю. Может быть, восхищения.

— Ну а я слишком тщеславен, чтобы искать восхищения. Но если ты к этому стремишься, кто сможет дать его тебе? Кто способен на это? Кто до сих пор хочет быть способным на это? Ведь это проклятие — уметь заглянуть дальше, чем позволено. Безопаснее в наши дни смотреть вниз — и чем глубже, тем надежнее.

— Можно еще бороться.

— Против чего? Конечно, ты можешь собрать в себе все самое героическое, чтобы драться против львов. Но швырнуть свою душу на священный белый огонь, чтобы драться со вшами! Нет, товарищ инженер, это неудачная конструкция. Центр тяжести выбран абсолютно неправильно.

— Лео, ты сам не веришь своим словам.

— Не знаю. Я ни во что не хочу верить. Я не хочу видеть слишком много. Кто страдает в этом мире? Те, в ком чего-то недостает? Нет. Те, в ком есть что-то, чего в них не должно быть. Слепец не может видеть. Но для того, чье зрение слишком остро, еще более невозможно не видеть. Более невозможно и более тягостно. Разве только ему удастся утратить зрение и опуститься до уровня тех, кто никогда не видел и никогда не хотел видеть.

— Ты так никогда не поступишь, Лео.

— Не знаю. Это смешно, Кира. Я нашел тебя, потому что думал, что ты поможешь мне пасть. Теперь я боюсь, что ты станешь той, кто спасет меня от этого. Но я не знаю, буду ли я благодарен тебе.

Они сидели бок о бок, разговаривая, и по мере того, как сгущалась темнота, их голоса становились тише, потому что за изогнутыми прутьями, по улице взад и вперед прогуливался постовой милиционер. Снег скрипел под его сапогами, словно новая кожа. Дома постепенно синели, мрачнели, а небо все еще оставалось светлым, словно ночь поднималась с мостовых. Желтые звезды замерцали в заиндевших окнах. На углу за деревьями вспыхнул уличный фонарь. Он швырнул на голубой снег в саду, к их ногам, треугольник розового мрамора с прожилками теней голых ветвей.

Лео взглянул на дорогие заграничные наручные часы под истрепанным манжетом рубашки. Он поднялся одним резким и гибким рывком; она осталась сидеть, с восхищением подняв голову, словно надеясь увидеть, как он повторит это движение.

— Я должен идти, Кира.

— Сейчас?

— Нужно успеть на поезд.

— Так ты опять уходишь?

— Но я кое-что уношу с собой — на сей раз.

— Новый меч?

— Нет. Щит.

Поднявшись, она встала перед ним и покорно спросила:

— Опять через месяц, Лео?

— Да. На этих ступеньках. В четыре часа дня. Десятого декабря.

— Если ты еще будешь жив и если ты...

— Нет. Я буду жив — потому что я не забуду.

Он взял ее руку еще до того, как она протянула ее, сорвал черную рукавицу, медленно поднес руку к губам и поцеловал ее ладонь.

Затем, повернувшись, он быстро зашагал прочь. Снег затрещал под его ногами. Звук и фигура расплылись в темноте, в то время как она неподвижно стояла с вытянутой рукой до тех пор, пока маленькая белая снежинка не вспорхнула на ее ладонь, на невидимое сокровище, которое она так боялась потерять.

* * *

Когда Александру Дмитриевичу удавалось что-то продать в своем магазине, он давал Кире деньги на извозчика; если торговля не шла,

она должна была идти в институт пешком. Но она ходила пешком каждый день, откладывая деньги на покупку портфеля.

Она пошла на Александровский рынок, чтобы купить его. Там можно было купить все. Новое или поношенное. Она могла купить только поношенный портфель.

Кира шла медленно, осторожно перешагивая через товары, разложенные на тротуаре. Когда она переступила через скатерть, на которой лежали серебряные вилки, голубой бархатный альбом с выцветшими фотографиями и три бронзовые иконы, маленькая старушка в черной кружевной шали и с руками цвета слоновой кости встрепенулась и с надеждой посмотрела на нее. Пожилой мужчина с черной повязкой на глазу молчаливо протянул ей картину в треснувшей позолоченной раме с изображением молодого офицера. Кашлявшая молодая женщина держала перед собой поблекшую сатиновую нижнюю юбку.

Внезапно Кира остановилась. Она увидела широкие плечи, возвышавшиеся над длинной, безнадежной очередью, выстроившейся на краю тротуара. Василий Иванович стоял молча; он не рекламировал цель своего появления на рынке — изящные часы из яркого сакского фарфора, застывшие между двух багровых, замерзших ладоней, делали это за него. Темные глаза под тяжелыми, седеющими бровями были неподвижно-безучастны; взгляд застыл где-то поверх голов прохожих.

Он увидел Киру раньше, чем у нее мелькнула мысль убежать и не причинять ему боль, но встреча, похоже, не была ему неприятна. Он окликнул ее, его мрачное лицо озарилось радостной, но странной и беспомощной улыбкой, которую он берег специально для Киры, Виктора и Ирины.

— Как ты, Кира? Рад тебя видеть. Я очень рад тебя видеть... Это? Всего лишь старые часы. Ничего особенного. Я купил их Марусе на ее день рождения... ее первый день рождения после того, как мы поженились. Она увидела их в музее. Ей очень понравились именно эти и никакие другие. Мне пришлось провести кое-какую дипломатическую работу. Потребовалось высочайшее повеление, чтобы позволили продать их из музея... Они больше не ходят. Мы и без них обойдемся.

Он прервался, чтобы с надеждой взглянуть на толстую крестьянку, которая плялилась на часы, почесывая шею. Но когда она наткнулась на глаза Василия Ивановича, то развернулась и заспешила прочь, поднимая свои тяжелые юбки высоко над валенками.

Василий Иванович зашептал Кире:

— Видишь, это совсем не веселое место. Я чувствую такую жалость ко всем этим людям, продающим здесь последние свои

пожитки и которым уже нечего ждать от жизни. Я — это другое дело, мне все равно. Какая разница, двумя безделушками больше или меньше? Придет время, и я накоплю кучу новых. Но у меня есть нечто, что я не могу продать и не могу потерять, и национализировать это нельзя. У меня есть будущее. Живое будущее. Мои дети. Ты знаешь, Ирина — она умнейший ребенок. Она всегда была первой в школе; если бы она закончила ее в старые времена, то получила бы золотую медаль. А Виктор? — Постаревшие плечи энергично выпрямились, словно у солдата на параде. — Виктор необычный молодой человек. Я не встречал молодого человека умнее Виктора. Конечно, мы иногда расходимся в суждениях, но это потому, что он молод и не совсем еще все понимает. Запомни мои слова: Виктор в будущем станет большим человеком.

— А Ирина обязательно станет знаменитой художницей, дядя Василий.

— Кира, а ты читала газеты сегодня утром? Ты только посмотри на Англию. Через месяц или два...

Толстый прохожий в котиковой шапке остановился и оценивающе прищурился на сакские часы.

— Я дам вам пятьдесят миллионов за них, гражданин, — отрезал он, указывая на часы коротким пальцем в кожаной перчатке. На эти деньги нельзя было кушать и десяти фунтов хлеба.

Василий Иванович заколебался. Он грустно посмотрел на небо, начинающее краснеть над домами, на длинную вереницу теней на тротуаре, которые поспешно, безнадежно всматривались в каждое проходящее лицо.

— Ну что же... — пробормотал он.

— Да вы что, гражданин, — повернулась к мужчине Кира, ее голос прозвучал неожиданно резко, склочно, словно у негодующей домохозяйки, — пятьдесят миллионов? Я только что предложила этому гражданину шестьдесят — и он их не продал. Я намерена предложить...

— Семьдесят пять, и я забираю их, — сказал незнакомец.

Василий Иванович тщательно пересчитал банкноты. Он даже не взглянул вслед исчезающим в толпе часам, покачивающимся у тучного бедра. Он смотрел на Киру.

— Дитя, где ты научилась этому?

Она засмеялась.

— При необходимости можно научиться чему угодно.

Затем они расстались. Василий Иванович заторопился домой.

Кира продолжила поиски портфеля. Василий Иванович пошел пешком, чтобы не тратить деньги на проезд. Темнело. Снег медленно,

равномерно падал на дорогу, приберегая скорость для долгой зимы. Толстая белая пена росла у обочин тротуаров.

На углу пара человеческих глаз посмотрела вверх на Василия Ивановича откуда-то с высоты его живота. Глаза принадлежали молодому, чисто выбритому лицу; ноги того тела, которому принадлежало лицо, казалось, провалились до самых коленей сквозь тротуар. Василий Иванович с трудом осознал, что у тела не было ног, что оно заканчивалось двумя обрубками, закутанными в грязные лохмотья. Остаток тела носил аккуратно залатанную форму офицера императорской армии; один из рукавов был пуст; в другом была рука и ладонь; ладонь безмолвно держала газету на уровне колен прохожего. На лацкане формы Василий Иванович заметил узкую оранжево-черную ленту Георгиевского креста.

Василий Иванович остановился и купил газету. Она стоила пятьдесят тысяч рублей; он отдал банкноту в миллион.

— Извините, гражданин, — сказал офицер мягким, вежливым голосом, — у меня нет сдачи.

— Оставьте себе, — грубовато пробормотал Василий Иванович. — Я все равно останусь вашим должником.

И, не оглядываясь, он побрел домой.

* * *

Кира сидела на лекции в институте. Аудитория не отапливалась. Студенты сидели в пальто и шерстяных рукавицах, некоторые прямо на полу в проходах, поскольку аудитория была переполнена.

Чья-то рука осторожно приоткрыла дверь; мужская голова просунулась в щель и бросила быстрый взгляд на стол профессора. Кира узнала шрам на правом виске. Это была лекция для начинающих, и он никогда их не посещал. Видимо, он заглянул в аудиторию по ошибке. Он уже почти совсем убрал голову и тут заметил Киру. Он зашел внутрь, бесшумно прикрыл дверь и снял кепку. Она краем глаза следила за ним. В проходе у двери было свободное место, но он тихо пробрался к ней и сел на ступеньки у ее ног.

Она не могла удержаться от искушения взглянуть вниз. Он молча поклонился, с едва заметным намеком на улыбку, и повернулся с серьезным выражением лица к столу профессора. Он сидел тихо, скрестив ноги, одна рука неподвижно лежала на колене. Кисть, казалось, состояла лишь из костей, кожи и сухожилий. Она заметила, какие впалые у него щеки, как остры углы его скул. Его кожанка была более военной, чем пушка, и более коммунистической, чем красный флаг. Он ни разу не поднял на нее глаз.

Когда лекция закончилась и множество нетерпеливых ног захотало в проходах, он поднялся, но не поспешил к двери, а повернулся к Кире.

— Как настроение сегодня? — спросил он.

— Удивлена, — ответила она.

— Чем?

— С каких пор сознательные коммунисты теряют время, слушая лекции, которые им не нужны?

— Сознательные коммунисты не жалеют времени, чтобы разобратся в том, чего они не понимают.

— Я слышала, что у них есть много более действенных путей удовлетворения любопытства.

— Они не всегда хотят использовать их, — тихо ответил он, — так что приходится многое самим для себя узнавать.

— Для себя? Или для партии?

— Иногда для обоих. Но не всегда.

Они уже вышли из аудитории и шли вместе по коридору, когда сильная рука шлепнула по спине Кире и она услышала смех, который явно звучал слишком громко.

— Так, так, товарищ Аргунова! — прокричала в лицо Кире Товарищ Соня. — Какой сюрприз! И тебе не стыдно? Прогуливаешься с товарищем Тагановым, самым красным коммунистом в наших рядах?

— Боишься, что я испорчу его, Товарищ Соня?

— Испортишь? Его? Не выйдет, дорогая, не выйдет. Ну ладно, пока. Должна бежать. У меня три митинга в четыре часа — и на все пообещала прийти!

Короткие ножки Товарища Сони гулко промаршировали по коридору, ее рука крутила тяжелый портфель, словно ранец.

— Вы идете домой, товарищ Аргунова? — спросил он.

— Да, товарищ Таганов.

— И вам безразлично, что вы будете скомпрометированы, если вас увидят в обществе очень красного коммуниста?

— Совсем нет — если ваша репутация не будет запятнана тем, что вас увидят с очень белой дамой.

Снег на улице смешался с грязью под бесчисленными спешащими ногами. Грязь смерзлась острыми, рваными клочьями. Он взял руку Кире, взглянув на нее с молчаливым вопросом — можно ли? Она ответила кивком.

Они шли молча. Затем она подняла голову, посмотрела на него и улыбнулась.

— Я думала, коммунисты никогда не делают ничего, кроме того, что они обязаны делать.

— Странно, — улынулся он, — я, должно быть, плохой коммунист. Я всегда делаю только то, что хочу.

— А как же ваш революционный долг?

— Для меня нет такой вещи, как долг. Если я знаю, что дело правое, мне хочется его делать. Если дело неправое, я не хочу его делать. Но если дело правое, а мне не хочется его делать — значит, я не знаю, что правильно, а что нет; и значит, я не мужчина.

— Разве вам никогда не хотелось чего-нибудь исключительно потому, что просто хочется?

— Конечно. Это всегда было моим главным принципом. Я никогда не стремился к тому, что не может помочь в моем деле. Потому что, видите ли, это мое дело.

— И это ваше дело — жертвовать собой ради миллионных масс?

— Нет. Ради себя повести миллионные массы туда, куда мне нужно.

— И когда вы считаете, что вы правы, вы добиваетесь своей цели любой ценой?

— Я понимаю, что вы хотите сказать. Вы хотите повторить то, что говорят многие из наших врагов: «Мы восхищаемся вашими идеалами, но чувствуем отвращение к вашим методам».

— Мне отвратительны ваши идеалы.

— Почему?

— В основном по одной причине — главной и вечной, независимо от того, сколько ваша партия обещает совершить, независимо от того, какой рай она планирует подарить человечеству. Какими бы ни были ваши остальные утверждения, есть одно, которого вы не можете избежать, одно, которое превращает ваш рай в самый неописуемый ад: ваше утверждение о том, что человек должен жить для государства.

— Ради чего же еще он должен жить?

— Вы не знаете? — ее голос неожиданно задрожал в страстной мольбе, которую она была не в силах скрыть. — Вы не знаете, что в лучших из нас есть нечто такое, до чего ни одна рука извне не должна посметь дотронуться? Нечто священное, потому и только потому, что можно сказать: «Это мое». Вы не знаете, что люди живут только для самих себя, по крайней мере лучшие из них, те, кто этого достойны? Вы не знаете, что в нас есть нечто, к чему не должны прикасаться никакое государство, никакой коллектив, никакие миллионы?

— Нет, — ответил он.

— Товарищ Таганов, как многому вам предстоит еще научиться!

Он посмотрел на нее со слабой тенью улыбки и похлопал по руке, словно ребенка.

— Разве вы не понимаете, — спросил он, — что мы не можем жертвовать миллионами во имя нескольких человек?

— А жертвовать несколькими, когда эти несколько — лучшие из лучших? Отберите у лучшего его право на вершину, и у вас не останется лучшего. Что есть ваши массы, как не миллионы глупых, съездившихся, безразличных душ, у которых нет собственных мыслей, собственных мечтаний, собственных желаний, которые едят, спят и беспомощно твердят слова, вбитые в их мозг другими? И для этих вы пожертвовали бы несколькими, кто знает жизнь, кто есть сама жизнь? Меня тошнит от ваших идеалов, потому что я не знаю худшей справедливости, чем раздавать не по заслугам. Потому что люди не равны в способностях и нельзя обращаться с ними так, будто они равны. И потому, что мне отвратительно большинство из них.

— Я рад. То же чувствую и я.

— Но тогда...

— Только я не могу позволить себе роскошь отвращения, я лучше попытаюсь сделать их достойными внимания, поднять их до своего уровня. А из вас получился бы замечательный маленький борец — на нашей стороне.

— Я думаю, вы знаете — я никогда не смогу им стать.

— Думаю, что знаю. Но тогда почему вы не боретесь против нас?

— Потому, что у меня с вами столько же общего, сколько с врагами, которые сражаются против вас. Я не хочу сражаться за людей, я не хочу сражаться против людей. Я не хочу слышать о людях. Я хочу, чтобы меня оставили в покое, я хочу жить.

— Странное требование.

— Неужели? Но что есть государство, как не слуга и не одно из полезных приспособлений для огромного числа людей, вроде электрического света или водопровода? И разве не нелепо заявление, что люди существуют для водопровода, а не водопровод для людей?

— Но если водопроводные трубы совсем вышли из строя, не будет ли столь же нелепо тихо сидеть и не прилагать никаких усилий, чтобы исправить их?

— Желаю удачи, товарищ Таганов. Но я надеюсь, что, когда вы обнаружите, что в этих трубах течет ваша собственная красная кровь, вы все еще будете верить, что их стоит чинить.

— Я не боюсь этого. Я больше беспокоюсь о том, во что такие времена, как наши, превратят такую женщину, как вы.

— Значит, вы видите, что представляют собой эти ваши времена?

— Мы все видим, мы не слепы. Я знаю, что, возможно, это крошечный ад. Но в то же время, если бы у меня был выбор, я бы хотел родиться именно тогда, когда я родился, и жить в те дни, в которые

я живу, потому что сейчас мы не сидим и не мечтаем, мы не стоим на месте, мы делаем, действуем, мы строим!

Кире нравился звук шагов рядом с ней — уверенный, неторопливый и звук голоса, который соответствовал шагам. Он служил в Красной армии. Она хмурилась, когда он говорил о своих сражениях, но с восхищением улыбалась, глядя на его шрам на лбу.

Он пронично улыбался над историей о потере фабрик Аргунова, но хмурился, с беспокойством глядя на старые башмаки Кире. Его слова боролись с ее словами, но его глаза искали в ее глазах поддержки.

Она говорила «нет» словам, которые он произносил, и «да» голосу, который произносил их.

Они остановились у афиши Государственных академических театров, трех театров, которые раньше, до революции, назывались Императорскими.

— «Риголетто», — печально сказала она. — Вы любите оперу, товарищ Таганов?

— Еще ни одной не слушал.

Она пошла дальше. Он сказал:

— Но я получаю кучу билетов от партиячейки, и у меня никогда не было времени сходить. А вы часто ходите в театр?

— Не часто. Последний раз шесть лет назад. Будучи буржуйкой, я не могу позволить себе билет.

— Если я попрошу вас, вы пойдете со мной?

— Попробуйте.

— Пойдете ли вы со мной в оперу, товарищ Аргунова?

Ее брови лукаво затанцевали. Она сказала:

— Разве у вашей партиячейки в институте нет секретного отдела с информацией на всех студентов?

Он в замешательстве слегка нахмурился:

— А что?

— Вы могли бы узнать там, что меня зовут Кира.

Он улыбнулся. Улыбка вышла неожиданно теплой на твердых, серьезных губах:

— Но это не дало бы вам возможности узнать, что меня зовут Андрей.

— Я буду рада принять твое приглашение, Андрей.

— Спасибо, Кира.

На Мойке у двери здания из красного кирпича она протянула ему руку.

— Можешь ли ты нарушить партийную дисциплину и пожать контрреволюционную руку? — спросила она.

Он твердо взял ее руку.

— Партийную дисциплину нарушать нельзя, — ответил он, — но на нее можно взглянуть пошире, ох как можно!

Они молчали, удивленные, понимающие друг друга. Глаза каждого смотрели в другие глаза дольше, чем держались руки. Затем он зашагал прочь легкими, четкими шагами солдата.

Смеясь, с взъерошенными волосами, она взбежала на четыре пролета лестницы, держа в руке старый портфель.

ГЛАВА VII

Александр Дмитриевич держал свои сбережения зашитыми в нижнюю рубашку. У него выработалась привычка время от времени подносить руку к сердцу, словно у него были боли в груди; он ощупывал сверток банкнот; ему нравилось ощущать что-то надежное кончиками пальцев. Когда ему были нужны деньги, он разрезал крепкий шов белой нитки, вздыхая по мере того, как груз становился легче. Шестнадцатого декабря он разрезал шов в последний раз.

В целях борьбы с голодом в Поволжье был введен специальный налог на частную торговлю, который надлежало уплатить, даже если это наносило смертельный удар маленькому магазинчику в булочной. Еще одно частное предприятие рухнуло.

Он ожидал этого. Подобные магазинчики открывались на каждом углу, свежие и полные надежд, словно грибы после дождя, и, словно грибы, они засыхали, не простояв и первое утро. Но некоторым везло. Он видел таких: мужчины в новых роскошных меховых шубах, с белыми отвисшими щеками, напоминавшими ему о сливочном масле на завтрак, и глазами, глазами, которые заставляли его нервно вскидывать руку к свертку банкнот. Этих мужчин видели в первых рядах партера в театрах. Они выходили из новых кондитерских с большими белыми коробками с тортами, стоившими столько, что на эти деньги можно было бы два месяца содержать семью; их видели нанимающими такси и расплачивающимися за них. Уличные мальчишки дразнили их «нэпманами», их карикатуры украшали страницы красных газет, сопровождаемые презрительными обвинениями в адрес новых буржуев-стервятников; но их теплые меховые шапки видели в окнах автомобилей, везущих по улицам Петрограда высочайших красных чиновников. Страшное слово «спекулянт» отдавалось в Александре Дмитриевиче холодной дрожью; у него отсутствовал криминальный талант.

Он оставил пустые коробки в булочной, но принес домой свою выцветшую картонную вывеску. Он аккуратно сложил ее и спрятал в выдвижной ящик, где хранил старые канцелярские папки с выпуклыми буквами названия текстильной фабрики Аргунова.

— Я не пойду в совслужу, даже если мы все умрем с голоду, — сказал Александр Дмитриевич.

Галина Петровна простонала, что надо что-то делать.

Неожиданная помощь появилась в лице бывшего библиотекаря с фабрики Аргунова. Он носил очки и солдатскую шинель и не особенно старался выглядеть чисто выбритым. Но он умел робко потирать руки и знал, как уважать власть при любых обстоятельствах.

— Ай-ай-ай, господин Александр Дмитриевич, — причитал он, — такая жизнь не для вас. А вот если мы объединимся... если вы всего лишь вложите немного денег, я сделаю всю остальную работу...

Они договорились. Александр Дмитриевич должен был варить мыло; небритый библиотекарь должен был продавать его, у него был великолепный угол на Александровском рынке.

— Что? Как его варить? — воскликнул он. — Очень просто. Я достану вам лучший рецепт мыла. Мыло сегодня — самый ходовой товар. У народа не было его так долго, что он будет вырывать его из наших рук. Мы пустим по миру всех конкурентов. Я знаю место, где мы можем купить испорченный свиной жир. Он не годится для еды — но как раз подходит для мыла.

Александр Дмитриевич потратил последние деньги, чтобы купить испорченный свиной жир. Он растопил его на чугунной печке в большом медном корыте для стирки. С закатанными до локтей рукавами, он склонился над клубящимся дымом, помешивая смесь деревянной лопаткой. Кухонная дверь должна была быть постоянно открытой: другой печки, чтобы обогревать квартиру, не было. Едкая, затхлая вонь фабричного подвала поднималась кругами от корыта к потолку. Галина Петровна, шумно откашливаясь и деликатно отставляя мизинец, резала испорченный свиной жир на кухонном столе.

Лидия играла на пианино. Она всегда хвасталась двумя достижениями: великолепными волосами, которые она каждое утро расчесывала в течение получаса, и своей игрой, которой занималась три часа в день. Галина Петровна попросила Шопена, и Лидия играла Шопена. Грустная музыка, изящная как снежинки, медленно падающие в темноте старого зимнего парка, мягко звучала сквозь туман мыльных паров. Галина Петровна не понимала, почему слезы каплют из ее глаз на нож, она решила, что это свиной жир разъедает ей глаза.

Кира села с книгой за стол. Вонь из кухни, словно маленькие острые зубы, раздирала ей глотку, но она не обращала на это никакого

внимания. Во имя того моста, который она когда-нибудь построит, ей нужно было понять и запомнить слова из книги. Но она часто прерывалась и смотрела на ладонь правой руки. Украдкой она проводила ею по щеке, от виска к подбородку. Это показалось ей уступкой всему тому, что она всегда недолюбливала. Она покраснела, но никто не мог видеть этого сквозь пары.

Мыло получилось в виде мягких, грязно-коричневых квадратиков. Александр Дмитриевич нашел старую медную пуговицу от пиджака, в котором он ходил на яхте, и выдавил якорь в уголке каждого квадратика.

— Прекрасная мысль. Торговая марка, — сказал небритый библиотекарь. — Мы назовем его: «Флотское мыло Аргунова». Отличное революционное название.

Фунт мыла обошелся Александру Дмитриевичу дороже, чем он стоил на рынке.

— Ничего страшного, — сказал его партнер. — Это даже лучше. Если люди должны платить больше, они и думать о нем будут больше. Это качественное мыло. Не то что хлам старого Жукова.

У него был поднос с ремнем, чтобы носить через плечо. Он заботливо разложил коричневые квадратiki на подносе и, насвистывая, удалился на Александровский рынок.

* * *

В холле института Кира увидела Товарища Сою. Она произносила небольшую речь для пяти новеньких студентов, взмахивая короткими руками, словно крыльями. Товарищ Соня всегда была окружена выводком молодежи.

— ...И товарищ Серов — это самый лучший борец в рядах пролетарских студентов. Революционный вклад товарища Серова невозможно переоценить. Товарищ Серов — герой Мелитополя...

Веснушчатый юноша в сдвинутой далеко на затылок солдатской фуражке, шедший вразвалку через холл, остановился и, усмехнувшись, оглянулся на Товарища Сою:

— Герой Мелитополя? А ты когда-нибудь слышала об Андрее Таганове?

Он сплюнул подсолнечной шелухой прямо в пуговицу кожаной куртки Товарища Сони и, беззаботно покачиваясь, пошел дальше. Товарищ Соня не ответила. Кира заметила, что выражение ее лица стало не самым приятным.

Улучив редкий момент, когда Товарищ Соня была одна, Кира спросила ее:

— Что за человек товарищ Таганов?

Товарищ Соня серьезно почесала затылок:

— Некоторые называют его образцовым революционером. Тем не менее — это не моя мысль — хороший пролетарий не отстраняется от других и хотя бы время от времени общается со своими друзьями-соратниками... А если у тебя, товарищ Аргунова, намерения насчет койки, то и не надейся. Он из тех святых, что спят с красными знаменами. Знакомься лучше с теми, кто это умеет.

Она громко рассмеялась над выражением лица Киры и зашагала прочь, бросив через плечо:

— Немножко пролетарской откровенности тебе не повредит.

* * *

Андрей Таганов вновь пришел в переполненную аудиторию на лекцию для первокурсников. Он нашел в толпе Киру и, локтями проложив дорогу к ней, прошептал:

— Билеты на завтра на вечер. Михайловский театр. «Риголетто».

— Ох, Андрей!

— Могу я зайти за тобой?

— Квартира четырнадцать. Четвертый этаж по черной лестнице.

— Я зайду в половине восьмого.

— Можно мне поблагодарить тебя?

— Нет.

— Садись. Для тебя я подвинусь.

— Не могу. Мне нужно идти. Я должен присутствовать на другой лекции.

Осторожно и бесшумно он пробрался к двери, на мгновение повернувшись, чтобы взглянуть на ее улыбающееся лицо.

* * *

Кира предъявила Галине Петровне ультиматум:

— Мама, мне нужно платье. Завтра я иду в оперу.

— В... оперу?! — У Галины Петровны упала луковица, которую она чистила; Лидия выронила свое вязанье.

— Кто он? — выдохнула Лидия.

— Юноша. Из института.

— Красивый?

— По-своему.

— Как его зовут? — поинтересовалась Галина Петровна.

— Андрей Таганов.

— Таганов?.. Никогда не слышала. Хорошая семья?

Кира улыбнулась и пожала плечами. Платье нашлось на дне сундука: старое платье Галины Петровны из мягкого темно-серого шелка. После трех примерок и долгих совещаний между Лидией и Галиной Петровной, после восемнадцати часов работы, в течение которых две пары плеч склонялись над масляным фитилем, а две пары рук лихорадочно мелькали иглами, для Киры было сотворено платье — простенькое платье с короткими рукавами и воротничком от рубашки, поскольку уже не осталось материала на отделку. Перед ужином Кира сказала:

— Будьте осторожны, когда он придет. Он коммунист.

— Ком... — Галина Петровна уронила солонку в тарелку с овсянкой.

— Кира! Ты же... Ты что, дружишь с коммунистами?! — задохнулась Лидия. — После стольких разговоров о том, как сильно ты их ненавидишь?

— Случилось так, что он понравился мне.

— Кира, это возмутительно. Ты не дорожишь своим положением в обществе. Привести коммуниста в наш дом! Я лично с ним даже не буду здороваться.

Галина Петровна не спорила. Она горько вздохнула:

— Да, Кира, ты, кажется, всегда отличалась умением делать тяжелые времена еще тяжелее.

На ужин была овсянка; она была тронута гнилью, и все это заметили, но никто не произнес ни слова, опасаясь испортить аппетит остальным. Ее нужно было съесть, все равно, кроме нее, ничего не было; они ели в молчании.

Когда прозвенел входной колокольчик, любопытная Лидия, несмотря на свои убеждения, поспешила открыть дверь.

— Извините, могу ли я видеть Киру? — спросил Андрей, снимая кепку.

— Да, конечно, — ледяным тоном ответила Лидия.

Кира всех представила друг другу.

— Добрый вечер, — сказал Александр Дмитриевич и больше не произнес ни звука, пристально и нервно рассматривая гостя.

Лидия кивнула и отвернулась. А Галина Петровна поспешно заулыбалась:

— Я так рада, товарищ Таганов, что моя дочь идет слушать настоящую пролетарскую оперу в одном из наших советских красных театров!

Глаза Киры встретились с глазами Андрея над пламенем фитиля. Она была благодарна ему за тот спокойный, грациозный поклон, с которым он принял эту реплику.

* * *

В Государственных академических театрах два раза в неделю были «профсоюзные дни». В эти дни обычной публике билеты не продавались; их распространяли за полцены среди профсоюзов. В холле Михайловского театра среди новых, с иголки костюмов и военных форм, тяжело шаркали несколько валенок, и мозолистые руки скромно стаскивали кожаные шапки с трепыхающимися, подбитыми мехом ушами. Некоторые были робкими и неуклюжими; другие, нахально развалившись, игнорировали впечатляющее великолепие лузганьем семечек. Жены профсоюзных начальников надменно прохаживались среди толпы: с завитыми волосами, со сверкающим маникюром и в лакированных туфлях, выпрямив спину, выделявшиеся среди толпы своими новыми платьями, сшитыми по последнему крику моды. Хромированные лимузины, звучно фыркая, подкатывали прямо к залитому огнями входу. Из них вываливались тяжелые меховые шубы, которые величаво пересекали тротуар и приподнимали руку в перчатке, чтобы швырнуть монетку оборванному торговцу программками. А они — мертвенно-бледные, замерзшие тени, подобострастно суетились среди бесплатной «профсоюзной» публики, более богатой, надменной и холеной, чем будничные посетители, покупавшие билеты за полную стоимость.

В театре повис запах старого бархата, мрамора и нафталина. Четыре массивных балкона замерли высоко у огромной люстры с хрустальными подвесками, которые разбрасывали маленькие радуги по высокому потолку. Пять лет революции не тронули торжественного величия театра, они оставили лишь один след: императорский орел был снят с огромной центральной ложи, которая некогда принадлежала царской семье.

Кира вспомнила длинные атласные шлейфы, обнаженные белые плечи и бриллианты, которые сверкали, словно подвески люстры, на груди и руках изысканно одетых дам. Теперь бриллиантов было немного; платья были темные, простые, с небольшими вырезами и длинными рукавами. Стройная, прямая, облаченная в мягкий серый шелк, она прогуливалась так же, как когда-то прогуливались те дамы, много лет назад; она держала под руку высокого молодого человека в кожаной куртке.

И когда занавес взмыл вверх и музыка зазвучала в темноте приглушенного зала, нарастая, разбухая, разбиваясь о стены, которые не могли сдержать ее, что-то вдруг сдавило Кире горло, и она глубоко вздохнула. За стенами театра остались скорлупа семечек, очереди на трамвай, красные флаги, диктатура пролетариата. А на сцене,

под мраморными колоннами итальянского дворца, женщина словно плыла на волнах музыки, плавно и грациозно покачивая руками; длинные бархатные шлейфы шуршали под ослепительным светом, а молодой, беззаботный, опьяненный музыкой и светом герцог Мантуи пел гимн юности седым, изношенным, рабским лицам в темноте зала, лицам, которые пришли сюда, чтобы забыться на мгновение, забыть свой час, день, век.

Кира лишь раз взглянула на Андрея. Он не обращал внимания на сцену, он смотрел на нее.

Во время антракта они встретили в фойе Товарища Соню под руку с Павлом Серовым. Павел Серов был безупречен. На Товарище Соне было мягкое шелковое платье, лопнувшее справа под мышкой. Она добродушно засмеялась, похлопывая Киру по плечу.

— Ну вот, ты стала совсем как пролетарий, а? Или это товарищ Таганов превратился в буржуя?

— Как ты можешь так говорить, Соня, — запротестовал Павел Серов, растянув бескровные губы в широкой улыбке. — Я могу только одобрить столь мудрый выбор товарища Аргуновой.

— Откуда вы знаете мою фамилию? — спросила Кира. — Мы никогда не встречались.

— Мы многое знаем, товарищ Аргунова, — любезно ответил он, — многое знаем.

Товарищ Соня рассмеялась и, уверенно управляя рукой Серова, исчезла с ним в толпе.

По дороге домой Кира спросила:

— Андрей, тебе понравилась опера?

— Не особенно.

— Андрей, неужели ты не видишь, как много ты упускаешь?

— Я не думаю, что что-то упускаю. Это все слишком глупо. И бесполезно.

— Разве ты не можешь наслаждаться бесполезным лишь потому, что оно прекрасно?

— Нет. Но одно мне понравилось.

— Музыка?

— Нет. То, как ты слушала ее.

Дома, на своем матрасе в углу, Кира с сожалением вспомнила, что он ничего не сказал о ее новом платье.

* * *

У Киры болела голова. Она сидела в аудитории у окна, поддерживая голову рукой, опираясь локтем на покатую парту. В прямоугольнике

окна она видела отраженную в стекле единственную электрическую лампочку под потолком и свое осунувшееся лицо с растрепанными волосами, съехавшими на глаза. Лицо и лампочка расплылись неровными тенями на фоне замершего заката за окном, заката такого же зловещего и холодного, как мертвая кровь.

Ее ноги мерзли — из коридора тянуло холодом. Воротник, казалось, слишком туго стягивал шею. Ни одна лекция еще не тянулась так долго. Было лишь второе декабря, впереди предстояло еще очень много дней ожидания и очень много лекций. Она обнаружила, что ее пальцы мягко барабанят по оконному стеклу, и каждая пара ударов состояла из двух слогов. Ее пальцы выстукивали без конца, против ее воли, имя из трех букв, которое она не хотела слышать, но слышала непрерывно, словно что-то внутри ее зывало о помощи.

Она не заметила, как закончилась лекция и как она медленно пошла вдоль длинного темного коридора по направлению к двери, распахнутой на заснеженный тротуар. Она шагнула на белую от снега улицу, борясь с холодным ветром и поплотнее запахивая пальто.

— Добрый вечер, Кира, — мягко позвал голос из мрака.

Она узнала этот голос. Ноги ее остановились, затем дыхание, затем сердце.

В темном углу у двери, прислонившись к стене, глядя на нее, стоял Лео.

— Лео... как... ты... смог?..

— Я должен был увидеть тебя.

Его лицо было суровым и бледным. Без улыбки. Они услышали торопливые шаги. Мимо пролетел Павел Серов. На мгновение он остановился, впился глазами в темноту, метнул быстрый взгляд на Киру, пожал плечами и поспешил дальше по улице. Лишь раз он оглянулся и посмотрел на них.

— Давай уйдем отсюда, — прошептала Кира.

Лео махнул рукой извозчику. Он помог ей забраться в коляску и набросил тяжелую меховую полость ей на колени. Извозчик рванул вперед.

— Лео... почему ты пришел туда?

— У меня не было иного способа найти тебя.

— И ты...

— Прождал у ворот три часа. Почти потерял надежду.

— Но разве это не...

— Испытание судьбы? Большое испытание.

— Ты приехал... снова... из деревни?

— Да.

— Что... Что ты хотел сказать мне?

— Ничего. Просто увидеть тебя.

На площади у Адмиралтейства они выбрались из коляски и пошли вдоль парапета. Нева совсем замерзла. Твердый слой льда проложил широкий белый проход между ее высокими берегами. Ноги людей протоптали длинную дорожку в снегу. Она была безлюдной.

Они спустились по крутому обледеневшему берегу вниз на лед. Они шли молча, неожиданно одинокие в белом безмолвии.

Нева зияла широкой трещиной в сердце города. Молчание ее снегов вторило молчанию неба. Трубы, издали похожие на маленькие черные спички, выпыхивали слабый коричневый салют закату расплывающимися дымками. Закат разрастался во мгле мороза и дыма; вдруг он раскололся на две части, обнажив алую, трепещущую, словно живая плоть, рану; затем она закрылась, а ее кровь продолжала растекаться выше по небу, словно по мутно-оранжевой туманной коже, которая становилась дрожаще-желтой, потом мягко-фиолетовой и постепенно наливалась несмываемой темной синевой. Высоко и очень далеко маленькие домики вырезали в небе коричневые угловатые тени; некоторые окна выхватили у неба кусочки заката, остальные же едва заметно подмигивали крошечными огоньками, холодными и иссиня-белыми, как снег. А золотой шпиль Адмиралтейства гордо держал отблеск исчезнувшего солнца высоко над помрачневшим городом.

Кира прошептала:

— Я... Я думала о тебе... сегодня.

— Ты думала обо мне?

Его пальцы больно сжали ей руку: он наклонился ближе, и она увидела угрожающе расширенные глаза, насмешливые, надменные, всепонимающие, ласковые и властные.

Она прошептала:

— Да.

Они стояли на середине реки. Лязгал трамвай, карабкаясь вверх по мосту, заставляя дрожать стальные опоры до самых корней, уходящих глубоко под воду.

— Все это время я боролся со своими мыслями.

Кира промолчала. Она стояла прямо, напряженно, неподвижно.

— Ты знаешь, что я хотел сказать тебе, — сказал он, приблизив свое лицо к ее лицу.

И, без всякой мысли, безотчетно, без колебаний, голосом, который как бы выражал чью-то волю, а не ее собственное желание, она ответила:

— Да.

Его поцелуй словно ранил ее.

Ее руки сомкнулись вокруг его шеи. Она услышала его шепот настолько близко, что, казалось, ее губы услышали это первыми:

— Кира, я люблю тебя...

И по чьей-то воле ее губы повторяли настойчиво, жадно, безумно:

— Лео, я люблю тебя... Я люблю тебя... Я люблю тебя...

Мимо прошел мужчина. Крошечный огонек папиросы вычерчивал резкие зигзаги.

Лео взял ее за руку и повлек за собой, к мосту, по глубокому нехоженому снегу, по коварному льду. Под мостом они остановились.

Она не слышала, что он говорил, не знала, что ее воротник был расстегнут; она ощущала его руки на своей груди, она чувствовала, что его губы прижимались к ее губам.

Когда трамвай начал взбираться на мост, тот судорожно вздрогнул, глухой грохот прокатился по его суставам, а после того, как трамвай исчез, он долго еще слабо постанывал.

Первыми словами, которые она запомнила, были:

— Я приду завтра.

Затем она услышала свой голос, произнесший:

— Нет. Это слишком опасно. Я боюсь, что кто-то заметил тебя.

В институте есть шпионы. Подождем неделю.

— Так долго?

— Да.

— Здесь?

— Нет. На старом месте. Поздно вечером. В девять часов.

— Будет тяжело ждать.

— Да, Лео... Лео...

— Что?

— Ничего. Мне нравится слышать твое имя.

Этой ночью, на матрасе в углу своей комнаты, она лежала неподвижно и наблюдала, как голубоватый квадрат окна окрашивался в розовое.

ГЛАВА VIII

На следующий день в коридоре института ее остановил студент с красным значком.

— Гражданка Аргунова, вас ждут в партачейке. Прямо сейчас.

В комнате партачейки за длинным, грубо сколоченным столом восседал Павел Серов.

Он спросил:

— Товарищ Аргунова, что за мужчина был с тобой у ворот вчера вечером?

Павел Серов курил. Он твердо держал папиросу в губах и сквозь дым смотрел на Киру.

Она спросила:

— Какой мужчина?

— У товарища Аргуновой что-то случилось с памятью? Тот мужчина, которого я видел с тобой накануне вечером.

На стене за Павлом Серовым висел портрет Ленина — глаза слегка прищурены, лицо замерло в полуулыбке.

— О да, я припоминаю, — произнесла Кира. — Был мужчина. Но я не знаю, кто это такой. Он спросил меня, как пройти на какую-то улицу.

Павел Серов стряхнул пепел папиросы в треснувшую пепельницу и вежливо сказал:

— Товарищ Аргунова, ты — студентка Технологического института. Несомненно, ты хочешь ею оставаться и впредь.

— Несомненно, — ответила Кира.

— Кто был тот мужчина?

— Меня он не настолько заинтересовал, чтобы я стала задавать ему подобный вопрос.

— Очень хорошо. Я не буду больше спрашивать об этом. Я уверен, что мы оба знаем его имя. Его адрес — больше мне ничего не надо.

— Так, дайте вспомнить... да, он спросил, как пройти на Садовую улицу. Вы можете поискать его там.

— Товарищ Аргунова, я напомним вам, что господа из вашей фракции всегда подозревали нас, студентов-пролетариев, в принадлежности к тайной полиции. И, знаешь, это может оказаться правдой.

— Хорошо, могу я, в свою очередь, задать вам вопрос?

— Конечно. Всегда рад услужить даме.

— Кто был тот мужчина?

Кулак Павла Серова опустился на стол.

— Товарищ Аргунова, тебе что, напомним, что здесь не шутят?

— Если так, то не скажете ли вы мне, чем мы здесь занимаемся?

— Сама поймешь, и очень, очень скоро. Ты прожила в Советской России достаточно долго и знаешь, насколько это серьезно — укрывать контрреволюционеров.

Дверь распахнулась без стука. Вошел Андрей Таганов. Его лицо не выразило ни удивления, ни каких-либо других чувств. Серов занервничал, резко вскинул папиросу к губам.

— Доброе утро, Кира, — спокойно поздоровался Андрей.

— Доброе утро, Андрей, — ответила Кира.

Он подошел к столу. Взял папиросу и наклонился к той, что была в руке у Серова. Серов торопливо вытянул руку. Серов ждал, но Андрей не произносил ни слова. Он стоял у стола и молча смотрел на Киру и Серова. Дым от его папиросы ровной струйкой поднимался вверх.

— Товарищ Аргунова, я не сомневаюсь в твоей политической благонадежности, — мягко произнес товарищ Серов, — я уверен, что тебе нетрудно будет ответить на один-единственный вопрос об известном адресе.

— Я уже сказала вам, что я не знаю его. Я никогда не видела этого человека раньше. У меня не может быть его адреса.

Павел Серов украдкой попытался определить, как на все это реагирует Андрей; но тот не шелохнулся. Серов наклонился вперед и заговорил мягко и доверительно:

— Товарищ Аргунова, я хочу, чтобы ты поняла, что тот мужчина находится в государственном розыске. Возможно, его розыск — не твоя задача... Но если ты сможешь помочь нам, это было бы очень полезно для тебя и для меня — и для всех нас, — добавил он многозначительно.

— А если я не могу помочь вам, что я должна делать?

— Ты должна идти домой, Кира, — сказал Андрей.

Серов выронил папиросу.

— Именно так, — добавил Андрей, — если только у тебя нет лекций. Если понадобишься нам — я вызову.

Кира повернулась и вышла из комнаты. Андрей сел на угол стола, скрестив ноги. Павел Серов улыбнулся; Андрей не смотрел на него. Серов откашлялся и сказал:

— Андрей, старина, надеюсь, ты не думаешь, что я... из-за того, что она твой друг и...

— Я так не думаю, — сказал Андрей.

— Я никогда не стану оспаривать и осуждать твои действия. Даже если я считаю, что не совсем этично с точки зрения партийной дисциплины отменить приказ соратника-коммуниста в присутствии постороннего.

— Какая дисциплина позволила тебе вызвать ее на допрос?

— Извини, друг. Виноват. Я всего лишь пытался помочь тебе.

— Я не просил помощи.

— Андрей, вот как это было. Я увидел ее с ним у дверей вчера вечером. Я видел его фотографии. ГПУ уже почти два месяца разыскивает его.

— Почему ты не доложил об этом мне?

— Хм, я не был уверен, что это был именно он. Я мог ошибиться... и...

— И если бы ты нам помог, это было бы в определенном смысле... полезно для тебя.

— Ну, Андрей, ты же не будешь обвинять меня в каких-то личных мотивах? Возможно, я немного превысил свои полномочия в этом деле, которое касается только ГПУ и является твоей работой, но я хотел только помочь собрату-пролетарию в его обязанностях. Ты же знаешь, что ничто не может помешать мне выполнить свой долг, даже никакие... личные симпатии.

— Нарушение партийной дисциплины — это нарушение партийной дисциплины, независимо от того, кем оно совершено.

Павел Серов посмотрел на Андрея Таганова очень пристально и медленно проговорил:

— То же самое и я не устаю повторять.

— Не советую излишне ревностно относиться к своим обязанностям.

— Конечно, это так же недопустимо, как и небрежность в работе.

— На будущее — допрашивать кого-либо по политическим вопросам в нашей ячейке буду только я.

— Как скажешь, друг.

— И если ты когда-нибудь решишь, что я не справляюсь с этой задачей, можешь доложить об этом партии и потребовать моего смещения.

— Андрей, как ты можешь говорить такое! Не думаешь же ты, что я хоть на минуту подвергаю сомнению твою неоценимую важность для партии? Кто ценит тебя больше, чем я? Разве мы не старые друзья? Разве мы не сражались вместе в окопах, под красными флагами, ты и я, плечом к плечу?

— Да, — сказал Андрей, — было.

* * *

В 1896 году в доме из красного кирпича в районе Путиловского завода не было водопровода. У каждой из пятидесяти рабочих семей, которые сгрудились на его трех этажах, была кадка, в которой запасали воду. Когда родился Андрей Таганов, добрый сосед принес кадку с замерзшей водой; он разбил топором лед и опустошил кадку. Бледные, дрожащие руки молодой матери уложили в кадку старую подушку. Это была первая кровать Андрея.

Его мама склонилась над этой колыбелью и засмеялась, засмеялась истерично-счастливо, и слезы капали на ямочки маленьких розовых ручонков ребенка. Его отец узнал о его рождении лишь через три дня. Он отсутствовал неделю, и соседи говорили об этом шепотом.

В 1905 году соседям больше не было надобности шептаться о его отце. Он не скрывал ни красного знамени, которое он нес по улицам Санкт-Петербурга, ни небольших белых листовок, которые он разбрасывал в народную почву, как сеятель, ни слов во славу первой русской революции, которые разносил его могучий голос.

Андрею шел десятый год. Он стоял в углу кухни и смотрел на медные пуговицы жандармских шинелей. У жандармов были черные усы и настоящие винтовки. Отец медленно надевал пальто. Затем он поцеловал Андрея и жену. Руки матери, будто щупальца, обвили плечи отца. Грубая рука оторвала ее от него. Мать упала на порог. Дверь осталась открытой. Удаляющиеся шаги гремели по лестнице. Волосы матери разметались по плитам лестничной площадки.

Андрей писал письма отцу под диктовку матери. Ни он, ни она никогда не ходили в школу, но Андрей научился писать сам. На месте адреса крупным, неуклюжим почерком Андрей выводил название городка в Сибири. Через некоторое время мать перестала диктовать письма. Отец Андрея так и не вернулся назад.

Андрей перетаскивал корзины с бельем, которое стирала его мать. Он был еще так мал, что мог бы спрятаться в такой корзине с головой и ногами, но он был силен. Пол в их новой — в подвале — комнате сплошь покрывала клубящаяся, прокисшая пена; белая пена кувыркалась в деревянном корыте под багровыми руками его матери,

и та же пена висела облаком под потолком. Она мешала им видеть, что на улице уже наступила весна. Но даже без пены они не смогли бы увидеть ее: их окна выходили на улицу на уровне тротуара, и сквозь их они видели только блестящие галоши, шлепающие по раскисшему снегу, да однажды кто-то уронил у окна молодой зеленый листок.

Андрею исполнилось двенадцать лет, когда умерла мать. Кто-то говорил, что ее убило кухонное корыто — оно всегда было излишне набито бельем; кто-то говорил, что виноват кухонный шкаф — в нем всегда было слишком пусто.

Андрей пошел работать на фабрику. Днем он стоял у станка. Его глаза были холодны, как сталь, руки тверды, как рычаги, а нервы напряжены, как ремни. Ночью он скрючивался среди пустых коробок на полу в углу, который снимал; эти коробки были ему нужны, чтобы свет свечи не мешал спать съемщикам остальных углов, да и Аграфена Власовна, владелица комнаты, не одобряла чтения книг. Он пристраивал свечу на полу, подносил как можно ближе к ней книгу и очень медленно читал; ветер выл и бился снегом в окно; ноги Андрея сильно мерзли, и он закутывал их в газеты, свеча оплывала, храпели соседи, Аграфена Власовна фыркала во сне, все спали, кроме Андрея и тараканов.

Он очень мало говорил, неохотно улыбался и никогда не подавал нищим милостыни.

Иногда по воскресеньям он встречал на улице Павла Серова. Они, как и все дети в округе, знали друг друга, но редко разговаривали. Павлу никогда не нравилась одежда Андрея. Волосы Павла были аккуратно прилизаны; мать водила его в церковь.

Отец Павла служил кассиром в бакалейной лавке на углу; шесть дней в неделю он вошил свои усы. По воскресеньям напивался и лупил жену. Маленькому Павлу нравилось душистое мыло, и иногда ему удавалось стянуть кусок из аптеки. По воскресеньям, надев парадный белый костюмчик, он ходил изучать Закон Божий.

В 1915 году Андрей Таганов стоял у станка. Его глаза были холоднее стали, руки — тверже рычагов, нервы — холоднее и тверже того и другого. Его кожа загорела у топок печей; его мышцы и скрытая в них воля были закалены, как металл, с которым он работал. И белые небольшие листовки, которые разбрасывал его отец, вновь появились в руках сына. Но он не разбрасывал их в толпе под пламенные речи. Он незаметно вкладывал их в осторожные руки, а крамольные слова произносились шепотом. Его имя было в списках той партии, о которой немногие осмеливались даже думать, и он рассылал по невидимым, тайным каналам Путиловского завода послания от человека по имени Ленин.

Андрею Таганову исполнилось девятнадцать лет. У него была быстрая походка, неспешная речь; он никогда не ходил на танцы. Он получал приказы и отдавал их; у него никогда не было друзей. Он одинаково, не отводя взгляда, без всякой жалости смотрел на управляющих в шубах и на нищих в валенках.

Павел Серов устроился приказчиком в галантерейный магазин. По воскресеньям он вместе с шумной толпой друзей развлекался в кабаке на углу; он откидывался на спинку стула и ругал разносчика, если обслуживание затягивалось. Он легко занимал деньги, и никто не отказывался дать в долг Павлуше. Когда он отправлялся на танцы, то надевал лакированные туфли и смачивал одеколоном носовой платок. Он обожал, обняв девушку за талию, произносить: «Мы — не какой-нибудь простолюдин, дорогая, мы — из господ».

В 1916 году Павла Серова уволили из галантерейного магазина за драку из-за девушки. Шел третий год войны. Цены были высокие, а рабочих мест мало. Зимой Павел Серов брел сквозь ворота Путиловского завода; было еще так рано и темно, что фонари над воротами резали ему опухшие, заспанные глаза; он зевал в поднятый воротник. Сначала он стеснялся своих прежних друзей, потому что ему было стыдно признаться, что он стал обыкновенным рабочим. Но позднее он начал избегать их потому, что стало стыдно, что они когда-то были друзьями. Он распространял белые небольшие листовки, произносил речи на тайных собраниях и выполнял приказы Андрея Таганова «только потому, что Андрей начал борьбу раньше меня, но подождите немного, и я встану с ним вровень». Рабочим нравился Павлуша. Теперь, когда ему случалось встретить старых приятелей, он надменно проходил мимо, словно унаследовал дворянский титул; и в соответствии с учением Карла Маркса разглагольствовал о превосходстве пролетариата над презренной мелкой буржуазией.

В феврале 1917 года Андрей Таганов возглавил толпы людей на улицах Петрограда. Он нес свой первый красный флаг, получил первое ранение и убил первого человека — жандарма. Единственным, что произвело на него впечатление, был флаг.

Павел Серов не видел триумфального восстания Февральской революции. Он сидел дома: простуда.

Но в октябре 1917 года, когда партия, членские билеты которой Андрей и Павел благоговейно носили у сердца, подняла мятеж, чтобы захватить власть, они оба были на улицах. Андрей Таганов, с взлохмаченными на ветру волосами, сражался у ворот Зимнего дворца. Павел Серов отличился тем, что остановил — после того, как бóльшая часть сокровищ исчезла, — разграбление Императорского дворца.

В 1918 году Андрей Таганов в форме красноармейца маршировал по улицам Петрограда в строю из тысяч таких же форм под звуки «Интернационала» по направлению к вокзалу, на фронт Гражданской войны. Он шел с молчаливым торжеством, как мужчина идет на собственной свадьбе.

Рука Андрея несла винтовку так же легко, как когда-то ковала сталь, она нажимала на курок так же быстро, как когда-то на рычаг станка. Его тело, молодое, гибкое, казалось виноградной лозой на солнце, когда он лежал в слякоти окопов, словно на роскошном диване. Он улыбался редко; стрелял метко.

В 1920 году Мелитополь висел на волоске между Белой армией и красными. Этот волосок разорвался темной весенней ночью. Этого момента давно все ждали. Две армии задолго заняли свои последние позиции в узкой, безмолвной долине.

На стороне Белой армии были желание удержать Мелитополь и дивизия, в пять раз превосходившая численностью противника; но было еще смутное, нарастающее негодование солдат по отношению к офицерам и угрюмая тайная симпатия к красному флагу, реющему в окопах в сотне метров впереди. На стороне Красной армии были железная дисциплина и почти невыполнимая задача.

Они стояли тихо, разделенные сотней метров — два ряда штыков, слабо поблескивавших, словно поверхность воды под черным небом, и две траншеи людей — молчаливых, напряженных, выжидающих, готовых действовать.

Черные холмы вздымались к небу на севере, черные холмы вздымались к небу на юге; между ними расстилалась узкая долина с чахлыми травинками, оставшимися среди разорванной в клочья земли. Там было достаточно места, чтобы стрелять, кричать, умирать и чтобы решить судьбы тех, кто стоял за этими холмами с обеих сторон. Штыки в окопах замерли. Замерли и травинки: ни ветер, ни дыхание из окопов не шевелили их.

Андрей Таганов стоял по стойке смирно и ждал разрешения командира для осуществления разработанного им плана. Командир сказал:

— На смерть идешь, товарищ Таганов, — десять против одного.

— Это не имеет значения, товарищ командир, — ответил Андрей.

— Ты уверен, что справишься?

— Прежде справлялся, товарищ командир, они уже созрели. Нужен лишь последний толчок.

— Пролетарское спасибо тебе, товарищ Таганов.

Затем те, в других окопах, увидели, как он вскарабкался на насыпь. Он поднял руки вверх на фоне темного неба; тело его

казалось особенно высоким и стройным. С поднятыми руками он пошел к окопам белых; он не торопился, его шаги были тверды. Травинок скрипывали, ломаясь под его ногами, и этот звук заполнил всю долину. Белые смотрели на него и молчаливо ждали.

Он остановился всего в нескольких шагах от их окопов. Он не мог видеть сотен винтовок, направленных ему в грудь; но он знал, что они есть.

Он резко снял кобуру с ремня и швырнул на землю.

— Братья! — закричал он. — У меня нет оружия. Я здесь не для того, чтобы стрелять. Я хочу всего лишь сказать вам несколько слов. Если вы не хотите их слышать — стреляйте в меня.

Офицер вскинул пистолет, другой остановил его руку. Ему не нравились взгляды их солдат; в руках они держали винтовки, но они не были направлены в незнакомца; было безопаснее дать ему высказаться.

— Братья, зачем вы воюете с нами? Вы убиваете нас за то, что мы хотим, чтобы вы жили? За то, что мы хотим, чтобы у вас был хлеб и земля, на которой растить его? За то, что мы хотим открыть вам дверь из вашего хлева в государство, где вы будете людьми, которыми вы рождены, но забыли это? Братья, за ваши жизни сражаемся против ваших же винтовок! Когда наш — и ваш — красный флаг взметнется...

Короткий, резкий выстрел прозвучал так, словно в долине что-то лопнуло, и крошечное голубое пламя вырвалось из револьвера офицера, совсем рядом с его посиневшими губами. Андрей Таганов вздрогнул, его руки очертили круг на фоне неба, и он повалился на изрытую землю.

Затем раздалась еще выстрелы в окопах белых, но ни одного с другой стороны. Тело офицера выбросили из окопа, и белогвардеец, протянув руки к красным солдатам, закричал: «Товарищи!» Послышалось громкое «ура!» и топот сапог по долине, замелькали красные флаги; руки подняли тело Андрея, его лицо на черной земле было белым, грудь была теплой и липкой.

Затем красноармеец Павел Серов прыгнул в окопы белых, где красные и белые солдаты трясли друг другу руки, и закричал, стоя на куче мешков: «Товарищи! Позвольте мне поздравить вас с пробуждением классового сознания! Еще один шаг в истории на пути к коммунизму! Долой проклятых буржуев-эксплуататоров! Долой кровопийц, товарищи! Кто не работает, тот не ест! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Как сказал товарищ Карл Маркс, если мы, класс...»

Андрей Таганов оправился после ранения через несколько месяцев. Остался шрам на груди. Шрам на виске он получил позже,

в другом бою. Он не любил говорить об этом другом сражении, и никто не знал, что произошло после сражения.

Это был бой под Перекопом в 1920-м, когда Крым в третий и последний раз перешел в руки Советов. Когда Андрей открыл глаза, он увидел лишь белый туман, навалившийся ему на грудь, тяжелым грузом прижав к земле. В тумане маячило что-то красное и пылающее, прокладывая дорожку к нему. Он открыл рот и вдруг увидел, как туман вырывается из его губ, растворяясь в таком же тумане сверху. Затем он подумал, что очень холодно, и именно холод приковал его к земле такой болью, словно иглы пронзали каждый его мускул. Он сел; в следующее мгновение он понял, что это был не только холод в мышцах, а еще темная дыра с кровью на бедре и кровь на правом виске. Он понял также, что белый туман не плотно прилегал к груди; оставалось достаточно места, чтобы встать; туман висел высоко в небе, и алый рассвет вдалеке пронзал его красной нитью.

Он встал. Звук его шагов по земле казался слишком громким в бездонной тишине. Он откинул волосы с глаз и подумал о том, что белый туман — это замерзшее дыхание людей, находившихся рядом. Но он понимал, что эти люди больше уже не дышат. Кровь выглядела коричневато-фиолетовой, и он не мог определить, где заканчивались тела и где начиналась земля и были ли белые пятна хлопьями тумана или лицами людей.

У своих ног он увидел тело с флягой на бедре. Фляжка не пострадала, но тело не двигалось. Он наклонился, красная капля крови с его виска упала на флягу. Он начал пить.

Чей-то голос произнес: «Дай глотнуть, брат». К нему через рытвину подползало нечто, оставшееся от человека. На нем не было шинели, лишь белая рубашка и сапоги, которые тащились вслед за рубахой, хотя казалось, что с туловищем их ничего не связывает.

Андрей знал, что это один из белых. Он приподнял его голову и просунул горлышко фляги между губами, которые были цвета крови, что запеклась на земле. В груди этого мужчины забулькало, и его тело конвульсивно задергалось. Больше никто вокруг не шевелился.

Андрей не знал, кто победил в ночном бою; он не знал, захватили ли они Крым и — что было важнее для многих большевиков — захватили ли они капитана Карсавина, одного из последних, кого следовало опасаться в Белой армии; человека, который унес жизни многих красных, человека, за чью голову Советами была назначена большая награда. Андрею надо было идти. Ведь где-то эта тишина должна была закончиться. Где-то должны быть люди — белые или красные, он не знал — кто, но побрел на восход солнца. Ступив

на рыхлую землю, влажную от холодной, но чистой росы, на пустую, ведущую куда-то вдаль дорогу, он услышал позади себя какое-то шуршание. Белогвардеец двигался за ним. Он опирался на палку, и его ноги переступали, не отрываясь от земли. Андрей остановился и подождал его. Губы мужчины раздвинулись в полуулыбке. Он произнес:

— Я могу пойти за тобой, брат? Я не слишком... крепок, чтобы пойти в одиночку.

Андрей сказал:

— Ты и я не можем идти в одну сторону, приятель. Когда мы найдем людей — это будет смерть или для тебя, или для меня.

— Испытаем судьбу, — сказал мужчина.

— Испытаем, — сказал Андрей.

Они вместе побрели на восход. Высокие обочины тянулись вдоль дороги, тени сухих кустов нависли над их головами, тонкие ветки казались широко растопыренными пальцами скелета. Корни деревьев расплзлись по дороге, и четыре ноги с молчаливым усилием медленно переступали через них. Впереди небо прояснялось. На лбу Андрея отпечаталась розовая тень; маленькие бусины пота на левом виске были прозрачны как стекло. Белогвардеец шумно дышал, глубоко в его груди словно перекатывались игральные кости.

— До тех пор, пока человек может идти... — сказал Андрей.

— ...он идет, — сказал попутчик.

Их взгляды встретились, словно поддерживая друг друга.

Маленькие красные капли с правой и с левой стороны отмечали их путь на мягкой, влажной земле.

Вскоре мужчина упал. Андрей остановился. Мужчина сказал:

— Иди.

Андрей забросил руку мужчины через свое плечо и побрел дальше, слегка пошатываясь под ношей.

Мужчина сказал:

— Ты глупец.

— Мужчина не бросает хорошего солдата, независимо от того, под какого цвета флагом тот воюет, — сказал Андрей.

Мужчина сказал:

— Если мы выйдем к моим — я прослежу, чтобы они с тобой помягче.

— А я позабочусь, чтобы тебя доставили в тюремный госпиталь и обеспечили хорошую кровать, если мы выйдем к моим, — сказал Андрей.

Он шел осторожно, потому что не мог позволить себе упасть вместе с ношей. Он внимательно прислушивался к слабому стуку сердца своего спутника.

Туман растворился, и небо засверкало, словно огромная печь, где золото плавилось не в жидкость, а в пылающий чад. На фоне золота они увидели сгрудившиеся далеко вдали черные коробки деревеньки. Длинный шест возвышался над постройками, на нем висел развевающийся на ветру флаг, как крошечное черное пятнышко на фоне восхода. И глаза Андрея, и полубесчувственные глаза на его плече пристально всматривались в едва видимый флаг с одним вопросом. Но они все еще были слишком далеко.

Когда они увидели цвет флага, Андрей остановился, осторожно положил мужчину на землю и вытянул руки вперед, как бы в приветствии. Флаг был красным.

Мужчина сказал отчужденно:

— Оставь меня здесь.

— Не бойся, — сказал Андрей, — мы не так уж жестоки по отношению к братьям солдатам.

— Нет, — сказал мужчина, — не к братьям солдатам.

И тут Андрей увидел оторванный рукав шинели, висящий у мужчины на ремне, на плече этого рукава был пришит эполет капитана.

— Если в тебе есть жалость, — сказал тот, — оставь меня здесь.

Но Андрей убрал лишние волосы со лба мужчины и внимательно, в первый раз, всмотрелся в его молодое, неукротимое лицо, которое он столько раз видел на фотографиях.

— Нет, — медленно выдавил Андрей, — я не могу сделать этого, капитан Карсавин.

— Я хочу умереть здесь, — сказал капитан.

— Никто не станет испытывать судьбу с таким врагом, как ты.

— Да, — сказал капитан, — никто.

Он приподнялся на одной руке, его лоб был очень бледен. Он смотрел на восход.

— Когда я был маленьким, я очень хотел увидеть восход. Но мать никогда не разрешала мне выходить так рано. Она боялась, что я простужусь.

— Я дам тебе немного отдохнуть, — сказал Андрей.

— Если в тебе есть жалость, — произнес капитан Карсавин, — ты застрелишь меня.

— Нет, — сказал Андрей, — я не могу.

Они замолчали.

— Человек ты или нет? — спросил капитан Карсавин.

— Что тебе нужно? — спросил Андрей.

— Твой револьвер, — ответил тот.

Андрей посмотрел в темные спокойные глаза капитана и протянул ему руку. Тот крепко пожал ее. Андрей отдал капитану свой револьвер.

Затем он расправил плечи и пошел к деревне. Услышав выстрел, он даже не обернулся. Он продолжал идти твердой походкой, подняв голову, не отрываясь, смотря на красный флаг, который развевался на фоне рассвета. За ним тянулись маленькие красные капельки, которые впитывались в рыхлую и влажную землю, но лишь по одной стороне дороги.

ГЛАВА IX

С «Флотским мылом Аргунова» вышел полный провал. Небритый библиотекарь почесал шею, пробормотал что-то о бесчестной конкуренции при капитализме и исчез с деньгами, вырученными от продажи трех кусков. Александр Дмитриевич остался один в полном отчаянии, с подносом, полным мыла. Однако скоро Галина Петровна, благодаря своей неумной энергии, нашла новую сферу деятельности.

Их новый партнер носил черную каракулеву шапку и такой же воротник. Тяжело дыша после восхождения на четвертый этаж, он достал из таинственных глубин своего просторного, подбитого мехом пальто толстую пачку банкнот, слюнявя пальцы, отсчитал несколько штук. Он очень спешил.

— Есть два вида, — объяснил он, — кристаллики в стеклянных пузырьках и таблетки в картонных коробочках. Я буду поставлять товар, вы — расфасовывать. Но помните: в коробочку, на которой написано «100», нужно класть только восемьдесят семь таблеток. За сахаринном — будущее!

У господина в каракулевой шапке был большой штат: целая сеть семей занималась фасовкой товара, сеть мелких торговцев продавала его на улицах и, наконец, сеть контрабандистов неведомым образом доставляла сахарин из далекого Берлина.

В столовой Аргуновых четыре человека при свете фитиля монотонно, аккуратно, отчаянно отсчитывали: шесть маленьких кристалликов из яркой заграничной упаковки в каждый стеклянный пузырек и восемьдесят семь аккуратных белых таблеток в каждую картонную коробочку.

Заготовки для коробочек поступали в виде больших бумажных листов, которые нужно было разрезать и свернуть; на одной стороне зелеными буквами было по-немецки написано «Настоящий немецкий сахарин», а другая сторона пестрила яркими цветами рекламных объявлений на русском языке.

— Прости, Кирочка, я знаю, что это плохо скажется на твоей учебе, — сказала Галина Петровна, — но тебе придется помогать. Ведь нужно что-то есть.

В тот вечер в столовой у фитиля работали только трое, Александра Дмитриевича забрали на работы. В Петрограде мели метели; снег лежал толстым, тяжелым слоем на питерских мостовых, для его уборки призвали всех частных и неработающих буржуев. На рассвете они должны были являться на работу. Они кряхтели, из их ноздрей шел пар, через дыры в старых рукавицах виднелись их красные от мороза руки; согнувшись, они работали, их лопаты жадно вгрызались в снеговые горы. Лопаты им выдавали, а деньги нет.

Пришла Мария Петровна. Кашляя, она размотала с шеи длиннющий шарф и стряхнула с себя снег.

— Нет-нет, Маруся, — возразила Галина Петровна, — не надо нам помогать. Из-за этой сахариновой пыли ты начнешь кашлять. Садись у печи, согрейся.

— 85... 86... 87... Что новенького, тетя Маруся? — спросила Лида.

— Тяжки грехи наши, — вздохнула Мария Петровна, — а что, это вещество ядовито?

— Нет, оно безвредно, это просто новый сахар, десерт времен революции.

— Василий продал мозаичный столик из гостиной... выручил пять миллионов рублей и четыре фунта сала. Я сделала омлет из яичного порошка, что мы получили в кооперативе. Никто не убедит меня, что он сделан из свежих яиц.

— 16... 17... 18... Говорят, что их нэп провалился, Маруся, 19... 20... и что теперь они собираются вернуть дома их владельцам.

Мария Петровна вытащила из сумочки пилку для ногтей и стала механически подтачивать ногти. Руки всегда были предметом ее гордости, и она не собиралась запускать их теперь, хотя иногда ей и казалось, что они немного изменились.

— Вы слышали о Борисе Куликове? Он торопился и хотел на ходу вскочить в набитый трамвай. Ему отрезало обе ноги.

— Маруся! Что у тебя с глазами?

— Не знаю, в последнее время я так много плачу, и без всякой причины.

— Нет сейчас душевного покоя, тетя Маруся, — вздохнула Лида, — 58... 59... Варвары! Безбожники! Они забрали из церквей золотые иконы, чтобы где-то накормить голодающих. Они вскрыли святые мощи, 63... 64... 65... Господь нас всех покарает за их святотатство.

— Ирина потеряла продуктовую карточку, — вздохнула Мария Петровна, — а новой не получить до конца месяца.

— Неудивительно, — холодно заметила Лидия, — на Ирину совершенно нельзя положиться.

Лидия невзлюбила свою двоюродную сестру с тех пор, как та по своей привычке выражать свое суждение о характерах людей в карикатурах, изобразила Лидию в виде скумбрии.

— Что это за пятна у тебя на носовом платке, Маруся? — спросила Галина Петровна.

— А... ничего, он просто грязный... извините. Я больше не могу спать по ночам. Кажется, что ночная рубашка липнет к телу. Я так волнуюсь за Виктора. Он приводит в дом таких странных людей. Они не раздеваются в прихожей и стряхивают пепел прямо на ковер. Думаю, что они... коммунисты. Василий ничего не говорит мне. Я боюсь. Я знаю, что он думает... Коммунисты у нас в доме!

— Вы не единственные, — сказала Лидия и покосилась на Киру. Та набивала кристаллики в стеклянную трубку.

— Я пытаюсь поговорить с Виктором, а он отвечает: «Дипломатия — это высшее искусство!» Тяжки грехи наши!

— Ты бы лучше лечила кашель, Маруся.

— О, это ничего! Это от холодной погоды. Все доктора — тупицы. Они не знают, о чем говорят.

Кира пересчитывала в ладони маленькие кристаллики. Она старалась не дышать глубоко, иначе белый порошок больно щипал горло.

Мария Петровна закашлялась:

— Да, Нина Мирская... Вообразите! Не зарегистрировала свой брак даже в советских органах! А ведь ее отец, Господи, упокой его душу, был священником. Они просто спят вместе, как кошки.

Лидия прокашлялась и покраснела.

Галина Петровна сказала:

— Какой стыд! Эта новая «свободная» любовь погубит страну. Но, слава богу, ничего подобного нет в нашей семье. Некоторые все еще следуют моральным нормам.

Зазвонил звонок.

— Это отец, — сказала Лидия и побежала открывать дверь. Это был Андрей Таганов.

— Извините, могу ли я видеть Киру? — спросил он, стряхивая снег с плеч.

— О!.. Что же, я не могу вам воспрепятствовать в этом, — высокомерно ответила Лидия.

Когда он вошел в комнату, Кира поднялась.

— О, какой сюрприз! — воскликнула Галина Петровна. Руки ее затряслись, и из наполовину наполненной коробочки, которую она держала, посыпались таблетки сахарина. — Да... очень приятно...

Ну, как вы поживаете? Ах, я забыла вас представить. Андрей Федорович Таганов. А это — моя сестра, Мария Петровна Дунаева.

Андрей поклонился; Мария Петровна удивленно взглянула на коробочку в руках сестры.

— Можно с вами поговорить наедине, Кира? — спросил Андрей.

— Извините нас, — сказала Кира, — пойдете сюда, Андрей.

— Я не верю своим ушам, — округлила глаза Мария Петровна, — в твою комнату? Ну почему современная молодежь ведет себя, как... как коммунисты?

Галина Петровна выронила коробочку; Лидия тихонько пнула тетю в лодыжку. Андрей пошел за Кирой в ее комнату.

— У нас нет света. Только фонарь на улице. Садись сюда, на кровать Лидии.

Андрей сел. Она устроилась на расстеленном на полу матраце, напротив него. Рядом с ней, в квадрате света от уличного фонаря, лежала тень Андрея. В дальнем углу, у икон Лидии дрожал маленький красный язычок лампы.

— Я по поводу сегодняшнего утра, — сказал Андрей, — и Серова.

— Да?..

— Не беспокойся ни о чем. Он не имел права допрашивать тебя. Только я могу выдать разрешение на твой допрос, но никогда этого не сделаю.

— Спасибо, Андрей.

— Я знаю, что ты думаешь о нас. Ты откровенна, но не интересуешься политикой. Для нас ты не опасна, я тебе доверяю.

— Андрей, я не знаю адреса того мужчины.

— Я не спрашиваю тебя о твоих знакомых. Но, пожалуйста, не позволяй им ни во что себя втягивать.

— Андрей, а ты знаешь, кто он такой?

— Давай не будем об этом, Кира.

— Да... Но можно задать тебе один вопрос?

— О чем?

— Почему ты заботаешься обо мне?

— Потому что я верю тебе и надеюсь, что мы — друзья. Но не спрашивай, почему я надеюсь на это, — я и сам не знаю.

— Зато я знаю. Это оттого... что, если бы наши души, которых у нас нет, встретились — твоя и моя, — они разорвали бы друг друга на кусочки, а потом увидели бы, что корни у них одни и те же. Не знаю, понятно ли это тебе? Видишь ли, я не верю в душу.

— Я тоже не верю. А что это за корни?

— Ты веришь в Бога, Андрей?

— Нет.

— Я тоже. Но это — мой любимый вопрос. Из тех, что вывернуты наизнанку.

— Как это?

— Ну, если бы я спросила людей, верят ли они в жизнь, они бы не поняли меня. Неудачный вопрос. Он может значить многое и не значить ничего. Поэтому я спрашиваю, верят ли они в Бога. И если они говорят «да», значит, они не верят в жизнь.

— Почему?

— Любой бог — какой бы смысл ни вкладывали в это слово — это воплощение того, что человек считает выше себя. А если человек ставит выдумку выше самого себя, значит, он очень низкого мнения о себе и своей жизни. Знаешь, это редкий дар — уважать себя и свою жизнь, желать самого лучшего, самого высокого в этой жизни только для себя! Представлять себе рай небесный, но не мечтать о нем, а стремиться к нему, требовать!

— Ты странная девушка.

— Видишь, мы с тобой оба верим в жизнь. Но ты хочешь бороться за нее, убивать и даже умереть ради нее, а я лишь хочу жить ею.

Из-за закрытой двери слышалась музыка Шопена. Это Лидия, отдыхая от счета сахарина, играла на пианино.

— А знаешь, это прекрасно, — вдруг сказал Андрей.

— Что прекрасно?

— Музыка.

— А я думала, что музыка тебе безразлична.

— Да, но почему-то эта музыка мне нравится, здесь, сейчас.

Они сидели в темноте и слушали. Где-то внизу, на улице завернул за угол грузовик. Тонко задрожало оконное стекло. Квадрат света, с тенью Андрея в нем, поднялся с пола, как привидение пронесся по стенам и вновь замер у их ног. Когда музыка умолкла, они вернулись в столовую, где Лидия все еще сидела за пианино.

— Это было прекрасно, Лидия Александровна, — неуверенно сказал Андрей, — не могли бы вы еще поиграть?

— Извините, — сказала она, поспешно вставая со стула, — я устала.

И с видом Жанны д'Арк она вышла из комнаты.

Мария Петровна поежилась в кресле, словно стараясь избежать взгляда Андрея. Когда она закашлялась и Андрей посмотрел на нее, она пробормотала:

— Я всегда говорила, что современная молодежь недостаточно берет пример с коммунистов.

Прощаясь с Кирой у дверей, Андрей сказал:

— Наверное, мне не следует приходить к тебе — это доставляет неудобства твоей семье. Ничего страшного. Я все понимаю. Я ведь увижу тебя в институте?

— Конечно, — ответила Кира. — Спасибо тебе, Андрей, и спокойной ночи.

* * *

Лео стоял на крыльце пустого особняка. Он даже не пошевелился, когда услышал шаги Киры, пробравшейся к нему через сугробы. Он стоял неподвижно, засунув руки в карманы.

Когда она подошла к нему, их глаза встретились. Этот взгляд значил больше, чем поцелуй. Затем его руки стиснули ее с такой дикой силой, словно он хотел в ключья разорвать ее пальто.

— Кира... — вымолвил он.

В его голосе прозвучало что-то странное, пугающее. Она сорвала с него шапку и, приподнявшись на цыпочки, дотянулась до его губ своими. Ее пальцы перебирали его волосы.

— Кира, я уезжаю, — сказал он.

Ее взгляд изменился, притих, голова немного наклонилась к одному плечу, в глазах — вопрос, но не понимание.

— Сегодня ночью я уезжаю. Навсегда. В Германию.

— Лео... — произнесла она.

Глаза ее раскрылись шире, но не были испуганными.

Он говорил, словно вгрызаясь в каждое слово, словно сами звуки слов, а не их значение, источали ненависть:

— Я преступник, Кира. Контрреволюционер. Я должен покинуть Россию, прежде чем они доберутся до меня. Я только что получил деньги из Берлина от тети. Мне переправили их контрабандой. Я только этого и дожидался.

— Ты уезжаешь сегодня ночью? — спросила она.

— Да, на лодке контрабандистов. Они вывозят из этой волчьей ямы человеческие тела и отчаянные души, такие как моя. Если нас не обнаружат, то мы доберемся до Германии. Если же нас поймают... не думаю, что всех приговорят к расстрелу, но я еще не слышал, чтобы кого-то помиловали.

— Лео, ты ведь не хочешь покинуть меня.

Он посмотрел на нее скорее с ненавистью, чем с нежностью.

— Иногда мне хочется, чтобы нас поймали и вернули назад.

— Лео, я поеду с тобой.

Он не удивился.

— Ты отдаешь себе отчет, какому риску ты себя подвергаешь?

— Да.

— Ты знаешь, что рискуешь жизнью, если мы не сумеем добраться до Германии, да и если сумеем — тоже?

— Да.

— Лодка отходит через час. Это далеко. Нужно ехать немедленно. На сборы времени у тебя нет.

— Я готова.

— Нельзя никому ничего говорить, даже попрощаться по телефону.

— Мне не нужно ни с кем прощаться.

— Хорошо. Пойдем.

Он подобрал шапку и, не говоря ни слова, быстро зашагал к улице, не глядя на нее, не замечая ее присутствия. Он остановил сани и назвал извозчику адрес. Острые полозья врезались в снег, а злой ветер вцепился в их лица.

Они завернули за угол, проехали обвалившийся дом; занесенные снегом кирпичи были разбросаны по всей улице. Свет от фонаря, стоящего за домом, проникал в пустые комнаты, освещая каркас железной кровати, который болтался, зацепившись за что-то наверху. Продавец газет выкрикивал грубым голосом: «“Правда”!.. “Красная газета”! Покупайте!»

— Там, — прошептал Лео, — там авто... бульвары... огни...

В дверях дома стоял пожилой мужчина, занесенный снегом. Голова его опустилась на грудь. Он спал, склонившись над подносом с домашними пирогами.

— ...Помада и шелковые чулки... — прошептала Кира.

Бездомный пес вынюхивал что-то возле помойной бочки, стоявшей под темным окном кооператива.

Лео прошептал:

— ...Шампанское, радио, джаз...

— ...Словно «Песня разбитого бокала»... — прошептала Кира.

Мужик пробурчал, согревая дыханием руки:

— Сахарин, граждане!

Какой-то солдат грыз семечки, напевая песню про яблочко.

Следом за санями несло ветром отклеившиеся плакаты, которые, казалось, метались от дома к дому. Все оставалось позади: красное, белое, оранжевое, серпы, молоты, колеса, вши, аэропланы.

Шум города утихал у них за спиной. К небу тянулись черные фабричные трубы. Через улицу, от дома к дому, был протянут канат, на котором висел, словно занавес, огромный плакат. Извиваясь на ветру в немислимых конвульсиях, он кричал улице и ветру:

ПРОЛЕТАР... НАША КОЛЛЕКТИ... РАБ... КЛАСС...
БОРЬБУ ЗА СВОБ... БУД...

Глаза их встретились, и этот взгляд был словно рукопожатие. Лео, улыбнувшись, сказал:

— Я не мог просить тебя ехать со мной. Но почему-то я знал, что ты поступишь именно так.

Они остановились на какой-то немощной улице, возле ограды. Лео заплатил извозчику, и они медленно пошли пешком. Лео с опаской проследил за санями, до тех пор, пока они не скрылись за углом. Он сказал:

— До моря еще три километра. Ты не замерзла?

— Нет.

Он взял ее за руку. Они пошли по деревянному настилу вдоль ограды. Где-то залаяла собака. Голое дерево гнулось и скрипело на ветру.

Они свернули с настила. Снега было по щиколотку. Теперь они шли полем, направляясь в бездонную темноту.

Она двигалась тихо и осторожно, как двигаются перед лицом чего-то неизбежного. Он не выпускал ее руки. Позади них дышал огоньками город. А впереди то ли небо опустилось на землю, то ли земля поднялась к небу; тела Лео и Киры словно раздвигали их, небо и землю.

Снег уже доходил до колен. Ветер рвал с них одежду, которая развевалась на ветру, словно паруса во время шторма. Они шли согнувшись. Холод больно обжигал лицо.

Там, за снегами, их ждал другой мир. За ними находилось то изобилие, которому, словно какому-то идолу, поклонялась оставшаяся позади страна: поклонялась страстно, раболепно, трагично. Там, за границей, начиналась жизнь.

Когда они остановились, ветер внезапно утих. Они смотрели в черную бездну, не видя ни неба, ни горизонта. Где-то далеко внизу слышался странный свистяще-шлепающий звук, будто кто-то выплескивал воду из ведер через равные промежутки времени.

— Тихо! — прошептал Лео.

Он повел ее по узкой, скользкой тропинке. Она с трудом разглядела мутную тень, покачивавшуюся в пустоте, мачту, слабую искру чиркнувшей спички.

На шхуне было темно. Она не замечала фигуры человека, стоявшего на их пути, до тех пор, пока луч света карманного фонаря не осветил лицо Лео, скользнув по его плечу, на мгновение задержался на ней, а затем исчез. Она увидела черную бороду и сжатый в руке пистолет, который, однако, был опущен.

Лео пошарил в кармане и затем что-то передал бородатому.

— Еще за одного, — сказал он, — эта девушка едет со мной.

— У нас больше нет свободных кают.

— Ничего, поместимся в моей.

Они ступили на слегка покачивавшуюся палубу. Из темноты вынырнул еще кто-то и показал дверь в каюту. Лео помог Кире спуститься по трапу. В трюме горел свет и суетились тени; прямо на них молча смотрел человек с аккуратной бородкой и георгиевским крестом на груди; стоявшая в дверях женщина в полинявшем парчовом плаще с опаской смотрела на них, сжимая в дрожащих руках маленькую деревянную шкатулку.

Проводник открыл дверь и кивком пригласил их войти внутрь.

В каюте умещалась лишь одна кровать, оставляя узкий проход между некрашеными потрескавшимися стенами. В углу была приспособлена доска, служившая столом. Над столом висел закоптившийся фонарь, отбрасывавший желтую дрожащую полоску света. Пол тихо опускался и поднимался, словно дыша. Иллюминатор был плотно зашторен.

Лео закрыл дверь и сказал:

— Снимай пальто.

Она повиновалась. Он тоже разделся и бросил пальто и шапку на стол. На нем был толстый черный свитер, плотно облегающий плечи и руки. Первый раз они увидели друг друга без пальто. Кире казалось, что она совсем голая. Она немного отстранилась.

Каюта была такой тесной, что казалось, даже воздух, окружавший Киру, был частью Лео. Кира медленно присела на стол в углу.

Он посмотрел на ее тяжелые ботинки, слишком тяжелые для ее худенькой фигурки. Заметив его взгляд, она разулась и бросила ботинки в противоположный угол каюты.

Он сел на кровать. Она уселась на столе, пряча под ним ноги в толстых черных вязаных чулках, зябко сжав плечи и как-то подобрившись, словно стараясь спрятаться от холода. В полумраке светился белый треугольный воротничок ее блузки.

Лео сказал:

— Моя тетя в Берлине ненавидит меня, но она любила моего отца. Мой отец... он умер.

— Отряхни снег с ботинок, Лео, течет на пол.

— Если бы не ты, я бы ушел три дня назад. Но я не мог этого сделать, не повидавшись с тобой. Поэтому я ждал сегодняшнего дня. Первая шхуна пропала. Их схватили, или они потерпели кораблекрушение — кто знает... Но до Германии они не добрались. Так что ты спасла мне жизнь — может быть.

Затем они услышали низкий рокот, борта закрипели громче, огонек в закопченном фонаре задрожал. Лео вскочил, задул пламя,

раздвинул шторы на иллюминаторе. Прижавшись друг к другу, они смотрели в маленькое круглое оконце, наблюдая за удаляющимся красным заревом города. Вскоре на линии горизонта осталось лишь несколько маленьких огоньков. Они медленно превращались в звездочки, потом в искорки, а затем исчезли вовсе. Она посмотрела на Лео. Глаза его расширились от возбуждения; она еще никогда не видела его таким. Он медленно, торжественно спросил:

— Знаешь ли ты, что мы покидаем?

Затем он крепко обнял ее, впился в ее губы своими, и ей показалось, будто она парит в воздухе, каждой мышцей чувствуя силу его тела. Она гладила его свитер, словно желая ощутить его тело руками.

Он отпустил ее, занавесил иллюминатор и зажег фонарь. Вспыхнуло голубое пламя спички. Он закурил, стоя в дверях и не глядя на нее.

Не говоря ни слова, не спрашивая ни о чем, она покорно присела у стола, не сводя с него глаз.

Он расплющил папиросу и, подойдя к ней, молча встал рядом, засунув руки в карманы. Лицо его не выражало ничего, кроме прерзительной усмешки.

Глядя на него, она тихо поднялась. Она стояла смирно, словно его глаза держали ее на привязи.

— Раздевайся, — сказал он.

Молча, не сводя с него взгляда, она разделась.

Он стоял и смотрел на нее. Она не думала о моральных законах, по которым жило поколение ее родителей. Но на мгновение они все же напомнили о себе, когда она увидела свою юбку на полу; но в следующий момент она забыла обо всем, сожалея лишь, что на ней была не шелковая комбинация, а грубое хлопковое белье.

Она отстегнула одну бретельку бюстгалтера, которая упала ей на грудь. Она начала было отстегивать другую, когда он вдруг поднял ее. Ее тело прогнулось, волосы перекинулись через его руку, а его рот ласкал соски ее груди.

Они легли в кровать, он гладил ее спину между лопаток. Она услышала, как его свитер упал на пол. Ей показалось, будто теплая жидкость заструилась по ее ногам, когда он дотронулся до них. Волосы ее перекинулись через изголовье кровати. Приоткрыв рот, она тихонько замурлыкала.

ГЛАВА X

Проснувшись, Кира увидела, что на одной ее груди лежит голова Лео, а на другую уставился какой-то матрос.

Она резким движением натянула на себя одеяло, и Лео проснулся. Они непонимающе переглянулись.

Было уже утро. Дверь была открыта, а на пороге стоял матрос; его широченные плечи не проходили в дверь, и он стоял на пороге, положив огромную лапу на засунутый за пояс маузер; под его кожаной курткой виднелась тельняшка, а рот скалился в широкой улыбке, обнажая два ряда крепких белых зубов; он немного пригнулся, потому что задевал головой за верхний край проема; на кепке виднелась красная пятиконечная звездочка.

Он усмехнулся: «Извините за беспокойство, граждане».

Кира не отрываясь смотрела на звездочку, которая так и стояла в ее глазах, и она, все еще не поняв, что произошло, словно ребенок, слабым голосом пробормотала:

— Пожалуйста, уйдите. Это наша первая... — Ее голос оборвался, когда смысл красной звездочки достиг ее сознания.

Матрос ухмыльнулся:

— Ну и время же вы выбрали, гражданочка, хуже некуда.

— Убирайся отсюда, дай нам одеться, — сказал Лео.

Его голос не был ни угрожающим, ни просящим; он произнес эту команду настолько уверенно и спокойно, что матрос повиновался, словно это был приказ капитана. Он вышел, закрыв за собой дверь.

Лео сказал:

— Лежи, я подам тебе вещи. Холодно.

Он слез с кровати, обнаженный, словно статуя, и такой же безразличный к наготe и, нагнувшись, взял ее вещи. Через щель в занавеси пробивался серый утренний свет.

Они молча оделись. От торопливых шагов вверху дрожал потолок. Где-то, словно раненый зверь, завывая, рыдала женщина. Когда они оделись, Лео сказал:

— Все в порядке, Кира, ничего не бойся.

Он был так спокоен, что на мгновение она обрадовалась этой катастрофе за то, что она позволила ей увидеть его таким. На миг их глаза встретились, скрепляя взглядом все, что им довелось пережить вместе.

Он распахнул дверь. Матрос ждал снаружи. Лео сказал спокойно:

— Я признаюсь в чем угодно и подпишу любые показания — если вы позволите ей уйти.

Кира открыла было рот, но Лео грубо закрыл его рукой. Он сказал:

— Она здесь ни при чем. Я похитил ее. Я готов за это пойти под суд.

— Он лжет! — закричала Кира.

— Замолчи, — сказал Лео.

— Заткнитесь вы, оба! — гаркнул матрос.

Они пошли за ним. Женщина все продолжала рыдать. Она ползала на коленях перед двумя матросами, которые держали ее шка-тулку; та была раскрыта, а в ладонях матросов сверкали бриллианты. Волосы лезли ей в глаза, а она все выла и выла, но никто не обращал на нее внимания.

Проходя мимо следующей открытой каюты, Лео вдруг толкнул Киру вперед, чтобы она не видела другой сцены. В ней люди склонились над неподвижным телом, распростертым на полу; рука сжимала рукоятку кинжала, вонзенного в сердце, как раз под Георгиевским крестом.

На палубе было морозно; серое небо нависло прямо над мачтой, и команды с паром срывались с губ людей, которые теперь распряжались на судне, людей с патрульного катера, который качался на волнах, словно огромный призрак в тумане; на его мачте развевался красный флаг.

Два матроса держали за руки чернобородого капитана судна. Он стоял, уставившись на свои сапоги.

Матросы смотрели на великана в кожаной куртке, ожидая приказаний. Тот достал из кармана какой-то список, поднес его к лицу капитана, указав через плечо на Лео, спросил:

— Кто из них вот этот?

Капитан указал на одно из имен в списке. Кира увидела, как глаза великана расширились, выражая что-то, что Кира не смогла понять.

— Кто эта девушка? — спросил он.

— Не знаю, — ответил капитан. — Ее нет в списке пассажиров. Она пришла в последний момент — с ним.

— Здесь семнадцать контрреволюционных крыс, и все они хотели смыться из страны, товарищ Тимошенко, — сказал матрос.

Товарищ Тимошенко ухмыльнулся, мышцы его рук и плеч напряглись.

— Думали, что вам удастся улизнуть? От меня, красного балтийца Степана Тимошенко?

Капитан все смотрел на свои сапоги.

— Будьте начеку, — сказал товарищ Тимошенко. — Если что — сразу их в расход.

Он улыбнулся, зубы его засверкали сквозь туман, открытая, загорелая шея совершенно не чувствовала холодного пронизывающего ветра. Он повернулся и зашагал прочь, что-то насвистывая.

Когда оба судна поплыли, товарищ Тимошенко вернулся. По мокрой блестящей палубе он прошагал мимо Лео и Киры, стоящих в толпе других арестованных, и на мгновение остановился, глядя на них с непонятным выражением черных круглых глаз. Он прошелся взад-вперед и громко сказал, показывая на Киру:

— Девушка ни при чем. Он ее похитил.

— Но я же говорю вам... — начала было Кира.

— Заткни рот своей потаскушке, — медленно сказал Тимошенко; по взгляду, которым он обменялся с Лео, казалось, что он все понял.

На горизонте показался Петроград, словно бесконечная линия низких домов, вытянувшаяся вдоль края холодного серого неба. Купол Исаакиевского собора напоминал потускневший золотой мячик, разрезанный надвое, и походил на бледную луну, застрявшую в дыме фабричных труб.

Лео и Кира сидели на катушке каната. Позади них сидел и курил рябой матрос, положив руку на револьвер.

Они не заметили, как он ушел. К ним подошел Степан Тимошенко. Он таинственно посмотрел на Киру и прошептал:

— Когда мы высадимся на берег, нас будет ждать фургон. Ребята будут заняты, и когда они отвернутся — уходи.

— Нет, — сказала Кира, — я останусь с ним.

— Кира! Ты...

— Не будь дурой, ему уже не сможешь.

— Отпустив меня, вы от него за это никаких признаний не дождетесь.

Тимошенко ухмыльнулся:

— Ему не в чем признаваться. А я не хочу, чтобы дети вмешивались в то, в чем ни черта не понимают. Смотрите, гражданин, чтобы ее уже не было, когда будем садиться в фургон.

Кира посмотрела в его круглые черные глаза; они приблизились к ней, когда он сквозь зубы прошептал:

— Из ГПУ легче вызволить одного, чем двоих. Я там буду сегодня около четырех. Придешь и спросишь Степана Тимошенко. Тебе никто ничего не сделает. Гороховая, два. Может быть, у меня будет что тебе сообщить.

Он не стал дожидаться. Он ушел и заодно дал в морду рябому за то, что тот оставил арестованных одних.

Лео прошептал:

— Не осложняй дело для меня. Уходи. И держись подальше от Гороховой, два.

Когда город был уже близко, он поцеловал ее. Ей было трудно оторваться от его губ, словно они примерзли к стеклу.

— Кира, как тебя зовут полностью? — прошептал он.

— Кира Аргунова. А тебя?

— Лео Коваленский.

* * *

— Я была у Ирины. Мы проговорили и не заметили, что было уже слишком поздно возвращаться домой.

Галина Петровна безразлично вздохнула; в прихожей было холодно, и халатик на ее плечах вздрагивал.

— Зачем же нужно возвращаться домой в семь утра? Ты, наверное, разбудила бедную тетю Марусю, с ее-то кашлем...

— Я не могла уснуть. А тетя Маруся меня не слышала.

Галина Петровна зевнула и, шаркая, пошла к себе в спальню.

Она не волновалась, потому что Кира действительно несколько раз оставалась ночевать у двоюродной сестры.

Кира присела, руки ее безвольно упали на колени. До четырех еще оставалась уйма времени. Она должна была быть в ужасе и действительно испытывала его. Но вместе с ним внутри ее выросло что-то, невыразимое словами, что гремело беззвучным гимном и даже смеялось. Лео был заперт в застенке на Гороховой, 2, а ей казалось, что он все еще прижимает ее к себе.

* * *

Дом номер 2 по улице Гороховой был бледно-зеленым, словно гороховый суп. Краска и штукатурка облупились. На окнах не было ни занавесок, ни решеток. Словно мертвые, они смотрели на пустынную улицу. Здесь расположилось Петроградское ГПУ.

Есть слова, которые людям не хочется упоминать; произнося их, они чувствуют какой-то суеверный страх. Люди замолкали, когда

речь заходила о старых кладбищах, домах с привидениями, испанской инквизиции, доме 2 на Гороховой. Сколько тревожных ночей пронеслось над Петроградом, сколько шагов прогремело в тишине, сколько раз настойчиво дребезжал дверной звонок, сколько людей никогда не вернулось домой. Какой-то невидимый призрак страха навис над городом, заставляя людей говорить шепотом. У этого призрака было логово, из которого он выходил и куда вновь возвращался: Гороховая, 2.

Здание это вроде бы ничем не отличалось от соседних; через улицу, вот за такими же стенами и окнами семьи готовили пшенку и слушали граммофон; на углу женщина продавала пирожки. У нее были розовые щеки и голубые глаза, а пирожки ее запеклись с золотистой корочкой и аппетитно пахли разогретым жиром. На фонарном столбе болталась полусорванная афиша с рекламой новых папирос «Табачного треста». Но, подходя к этому зданию, Кира заметила, что люди проходили мимо него, стараясь не поднимать глаз и невольно ускоряя шаг, как будто боялись своих мыслей и собственного присутствия здесь. За этими зелеными стенами творилось то, о чем никто не хотел знать.

Дверь была открыта. Нарочито небрежной походкой, держа руки в карманах, Кира вошла в здание. Ее встретили широкая лестница, коридоры и кабинеты. Как во всех советских учреждениях, здесь собралось много людей, которые куда-то торопились, кого-то ожидали. Множество ног шаркало по полу, но редкие голоса звучали в коридорах. На лицах не было слез. Почти все двери были закрыты. Лица людей, подобно этим дверям, ничего не выражали и казались безжизненными.

Кира разыскала Степана Тимошенко в его кабинете, сидящим на столе. Он улыбнулся ей.

— Все, как я и думал, — сказал он. — На нем самом ничего нет. Все из-за его отца. Ну, это уже в прошлом. Хотя, если бы его взяли пару месяцев назад, тут же поставили бы к стенке, ни о чем особо не расспрашивая. Но сейчас — другое дело. Посмотрим, что можно сделать.

— В чем его обвиняют?

— Его? Ни в чем. Это все его отец. Слыхала о заговоре профессора Горского два месяца тому назад? Старый слепой дурак не был в нем замешан, но додумался спрятать Горского у себя дома, за что и поплатился.

— А кто был отец Лео?

— Старый адмирал Коваленский.

— Это тот, что... — задыхаясь начала Кира, но остановилась.

— Да. Тот самый, что ослеп на войне. Потом его расстреляли.

— Что?

— Ну, лично я бы не стал этого делать тогда. Но не только я это решаю. Понимаешь, революцию в белых перчатках не сделаешь.

— Но если Лео тут ни при чем, почему...

— Тогда расстреляли бы любого, хоть как-то замешанного в заговоре. Сейчас они поостыли. Это все в прошлом. Ему еще повезло... Ну что ты уставилась на меня как дурочка, ты не представляешь, как много в этом здании может измениться за несколько дней и даже часов. Да, так мы работаем. А что ты думала, что революция духами пахнет?

— Но почему тогда вы не освободите его?..

— Не знаю. Я попробую. Его могут обвинить в попытке незаконно выехать из страны. Но это, я думаю, можно уладить... Мы не сражаемся с детьми, особенно с глупыми детьми, которые находят время любиться прямо на огнедышащем вулкане.

Кира посмотрела в его круглые, ничего не выражающие глаза. Широкий рот растянулся в улыбке. У него были короткий курносый нос и широкие ноздри.

— Вы очень добры, — сказала она.

— Кто добр, я? — засмеялся он. — Степан Тимошенко, красный балтиец? Помнишь октябрь семнадцатого? Ты ничего не слышала о том, что тогда происходило на Балтийском флоте? Да не дрожи ты, как кошка. Степан Тимошенко был большевиком задолго до того, как эти выскочки научились вытирать молоко с губ.

— Я могу с ним увидеться?

— Нет. Абсолютно исключено. Ему запрещены свидания.

— Но тогда...

— Тогда иди домой и сиди там. И ни о чем не волнуйся.

— У меня есть знакомый со связями. Он мог бы...

— Ты лучше помолчи. И не втягивай в это никаких своих знакомых. Подожди дня два-три.

— Так долго!

— Это лучше, чем вообще никогда больше не увидеть его. Не беспокойся, пока он здесь, мы оградим его от других женщин.

Он слез со стола и улыбнулся. Затем уже серьезно нагнулся над Кирой и посмотрел ей прямо в глаза. Он сказал:

— Когда получишь его обратно, держи его покрепче. Если не можешь — научись. Он ведь сумасшедший, сама знаешь. И никогда больше не пытайтесь покинуть страну. Вы живете здесь, в Советской России. Можете ненавидеть ее, можете задыхаться здесь, но не пытайтесь отсюда сбежать. Так что держи его покрепче. Смотри за ним. Отец любил его.

Кира протянула руку. Она исчезла в здоровенной загорелой ручище Тимошенко. Выходя, Кира обернулась и тихо спросила:

— Почему вы это делаете?

Он уже не смотрел на нее; он смотрел в окно. Он ответил:

— Я служил на Балтфлоте и прошел всю мировую. Адмирал Коваленский командовал Балтфлотом и ослеп в сражении. Он был отличным командиром... А теперь — убирайся отсюда!

* * *

Лидия сказала:

— Она всю ночь вертится на своем матрасе. Можно подумать, что у нас мыши завелись. Я не могла уснуть.

Галина Петровна заметила:

— Кажется, Кира Александровна, вы все еще студентка, или я ошибаюсь? Вы не были в институте три дня. Мне сказал об этом Виктор. Может, вы нам поведаете, что за блажь на вас нашла?

Александр Дмитриевич молчал. Он уснул с наполовину наполненным сахаринном стеклянным тубиком и теперь, вздрогнув, проснулся.

Кира ничего не ответила.

— Посмотрите, какие круги у нее под глазами, — сказала Галина Петровна, — у порядочных девушек таких не бывает.

— Я так и знала, — закричала вдруг Лидия, — так и знала! Она снова положила в этот тубик восемь кристалликов!

* * *

Вечером через четыре дня в дверь позвонили. Кира даже не оторвала глаз от пузырька с сахаринном. Лидия, которой было любопытно, кто там пришел, пошла открыть.

Чей-то голос спросил:

— Кира дома?

Кира выронила стеклянную трубку, которая разбилась на множество осколков, и в следующее мгновение была уже в прихожей, держа рукой за горло.

Надменно улыбнувшись, он спокойно сказал:

— Добрый вечер, Кира.

— Добрый вечер, Лео.

Лидия, не отрываясь, смотрела на них.

Кира так и стояла у двери, не сводя глаз с Лео, не в силах вымолвить ни слова. Галина Петровна и Александр Дмитриевич перестали считать сахарин.

Лео сказал:

— Кира, одевайся и пойдём.

— Да, Лео, — ответила она и, двигаясь, словно во сне, сняла с вешалки пальто.

Лидия многозначительно кашлянула. Лео взглянул на нее. Его глаза нарисовали на губах Лидии теплую, задумчивую улыбку; они всегда так действовали на женщин; в его взгляде не было ничего, кроме напоминания о том, что он мужчина, а она женщина.

Лидия хотела было осмелиться заговорить с ним, несмотря на то что они не были представлены; но не знала, с чего начать, и лишь беспомощно смотрела на самого прекрасного мужчину, который когда-либо появлялся в их прихожей. Она не нашла ничего лучшего, чем спросить первое, что пришло ей в голову:

— Вы откуда?

— Из тюрьмы, — ответил Лео с вежливой улыбкой.

Кира уже застегнула пальто. Она не отрываясь смотрела на него, словно не замечая остальных. Жестом хозяина он взял Киру за руку, и они ушли.

— Невероятно, какое неслыханное хамство... — начала было Галина Петровна, но дверь уже захлопнулась.

* * *

Лео сказал адрес ждавшему их извозчику.

— Где это? — повторил он ее вопрос, когда сани резко взяли с места. — Там, где мой дом... Да, теперь он снова мой. Его опечатали, когда забрали отца.

— Но когда...

— Сегодня днем. Твой адрес я узнал в институте, потом пошел домой и развел огонь в камине. В доме было холодно, как в склепе, ведь два месяца не топили. К нашему приезду там будет тепло.

На двери краснела печать ГПУ. Она была разломлена; две ее половинки метнулись в разные стороны, открывая им путь.

Они прошли через темную гостиную. В камине горел огонь, отбрасывая красные отсветы на их ноги и их отражения в зеркале паркета. В доме были видны следы обыска. По всему полу валялись разбросанные бумаги и опрокинутые стулья. Одна из хрустальных ваз на малахитовых подставках была разбита; осколки ее блестели на полу, разбрасывая красные блики, которые сверкали и мигали, словно горящие угольки, сбежавшие из камина.

В спальне Лео коптила керосиновая лампа — последняя, оставшаяся в живых лампа с серебряным абажуром, стоявшая на отделанном

черным ониксом камине. Остатки голубого пламени метались по остывавшим уже углям, забрасывая бордовые отблески на серебристое покрывало.

Лео бросил пальто в угол. Он расстегнул на Кире пальто и снял его; не произнося ни слова, он начал расстегивать ее платье; пока он раздевал ее, она стояла не шелохнувшись.

Он прошептал в маленькую теплую ямочку под ее подбородком:

— Это было хуже пытки. Ожидание. Три дня и три ночи.

Он повалил ее на кровать. Красные блики резвились на ее обнаженном теле. Сам он не разделся и не стал гасить свет.

* * *

Кира посмотрела на потолок; серебристо-белый, он казался очень высоким. Сквозь серые сатиновые занавески в комнату пробивался свет. Она села. Грудь ее, казалось, затвердели от холода.

— Кажется, наступило завтра, — сказала она.

Лео еще спал, откинув голову и свесив одну руку через край кровати. Ее чулки валялись на полу, а платье — в ногах, на кровати. Лео медленно открыл глаза, посмотрел на нее и сказал:

— Доброе утро, Кира.

Она потянулась и, скрестив руки за головой, откинулась назад, стряхивая волосы с лица.

— Вряд ли моей семье это понравится, — сказала она. — Я думаю, они вышвырнут меня из дома.

— Ты живешь здесь.

— Пойду домой, попрощаюсь.

— К чему?

— Должна же я им что-то сказать.

— Ну ладно, иди. Только побыстрее возвращайся. Я жду. Я хочу, чтобы ты была здесь.

* * *

Они стояли, словно три колонны, возвышаясь над столом в замершей от тишины гостиной. Глаза у них были красные и опухшие из-за бессонной ночи. Терпеливо-безразличная, Кира смотрела на них, прислонившись к двери.

— Ну?.. — спросила Галина Петровна.

— Что «ну»? — сказала Кира.

— Опять скажешь, что была у Ирины?

— Нет.

Галина Петровна распрямила согнутые плечи, отчего морщины на ее полинявшем банном халате слегка разгладились.

— Я не представляю себе, как далеко простирается твоя невинная глупость. Но ты должна осознать, что люди могут подумать...

— Так и есть. Я спала с ним.

Лидия вскрикнула.

Галина Петровна хотела что-то сказать, но быстро прикрыла рот. У Александра Дмитриевича отвисла челюсть.

Рука Галины Петровны указала на дверь.

— Убирайся из моего дома, — сказала она, — навсегда.

— Хорошо, — сказала Кира.

— Как ты могла? И это моя дочь! Да как ты можешь стоять здесь и смотреть нам в глаза? У тебя и представления нет о стыде и позоре, падшая...

— Мы не будем обсуждать это, — сказала Кира.

— Ты забыла о смертном грехе?.. В восемнадцать лет, с мужчиной, вышедшим из тюрьмы? А церковь... веками... поколениями... не было более низкого грехопадения! Ты об этом слышала, дочь моя? Святые, которые пострадали за наши грехи...

— Могу я забрать свои вещи или вы оставите их себе?

— Чтобы здесь не было ни одной твоей вещи! Чтобы духа твоего здесь не было! И чтобы никогда в этом доме не вспоминали твоего имени!

Лидия, зажав голову руками, истерично рыдала.

— Мама, скажи ей, чтобы убиралась! — прокричала Лидия сквозь плач, похожий на икоту. — Это невыносимо! Как таких земля носит?

— Собирай вещи, да побыстрее! Теперь у нас только одна дочь! Слышишь, несчастная бродяжка! Ты, грязная уличная...

Лидия, словно не веря глазам своим, смотрела на ноги Киры.

* * *

Лео открыл дверь и взял у нее вещи, завернутые в старую простыню.

— Здесь три комнаты. Можешь переставить все так, как тебе нравится. Холодно на улице? У тебя побелели щеки.

— Да, немного морозит.

— Я приготовил тебе чай — там, в гостиной.

Он накрыл стол у камина. В старинном серебре отражались красные язычки пламени. Напротив огромного окна, в котором виднелось серое небо, висел хрустальный канделябр. На другой стороне улицы люди понуро стояли в очереди у дверей кооператива. Шел снег.

Кира согрела руки о горячий серебряный чайник и потерла ими щеки. Она сказала:

— Нужно собрать осколки, подмести пол и...

Она замерла. Она стояла посреди огромной комнаты. Вытянув руки, откинув голову назад, она засмеялась. Она смеялась вызывающе, озорно, торжествующе. Вдруг она закричала:

— Лео!..

Он подхватил ее на руки. Она посмотрела в его глаза и почувствовала себя жрицей, чья душа растворилась в уголках рта божества; жрицей и одновременно ритуальной жертвой. Она смеялась, позабыв, что есть на свете стыд, задыхаясь от какой-то волны, вздымавшейся внутри ее, не в силах ее сдержать.

Он посмотрел на нее своими большими темными глазами и сказал то, о чем они не решались заговорить:

— Кира, подумай, сколько всего против нас.

Она немного склонила голову набок; глаза ее были круглыми, губы — мягкими, а лицо — спокойным и уверенным, словно у ребенка. Она посмотрела в окно, где в пелене падающего снега стояли в очереди люди — сломленные, понурые, потерявшие надежду. Она покачала головой.

— Мы выстоим, Лео. Вместе. Мы выстоим против всех: против этой страны, против этого времени, против миллионов людей. Мы сможем. Мы выдержим.

— Мы попробуем, — отозвался он безнадежно.

ГЛАВА XI

Революция пришла в страну, воевавшую три года. Эти три года и революция разрушили железные дороги, выжгли поля, превратили жилища в груды кирпича, выгнали людей в бесконечные очереди у пунктов продовольствия в ожидании тех крох жизни, что иногда высыпались оттуда. Молча стояли заснеженные леса, но в городе дрова считались роскошью; единственным топливом был керосин, а для его сжигания было лишь одно устройство. Блага революции все еще маячили где-то впереди. Но люди уже пользовались первым из них; тем самым, у которого в бесчисленных городах бесчисленные желудки научились вымалывать огонь для тела, чтобы не угас огонек души; первое знамение новой жизни, первый властелин свободной страны: ПРИМУС.

Кира встала на колени перед столом, сделала несколько качков бронзовой ручкой примуса, на котором была надпись: «Настоящий примус. Сделано в Швеции». Увидев, что керосин тонкой струйкой потек в чашку, она чиркнула спичкой, зажгла его, и все качала, качала, внимательно наблюдая за тем, как огонь лизал черные трубки, покрывая их сажей и распространяя запах керосина, пока в них что-то не заклокотало и наружу не вырвался язычок голубого пламени, шипящий и плотный, словно факел. Кира поставила на пламя кастрюлю с пшенной кашей.

Затем, встав на колени перед каминном, она собрала тонкие поленья — сырые и скользкие — с резким запахом сырости и плесени. Кира открыла дверцу печки-буржуйки, затолкала их внутрь, туда же сунула смятые газеты, зажгла спичку и начала что было сил дуть, склонившись к самому полу. Ее заволокли клубы серого дыма, которые поднимались к потолку, и хрусталь канделябра тускло поблескивал сквозь них. Серый пепел забирался к ней в ноздри, оседал на ресницах.

Буржуйка представляла собой железный куб с длинной трубой, которая поднималась к потолку и под прямым углом тянулась

к квадратному отверстию над камином. Им пришлось поставить у себя в гостиной буржуйку, потому что топить камин было слишком дорого. Дрова в печке шипели, тут и там плясали язычки пламени, выпихивая клубы дыма. Железные стенки стали нагреваться и завоняли сгоревшей краской. Эти печки называли буржуйками потому, что они появились у тех, кому не по карману было топить настоящими поленьями печи в своих когда-то роскошных домах.

В квартире адмирала Коваленского было семь комнат, но четыре из них экспроприировали уже давно. Старый адмирал построил в зале перегородку, отделившись от новых жильцов. Сейчас Лео принадлежали три комнаты, ванна и парадный вход. У жильцов было четыре комнаты, кухня и черный вход. Кира готовила на примусе и мыла посуду в ванной. Иногда за перегородкой слышались звуки шагов, какие-то голоса, мяукала кошка. Там жили три семьи, но Кира ни разу их не видела.

Проснувшись утром, Лео увидел в гостиной накрытый стол, с белоснежной скатертью и дымящимся горячим чаем. Рядом, с румяными щечками, суежилась Кира. Ее глаза, светлые и беззаботные, улыбались, словно все сделалось само собой.

С первого дня совместной жизни она поставила условие: «Когда я готовлю, ты не должен меня видеть. А когда видишь — не должен знать, что я готовила».

Раньше она всегда знала, что она живая, особо не задумывалась над этим. Но теперь она вдруг обнаружила, что простое выживание превратилось в проблему, для решения которой требовалось много сил и времени. Нужно было очень стараться, чтобы всего лишь оставаться живыми. Она поняла, что с этим можно справиться, лишь усилив презрение к суе борьбы за выживание. Иначе, если к этому привыкнуть, вся жизнь сведется лишь к этому маленькому языку пламени в примусе и к разогревающейся на ужин каше из проса. Она была готова все свое время отдавать этой борьбе за жизнь, если бы только сама жизнь, которую полностью заполнял Лео, оставалась чистой и нетронутой. Если бы только эта борьба не вставала между ними. Она не жалела времени, потраченного не так, как ей бы хотелось, и никогда об этом не говорила. Она молчала, лишь только искорка радости поблескивала в ее глазах. Она испытывала радость и возбуждение от этой странной борьбы, для которой не было имени — ее можно было лишь чувствовать, которую они вдвоем вели в одиночестве против чего-то огромного и неизвестного, чего-то, что как наполнение билось о стены их дома, что жило в бесчисленных шаркающих по тротуару шагах, в этих бесконечных очередях, чего-то, что ворвалось к ним в дом вместе с примусом и буржуйкой,

пшеникой и сырыми дровами, и что заставило две жизни бороться против миллионов голодных желудков за свое право на будущее.

Позавтракав и надевая пальто, Лео спросил Киру:

— Идешь сегодня в институт?

— Да.

— Для разнообразия?

— Считаю, что так.

— Вернешься к обеду?

— Да.

— А я вернусь в шесть.

Они разошлись: она в институт, а он в университет. Она бежала по улице, чуть не падая на скользких тротуарах, смеялась над незнакомыми прохожими, дышала на замерзшие пальчики в дырявой перчатке, согревая их, запрыгивала в трамвайчик на полном ходу, обещающая своей милой улыбкой суровых кондукторш, которые ворчали:

— Оштрафовать бы вас, гражданочка. Так ведь и без ног остаться можно.

На лекциях она постоянно ерзала, то и дело поглядывая на часы на руке соседа, если, конечно, у того они были. Ей не терпелось вернуться домой. Так было в далекие дни детства, когда она с нетерпением ожидала конца занятий в день своего рождения, зная, что дома ее ждут подарки. Сейчас, конечно же, никаких подарков не было, но лучше и дороже всех подарков были для нее примус, и пшенка, и капуста, которую нужно было порезать для щей, и этот голос Лео в прихожей, возвещавший о его приходе, и безразличный ответ: «Я занята», и ее смех над дымящейся кастрюлей.

После обеда он принес к буржуйке свои книги, то же самое сделала и Кира. Он изучал историю и философию в Петроградском университете и одновременно работал. Когда два месяца назад он вернулся в повседневную жизнь, из которой его выбила казнь отца, он обнаружил, что место за ним сохранилось. Он был ценным работником для Госиздата — Государственного издательства. По вечерам, при свете горевшего в буржуйке пламени, он переводил книги с английского, немецкого или французского. Ему не нравились эти книги. Это были романы зарубежных писателей о бедных и честных рабочих, которых сажали в тюрьму за кусок хлеба, украденный для умирающей от голода матери своей молодой красивой жены, которую изнасиловал капиталист и которая затем покончила жизнь самоубийством, за что всемогущий капиталист выгнал с завода ее мужа; а их ребенка, вынужденного побираться на улицах, сбивал лимузин капиталиста со сверкающими крыльями и шофером в ливрее.

Но переводы давали Лео возможность работать дома и получать неплохие деньги. Хотя каждый раз, перед тем как получить их, он слышал:

— Мы вычли с вас два с половиной процента как добровольный взнос в Осоавиахим.

Кроме этого ему приходилось делать взносы в Общество содействия воздушному флоту, в Фонд ликвидации безграмотности, Фонд социального страхования и еще бог знает куда.

Когда Лео работал, Кира старалась двигаться по комнате бесшумно или же сидела над своими чертежами, таблицами, планами, стараясь не мешать ему.

Иногда тишина нарушалась управдомом. Он заходил в сдвинутой на затылок шляпе и собирал с них деньги за разморозку труб, чистку дымоходов, покупку лампочек для подъезда — «Опять спер какой-то гад», на ремонт крыши, а также на добровольный взнос жильцов дома в Общество содействия воздушному флоту. Кира и Лео обменивались короткими фразами с подчеркнутым безразличием, но в их лицах читалась общая тайна, которую они хранили. И стоило им оказаться одним в спальне, как они начинали смеяться. Их глаза, губы, тела жадно сливались. Кира даже не знала, сколько раз за ночь они будили друг друга. Она ничего не слышала, кроме звука его дыхания. Она изо всех сил прижималась к нему, смеясь, прятала лицо у него под мышкой и чувствовала, как он дышит ей в шею и на ресницы закрытых глаз. Затем она замирала, слегка прикусив руку, опьяненная запахом его тела.

* * *

В Петрограде у Лео не осталось никаких родственников.

Его мама умерла еще до революции. Он был единственным ребенком в семье. Его отец, осматривая свои огромные поля пшеницы, раскинувшиеся под синим небом, которое где-то далеко, на линии горизонта ниспадало к лесу, думал, что когда-нибудь на них полновластным хозяином ступит его сын, темноглазый, темноволосый мальчик, и от этой мысли душа его радовалась и смеялась громче, чем солнце над ним.

Адмирал Коваленский редко появлялся при дворе. На качающейся палубе корабля он чувствовал себя увереннее, чем на начищенном дворцовом паркете. Но когда он все-таки выходил в свет, сотни удивленных, завистливых взглядов были прикованы к женщине, которую он вел под руку. Его жена, урожденная графиня знатного старинного рода, была воплощением совершенства; ее прекрасные черты,

казалось, вобрала в себя красоту веков. После ее смерти на голове адмирала Коваленского появились седые волосы, и все же в глубине души словами, которые он никогда бы не осмелился произнести вслух, он благодарил Бога за то, что он взял у него жену, а не сына.

Адмирал Коваленский одним и тем же голосом командовал матросами на корабле и разговаривал с сыном. Некоторые говорили, что он слишком добр с матросами; другие считали, что он слишком строг с сыном. Но он боготворил мальчика, которого иностранные гувернеры называли на свой манер Лео, а не русским именем Лев, и не мог устоять перед малейшим капризом сына.

Все — гувернеры, слуги, гости — смотрели на Лео тем же взглядом, что и на статую Аполлона, стоящую в кабинете адмирала, с тем же благоговейным трепетом, с которым созерцали они многовековой мрамор. Лео улыбался, и это служило основанием для немедленного исполнения любого его желания.

В то время, когда его сверстники шепотом пересказывали модные французские рассказы, он изучал Спинозу и Ницше и декламировал Оскара Уайльда на собраниях Дамского клуба милосердия, основанного его строгой теткой; он доказывал превосходство западной культуры над русской перед важными, седовласыми дипломатами, друзьями его отца, убежденными славянофилами, и приветствовал их иностранным словом «алло». Однажды его послали на исповедь, и церковный священник краснел, выслушивая такие откровения восемнадцатилетнего юноши, какие его преподавание ни разу не слышал за все семьдесят лет.

Лео ненавидел портрет царя в отцовском кабинете и слепую рабскую преданность отца государю. Он посещал тайные собрания молодых революционеров, но, когда на одном из них какой-то небритый молодой человек начал говорить о всеобщем братстве и назвал его товарищем, Лео встал и, насвистывая «Боже, царя храни», ушел.

Первый раз он провел ночь с женщиной в шестнадцать лет. Когда позже он был официально представлен ей в богатой гостинице и наклонился поцеловать руку, лицо его было вежливо-холодным, а ее важный муж и не догадывался, какие уроки его прелестная надменная жена давала этому стройному темноволосому мальчику.

После нее было много других. Адмиралу даже один раз пришлось вмешаться и напомнить Лео, что, если его еще раз увидят выходящим утром из особняка известной балерины, имя высочайшего покровителя которой упоминалось только шепотом, это может повлиять на его будущую карьеру.

Революция застала старого адмирала с черными очками на уже невидящих глазах и георгиевской лентой в петлице; Лео же встретил

ее с медленной, презрительной улыбкой, гордой походкой и хлыстом в руке, который так соответствовал его характеру и который стал теперь бесполезным.

* * *

Две недели Киру никто не навещал, и сама она никуда не выходила. Наконец она решила навестить Ирину.

Мария Петровна открыла дверь и как-то испуганно, невнятно поздоровалась, пятясь назад.

Вся семья собралась в столовой вокруг недавно поставленной буржуйки. Ирина с радостной улыбкой бросилась к двоюродной сестре и расцеловала ее, чего раньше никогда не делала.

— Кира, как я рада, что ты пришла! Я думала, ты больше никогда не захочешь нас видеть!

Кира повернулась в сторону долговязой фигуры, поднявшейся в углу.

— Как ваши дела, дядя Василий? — улыбнувшись, спросила она.

Василий Иванович не ответил, даже не взглянув на Киру, он повернулся и вышел из комнаты.

Ирина вдруг покраснела и закусила губу.

Мария Петровна вертела в руках носовой платок. Маленькая Ася смотрела на Киру из-за спинки стула. Кира оглянулась на закрытую дверь.

— Какие у тебя красивые ботиночки, Кира, — сказала наконец Мария Петровна, хотя она видела их уже много раз. — Должно быть, теплые, а сейчас такие холода!

— Да, — сказала Кира, — на улице совсем все замело.

Лениво шаркая шлепанцами, пришел Виктор. Под его распахнутым баннным халатом виднелась пижама. Был уже полдень, но он, видимо, только что проснулся: его нерасчесанные волосы свалились и свисали со лба на покрасневшие веки.

— Вот это сюрприз! Кира! Как хорошо, что ты пришла! — Он протянул руку, с нарочитой вежливостью поклонился и, задержав ее руку, посмотрел пристальным, чуть ироничным взглядом, словно между ними была какая-то тайна.

— Вот уж не ожидали! Хотя знаешь, тут произошло столько неожиданного.

Он не изменился за свой внешний вид, и даже его походка, казалось, говорила, что появление его в пижаме не должно удивлять Киру.

— Надеюсь, это не товарищ Таганов? О, не удивляйся, в институте все знают друг о друге. Хотя, конечно, полезно иметь такого

друга, как он. У него ведь такая должность... И всегда можно обратиться, если кто-то из знакомых окажется в тюрьме.

— Виктор, — сказала Ирина, — ты похож на свинью и ведешь себя по-свински. Иди хотя бы умойся.

— Когда я начну подчиняться твоим приказам, дорогая сестрица, можешь сообщить об этом в газеты.

— Дети, дети, — Мария Петровна беспомощно вздохнула.

— Мне нужно идти, — сказала Кира, — я просто забежала к вам по пути в институт.

— Ну, Кира, останься, — попросила Ирина.

— Нет, мне нужно успеть на лекцию.

— Черт возьми! — воскликнула Ирина. — Им всем хочется узнать, кто он, но они боятся спросить. Кирочка, скажи, как его зовут?

— Лео Коваленский.

— Не сын ли это?.. — выдохнула Мария Петровна.

— Да, он самый, — сказала Кира.

Когда дверь за Кирой закрылась, Василий Иванович вернулся в столовую. Мария Петровна начала нервно искать пилку для ногтей, избегая его взгляда. Ничего не сказав, он подбросил дров в буржуйку.

— Папа, что она такого... — начала было Ирина.

— Мы не будем этого обсуждать, Ирина, — оборвал он ее.

— Весь мир перевернулся, — сказала Мария Петровна и закашлялась.

Виктор понимающе взглянул на отца. Но Василий Иванович не ответил ему; он демонстративно отвернулся и ушел. Уже несколько недель он избегал Виктора.

Маленькая Ася заползла в угол за буфет, тихо и беспомощно сопя.

— Ася, подойди ко мне, — приказал Василий Иванович.

Она медленно, покорно подошла к нему, смотря на кончик своего носа и вытирая его воротником.

— Ася, почему у тебя всегда такие плохие отметки? — спросил он ее.

Ася ничего не отвечала, лишь сопела.

— Ну что опять произошло с арифметикой?

— Это все тракторы.

— Что, что?

— Тракторы. Я не смогла решить задачу про них.

— Какую еще задачу?

— В Сельскохозяйственном Союзе было двенадцать тракторов, и их разделили на шесть бедных деревень. Сколько досталось каждой деревне?

— Ну, сколько будет двенадцать разделить на шесть?

Ася, сопя, уставилась на кончик носа.

— В твоём возрасте Ирина была первой ученицей в классе, — огорченно сказал Василий Иванович и отвернулся.

Ася убежала и спряталась за спинкой кресла Марии Петровны.

Василий Иванович вышел из комнаты. Виктор пошел вслед за ним на кухню. Но Василий Иванович не обратил на него ни малейшего внимания, хотя и слышал его шаги. В кухне было темно. Окно было разбито, и его пришлось закрыть куском картона. Три длинные полоски света лежали на полу, соседствуя с длинными трещинами. Под раковиной лежали сваленные в кучу рубашки Василия Ивановича. Он медленно нагнулся и зачихал их в медный газ, в который затем налил воды. Взяв кусок синеватого мыла, он медленно и неумело начал стирать. Содержать прислугу они больше не могли, а Мария Петровна была очень слаба и не могла заниматься домашними делами.

— В чем дело, папа? — спросил Виктор.

— Ты сам знаешь, — не повернувшись, ответил Василий Иванович.

— Но отец! Я правда не знаю! Что я такого сделал? — почти срываясь на крик, спросил Виктор.

— Ты видел эту девушку?

— Киру? Да. Ну и что?

— Я думал, что могу доверять ей как самому себе, но революция сломала ее, испортила. И ты — на очереди.

— Но отец...

— В мое время не считалось женской добродетелью ложиться в постель с первым встречным.

— Но Кира же...

— Может быть, я несколько старомоден. Я таким рожден и таким умру. Но вы, молодежь, успеваете сгнить до того, как созреете. Социализм. Коммунизм. Марксизм. И к черту достоинство и честь!

— Но отец, я...

— Ты... Тебя они сломают иначе. Ты думаешь, я не вижу? Что за друзья приходили к тебе на этой неделе?.. А со вчерашней вечеринки ты вернулся домой под утро.

— Но ты же ничего не имеешь против небольшой вечеринки?

— Кто там был?

— Несколько очаровательных девушек.

— Не сомневаюсь. А еще?

— Ну... еще пара коммунистов, — ответил Виктор, смахивая пылинку с рукава.

Василий Иванович промолчал.

— Ну, давай мыслить шире, отец. То, что я с ними немного выпил, не повредило мне, а в будущем, наоборот, может здорово *помочь*.

— Есть вещи, которые ни за что нельзя предавать, — голос Василия Ивановича был звучен и тверд как у пророка; пузыри булькали под его руками в холодной воде.

Виктор весело рассмеялся и обнял отца за сильные, мускулистые плечи:

— Ну будет тебе, отец, мы ведь отлично понимаем друг друга. Ты же не хочешь, чтобы я пал духом и сидел сложа руки, только потому, что сейчас у власти *они*? Я хочу победить их, играя в их же собственную игру. Дипломатия — вот лучшая философия наших дней. Сейчас наступило время дипломатии, ты ведь не станешь с этим спорить? Но ты знаешь меня. Играя, я не дам затянуть себя в это всерьез. Ведь я все еще — дворянин.

Василий Иванович обернулся к нему. Его лицо рассекла узкая полоска света. Теперь оно уже не было таким суровым; глаза под тяжелыми побелевшими бровями были усталыми и беспомощными. Он выдал из себя улыбку и слова:

— Знаю, сын. Я ведь доверяю тебе. Ты сам знаешь, что делать. Но сейчас — такое смутное время, а Ирина и ты — это все, что у меня осталось в жизни.

* * *

Ирина первой из прежних знакомых Киры пришла навестить ее в новом доме.

Лео изящно и церемонно раскланялся, но Ирина, открыто посмотрев на него, улыбнулась и сказала просто:

— Вы мне нравитесь. Я почему-то не сомневалась, что вы мне понравитесь. Я тоже надеюсь понравиться вам, ведь я пока ваша единственная родственница по линии Киры и, боюсь, надолго. Но будьте уверены, все остальные покоя мне не дадут, расспрашивая о вас.

Они присели в гостиной и стали разговаривать о Рембрандте, чье творчество Ирина изучала в институте; о новых французских духах, которые Вава Миловская купила у контрабандиста. О, это были настоящие французские духи! «Коти», пятьдесят миллионов за флакон. Ирина слегка надушила ими носовой платок, и Мария Петровна, вдыхая их аромат, даже немного всплакнула. Поговорили об американском фильме, который недавно видела Ирина, где женщины ходили в довольно откровенных нарядах и где показан ночной Нью-Йорк с его огнями, небоскребами, витринами. Эпизод был очень

коротким, и Ирина дважды ходила на этот фильм именно из-за него. Ей так хотелось нарисовать ночной Нью-Йорк.

Она взяла со стола какую-то книгу и начала сосредоточенно рисовать что-то карандашом на обложке. Когда она закончила, бросила книгу Кире. Там был нарисован Лео, обнаженный и во весь рост.

— Ирина!

— Можешь показать ему.

Лео улыбнулся и вопросительно посмотрел на Ирину.

— Так вам больше всего идет, — объяснила Ирина. — Вы не должны смущаться. Под одеждой ничего нельзя скрыть от глаз... художника. У вас что, есть возражения?

— Только одно, — сказал Лео, — эта книга принадлежит Госиздату.

— Ну что же, — сказала она, решительно отрывая обложку, — скажите им, что использовали ее для революционного плаката.

Перед тем как уйти, когда они остались с Кирой одни, Ирина серьезно спросила:

— Кира, скажи, ты... счастлива?

— Да, счастлива, — спокойно ответила Кира.

* * *

Кира редко кому говорила о своих мыслях и еще реже о своих чувствах. Но в ее жизни был человек, для которого она сделала исключение и в том и в другом. Более того, она делала для него и другие исключения, и в глубине души Кира удивлялась, почему же она их делает. Коммунисты вызывали в ней страх; страх опуститься, просто общаясь и разговаривая с ними, даже просто глядя на них. Она боялась не их винтовок, тюрем или их вездесущих невидимых глаз, но чего-то, что скрывалось за их морщинистыми лбами, чего-то, что в них было, а может, наоборот, чего не было, но что заставляло ее чувствовать себя запертой в клетке с диким зверем, уже раскрывшим пасть, которого невозможно остановить ни доводами, ни силой. Она доверчиво улыбалась Андрею Таганову, прижимаясь к стене аудитории в институте; глаза ее блестели, на ее лице появлялась робкая улыбка, словно у ребенка, тянущегося за родительской рукой.

— Андрей, я счастлива.

Он не видел ее уже несколько недель. Он с нежностью посмотрел в ее глаза и сказал:

— Я скучал по тебе, Кира.

— Я тоже, Андрей. У меня... были дела.

— Я не решился прийти к тебе домой, зная, что тебе это не понравится.

— Видишь ли... — начала Кира и тут же осеклась.

Ведь она не могла ему ни о чем рассказать, не могла пригласить его в свой новый дом, дом Лео. Андрей мог быть опасен, ведь он служил в ГПУ и должен был выполнять свой долг; и играть с этим было небезопасно. И она лишь добавила:

— Да, Андрей, и правда, лучше тебе совсем не приходиться ко мне домой.

— Хорошо. Но обещаю, что ты будешь аккуратно посещать все лекции, чтобы я мог видеть тебя и слышать, что ты счастлива. Мне это так приятно...

— Андрей, а ты был когда-нибудь счастлив?

— Я никогда не был несчастлив.

— Этого достаточно?

— Ну... Я всегда, всегда знаю, чего хочу. А когда знаешь, чего хочешь, можно смело идти к цели. Иногда продвигаешься быстро, а иногда надолго застреваешь на одном месте. Может быть, чувствуешь себя счастливее, когда бежишь. Не знаю... А вообще, я уже давно не чувствую разницу. Пока движешься, то не все ли равно, счастлив ты или нет.

— А если хочешь чего-то, к чему нельзя двигаться?

— У меня никогда такого не было.

— Ну а если на пути встречается препятствие, которое не хочется преодолевать?

— Ни разу таких не встречал.

— Андрей, но ведь ты даже не спросил, отчего я счастлива? — вдруг вспомнила она.

— Какая разница — ведь ты счастлива.

И он взял ее тонкую, доверчивую руку в свою огромную, сильную ладонь.

* * *

Первыми приметами весны в Петрограде стали слезы и улыбки: люди улыбались, а сосульки на крышах роняли слезы. На высоких крышах таял снег, серый от городской копоти, словно грязная вата, хрупкий и блестящий, как подмокший сахар. Сверкающие капельки собирались в ручейки, которые журчали в водосточных трубах, в желобах и сточных канавах, плавно покачивая окурки и шелуху от семечек. Люди выходили из домов и, глубоко вдыхая весенний воздух, улыбались, сами не зная отчего, пока не поднимали головы

и не видели, что небо так и осталось болезненно-бледным, лишь со слабым оттенком голубизны, словно художник смыл с кисти остаток краски в большой таз с водой, которая окрасилась лишь слегка.

Каша из снега и грязи чавкала под галошами, а на них яркими белыми бликами отражалось солнце. Извозчики ругались, наезжая на грязные сугробы; чей-то голос призывал всех покупать сахарин; капель упорно и беспрестанно долбила тротуары; кто-то продавал фиалки.

Павел Серов купил себе новые ботинки. Щурясь от солнца, он посмотрел на Товарища Соню и купил ей горячий, с золотистой корочкой пирожок с капустой. Она жевала его, улыбаясь, и говорила:

— В три — лекция в комсомольской ячейке «О нашей роли в нэпе»; в пять — дискуссия в клубе Рабфака на тему «Пролетарки и безграмотность», а в семь — диспут в Партийном клубе «О духе коллективизма». Может, зайдешь в девять? Кажется, что мы с тобой совсем не видимся.

Он ответил:

— Соня, душа моя, я не могу занимать твое драгоценное время. У таких людей, как мы, нет другой личной жизни, кроме классовой борьбы.

У дверей обувных магазинов стояли длинные очереди; профсоюзы выдавали талоны на приобретение галош.

Мария Петровна почти весь день не вставала с кровати и, пряча от всех свой носовой платок, смотрела на весеннее солнце сквозь закрытое окно.

Товарищ Ленин перенес еще один инсульт, и у него отнялась речь. «...Нет большей жертвы, принесенной во имя победы дела рабочего класса, чем воля и здоровье вождя, который прилагает невыносимые, нечеловеческие усилия, чтобы оправдать ответственность, возложенную на него рабочими и крестьянами», — писала тогда «Правда».

В своей комнате Виктор и три его товарища-коммуниста обсуждали перспективы плана пролетарской электрификации. Закончив, он проводил их через черный ход, чтобы не встречаться лишний раз с Василием Ивановичем.

Буржуазная Англия замышляла злое заговор против молодой республики рабочих и крестьян. В школах запретили преподавать английский язык.

Асе пришлось изучать немецкий. Она мучилась над заучиванием падежей, артиклей и бог знает чего еще, и, как было велено, стараясь удерживать в голове то, что же такое сделали в Рапалло немецкие братья по классу.

В Госиздате начальник сказал Лео:

— Городской пролетариат завтра выходит на демонстрацию против политики Франции в Руре. Явка, в том числе и ваша, товарищ Коваленский, обязательна.

— Не могу, — ответил Лео. — Завтра у меня разболится голова, и я весь день вынужден буду проваляться в кровати.

Василию Ивановичу пришлось продать абажур от лампы, что стояла в гостиной; саму лампу он оставил — она была последней.

Темными и теплыми весенними вечерами церкви заполнялись многочисленными прихожанами, запахом кадил и горящих свечей. Лидия молилась за святую Русь и за спасение своей истерзанной страхом души.

Андрей пригласил Киру в Мариинский театр на «Спящую красавицу». После спектакля он проводил ее до дома на Мойке, откуда она на трамвае отправилась домой.

Лео спросил:

— Ну, как поживает твой друг-коммунист?

— Тебе было одиноко? — не ответив, спросила она.

Он смахнул волосы у нее со лба, посмотрел на ее губы, сознательно удерживаясь от поцелуя, и сказал:

— Мне хочется ответить «нет», но ты ведь знаешь, что это не так.

Его теплые губы слились с ее губами, покрытыми каплями холодного, весеннего дождя.

В 1923 году, как и в любом другом, была весна.

ГЛАВА XII

Кире пришлось простоять в очереди три часа, чтобы получить хлеб в институтском кооперативе. Было уже темно, когда она сошла с трамвая, крепко прижимая к груди буханку хлеба. Стоявшие на углах фонари отбрасывали полоски света на темные лужи. Она шла напрямик, шлепая по лужам и расшвыривая ледышки, которые поблескивали, как стекло. Когда она завернула за угол, чья-то вынырнувшая из темноты тень свистнула ей.

— Алло! — позвал голос Ирины. — Ну, на кого я похожа, когда так говорю?

— Ирина! Что ты здесь делаешь, да еще так поздно?!

— Возвращаюсь из твоего дома. Я ждала тебя там целый час, но так и не дождалась.

— Ну, так пойдем к нам.

— Нет — лучше поговорим здесь. Я... ведь за этим и приходила... но Лео может не понравиться... — Ирина заколебалась, что было так не похоже на нее.

— В чем же дело?

— Кира, как... как у вас с деньгами?

— Нормально, а почему ты спрашиваешь?

— Понимаешь... это, наверное, не мое дело... но, пожалуйста, не сердись... Твоя семья... Я никогда о них не говорила...

— Что с ними? — спросила Кира, взглянув в темноте на взволнованное лицо Ирины.

— Они в ужасном состоянии, Кира, в ужасном. Тетя Галина, наверное, убьет меня, если узнает, что я тебе сказала... Видишь ли, того человека, что поставлял им сахарин, арестовали за спекуляцию. Его посадили на шесть лет. А твои... Что им теперь делать? На прошлой неделе отец отнес им фунт проса. Если бы мы могли... Но ты ведь знаешь, в каком мы положении... Мама так больна. И продавать больше нечего, остались одни обои. И у них в доме,

по-моему, ничего уже не осталось. Я подумала, тебе лучше знать... об этом.

— Вот, — сказала Кира, — возьми хлеб. Нам он не нужен, купим себе в частной лавке. Отнеси им и скажи, что нашла, одолжила, украла, наконец. В общем, что хочешь. Но только не говори, что это от меня.

* * *

На следующий день Галина Петровна сама пришла к ним. Киры не было дома, и дверь открыл Лео. Изящно раскланявшись, он сказал:

— Полагаю, вы — моя теща?

— Хотелось бы, чтобы это было так, — отчеканила она.

Он улыбнулся улыбкой настолько неотразимой и заразной, что Галина Петровна не выдержала и тоже улыбнулась. Когда пришла Кира, слезы полились ручьем. Не в силах сдержать рыдания, Галина Петровна обняла ее:

— Кира!.. Девочка моя!.. Господи, прости нам наши грехи!.. Какое сейчас трудное время... Но кто мы такие, чтобы судить?.. Сейчас все рушится... И какая разница? Мы ведь можем забыть старое и... все исправить. Господь нам поможет... Мы утратили...

Выпустив наконец Киру из объятий, она припудрила нос картофельной мукой и пробормотала:

— Этот хлеб, Кира. Мы совсем не ели его. Я его припрятала. Мы не могли — я подумала, а вдруг вы тоже голодаете. Я тебе все принесла назад. Мы отрезали совсем крошечный кусочек — отец был так голоден.

— Ирина слишком много болтает, — сказала Кира. — Нам он не нужен, мама. Не беспокойся ни о чем, съешьте его.

— Вы должны навестить нас, — сказала Галина Петровна, — что было, то прошло. Хотя я не понимаю, почему бы вам... Ну да ладно, это ваше дело. Сейчас все не так, как десять лет назад... Вы обязательно должны навестить нас, Лео, — я ведь могу вас так называть, правда? И Лидочка так хочет познакомиться с вами.

* * *

Хлеб в Петрограде можно было купить в частных лавках, но цены в них заставили Киру задуматься.

— Поедем на вокзал, — сказала она Лео.

Вокзальные перроны были самыми дешевыми и самыми ужасными рынками города. Против спекулянтов, привозивших продукты

из деревень, действовали суровые законы. Избегая бдительных милиционеров, спекулянты, одетые в лохмотья, пускались в долгие путешествия на крышах вагонов, проходили пешком многие километры по грязным дорогам, подцепляя в пути вшей и тиф. Они провозили продукты в огромных башмаках, зашитыми в подкладку кишасей вшами одежды, в пропахшем потом белье. Голодающий город с нетерпением ожидал каждый поезд. После прибытия на темных улочках вокруг железнодорожных складов начинался обмен хрустальных фужеров и кружевных манишек на шматки сала и покрытые плесенью мешочки с мукой.

Взявшись за руки, Кира и Лео пошли к Николаевскому вокзалу. По тротуарам барабанила капель, и каждая капелька сверкала, словно маленький кусочек весеннего солнца. Лео купил Кире букетик свежих фиалок и приколот его к ее старому черному пальто. Она счастливо улыбнулась и, смеясь, швырнула ногой в лужу кусочек льда, обрызгав случайного прохожего.

Поезд уже прибыл. Они с трудом пробирались сквозь толпы жаждущих, которые толкали их из стороны в сторону, пихали локтями и наступали на ноги.

Бдительные солдаты молча и подозрительно осматривали сходящих с поезда пассажиров.

Среди них был человек с довольно примечательным носом — он был таким коротким и так сильно задран вверх, что его широкие, косые ноздри казались почти вертикальными; под ним разверзся массивный тяжелый рот. Когда он шел, живот его подрагивал, как желатин. Пальто его было очень грязным, а ботинки давно не чищенными.

Солдаты схватили его за руки, пытаются обыскать. Он лишь тихонько хныкал:

— Товарищи, братки! Вы ошиблись, видит бог. Я всего лишь бедный крестьянин. Слыхом не слыхал ни о какой спекуляции. Но я — сознательный гражданин. И если вы меня отпустите, я могу вам кое-что сообщить.

— Что ж ты, сукин сын, можешь нам сообщить?

— Видите ту женщину? Она спекулянтка. Я видел, как она прятала продукты. Я покажу.

Тут же сильные руки схватили женщину. В огромных солдатских кулачищах ее руки казались тонкими, как кости скелета. Ее волосы выбились из-под старой шляпы с черным пером и закрыли глаза; шаль, приколотая к высохшей груди старинной булавкой, тихонько и мелко дрожала, словно оконное стекло от далекой канонады. Она застонала, и во рту у нее показались три желтых зуба:

— Товарищи... Это для моего внука... Я не собиралась ничего продавать... Только для внука... Пожалуйста, отпустите меня... У моего внука цинга. Ему нужно есть. Цинга. Пожалуйста...

Ее куда-то потащили, сбив с головы шляпу, которая осталась лежать на перроне. Тут же на нее кто-то наступил.

Человек с задраннным носом проводил взглядом женщину и солдат с улыбкой на толстых губах.

Обернувшись, он заметил, что Кира пристально смотрит на него. Он таинственно, понимающе подмигнул и кивком головы пригласил их идти за ним к выходу. Кира и Лео пошли вслед за ним, не понимая, что это значит.

На темной улице возле вокзала человек подозрительно осмотрелся по сторонам, снова подмигнул и распахнул пальто. Затертое сверху, внутри оно оказалось подбитым дорогим, тяжелым мехом, от которого невыносимо пахло гвоздичным маслом, используемым пассажирами как средство от вагонных вшей. Он расстегнул несколько потайных крючков в глубине меховой подкладки, погрузил в нее руки и извлек оттуда буханку хлеба и кусок окорока. Он улыбнулся. Вернее, улыбался только рот, а все остальное — короткий нос и блестящие маленькие глазки — оставалось неподвижным, словно парализованным.

— Вот, граждане, — хвастливо сказал он, — хлеб, окорок, все, что пожелаете. Мы свое дело знаем.

В следующее мгновение Кира повернулась и побежала по улице — не отдавая себе отчета в том, что делает, — прочь от какого-то странного, тяжелого чувства, охватившего ее.

* * *

— Всего лишь небольшая вечеринка, — сказал в трубке голос Вавы Миловской. — В субботу... скажем, часов в десять вечера... и обязательно приходи с Лео! Я просто умираю от желания познакомиться с ним. Будет человек пятнадцать-двадцать. Да, и вот еще... я пригласила Лидию, ты не могла бы подыскать ей какого-нибудь молодого человека. Знаешь, все будут парами... а сейчас так трудно найти молодого человека... может, у тебя есть кто-нибудь на примете?

— Есть. Тебя не пугает, что он коммунист?

— Коммунист? Как забавно! А он симпатичный?.. Конечно же, приводи! Мы будем танцевать, будут закуски... Да, Кира, я прошу каждого захватить по одному поленцу... чтобы протопить гостиную, ты не возражаешь?.. Ну и прекрасно. Жду тебя в субботу вечером.

В 1923 году в Петрограде редко кто устраивал вечеринки. Кира раньше никогда не бывала на них. Она решила пригласить Андрея. Она устала от обмана и была немного напугана тем, что все зашло так далеко. Андрей ничего не знал о Лео. Лео знал об Андрее все, она рассказала ему об их дружбе, и он ничего не имел против. Он снисходительно улыбался, когда она говорила об Андрее, и спрашивал, как поживает ее «друг-коммунист». Андрей же не знал никого из знакомых Киры, и до него не дошли никакие слухи. Он никогда не задавал вопросов. Он держал свое слово — никогда не приходил к ним в дом, и они всегда встречались в институте. Они беседовали о будущем человечества и его вождях, о балете, трамваях и атеизме. По какому-то молчаливому соглашению они никогда не говорили о Советской России... Казалось, между ними лежала пропасть, но сил их духа и рук хватало, чтобы удерживать над ней друг друга.

Его загорелое лицо с легкими морщинками у рта было похоже на лик со старой иконы. От времен Крестовых походов ему досталась беспощадность, непреклонная вера и суровое целомудрие. Она не могла рассказать ему о своей любви; она даже не смела думать об этом в его присутствии, боясь не столько его осуждения, сколько холодного безразличия. Но в то же время ей не хотелось ничего от него скрывать. Лео и Андрей должны были встретиться, хотя она немного побаивалась этой встречи. Она не могла забыть, что один из них был сотрудником ГПУ, а другой — сыном расстрелянного отца. Вечеринка у Вавы была как раз подходящим для этого событием. Они встретятся, она будет наблюдать за их реакцией. Возможно, после этого знакомства Андрей сможет прийти к ним домой; ну а если он узнает о ней всю правду, что ж, тем лучше.

Она встретила его в библиотеке института.

— Андрей, ты не испугаешься, если я приглашу тебя на буржуазную вечеринку?

— Нисколько, если ты будешь рядом, чтобы защитить меня.

— Обещаю, что буду. Вечеринка в субботу в десять вечера. Мы идем вдвоем с Лидией, и с нами должно быть двое мужчин. Ты — один из них.

— Прекрасно, если только Лидия не испугается меня.

— Вторым будет Лео Коваленский.

— Вот как...

— Андрей, тогда я не знала его адрес.

— Я ведь и не спрашивал тебя. Мне это безразлично.

— Заходи за нами в полдесятого на Мойку.

— Я все еще помню твой адрес.

— Мой... ах да, конечно.

* * *

Вава Миловская встречала гостей в прихожей.

На ее лице сияла улыбка; черные глаза и локоны сверкали, как и изящный кожаный ремешок вокруг тонкой талии и маленькие кожаные цветочки (последний крик советской моды), приколотые к платью.

Гости приходили, неся под мышкой поленья для камина. Высокая, сурового вида горничная, одетая в черное платье с накрахмаленным белым передником, молча принимала у них дрова.

— Кира, Лидия, дорогие! Как я рада вас видеть! Как вы поживаете? — заворковала Вава. — Я столько слышала о вас, Лео, что прямо напугана, — сказала она, подавая Лео руку; ответный взгляд Лео поняла даже Лидия; у Вавы перехватило дыхание, она немного отступила назад и посмотрела на Киру. Та не обратила на это никакого внимания.

— Так значит, это вы — коммунист, — сказала Вава, обращаясь к Андрею. — Я всегда говорила, что коммунисты — такие же, как все.

В огромной гостиной всю зиму не топили. И когда разожгли камин, дым с трудом прорывался через дымоход, время от времени заползая в комнату. Тщательно начищенные зеркала покрылись клубами серого тумана, так же как и полированные столы, на которых были заботливо выстроены в ряд разные безделушки; наполнивший комнату запах горящих сырых поленьев портил торжественную атмосферу, явно созданную специально для гостей.

Гости робко рассаживались по углам, дрожа под старыми шальями и свитерами. Надев на вечеринку лучшее, что у них осталось, стараясь держаться непринужденно, все они выглядели смущенными и какими-то напряженными. Они держали руки по швам, чтобы не было видно дыр под мышками; локти — на коленях, чтобы спрятать заплатки, а ноги — глубоко под стульями, чтобы не показывать старые валенки. Они без повода улыбались; смеялись над пустяками слишком громко. Все чувствовали себя как бы виноватыми за это предсудительное веселье, уже успев позабыть времена, когда люди собирались, просто чтобы повеселиться. Они тоскливо смотрели на огонь в камине, страстно желая и в то же время не смея, занять место поближе к огню. Все ужасно замерзли, но отчаянно старались казаться веселыми.

Единственным человеком, чье веселье казалось неподдельным, был Виктор. Размашистой походкой он ходил от компании к компании, подбадривая гостей своим звенящим веселым голосом.

— Дамы и господа, пожалуйста поближе к огню, вы тут не согретьесь. О, очаровательные кухни, Кира, Лидия!.. Товарищ Таганов,

очень рад, очень... Лидия, вот чудное кресло, специально для тебя... Рита, вы мне напомнили героиню последнего романа Смирнова. Читали? Потрясающе! Литература, свободная от обветшалого понятия «формы»... Новая женщина — свободная женщина будущего... Товарищ Таганов, план электрификации страны — без сомнения, один из величайших замыслов в истории человечества. Да если взять все наши энергетические ресурсы в пересчете на душу населения... Вава, эти бесподобные кожаные цветочки — последнее достижение женской элегантности. Думаю, что самые известные модельеры Парижа... Борис, я согласен с тобой в этом, пессимизм Шопенгауэра выглядит просто старомодным в сравнении с жизненными, практическими философскими концепциями возрождающегося пролетариата. Независимо от наших собственных политических взглядов нужно объективно признать, что пролетариат — правящий класс будущего...

С блестящей уверенностью Виктор выполнял роль хозяина вечеринки. Пока он стремительно двигался по комнате, развлекая гостей, темные глаза Вавы смотрели на него с обожанием и безоговорочно признавали его право распоряжаться вечеринкой. Каждый раз, когда звонил звонок, она выбегала в прихожую и вскоре возвращалась оттуда с застенчиво улыбающейся парой, которая входила, потирая руки и стыдась своей поношенной одежды. За ними торжественно следовала важная горничная с дровами, которые аккуратно складывала возле камина.

Коля Смяткин, светловолосый, круглолицый молодой человек с располагающей улыбкой, служивший в Табачном тресте, сказал:

— Я слышал... Все говорят... что у нас будет сокращение штатов в следующем месяце. Об этом все говорят. Может быть, меня уволят, а может, и нет. Но все равно как-то не по себе от этого...

Какой-то высокий господин в золотом пенсне и с глазами вечно недоедающего философа печально произнес:

— А у меня прекрасное место в архиве. Хлеб выдают почти каждую неделю. Но я боюсь, что мое место заполучит одна женщина — она любовница коммуниста и...

Кто-то тронул его за локоть и показал на Андрея, который стоял у камина и курил. Высокий господин закашлялся, почувствовав себя неловко.

Рита Экслер была единственной курящей женщиной среди гостей. Она растянулась на диване, положив ноги на подлокотник. Юбка ее задралась, обнажая колени, рыжая челка нависла над бледно-зелеными глазами. В ее накрашенных губах дымилась сигарета. Ее родителей убили во время революции. Она вышла замуж за красного

командира, но через два месяца развелась с ним. Она была некрасива, но использовала свою невзрачность настолько умело, что даже самые красивые девушки признавали в ней опасную соперницу.

Лениво потянувшись на диване, она медленно произнесла:

— Сейчас я расскажу вам кое-что забавное. Мой возлюбленный написал мне из Берлина...

В тот же момент к ней обратились любопытные взгляды всех присутствующих.

— Так вот что, в Берлине есть кафе, которые открыты всю ночь. Забавно, не правда ли? Их называют «ночные ресторанчики». А в самом известном из них знаменитая артистка Рикки Рей танцевала с шестнадцатью голыми танцовщицами, ну совершенно голыми... За это ее... арестовали... А на следующем представлении она и ее девушки вышли на сцену строем. На них были лишь шифоновые трусики, две золотистые полоски, едва прикрывающие грудь, и огромные шляпы. При этом считалось, что они были одеты... Забавно, не правда ли?

Она засмеялась, загадочно глядя на слушавших ее гостей, и ее взгляд задержался на Лео. Впрочем, она заметила его с того момента, как он вошел в комнату. В ответ Лео посмотрел на нее прямым насмешливым взглядом, полным понимания. Этот взгляд и обидел ее, и приободрил.

Угрюмая анемичная девушка, которая, скучая, сидела в углу, старательно пряча свои ноги, обутые в тяжелые валенки, как-то неуверенно, словно не чувствуя собственного голоса, сказала:

— За границей... я слышала... нет продовольственных карточек, кооперативов и всего такого. Просто идешь в магазин и, когда хочешь, покупаешь хлеб, картошку и даже сахар. Лично мне даже не верится.

— Говорят также, что там и одежду покупают без всяких профсоюзных заказов.

— У нас нет будущего, — заявил философ в золотом пенсне. — Мы погрязли в убажнении плоти. А судьба России всегда зависела от ее духа, а теперь у России нет ни Бога, ни души.

— А вы слышали о Мите Веселкине? Он хотел на полном ходу спрыгнуть с трамвая и попал под него. Ему еще повезло, что отрезало только руку.

— Запад потерял все свое значение, — сказал Виктор. — Старая цивилизация обречена. Старое, уже никого не устраивающее содержание лишь облекается в новые формы. Да, сейчас нам трудно, но мы строим новое общество. За нами — будущее.

— Я простудилась, — сказала угрюмая девушка. — Через профсоюз маме выдали талон на галоши, но в кооперативе не было моего

размера. Мы пропустили очередь и должны ждать еще три месяца, и я простудилась.

— У Веры Бородиной взорвался примус, прямо в руках. Она ослепла, а ее лицо — это что-то ужасное, словно она была на войне.

— А я купил себе галоши в частной лавке, — с гордостью сказал Коля Смяткин. — А теперь боюсь, что поспешил. Что, если меня уволят?

— Вава, может, подкинуть дров? Комната до сих пор... не прогрелась.

— Беда нашего времени в том, — сказала Лидия, — что в нас нет ничего духовного. Люди утратили даже простую веру.

— В прошлом месяце у нас уже было сокращение штатов, но оно меня не коснулось, потому что я — общественный активист. Я учу неграмотных по вечерам, это моя клубная обязанность, и все знают, что я — сознательный гражданин.

— А я являюсь заместителем секретаря клубной библиотеки, — сказал Коля Смяткин. — Я бесплатно работаю там три вечера в неделю, и это спасло меня от последнего сокращения. Но на этот раз, боюсь, они уволят или меня, или одного моего приятеля — он работает заместителем секретаря в двух библиотеках.

— Когда у нас будет сокращение, — сказала анемичная девушка, — я боюсь, что они уволят всех, чьи жены или мужья работают. А у Миши такая прекрасная работа в Пищетресте. Мы с ним думаем, не лучше ли нам будет развестись. Нет, нет, мы, как и раньше, будем жить вместе. Пожалуй, мы так и сделаем,

— Моя карьера — это мой долг перед обществом, — сказал Виктор. — Я решил стать инженером, потому что эта профессия сейчас крайне необходима нашей великой республике.

Сказав это, он посмотрел на Андрея, чтобы убедиться, что тот его услышал.

— Я изучаю философию, — сказал Лео, — потому что пролетариату РСФСР совершенно не нужна эта наука.

— Между прочим, — вдруг сказал Андрей, нарушив воцарившуюся неловкую паузу, — некоторым философам может пригодиться пролетариат РСФСР.

— Может быть, — сказал Лео. — А может быть, я сбегу за границу, наймусь к эксплуататору-миллионеру и стану любовником его красавицы-жены.

— Уж в *этом* вы точно преуспеете, — заметил Виктор.

— У нас все еще холодно, — вдруг торопливо вмешалась Вава. — Давайте же танцевать, так мы сможем согреться. Лидия, дорогая...

Она заискивающе и просяще посмотрела на Лидию. Та со вздохом поднялась и неохотно села за пианино. Среди гостей она была

единственная с музыкальным образованием. Она смутно подозревала, почему ее постоянно приглашали на те немногие вечеринки, которые все еще устраивались в Петрограде. Она потеряла свои замерзшие пальцы и яростно, уверенно ударила по клавишам. Зазвучала популярная мелодия под названием «Джон Грэй».

Историки напишут, что «Интернационал» был великим гимном революции. Но у жителей революционных городов были свои гимны. В будущем петроградцам еще не раз вспомнятся те дни голода, борьбы и надежды, которые проходили под звуки судорожно-ритмичного «Джона Грэя».

Это был фокстрот с ритмом совсем как у той музыки, под которую танцевали там, за границей, и словами о каком-то иностранце Джоне Грэе, которому его подружка Китти отказала, боясь появления детей, о чем ему прямо и заявила. Петроград повидал ужасные эпидемии холеры и тифа, но они не шли ни в какое сравнение с захлестнувшей всех поголовно мелодией «Джона Грэя».

Люди стояли в очередях в кооперативе, насвистывая «Джона Грэя». В школах на переменах юные пары танцевали в большом зале, а какой-нибудь услужливый ученик наигрывал «Джона Грэя». Люди повисали на подножках трамваев с «Джоном Грэем» на губах. В рабочих клубах собравшиеся внимательно выслушивали лекцию о марксизме, а затем веселились, и кто-нибудь усаживался за расстроенное пианино и наигрывал «Джона Грэя».

Веселость этой песенки была какой-то грустной, ритм — истеричным, а ее фривольность — скорее мольбой, тоской по чему-то далекому, недостижимому. Казалось, даже флаги, которые по ночам нещадно трепал ветер, напевали эту мелодию, и весь город безнадежно молился под короткие, пронзительные ноты «Джона Грэя».

Лидия отчаянно ударяла по клавишам. Пары шаркали по полу гостиной, кружась в старомодном ритме. Ирина, у которой абсолютно не было голоса, наполовину пела, наполовину прокашливала слова песенки, стараясь, чтобы голос был таким же хриплым, как и у немецкой певицы, певшей ее в водевиле.

*Джон Грэй был парень бравый,
Китти была прекрасна.
Вот и влюбился страстно
Джон Грэй в Китти.*

*«Нет, ни за что на свете.
Могут случиться дети.
Нет», — сказала Кэт.*

Кира и Лео танцевали. Глядя ей в глаза, он прошептал:

— Когда-нибудь мы вот так же будем танцевать среди бокалов с шампанским, вечерних платьев и оголенных рук в каком-нибудь ночном ресторанчике.

Кира закрыла глаза, и ей показалось, что обнимающая ее сильная рука уносит ее куда-то совершенно в другой мир, увиденный ею однажды возле хмельной темной реки, которая мурлыкала «Песенку разбитого бокала».

Вава решила научить Андрея танцевать и, взяв его за руку, потащила в толпу гостей. Он послушно пошел за ней, улыбаясь, словно тигр, который не мог обидеть даже котенка. «А он способный ученик», — подумала Вава.

Она вела себя очень смело, думая, что развращает сурового коммуниста. Ей было жаль, что она не могла развратить его еще больше, и раздражало, что ее красота оставалась незамеченной им, и его спокойные, неподвижные глаза смотрели на нее так же, как на Лидию и на угрюмую девушку в стоптанных валенках.

Лидия заиграла «Вальс судьбы», и Андрей пригласил Киру на танец. Лео посмотрел на них с холодной улыбкой, но ничего не сказал.

— А Вава — неплохой учитель, — прошептала Кира, когда они с Андреем закружились среди других пар. — Но обними меня крепче, да, еще крепче.

«Вальс судьбы» был неторопливым и плавным. Время от времени мелодия на мгновение замирала, словно ей было необходимо слышать шелест платьев, но затем вновь начинала звучать так же плавно, напоминая о более не существующих балах.

Кира смотрела на внимательное лицо Андрея, улыбавшееся полу-иронично, полузастенчиво. Она прижалась к его груди; глаза ее сверкали, словно искорки; затем она резко откинула голову назад, но один локон, запутавшись вокруг пуговицы, так и остался на нем.

Андрей ощущал нежный шелк Кириного платья, а под ним — тепло ее стройной фигуры. Он взглянул вниз, в глубокий вырез ее платья, в котором неявно виднелась обнаженная грудь, но не осмелился посмотреть вниз еще раз.

Лео танцевал с Ритой; они часто обменивались многозначительными взглядами. Рита опытно, кокетливо прижималась к нему. Вава с гордостью смотрела на танцующие пары; ее рука грациозно и торжественно лежала на плече Виктора. Коля Смяткин украдкой робко поглядывал на Ваву, он не решался пригласить ее на танец, потому что был ниже ее ростом. Он знал, что всем известно о его преданной и безнадежной любви к ней и что из-за этого над ним смеялись, но ничего не мог поделать. От топота тяжелых валенок угрюмой

девушки дрожал канделябр, мелодично позванивая подвесками. Однажды она наступила на лакированную туфельку Вавы. Задумчивого вида мужчина подбросил в огонь дров, которые тут же зашипели и задымили; видимо, какой-то несознательный гость принес сырое полено.

В два часа ночи мама Вавы робко просунула голову в полуоткрытую дверь и спросила, не желают ли гости «немного перекусить». Тут же, позабыв о танцах, гости толпой ринулись в столовую.

Там уже стоял в торжественном великолепии длинный стол. На нем с особой тщательностью были разложены приборы; в ослепительном свете сияло серебро изящных вилок и хрусталь бокалов. На дорогих, сделанных из тончайшего фарфора белоснежных блюдах лежали бутерброды из черного хлеба и призрачно-тонкого слоя масла, нарезанная ломтиками вобла, пирожки с картофельной кожурой и квашеная капуста. К чаю вместо сахара подавались какие-то липкие коричневые конфеты.

Мама Вавы, гостеприимно улыбнувшись, сказала:

— Пожалуйста, берите всего по одному. Не беспокойтесь, хватит на всех, мы все посчитали.

Во главе стола, широко улыбаясь, сидел отец Вавы. Он был врачом-гинекологом. До революции ему не везло, но теперь его карьера стремительно пошла в гору. Помогли этому два обстоятельства: первое — то, что новая власть не рассматривала его как эксплуататора, так как он считался представителем «свободной профессии»; вторым обстоятельством было то, что, будучи гинекологом, он подпольно делал кое-какие операции, которые были официально запрещены. За два года он вдруг сделался процветающим не только в своем кругу, но и гораздо выше.

Он сидел, держась обеими руками за лацканы пиджака. На его круглом, объемистом животе висела толстая золотая цепочка; дорогие часы, поблескивая, вздрагивали в такт его дыханию. Его маленькие глазки, казалось, совсем потерялись в жировых складках. Он масляно улыбался гостям; ему льстило, что он был хозяином одной из тех очень редких вечеринок, на которых подавали еду; ему нравилось быть щедрым к детям тех, перед кем в былые дни ему приходилось кланяться: фабриканта Аргунова, адмирала Коваленского. «Завтра нужно будет сделать еще один взнос в Фонд воздушного флота», — подумал он про себя.

Его улыбка стала еще шире, когда служанка внесла на серебряном подносе шесть бутылок редкого старого вина, которое ему в знак благодарности преподнесла одна из пациенток. Он щедро наполнял бокалы, довольно улыбаясь и приговаривая:

— Вот это вино. Настоящее, довоенное качество. Держу пари, что вы, детки, никогда не пробовали ничего подобного.

Бокалы передавались вдоль стола из рук в руки.

Кира сидела между Лео и Андреем. Андрей, словно старинный богатырь, твердой рукой поднял бокал и сказал серьезно:

— Твое здоровье, Кира.

Лео же поднял свой бокал изящно и легко, словно дипломат в заграничном ресторане. Он сказал:

— Ну, раз за тебя уже выпил представитель класса-гегемона, то я поднимаю бокал за очаровательную хозяйку этой вечеринки.

Вава ответила ему теплой, благодарной улыбкой. Лео же пил, глядя на Риту.

Когда они вернулись в гостиную, огонь в камине уже почти погас, и его нужно было разжигать заново. Лидия снова начала играть; несколько пар лениво танцевали. Вава спела песенку о мертвой даме, чьи пальцы почему-то пахли ладаном.

Коля Смяткин изображал из себя пьяного, а Виктор рассказывал анекдоты; его примеру вскоре последовали и другие гости. Некоторые анекдоты были политическими; бросив опасливый взгляд на Андрея, их рассказчики, покраснев, умолкали на полуслове.

К пяти утра все уже утомились, но никто не решался идти домой до рассвета. Милиция была не в силах справиться с бандитами и грабителями, и поэтому мало кто осмеливался ходить по улицам после полуночи.

Доктор Миловский с женой удалились, оставив гостей одних дожидаться рассвета. Важная накрахмаленная горничная втащила в гостиную предусмотрительно одолженные у соседей матрасы, которые разостлали вдоль стен. Горничная ушла, и Вава погасила свет.

Гости по парам расположились на матрасах. В полной темноте ничего не было видно, кроме последних отблесков огня в камине да огоньков папирос. Ничто не нарушало тишину, кроме шелеста и подозрительных звуков, которые явно нельзя было назвать шепотом. По неписаным законам вечеринок никто не должен был быть излишне любопытным в эти последние часы вечеринки, которые, несмотря на то что все устали, были самыми восхитительными.

Кира почувствовала, что на ее руку легла рука Андрея.

— Наверное, у них есть балкон, давай выйдем, — прошептал он.

Пробираясь за Андреем к балкону, Кира услышала что-то вроде вздоха и звука страстного поцелуя, доносящегося из угла, где, обнявшись, лежали Вава и Виктор.

На балконе было холодно. Улица напоминала длинный серый тоннель, в котором стояла мертвая тишина. Замерзшие лужи были

похожи на осколки битого стекла, разбросанные по тротуару. Окна же походили на большие куски льда, вмёрзшие в стены домов. У столба стоял милиционер. Над ним висел флаг. Милиционер был неподвижен, флаг тоже.

— Забавно, — сказал Андрей. — Никогда не думал, что мне так понравится танцевать.

— Андрей, я на тебя рассердилась.

— За что?

— Ты второй раз не заметил моего лучшего платья.

— Оно прекрасно.

Дверь позади них закричала, поворачиваясь на ржавых петлях. На балкон, держа в уголке рта папиросу, вышел Лео.

— А что, Кира теперь тоже является национализированной собственностью? — язвительно спросил он.

Андрей спокойно, медленно ответил:

— Иногда я думаю, что для нее было бы лучше, если бы она была ею.

— Ну, этому не бывать, — сказал Лео, — конечно, если партия не примет об этом специальное решение.

Они вернулись в тепло темной гостиной. Ни слова не говоря, Лео уложил Киру на матрас рядом с собой; она задремала на его плече. Рита, пожав плечами, отодвинулась от них. Андрей стоял у балконной двери и курил.

В восемь утра на окнах раздвинули занавески. Серое небо разлилось по крышам домов, словно мыльная вода. Вава в прихожей провожала гостей. Ее немного покачивало, под глазами синели круги — следы усталости. Помада размазалась у нее по подбородку, а у носа висел выбившийся темный локон. Гости выходили группами, стараясь и по улице идти вместе.

Рассвет был холодным, под ногами хрустел лед. Андрей на секунду отвел Киру в сторону. Показав на Лео, который в тот момент помогал Лидии перепрыгнуть через лужу, Андрей спросил:

— Ты часто с ним видишься?

По вопросу Кире стало понятно, что он еще не узнал правды; а по тону — что она никогда ему этого не скажет. В витринах закрытых на большие висячие замки магазинов горел свет. На многих из них висели таблички: «Товарищи грабители, пожалуйста, не беспокойтесь. Внутри — пусто».

ГЛАВА XIII

Летом Петроград превратился в огромную доменную печь. Деревянный настил тротуаров покрылся черными трещинами, словно русло высохшей реки. Стены домов, казалось, задыхались от жары, а от крыш несло сплавившейся краской. Люди с лихорадочным блеском в глазах тщетно пытались отыскать в каменном городе хоть одно дерево. Но когда они его наконец находили, поворачивали прочь: неподвижные, мертвые листья были покрыты толстым слоем серой пыли. Волосы липли к лбам. Лошади трясли головами, чтобы отогнать назойливых мух от покрытых пеной ноздрей. Нева остановилась; маленькие огненные проблески лениво поигрывали на поверхности воды, словно это был расплавленный металл, отчего людям казалось, что становится еще жарче.

Как только выдавалась возможность, Кира и Лео уезжали на день за город.

Они шли, взявшись за руки, сквозь чередующиеся полосы солнечного света и теней от сосен. Словно колонны из темного камня, словно бронзовые от загара мускулистые тела, от которых отшелушивались тонкие чешуйки, эти сосны стояли, как охранники, ревниво склонившись над аллеей, пропуская к ней сквозь тяжелую малахитовую зелень лишь несколько лучиков нежно-голубого света.

На покрытых зеленью склонах канавы уже виднелись маленькие лиловые пятнышки фиалок, склонившихся к песчаной гряде; лишь серебряное поблескивание песка говорило, что в канавке была вода. Кира шла босиком, сняв туфли и чулки. Она весело пинала упавшие с сосен шишки, и между пальчиками ее ног застревали мягкая пыль и сосновые иголки. Лео нес ее туфли, подвешенные на старой сухой ветке, его светлая рубашка была расстегнута, а рукава закатаны до локтей. Кира прошлепала босыми ногами по доскам старого моста. Через широкие щели в настиле подмигнули отблески на воде,

которые сверкали, словно чешуя маленьких рыбок; под ними черными запятыми резвились головастики.

Они присели на лугу. Высокая трава стеной поднималась вокруг них, уходя до самого неба, синего и раскаленного; даже оно, казалось, пахло клевером. Где-то, словно электрический моторчик, стрекотал кузнечик. Кира сидела, а Лео лег, растянувшись во весь рост и положив голову к ней на колени. Он пожевывал стебелек. Его рука напоминала те безупречные руки, что изображались на рекламах иностранных сигарет. Время от времени она наклонялась и целовала его.

Затем они устроились на огромном корне дерева над рекой. Внизу, на склоне, раскидистые лапы папоротников напоминали карликовые пальмы. Серебристо-белая кора берез сверкала на солнце, а листва походила на устремившийся вниз водопад, чьи брызги так и замерли в воздухе, трепеща, превращаясь из серебристо-белых в зеленые, и наоборот; время от времени листья падали в реку, которая тут же уносила их своим течением. Кира проворно и весело, словно маленький зверек, лазала среди корней, камней и папоротников. Лео наблюдал за ней. Ее движения были резкими и ловкими и в то же время невыразимо грациозными. И эта грациозность ее движений, не мягких и плавных, а быстрых, геометрически точных, напоминала движения в причудливом современном танце. Она уселась на ствол высохшего дерева, и казалось, что все линии ее тела были абсолютно прямоугольными: кисти рук, локти, туловище, ноги; в острых, угловатых, четко очерченных формах ее напряженного, упругого тела было что-то, напоминающее молнию. Затем Лео поднялся, догнал ее, поймал своими крепкими руками и прижал к себе, словно выровняв ломаные линии ее тела. Она засмеялась странным, слишком веселым смехом, в котором были и вызов, и торжество, и восторг. Ее влажные губы блестели.

* * *

Возвратившись в город, они были встречены тусклыми сумерками, сквозь которые с плакатов, знамен и лозунгов проглядывали буквы СССР.

Теперь у страны было новое название и новая конституция. Это было решено на Всесоюзном съезде Советов. На плакатах было написано:

СССР — ЯДРО БУДУЩЕГО МИРОВОГО ГОСУДАРСТВА

По раскаленным пыльным улицам шли демонстрации, красные платки не успевали впитывать пот с многочисленных лбов.

НАША СИЛА — В СПЛОЧЕННОСТИ КОЛЛЕКТИВА

Гремя барабанами, прошла колонна детей, напоминавшая слоеный пирог: слой голых ног, слой голубых шорт, слой белых рубашек и красных галстуков. Это был детский сад партии — пионеры. Тоненькие детские голоса пели:

*Мы на злобу всем буржуйам
Мировой пожар раздуем.
Мировой пожар в крови...*

* * *

Однажды Кира и Лео решили остаться в деревне на ночь.

— Конечно, конечно, — сказала хозяйка дома. — Я сдам вам комнату на ночь. Но сначала вам нужно получить у управдома справку о прописке в городе и разрешение из отделения милиции. Еще вы должны принести свои трудовые книжки, чтобы я зарегистрировала их в нашем сельсовете, получила разрешение оставить вас как проезжих и заплатила налог; тогда вы можете спокойно переночевать здесь.

Эту ночь они провели в городе.

* * *

Галина Петровна, наконец-то набравшись решимости, устроилась на работу. Она преподавала шитье в школе для детей рабочих. Ей приходилось трястись в пыльном трамвае через весь город, чтобы добраться до рабочей окраины; она смотрела на маленькие перепачканные руки, кроящие рубашки и передники или вышивающие что-то на знаменах; она рассказывала о важности обучения шитью и о мудрой политике советского правительства в области образования.

Александр Дмитриевич большую часть дня спал. Во время же бодрствования он раскладывал пасьянсы на гладильной доске в кухне или заботливо готовил из крахмала и сахарина молоко для кота по имени Плутарх, которого он подобрал на свалке.

Когда Кира и Лео приходили навестить их, им не о чем было говорить. Галина Петровна быстро и суетливо щебетала об образовании масс и о священном долге интеллигенции служить своим менее просвещенным братьям. Лидия рассуждала о духовном. Александр Дмитриевич молчал. Галина Петровна уже давно оставила свои намеки

на брак Киры. Лидия заметно оживлялась, когда Лео заговаривал с ней; смущенная и взволнованная, она вспыхивала.

Кира навещала их потому, что Александр Дмитриевич смотрел на нее с тенью улыбки на лице, словно если бы не стена тумана, внешне выросшая между ним и действительностью, он был бы рад видеть дочь.

* * *

Сидя на подоконнике, Кира смотрела, как по тротуару шлепали капли первого осеннего дождя. В чернильно-темных лужах появлялись пузырьки, окруженные колечками. Несколько мгновений они плыли по луже, а затем неизбежно лопались, словно маленькие вулканчики. Дождь монотонно барабанил по тротуару; его звук походил на отдаленный рокот мотора; среди однообразного шума выделялась одна струйка, словно где-то поблизости тек кран.

Внизу по улице двигалась одинокая фигура прохожего. Он шел сгорбившись; воротник старого пальто был поднят, руки засунуты глубоко в карманы, локти прижаты к бокам. Слегка покачиваясь, словно привидение, он удалялся — в город мокрых, блестящих под пеленой мелкого дождя крыш.

Кира не включала свет. Лео нашел ее сидящей на подоконнике в полной темноте. Он прижался к ней щекой и спросил:

— В чем дело?

— Ни в чем, — мягко ответила она, — просто скоро зима... и Новый год.

— Ты ведь не боишься? А, Кира? До сих пор мы продержались.

— Нет, — ответила она, — не боюсь.

* * *

Новый год начался с прихода управдома.

— Значит так, гражданин Коваленский, — сказал он, переминаясь с ноги на ногу, теребя в руках шапку и избегая взгляда Лео. — По жилищному законодательству вы не имеете права проживать вдвоем в трех комнатах, когда имеется нехватка жилья. А жилья в городе не хватает, и людям негде жить. Из жилотдела ко мне прислали жильца с ордером на комнату. И я обязан ему, образцовому пролетарию, это жилье предоставить. Я поселяю его в вашей столовой, а вам останутся две другие комнаты. Не то сейчас время, чтоб жить в семи комнатах, как некоторые привыкли.

Новым жильцом был робкий, маленький пожилой человечек, который заикался, носил очки и работал бухгалтером на обувной фабрике «Красный скороход». Он уходил рано утром и возвращался домой лишь поздно вечером. Он готовил себе на своем примусе, и к нему никогда никто не приходил.

— Я вам нисколько не помешаю, гражданка Аргунова, — сказал он при первом появлении в квартире, — нисколько. Вот только ванная... Если вы разрешите мне раз в месяц помыться... буду премного благодарен. Что же до других удобств, то они, пардон, имеются во дворе. Я вас не побеспокою.

Кира и Лео переставили мебель, что была в столовой, в свои оставшиеся комнаты и заколотили дверь. Когда Кира готовила в гостиной, то просила Лео оставаться в спальне.

— Для нашего самосохранения, — объяснила она ему.

* * *

Андрей все лето находился в деревнях Поволжья по заданию партии.

В первый же день нового семестра он встретился с Кирой в институте. Он еще больше загорел; морщинки вокруг уголков рта напоминали то ли рану, то ли шрам, а скорее и то и другое.

— Кира, я знал, что буду рад вновь увидеть тебя, но не подозревал, что буду так... счастлив.

— У тебя было трудное лето, правда, Андрей? — спросила она.

— Спасибо тебе за письма, они помогали мне не падать духом. Она посмотрела на твердую линию его сжатых губ.

— Что они сделали с тобой?

— Кто? — Но он понимал, что она знает.

Смотря куда-то мимо нее, он ответил:

— Ну, наверное, все это знают. Деревни остаются темным пятном на нашем будущем. Они еще не покорены, еще не с нами. Они повесили на сельсоветы красные флаги, а за пазухой прячут ножи. Они кланяются и кивают головами, посмеиваясь в бороды. Они вешают портреты Ленина на амбаре, в котором прячут от нас зерно. Ты читала в газетах о трех коммунистах, сожженных заживо в клубе? Я примчался туда на следующий день.

— Андрей! Надеюсь, ты поймал их?

— Кира! И ты так говоришь о борцах против коммунизма?!

— Но... Ведь они могли сделать то же *с тобой*.

— Ну, со мной, как видишь, ничего не случилось. Не пугайся этого шрама на шее: случайно зацепило. Этот дурак не умел как следует обращаться с оружием и не очень хорошо прицелился.

* * *

В кабинете начальника Госиздата висело пять портретов: по одному — Маркса, Троцкого, Зиновьева и два — Ленина. На столе стояли два небольших гипсовых бюста: Ленина и Карла Маркса. Начальник носил крестьянскую рубаху-косоворотку, сшитую из дорогого черного сатина.

Он взглянул на свои ухоженные ногти, затем на Лео.

— Уверен, товарищ Коваленский, что вы, как и все, с радостью примете участие в нашей культурной революции.

— Что вам нужно от меня? — спросил Лео.

— Нам доверили культшефство над одним из подразделений Балтфлота. Вы понимаете, что я имею в виду? В соответствии с мудрой, блестящей политикой партии по распространению образования и пролетарской культуры мы с гордостью стали культшефом менее образованных братьев, как и все подобные нам учреждения. Значит, теперь мы отвечаем за культурное развитие наших храбрых балтийских матросов. Это будет нашим скромным вкладом в становление новой цивилизации, нового правящего класса.

— Прекрасно, — сказал Лео, — и что я должен делать?

— Думаю, это очевидно, товарищ Коваленский. Мы должны организовать вечернюю школу для наших подшефных. С вашим-то знанием языков... Я планирую два раза в неделю проводить уроки немецкого, все-таки Германия — краеугольный камень нашей будущей дипломатии и следующий этап в мировой революции. Ну и один раз — урок английского. Естественно, работа будет бесплатной, ведь это — наша собственная инициатива, наш дар стране.

— С тех пор, как началась революция, — сказал Лео, — я никому не покупал подарков, ни друзьям, ни всем остальным. Мне это не по карману.

— Товарищ Коваленский, а знаете ли вы, что мы думаем о тех, кто просто отработывает зарплату, нисколько не участвуя в общественной жизни в свободное время?

— А вам не приходило в голову, что в свободное время я хочу жить своей жизнью?

Начальник посмотрел на пять портретов на стене.

— Наше государство не признает никакой жизни, кроме общественной.

— Давайте не будем это обсуждать.

— То есть вы отказываетесь внести свой вклад?

— Именно.

— Прекрасно. Ведь эта работа не обязательна. Совсем не обязательна. Вся ее суть состоит в добровольности и сознательности участников. Я ведь думал о вашей пользе, когда вам ее предлагал. Я думал, что с вашей-то биографией вы будете рады... Ну да ладно... Да, кстати, товарищ Зубиков из партячейки, увидев в нашей ведомости по выдаче зарплаты человека с вашим социальным происхождением, остался весьма недоволен. А когда он узнает об этом...

— Когда он узнает, — спокойно сказал Лео, — пошлите его ко мне. Я дам урок *ему лично*, бесплатно, если ему, конечно, это будет интересно.

* * *

Лео вернулся домой раньше обычного.

В сгущавшихся сумерках шипел голубой огонек примуса. При его свете белый передник Киры казался белым пятном.

Бросив шапку и портфель на стол, Лео сказал:

— Ну вот и все. Меня уволили.

Кира стояла с ложкой в руке.

— Что... Госиздат? — спросила она.

— Да. Сокращение штатов. Избавляются от нежелательных элементов. Мне сказали, что у меня буржуазные взгляды, что у меня нет общественного сознания.

— Ну ладно... ничего, проживем как-нибудь.

— Конечно, проживем. Да мне наплевать на эту проклятую работу. Меня это волнует не больше, чем перемена погоды.

— Да. А теперь раздевайся, живо мой руки, и будем ужинать.

— Ужинать? А что у нас на ужин?

— Борщ. Ты ведь любишь.

— Кто тебе сказал? Мне вообще не нужен ужин, я не голоден. Я иду в спальню работать. И не беспокой меня, пожалуйста.

— Хорошо.

Оставшись одна, Кира сняла крышку с кастрюли и стала мешать борщ, медленно, тщательно, дольше, чем было нужно. Затем взяла с полки тарелку. Неся ее к столу, она заметила, что руки ее дрожат. Остановилась в темноте и в первый раз в жизни, обращаясь к себе самой, словно к кому-то незнакомому, прошептала:

— Не надо, Кира, не надо. Не надо.

Она стояла в темноте и смотрела на тарелку в руках, собрав во взгляде всю волю, словно от этого зависело что-то очень важное. Вскоре тарелка перестала дрожать.

* * *

Простояв в очереди час, он закурил папиросу.

Простояв два, он начал чувствовать, что ноги его немеют.

После трех часов он почувствовал, что онемело все его тело, до самой шеи, и прислонился к стене.

Когда подошла очередь Лео, редактор посмотрел на него и сказал:

— Не знаю, чем мы можем вам помочь, гражданин. Да, мы публикуем статьи об искусстве, но — искусстве пролетарском, позвольте вам напомнить. Строгий классовый подход. А вы не являетесь членом партии, да и социальное положение у вас... согласитесь. А у меня на очереди — десять опытных репортеров, и все — партийцы.

* * *

Незачем жарить рыбу на сале, решила Кира. На подсолнечном масле выйдет не хуже. Если купить хорошего масла, то оно совсем не будет пахнуть, да и выйдет дешевле.

Она аккуратно пересчитала деньги над прилавком кооператива и пошла домой, осторожно неся в руках тяжелую, в жирных подтеках бутылку с густой желтой жидкостью.

* * *

— Извините, что вам пришлось так долго ждать, гражданин, — сказала Лео секретарша, — но товарищ редактор — очень занятой человек. Пройдите.

Товарищ редактор сидел, откинувшись в кресле; в руке у него был бронзовый нож для разрезания бумаг, кончиком которого он постукивал по краю настольного календаря с изображением Луначарского — наркома образования и культуры; голос редактора походил на звук режущего бумагу ножа:

— Нет никаких свободных мест. Многие рабочие голодают, а вы, буржуй, спрашиваете у меня работу. Да я сам рабочий, прямо от станка. До революции я был безработным, а вы, буржуи, пожалели меня? Вот теперь вы сами можете на своей шкуре испытать, что это такое.

* * *

— Граждане, тут что-то не так. Оформление на получение пособия проводится с девяти до одиннадцати, только по четвергам... Что?.. Полтора часа?.. Откуда я знаю, зачем вы тут сидите, вас никто сидеть не просил.

* * *

По вечерам, приходя домой, он молчал.

Кира подавала ужин, он садился и ел. Она старалась как могла, но он не говорил ни слова. Он не смотрел ни в ее спокойные серые глаза, ни на мягко улыбающиеся губы. Он ни на что не жаловался, но и ничто не могло его отвлечь от своих мыслей.

Иногда он подолгу стоял возле хрустальной, на малахитовой подставке вазы, той, что чудом уцелела при обыске, и бессмысленно смотрел на нее, не моргая, засунув руки в карманы; он курил, и клубы папиросного дыма тихо, медленно плыли по комнате. Однажды он странно улыбнулся, и папироса, выпав изо рта на пол, так и осталась лежать там, догорая; отчего на паркете расплылось темное пятно; но он этого не заметил, как и Кира, чьи расширенные, испуганные глаза были прикованы к его холодной сардонической улыбке.

* * *

— Стаж работы у вас есть, гражданин?

— Нет.

— А вы член партии?

— Нет.

— Извините, мест нет. Следующий.

* * *

В понедельник Лео пообещали работу. Он стоял перед маленьким сморщенным начальником конторы, зная, что должен благодарно улыбаться. Но Лео никогда не улыбался, когда это было нужно. Да это, наверное, было и ни к чему. Начальник встретил его с обеспокоенным, извиняющимся видом, стараясь избежать его взгляда.

— Извините, гражданин. Да, я действительно обещал вам место, но... понимаете, приехала двоюродная сестра большого человека из Москвы, и у нее нет работы... Непредвиденные обстоятельства... Знаете, человек предполагает, а Господь располагает... Вы... заходите еще, гражданин.

* * *

Кира уже не так часто ходила в институт.

Но когда она сидела в большой холодной комнате, слушая лекции о стали, болтах и киловаттах, она распрямляла плечи, словно внутри ее какой-то ключ натягивал струны ее нервов. Иногда она

оборачивалась и смотрела на Андрея, который всегда садился позади нее; слушая о балках и перекрытиях, она думала: не о нем ли все это? Не о его ли костях и мускулах? Не для скелета ли этого человека была создана сталь? Или, наоборот, он был создан для стали, бетона, кирпича; она давно уже не понимала, где пролегла граница между жизнью Андрея Таганова и всеми этими механизмами.

На его заботливые расспросы она отвечала:

— Андрей, у меня нет никаких кругов под глазами, это тебе кажется. И потом, раньше ты никогда не думал о моих глазах.

* * *

Когда Лео сел за стол, Кирина улыбка была немного натянутой.

— Видишь ли, сегодня у нас не будет ужина, — мягко сказала она. — То есть настоящего ужина. Только хлеб. Когда подошла моя очередь, в кооперативе кончилось просо. Но я получила хлеб. Вот твоя порция. Я поджарила немного лука в постном масле. Знаешь, с хлебом очень вкусно.

— А где твоя порция?

— Я... я уже съела. Перед твоим приходом...

— Сколько ты получила на этой неделе?

— А... нам выдали... целый фунт, представляешь? Вместо полфунта, как обычно, правда, здорово?

— Да, здорово. Только я не голоден. Я пойду спать.

* * *

Маленький человек, стоявший в очереди за Лео, все время как-то странно посмеивался, издавая горлом какой-то шипящий звук, так и не доходявший до рта, — «хе-хе-хе».

— Видите этот красный платок в моем кармане? — прошептал он таинственно Лео в самое ухо. — Я вам раскрою секрет. Это вовсе не платок, а просто маленькая красная шелковая тряпочка. Когда заходишь, то с первого взгляда кажется, что это партийный значок или что-то в этом роде, хе-хе. Конечно, потом все становится ясно, но зато какой психологический эффект, хе-хе. Если есть свободное место, то это помогает. Ну вот. Ваша очередь. Ах, Господи Иисусе... Скоро стемнеет. Как летит время в очередях, гражданин, хе-хе.

* * *

В очереди в университетский кооператив какой-то студент, стоявший впереди Лео, громко сказал своему товарищу с партийным значком:

— Ну и ну! Иных студентов редко увидишь на лекциях, но в очереди за пайком — непременно.

Разговаривая со служащим за прилавком, Лео старался сделать свой голос умоляющим, однако он звучал черство и совсем невыразительно:

— Товарищ, вы не возражаете, если я оторву талон и за следующую неделю. Я сохраню его и отдам вам отдельно от карточки. Видите ли... мне нужно сказать жене, что я сегодня получил хлеб за две недели и съел свою пайку по дороге, иначе жена откажется съесть все... Спасибо, товарищ.

* * *

Дородный заведующий провел Лео темным коридором в пустую контору с портретом Ленина на стене. Он тщательно закрыл дверь. У него была приторно-дружеская улыбка и большие пухлые щеки.

— Здесь, гражданин, нам будет удобнее разговаривать. Значит так. Работу сейчас найти трудно, очень трудно. Сейчас человек, занимающий ответственный пост, имеет право принимать на работу других, а рабочее место в наше время — это определенная ценность. Далее. У человека, занимающего ответственный пост, не очень большая зарплата. А все так дорого. И всем нужно жить. А за хорошее рабочее место надо... уметь благодарить, не так ли?.. Почти разорен? Чего же ты тогда хочешь, подзаборник? Ты что думаешь, мы, пролетарии, будем принимать на работу первого приبلудного буржуя?

* * *

— Английский, немецкий и французский? Хорошо, очень хорошо, гражданин. Нам действительно нужны учителя иностранных языков. Вы член профсоюза? Нет? Извините, но мы принимаем только членов профсоюза.

* * *

— Значит, вы хотите вступить в профсоюз работников просвещения? Где вы работаете? Нигде? Мы не можем вас принять.

— Но меня не берут на работу, потому что я не член профсоюза.

— Повторяю: мы принимаем в профсоюз только работающих. Следующий!

* * *

— Полфунта льняного масла, пожалуйста. Если можно, то не слишком прогорклое... Есть подсолнечное? Нет, это для меня слишком дорого.

* * *

— Кира! Что ты здесь делаешь в ночном халате?

Он оторвал взгляд от книги. Свет единственной лампочки, горевшей над столом, намалевал тени на лице Лео и в углах гостиной. Кирилл ночной халат дрожал в темноте.

— Уже четвертый час... — шепотом сказала она.

— Знаю. Но мне нужно учиться. Вот только закончу конспект. Иди в кровать, ты вся дрожишь.

— Лео, ты погубишь себя.

— Ну и что? Быстрее настанет конец всему.

Он догадался, каким взглядом она посмотрела на него, хотя и не видел ее в темноте. Он вышел из-за стола и обнял дрожащую белую тень.

— Ну, прости меня, Кира... Я не хотел... Дай я поцелую тебя... У тебя даже губы холодные... Если не пойдешь сама, я тебя отнесу на руках.

Он поднял ее на своих все еще сильных и твердых руках, тепло которых Кира ощущала сквозь халат. Прижав ее голову к себе, он отнес ее в спальню, шепча:

— Еще несколько страниц, и я приду к тебе. Спи, ни о чем не беспокойся. Спокойной ночи.

* * *

— Как управдом я обязан вам сообщить, гражданка Аргунова. Закон есть закон. Для вас, как не работающих в соцучреждениях, повышается квартплата. Вы ведь относитесь к категории лиц, живущих на нетрудовые доходы. Откуда мне знать, на какие доходы. Закон есть закон.

* * *

Позади него люди стояли в очереди, топчась, сгорбившись, медленно двигаясь. Впалые груди и сгорбленные плечи. Их желтые руки сжимались и дрожали, словно это были предсмертные конвульсии

совсем изведенных душ; глаза их смотрели со смертельной тоской, с застывшим ужасом и мольбой. Совсем как животные на бойне. Он стоял среди них: высокий, молодой, статный; красивое лицо все еще хранило гордые линии рта.

Проходившая мимо уличная проститутка взглянула на него, остановилась в удивлении — такой мужчина среди толпы. Она подмигнула ему, приглашая пойти с ней. Он не пошевелился, лишь только отвернул голову.

ГЛАВА XIV

Как-то раз вскоре после полудня обрушился дом. Треснула и сразу обвалилась передняя часть стены, хлынув кирпичным ливнем в белом облаке известковой пыли. Вернувшись с работы, жильцы увидели свои спальни как бы выставленными для всеобщего обозрения. Казалось, что чья-то безжалостная рука вывернула дом наружу — в холодный уличный свет, превратив в многоэтажные сценические декорации: вертикально повисшее пианино, схваченное оголившейся балкой, грозно нацелилось прямо на мостовую. Кто-то устало поохал, но без особого удивления, так как дома, давно нуждавшиеся в ремонте, без всякого предупреждения то и дело обрушивались по всему городу. Старый битый кирпич высокой грудой лежал на трамвайных рельсах, закрывая движение.

Лео получил работу на два дня по расчистке улицы. Он работал часами, сгибаясь и разгибаясь, наклоняясь и выпрямляясь, стараясь забыть о тупой боли в позвоночнике и кровоточащих пальцах, осыпанных красной пылью, ободранных и негнущихся на холоде.

Музей революции устроил выставку в честь прибывающих делегатов одного шведского профсоюза. Кира получила работу по оформлению стенда исторических фотографий. Она не разгибалась в течение четырех долгих вечеров, моргая слезящимися глазами над линейкой, вздрагивающей в руках, которые уже с трудом выводили буквы. Подписи гласили: «Рабочие, умирающие от голода в арендуемых у капиталистических эксплуататоров конурах в 1910 году», «Рабочие, высылаемые в Сибирь царскими жандармами в 1905 году».

Снег намертво завалил канавы и окна полуподвалов. В течение трех ночей Лео вгрызался в него лопатой, выдыхая клубы белого пара поверх старого шарфа, плотно обнявшего его шею и покрытого искрящимися льдинками.

Некий гражданин без видимых источников дохода, но тем не менее владелец автомобиля и пятикомнатной квартиры, часто

и подолгу беседовавший шепотком с начальниками Пищетреста, решил, что его дети должны говорить по-французски. Дважды в неделю Кира стала заунывно объяснять *passé imparfait* двум сорванцам, ковырявшим пальцами в носу, и голос ее при этом все более хрип, голова кружилась, а глаза старались избегать буфета, где белые сдобные булочки сняли своими коричневыми, щедро умащенными спинками.

Лео помогал одному студенту из пролетариев, готовившемуся к экзамену. Это значит, что он медленно растолковывал законы капитала и процентной ставки сонному чесоточному парню, то и дело скребущему суставы пальцев.

Кира два часа в день мыла посуду в одном частном ресторанчике, сгибаясь над засаленной лоханью, пахнувшей закисшей рыбой, мыла до тех пор, пока это заведение не прогорело.

Каждый день они уходили из дома на несколько часов; возвращаясь, они никогда не спрашивали друг друга, в какой очереди стояли, какие улицы устало промерили своими ногами и до каких именно дверей, неизменно захлопывавшихся перед ними. По ночам Кира разжигала буржуйку, и они ныряли в тишину каждый со своей книгой. Несмотря ни на что, они старались учиться, старались приблизиться хоть на шаг к заветной цели, перед которой меркло все остальное, — к высшему образованию, к диплому. «Не обращай ни на что внимания, — повторяла Кира, — все это не важно. Мы не должны ни о чем думать. Нам нельзя думать вообще ни о чем. Мы должны только помнить, что нам надо быть готовыми, и тогда... тогда мы, может быть... сумеем уехать за гра...» Она запнулась. Не смогла выговорить это слово. Оно было как молчаливая тайная рана, засевавшая глубоко в каждом из них.

Иногда они читали газеты. Товарищ Зиновьев, председатель Петросовета, сказал: «Мировая революция, товарищи, — это дело не лет и не месяцев, а всего лишь дней. Пламя пролетарского восстания очистит землю, уничтожая навеки мрак мирового капитализма».

Было напечатано также интервью с товарищем Брюхиным, третьим помощником машиниста красного линкора. Товарищ Брюхин сказал:

«Ну и, стало быть, мы машину под смазкой должны... и держим, и опять же за ржавчиной свой догляд ведем, касаемо как и за всем народным добром догляд нонче... а мы все сознательные и того... дело справляем справно, хреновину не городим, опять же и мировой буржуазии подгляду-то, аккурат наш укор буэт...»

Иногда читали они и журналы:

«...Маша глянула на него холодно.

— Я чего боюсь? Идеология у нас разная. Мы — дети разных социальных классов. В твоём сознании цепко укоренились буржуазные предрассудки. А я — дочь самых что ни на есть трудящихся масс. И личная любовь — это тоже не что иное для меня, как буржуазный предрассудок.

— Значит, что же, все? Значит, конец, Маша? — спросил он хрипло, и смертная бледность покрыла его красивое, но буржуазное лицо.

— Да, Иван, — отвечала она. — Это — конец. Я — новая женщина новых дней».

Иногда попадались и стихи:

*...Сердце мое — трактор, пахущий землю.
Душа моя — дым заводской трубы.*

Однажды они пошли в кинотеатр.

Шел американский фильм. В ярком блеске рекламных щитов толпы теней стояли, тоскливо уставившись на захватывающие дух, невероятные иностранные картинки; большие снежинки яростно тыкались в стекло витрин; жаждущие лица слабо улыбались. Казалось, что все улыбались одной мысли, мысли о том, что стекло — и нечто большее, чем стекло, — защищает этот далекий, сказочный мир от безнадежной русской зимы.

Кира и Лео ждали, зажатые толпой в фойе. Когда кончился очередной сеанс и двери открылись, толпа ринулась вперед, в зал, откидывая к стенам тех, кто пытался выйти из него и медленно втискивался в узкие проходы двух дверей. Толпа была наполнена болью, яростью и каким-то жестоким отчаянием; она продиралась внутрь, словно мясная туша сквозь небольшую мясорубку.

На экране задрожали белые огромные буквы названия фильма:

«ЗОЛОТОЙ СПРУТ»
ФИЛЬМ СНЯТ РЕДЖИНАЛЬДОМ МУРОМ.
ЦЕНЗУРА ТОВАРИЩА М. ЗАВАДКОВА

Картина вздрагивала и трепетала, показывали какой-то темный офис, где смутные тени людей конвульсивно дергались. В английской вывеске на стене офиса была ошибка.

То был офис одного американского тред-юниона, где некий суровый товарищ давал поручение герою — светловолосому юноше с темными глазами — вернуть организации документы чрезвычайной важности, украденные неким капиталистом.

— Что за черт? — прошептал Лео. — И в Америке такие картины делают?

Тут вдруг словно из-под полога внезапно исчезнувшего тумана появился кадр: нежная линия ротика, отчетливый волосок каждой длинной реснички — лицо прекрасной, улыбающейся героини.

Мужчины и женщины в ослепительных заграничных одеждах изящно перемещались внутри сюжета, смысл которого совершенно неясен. Титры не отвечали действию. Титры ослепительными буквами вопиюще повествовали о страданиях «наших американских братьев под капиталистическим игом». На экране же веселые, счастливо улыбающиеся люди танцевали в сияющих залах, бегали по песчаным пляжам — с развевающимися на ветру волосами, люди с крепкими, эластичными, чудовищно здоровыми мускулами.

Вот женщина, которая уходит, одетая в белое, а на улице оказывается в черном платье. Герой как-то внезапно вырос, стал тоньше и стройнее, гораздо голубоглазее и блондинистее. Его элегантный роскошный костюм выглядел слишком роскошно для труженика — члена профсоюза; что же касается документов, которые он разыскивал, протискиваясь сквозь нелепое нагромождение событий, то они почему-то начинали все более клониться к завещанию его дяди.

Титры, для примера, гласили: «Вас ненавижу. Вы — капиталистический эксплуататор и кровосос. Вон отсюда!»

На экране же в это время некий джентльмен склонялся над утонченной леди, поднося к губам ее руку, а она, слегка и чуть печально улыбаясь, своей другой рукой нежно трепала его по голове.

Конца у картины не было. Ее как бы просто выключили. А титры гласили: «Через полгода кровожадный капиталист нашел свою смерть от руки забастовщиков. Герой же наш пришел к отказу от той эгоистской любви, в которую хотела завлечь его буржуазная сирена, и он отдал всю свою жизнь делу мировой революции».

Кира сказала, когда они уходили из театра этих передвижных картин:

— Я знаю, что они сделали! Они сами приделали сюда это начало. Они вообще порезали картину на части.

Услыхавший ее билетер хихикнул.

* * *

Время от времени начинал звонить квартирный звонок, и управлением приходил напомнить им о домовом собрании квартиросъемщиков со срочной повесткой дня. Он говорил им:

— Граждане, никаких исключений! Общественная обязанность. Она главнее всего. Каждый съемщик — чтоб на собрании был.

После этого Лео и Кира направлялись в самую большую комнату их дома — длинную голую комнату с единственным электрическим пузырьком на потолке, составлявшую квартиру трамвайного кондуктора, который добродушно временно жертвовал ею во имя общественного долга. Съемщики приходили со своими стульями и, сев, принимались за семечки.

— Как я и есть управдом, — говорил управдом, — то я это собрание съемщиков и жильцов дома номер __ по Сергиевской улице объявляю открытым. На повестке дня вопрос касательно дымотруб, или, так скажу, дымоходов. Вот значит, товарищи граждане, как мы все тут ответственные и сознательные самым что ни на есть сознанием нашего класса, то должны мы тут понимать, что ныне у нас не то время, когда имели хозяев и плевать хотели на все, что в дому ни случись. Теперь, товарищи, другое дело! И власть другая, и диктатура пролетариата, а дымоходы забиты, а раз оно так, то, дымоходов касательно, должны мы с вами чего-то думать, как мы с вами, выходит, владельцы. Раз дымоход забит, то выходит чего? Тут уж ясно: полон дом дыму, весь дом в саже, а это значит, нет у нас никакой пролетарской дисциплины. Так что, товарищи граждане...

Домохозяйки беспокойно вертелись, ощущая где-то запах горелой пшеницы. Толстяк в красной рубашке вертел пальцами. Парнишка с открытым ртом почесывал голову.

— ...так что, граждане, будем платить социальный налог за... Кира Аргунова, смыться, что ли, собралась? Ну, так это вы лучше бросьте. Вы ведь знаете, что мы думаем о людях, которые не хотят выполнять общественные обязанности. Учитывая социальное положение жильцов, рабочему классу платить три процента, свободным профессиям — десять, а частникам всяким и безработным — остальное. Все! Кто за — подымай руки... Теперь — кто против... Товарищ секретарь, посчитайте граждан. Ты, товарищ Михалюк, чего же ты делаешь? Как же ты можешь, в одном лице будучи, и за, и против голосовать?!

* * *

Приход Виктора был неожидан и необъясним.

Он протянул ладони к буржуйке, энергично потер их друг о друга и радостно улыбнулся Кире и Лео.

— Вот мимо шел, и дай, думаю, забегу. Чудненько у вас тут. Ирина мне уже рассказывала... Она? У нее все отлично... Мама

не очень. Врач говорит: он ни за что не отвечает, если мы не свозим ее куда-нибудь на юг. А как ты свозишь в такие-то времена?.. Да, ну а я не вылезал все это время из института. Опять же в студсовет избрали... Вы читаете стихи? Вот как раз прочитайте-ка стишки одной тут женщины. Изумительная тонкость чувств... Да, да, изумительно тут у вас, уютно. Дореволюционные прелести... Вы оба прямо совсем буржуи, не так ли? Две комнаты, да еще прямо такие огромные. А жилищная норма, с этой стороны вас не прижимают? К нам на прошлой неделе вселили двух, одного коммуниста. Отец только скрипит зубами. Ирине приходится делить свою комнату с Асей, они грызутся как две собаки... Что тут поделаешь? Кров-то каждому нужен. А Петроград, конечно, перенаселен, переполненный. Город, что там!

* * *

Когда она вошла, на голове ее был цветной платочек, на носу — полосы пудры, в руке — сверток из простыни с торчащим из него черным чулком. Вошла и спросила:

— Ну и где эта гостиная?

Кира спросила ее с изумлением:

— Вам что, гражданка?

Девушка, не удаивая ответом, открыла первую попавшуюся дверь основной комнаты и захлопнула ее. Затем распахнула дверь гостиной и вошла в нее со словами:

— Вот где. Забирайте теперь вашу буржуйку, ложки-тарелки и все прочее. У меня свое есть.

— Да что вы хотите, гражданка?

— Ах, ну да, нате-нате.

И с этими словами она вручила Кире мятый клочок бумаги с большой печатью. То был ордер от жилотдела, дававший гражданке Марине Лавровой право на занятие комнаты, называемой гостиной, в квартире номер 22, дома номер __ по Сергиевской улице; в том же документе содержалось требование к предыдущему владельцу той же жилплощади немедленно ее освободить, забрав только «личные вещи первой необходимости». У Киры перехватило дыхание.

— Невероятно! — вырвалось у нее.

— Пошевеливайтесь, гражданочка, пошевеливайтесь! — девушка улыбалась.

— Вот что. Убирайтесь-ка по-хорошему. Этой комнаты вы не получите.

— Да неужели? И кто же мне это ее не даст? Уж не вы ли?

Она шагнула к стулу, увидела на нем Кирин фартук, сбросила его на пол и на его место положила свой сверток. С вываливающимся чулком.

Кира вышла, взбежала по лестнице к квартире управдома и, тяжело дыша, замолотила кулаками по его двери.

Управдом открыл дверь и хмуро выслушал Киру.

— Ордер от жилотдела? — спросил он. — А меня не известили? Ведь вот потеха! Это неправильно. И я эту гражданку сейчас поставлю на свое место.

— Товарищ управдом, вы ведь хорошо знаете, что это просто против закона. Ведь гражданин Коваленский и я — мы же в браке не состоим. Ведь мы же имеем право на отдельную площадь.

— Ясное дело, имееете.

Тут Кира вспомнила, что накануне ей заплатили за месяц репетиторства. Она достала маленькую стопочку скатанных в трубку купюр и, не глядя на них, не считая, вложила этот ролик в ладонь управдома.

— Товарищ управдом, у меня нет привычки просить о помощи, но пожалуйста, на этот раз, я вас умоляю, пожалуйста, выгоните ее. Ведь иначе — иначе нам конец!

Управдом воровато скользнул рукой с кредитками в карман брюк, затем прямо взглянул Кире в лицо — открыто и честно, как если бы ничего между ними не произошло.

— Не беспокойтесь, гражданка Аргунова. Мы свои обязанности знаем. Мы эту дамочку приструним. Мы ее выбросим обратно в канаву, где ей и следует быть.

И, сдвинув шапку на одно ухо, он последовал за Кирой вниз по лестнице.

Внизу он строго спросил Лаврову:

— Так, гражданочка, ну что ж это все значит?

Гражданка Лаврова к этому времени сняла пальто, распаковала сверток с чулком. На ней была белая блузка и старая юбка, бусы из искусственных жемчужин и открытые туфли на очень высоких каблуках. На стол она кучей вывалила нижнее белье, книги и чайник.

— Ну, как поживаете, товарищ управдом? — приятно улыбнувшись, спросила девица. — Давайте и с вами познакомимся.

И она протянула ему свой открытый бумажник, из которого выглядывала маленькая красная книжечка — комсомольский билет.

— О... — сказал управдом и тут же, повернувшись к Кире, добавил: — Послушайте, чего вы хотите? Живете тут в двух комнатах, а рабочей девушке, значит, негде жить? Время буржуазной роскоши прошло. Таким, как вы, теперь лучше не высовываться.

* * *

Кира и Лео обратились с жалобой в народный суд.

Они сидели в голой комнате, в которой повис запах пота и неметеных полов. Со стены на них смотрели огромные портреты Маркса и Ленина. На куске кумача было написано: «Пролетарии всех стр...» Остального видно не было, так как кумач был разорван посередине и висел, подобно змее, раскачиваясь на сквозняке.

Председательствующий зевнул и спросил Киру:

— Ваше социальное положение?

— Студентка.

— Работаете?

— Нет.

— Член профсоюза?

— Нет.

Управдом показал, что хотя гражданка Аргунова и гражданин Коваленский не состоят в законном браке, они сожительствуют, так как на две их комнаты приходится только одна кровать, на которой они спали, как муж и жена. А для таких по норме жилплощади, как хорошо известно товарищу судье, полагается лишь одна комната. Занимая эти две комнаты, они на целых полметра превышают норму. А кроме того, рассматриваемые граждане в последнее время нерегулярно вносили квартплату.

— Кто был ваш отец, гражданка Аргунова?

— Александр Аргунов.

— Бывший фабрикант-капиталист?

— Да.

— Понятно. А ваш, гражданин Коваленский?

— Адмирал Коваленский.

— Расстрелянный за контрреволюционную деятельность?

— Да.

— А кем был ваш отец, гражданка Лаврова?

— Заводским рабочим, товарищ судья. Был сослан в Сибирь в тринадцатом году. Мать — крестьянка, от сохи.

— Суд постановляет, что спорная комната на законных основаниях принадлежит гражданке Лавровой.

— Это что, правосудие или какой-то фарс? — спросил Лео.

Председательствующий торжественно ответил:

— Так называемое беспристрастное правосудие — буржуазный пережиток. Наше правосудие — классовое. В этом наша сила! Следующее дело!

— Товарищ судья, — умоляюще обратилась к нему Кира, — а как же наша мебель?

— Но она все равно у вас не поместится в одной комнате.

— Но мы могли бы продать ее, у нас не хватает денег.

— Вот как? И тут хотите нажиться! А честная пролетарка, у которой этой мебели нет, должна спать на полу?.. Следующее дело!

* * *

— Скажите мне одно, — спросила Кира гражданку Лаврову, — почему вам дали ордер именно на нашу комнату? Кто вам о ней сказал?

Та резко хохотнула и двусмысленно посмотрела на Киру.

— У всех есть друзья, — ответила она.

У нее было бледное лицо, короткий нос и вечно недовольные, надутые губы. Глаза ее были светло-голубые, а взгляд — подозрительный и холодный. Волосы спадали прядями ей на лоб, а в ушах она постоянно носила маленькие сережки из поддельной бирюзы в бронзовой оправе. Она была необщительной и мало разговаривала. Но дверной звонок не умолкал: к ней часто приходили посетители, которые называли ее Маришей.

В спальне Лео в стене над отделанным ониксом камином пришлось пробить дыру для трубы от буржуйки. Две полки в гардеробе пришлось освободить под посуду и продукты. В их белье попадали хлебные крошки, а простыни пропахли льняным маслом. Книги Лео разложили на туалетном столике, а Кирины — под кроватью. Лео, насвистывая фокстрот, перебирал книги. Кира не смотрела на него.

После некоторых колебаний Мариша все же отдала портрет матери Лео, висевший в гостиной. Но рамку от него она оставила себе. Она вставила в нее портрет Ленина. У нее также появились портреты Троцкого, Маркса, Энгельса и Розы Люксембург и еще плакат, олицетворяющий боевой дух красного воздушного флота. Был у нее и граммофон. По ночам она слушала старые пластинки, а любимой ее песней была песня о том, как Наполеона побили и России: «Пылал, ревел пожар московский». Когда граммофон ей надоедал, она играла на концертном рояле «собачий вальс».

В ванную нужно было ходить через спальню. Мариша в старом, распахнутом банном халате постоянно шаркала туда и обратно.

— Когда вам нужно пройти через нашу комнату, я просила бы вас стучать, — сказала ей Кира.

— А зачем? Ведь это не ваша ванная.

* * *

Мариша училась на рабфаке в университете.

Рабфаками называли специальные факультеты для рабочих с сокращенной программой по точным дисциплинам; вместо этого их расписание изобиловало всевозможными «революционными» науками. Принимали на рабфак только рабочих.

Мариша невзлюбила Киру, но иногда разговаривала с Лео. Она распахивала дверь так, что на стенах взмывали плакаты, и повелительно вопила:

— Гражданин Коваленский! Вы не поможете мне с этой проклятой французской историей? В каком году сожгли Мартина Лютера? Или это было в Германии? Или его вообще не сжигали?

Иногда она распахивала дверь и, ни к кому не обращаясь, объявляла:

— Я иду на собрание в комсомольском клубе. Если придет товарищ Рыленко, скажите, что я там. А если явится этот вшивый Мишка Гвоздев, скажите, что я уехала в Америку. Вы его знаете — такой маленький, с бородавкой на носу.

Однажды она зашла в комнату с миской в руках.

— Гражданка Аргунова, одолжите немного сала. У меня кончилось. Только льняное масло? Оно так воняет... Ну, ладно, отлейте полмиски.

Лео, который уходил из дома в семь утра, проходя через Маришину комнату, заставлял ее спать прямо за столом, заложенным книгами. Мариша, вздрагивая, просыпалась от звука его шагов. Она зевала, потягиваясь.

— Это доклад, который я буду читать сегодня в марксистском кружке нашим менее просвещенным братьям. «Социальное значение электричества как исторического фактора». Товарищ Коваленский, расскажите мне, кто такой этот чертов Эдисон?

Как-то они слышали, как Мариша поздно ночью пришла домой. Она хлопнула дверью и бросила на стул книги, которые с грохотом рассыпались по полу; ее голос звучал в промежутках между мужицким басом товарища Рыленко: «Алешка, друг, будь душкой, разожги этот чертов примус, умираю с голоду». Алешка шаркал в другой конец комнаты, послышалось шипение примуса. «Алешка, ты — душка, я всегда говорила. Я устала, как ломовая лошадь. С утра — рабфак, днем — комсомольский клуб; полвторого — собрание по организации яслей для детей работающих матерей, в три — демонстрация против безграмотности — аж ноги вспотели! В четыре — лекции по электрификации,

а в семь — редколлегия в стенгазете, я буду редактором, полвосьмого — конференция о положении наших венгерских товарищей... Вот уж не скажешь, Алешка, что у тебя общественно несознательная подружка».

Алешка уселся за рояль и стал наигрывать «Джона Грэя».

Проснувшись среди ночи, Кира услышала, как кто-то на цыпочках крадется через спальню. Она увидела, как в ванную прошмыгнул голый белокурый молодой человек. В Маришиной комнате света не было.

* * *

Однажды вечером Кира услышала за дверью знакомый голос:

— Конечно, мы — друзья, ты же знаешь. Возможно, с моей стороны это даже нечто большее, но я не смею надеяться. Я уже доказал свою преданность тебе, ты же помнишь о той услуге, которую я тебе оказал. Помоги теперь и ты мне. Познакомь меня со своим партийным товарищем.

Проходя через Маришину комнату, Кира остановилась, пораженная. Она увидела Виктора, который сидел на диване с Маришей, держа ее руку. Заметив Киру, он, покраснев, подскочил.

— Виктор! Ты сюда ко мне пришел или... — Она замолкла на полуслове, тут же все поняв.

— Кира, не думай, что я... — начал было Виктор.

Не слушая его, Кира выбежала из квартиры и помчалась вниз по лестнице.

Когда она рассказала об этой сцене Лео, тот пришел в бешенство, грозя переломать Виктору кости.

Она умоляла его успокоиться.

— Что толку поднимать вокруг этого шум? Это лишь расстроит бедного дядю Василия. А ему и так нелегко. Что толку? Все равно комнату нам не вернуть...

* * *

В кооперативе института Кира встретила Товарища Соню и Павла Серова. Товарищ Соня жевала корку, отломленную от только что полученной буханки хлеба. Павел Серов словно сошел с плаката, показывающего образец ношения военной формы. Увидев Киру, он распылся в улыбку и спросил:

— Как поживаете, товарищ Аргунова? В последнее время вас не часто встретишь в институте.

— Я была занята.

— А почему это вас не было видно вместе с товарищем Тагановым? Вы не поссорились?

— А почему это должно касаться вас?

— Лично меня это мало касается.

— Зато касается нас как членов партии, — сурово вставила Соня. — Товарищ Таганов — ценный партийный работник. И общение с женщиной с таким происхождением, как ваше, может отразиться на его положении в партии.

— Нучто за глупости, Соня, — вдруг запротестовал Павел Серов. — Партия для Андрея — самое дорогое, тут нечего беспокоиться. Товарищу Аргуновой незачем разрывать такую прекрасную дружбу.

— Но зато его высокое положение в партии беспокоит вас, не так ли? — спросила Кира, в упор посмотрев на него.

— Просто я считаю товарища Таганова своим близким другом и...

— А он считает вас своим другом?

— Любопытный вопрос, товарищ Аргунова.

— В наши дни часто приходится слышать любопытные вопросы, не так ли? До свидания, товарищ Серов.

* * *

Мариша вошла в комнату, когда Кира была одна. Ее надутые губы еще больше распухли, а глаза были красные, все в слезах. Она убитым голосом спросила:

— Скажите, гражданка Аргунова, чем вы предохраняетесь?

Кира удивленно посмотрела на нее.

— Наверное, я беременна, — рыдая, сказала она. — А все этот Алешка Рыленко. Он сказал, что я поступлю по-буржуйски, если не дам ему. Он сказал, что аккуратно... А что мне теперь делать? Что делать?

Кира ответила, что не знает.

* * *

Три недели Кира тайком делала себе новое платье. То есть само платье было старым, но Кира мучительно, медленно, неумело, но все же перешла его изнанкой вверх. Голубая шерсть на изнанке была гладкой, шелковистой и смотрелась совсем как новая. Это должен быть сюрприз для Лео; она работала по ночам, когда Лео уже спал; зажигала свечу, ставила ее на пол и, открыв дверцу гардероба, которая

должна была заслонять свет, копошилась на полу у свечи. Шить она не умела. Пальцы ее не слушались и двигались как-то неуклюже. Иногда, уколовшись иголкой, она вытирала с ночной рубашки капельки крови. Ей щипало глаза, словно их постоянно кололи сотни маленьких иголочек, а веки казались такими тяжелыми, что, если глаза закрывались, их уже невозможно было открыть снова. Где-то в темноте, позади желтого пламени свечи тяжело дышал во сне Лео.

Платье было готово в тот день, когда Кира на улице встретила с Вавой. Вава время от времени расплывалась загадочной, таинственной и, казалось, беспричинной улыбкой. Они немного прошли по улице, и Вава, не в силах больше сдерживаться, попросила:

— Кира, ты не зайдешь ко мне? Только на секундочку? Я тебе кое-что покажу. Кое-что *из-за границы*.

В комнате Вавы пахло духами и чистым бельем. Большой плюшевый медведь с большим розовым бантом сидел на кровати, покрытой белым кружевным покрывалом.

Вава осторожно развернула тонкую оберточную бумагу, медленно и торжественно достала из свертка вещи и дрожащими пальцами разложила их перед Кирой. Это была пара шелковых чулок и пластмассовый черный браслет.

Кира восхищенно вздохнула. Протянув руку, она неуверенно взяла кончиками пальцев нежный шелк, боязливо прикасаясь к нему, словно к меху редчайшего зверя.

— Контрабанда, — прошептала Вава. — Это достал муж одной из пациенток отца. Он этим занимается. А этот браслет — последний крик заграничной моды. Представляешь? Искусственные украшения. Правда, мило?

Кира осторожно примерила браслетик на свою руку; защелкнуть его она не осмелилась.

Вдруг Вава боязливо, без улыбки спросила:

— Кира, а как Виктор?

— Прекрасно.

— Мы... Мы долго не виделись. Я знаю, он так занят. Ни с кем другим не встречаюсь, все жду его... Да, он ведь такой активист... Мне так нравятся эти чулки... Я надену их для него... На прошлой неделе пришлось выбросить последнюю пару шелковых.

— Ты... выбросила их?

— Да... Думаю, они до сих пор лежат в мусорном ведре. Загублены вконец. На одном такая петля сзади!..

— Вава... а ты не могла бы отдать их мне?

— Что? Да они же порвались и ни на что не годятся.

— Да... так... Шутки ради.

Кира ушла домой, сжимая в кармане маленький мягкий комочек. Она все время держала руку в кармане, не смея вынуть ее.

Придя тем вечером домой, Лео распахнул дверь и бросил в комнату портфель, из которого посыпались книги, а затем вошел сам.

Не раздеваясь, он прошел к буржуйке и встал возле нее, грея оковчневшие руки и ожесточенно их растирая. Затем он снял пальто и бросил его через всю комнату на стул, но промахнулся, и пальто упало на пол; он не стал поднимать его. Затем он спросил:

— Есть что-нибудь съедобное?

Кира стояла к нему лицом, не смея шевельнуться в своем прекрасном новом платье и старательно зашитых шелковых чулках. Она мягко сказала:

— Да, все готово. Садись.

Он сел за стол. Он взглянул на нее несколько раз, но ничего не заметил. Это было все то же старое синее платье, но со вкусом отделанное ленточками и пуговицами из кожзаменителя, которые смотрелись совсем как из натуральной кожи. Когда она подала пшенку и он начал жадно поглощать желтоватую массу, она встала у стола и, немного приподняв юбку, выставила вперед ногу, любуясь гладким блестящим шелком.

— Лео, взгляни, — робко сказала она.

Он взглянул и сухо спросил:

— Где ты это взяла?

— Это... Вава мне отдала. Они... были рваные.

— Я бы не стал донашивать чужое старье.

Он ни слова не сказал о ее новом платье, а она не стала напоминать ему. Ужин закончился в полном молчании.

* * *

Мариша сделала аборт. Она громко стонала за закрытой дверью, тяжело шаркала через их комнату, вслух ругая акушерку, неумело сделавшую операцию.

— Гражданка Лаврова, уберитесь, пожалуйста, в ванной. Там все в крови.

— Отстаньте от меня, мне плохо. Сами уберите, если такие брезгливые. Буржуи.

Мариша захлопнула дверь, но затем вновь осторожно приоткрыла ее и сказала:

— Гражданка Аргунова, вы ведь не расскажете своему брату про это?.. Он ничего не знает... о моей беде. А он так благородно воспитан.

* * *

Лео вернулся домой на рассвете. Он работал всю ночь на строительстве моста, в кессоне на самом дне скважин, при температуре воды, близкой к замерзанию.

Кира ждала его, поддерживая в буржуйке огонь. Он вошел потный, в запятнанном грязью и маслом пальто; на руках была кровь. Ко лбу прилипли волосы. Он немного покачнулся и прислонился к двери, затем прошел в ванную. Выйдя через некоторое время, спросил:

— Есть чистая смена белья?

Он стоял голый, с опухшими руками. Голова его опустилась на плечо. Веки посинели.

Его тело было белым, словно мрамор, и таким же крепким и прямым. «Тело Бога, — подумала она, — который идет на рассвете по мягкой траве горного склона».

Буржуйка дымилась. Едкий дым висел над лампочкой. Серый коврик под его ногами вонял керосином. Сажа из трещины в трубе буржуйки, медленно кружась, оседала на пол.

Кира стояла перед ним, не в силах вымолвить ни слова. Она взяла его руки и припала к ним губами.

Он немного покачнулся и, запрокинув голову, закашлялся.

* * *

Лео опаздывал. Видимо, задержался на лекции в университете. Кира ждала, а примус тихо посапывал; на нем подогревался ужин. Зазвонил телефон. Из трубки послышался испуганный, плачущий детский голос.

— Кира, это ты?.. Это Ася... Кира, пожалуйста, приходи... сейчас же... к нам! Я так боюсь!.. Что-то случилось с мамой. Дома только папа, но он ни за что не позвонит и даже разговаривать не будет. Я боюсь, Кира... У нас нечего есть... Кира, пожалуйста, я так боюсь!..

На все деньги, что у нее были, Кира купила в лавке бутылку молока и два фунта хлеба.

Дверь открыла Ася, ее заплаканные глаза блеснули на опухшем, багровом лице. Она ухватилась за Кирину юбку и, пряча в нее нос и вздрагивая плечами, залилась монотонным плачем.

— Ася, что случилось? Где Ирина? Где Виктор?

— Виктора нет, а Ирина побежала за врачом. Я хотела позвать жильца, а он сказал, чтобы я убиралась. Я так боюсь...

Василий Иванович сидел у постели жены. Его руки бессильно свисали между колен. Волосы Марии Петровны разметались по белой

подушке. Она дышала с хрипом; одеяло резко поднималось и опускалось; на нем виднелось большое темное пятно.

Кира беспомощно стояла у кровати, сжимая в одной руке бутылку с молоком, а в другой хлеб. Василий Иванович медленно поднял голову и посмотрел на нее.

— Кира... — сказал он безразлично, — молоко... подогрей немного... может быть, это ей поможет.

Кира разожгла примус и согрела молоко. Она поднесла чашку с молоком к посиневшим губам Марии Петровны. Та, сделав два глотка, оттолкнула чашку.

— Кровотечение... — сказал Василий Иванович. — Ирина побежала за знакомым врачом, у него нет телефона. Больше никакой доктор не согласится прийти. У меня ведь нет денег. Из больницы тоже никого не пришлют, так как мы не члены профсоюза.

На столе горела свеча. Сквозь желтоватую мглу и пыльный туман три темных без занавесок окна были похожи на три ослепших глаза. Белый кувшин лежал перевернутый на столе; последние капли капали в лужицу на полу. На потолке вздрагивал желтый круг от пламени свечи; его отблеск плясал на лице Марии Петровны, словно дрожала ее кожа.

Мария Петровна тихонько простонала:

— Я в порядке... Все хорошо... Василий просто хочет напугать меня... Никто не может сказать... что мне плохо... Я хочу жить... Я буду, буду жить... Кто сказал, что я умру?

— Конечно, будете, тетя Маруся. Вы поправитесь. А сейчас успокойтесь, расслабьтесь.

— Кира, где моя пилка для ногтей? Найди ее. Опять ее Ирина куда-то дела. Я же говорила ей, чтобы она не брала ее. Где моя пилка?

Кира открыла ящик комода, ища пилку, но тут ее остановил странный шум. Он был похож на звук катящихся по полу камешков, и на клокотание воды в забившейся трубе, и на вой животного. Мария Петровна зашла в приступе кашля. По ее подбородку потекла пена.

— Кира, лед! — закричал Василий Иванович. — У нас есть лед?

Спотыкаясь, Кира бросилась через темный коридор на кухню. Край мойки был покрыт толстым слоем льда. Она отколола несколько кусочков при помощи старого зазубренного ножа, порезав при этом руку. Бегом она помчалась назад в комнату.

Мария Петровна выла, заходясь в приступе кашля:

— Помогите мне! Сделайте что-нибудь! Ради бога!

Завернув лед в полотенце, они положили его ей на грудь. На ее ночной рубашке расплылись красные пятна.

Вдруг она резко дернулась, лед с шумом упал и рассыпался по полу. На ее нижней губе повисла розовая пена. В расширившихся до предела глазах застыл нечеловеческий ужас. Глядя на Киру, она закричала:

— Я хочу жить! Жить!

Она бессильно откинулась на подушку, по которой, словно змеи, расплзлись ее волосы. Рука бессильно перевесилась через край кровати. Из губ появился большой красный пузырь. Когда он лопнул, изо рта потекла какая-то вязкая темная жидкость, клокоча где-то внутри, словно вода в лопнувшей трубе; тихонько струясь по подбородку, она стекала на грудь. Мария Петровна лежала неподвижно.

Кира почувствовала, что кто-то схватил ее за руку. Василий Иванович, уткнувшись ей в бедро, беззвучно зарыдал. Она лишь видела, как вздрагивают его седые волосы.

Ася, сидевшая в углу за креслом, тихонько, монотонно плакала. Кира не плакала.

Когда Кира вернулась домой, Лео сидел возле примуса, разогревая ужин, и кашлял.

* * *

Они сидели за маленьким столиком в темном углу ресторана. Андрей, встретив Киру в институте, пригласил ее сюда попить чаю с «настоящими французскими пирожными». В ресторане почти никого не было. С улицы сквозь витрину заглядывали любопытные, недоверчиво и с неприязнью рассматривая людей, которые могли позволить себе посидеть в ресторане. За столиком в середине зала какой-то человек в огромной шубе держал перед веселой дамочкой блюдо с пирожными, а она, не зная, какое выбрать, шевелила над блюдом унизанными бриллиантами пальцами.

В ресторане пахло резиной и лежалой рыбой. С центральной люстры свисали длинные полосы коричневой липкой бумаги, покрытые черными точками попавшихся в них мух. Они покачивались всякий раз, когда открывалась дверь на кухню, на стене которой висел портрет Ленина, украшенный бантами из оберточной бумаги.

— Кира, я чуть было не нарушил свое обещание и хотел прийти к тебе. Я... беспокоюсь. Ты такая... бледная. Кира, что-нибудь случилось?

— Дома... небольшие неприятности.

— Я достал билеты на «Лебединое озеро». Искал тебя, но ты ни разу не появилась на лекциях.

— Прости. А что, балет тебе понравился?

— Я не пошел.

— Андрей, мне кажется, Павел Серов что-то замышляет против тебя.

— Может быть. Я никогда не любил его. В то время, когда партия борется со спекулянтами, он поощряет их. Я узнал, что он сам купил у контрабандиста свитер.

— Андрей, а почему твоя партия отрицает право человека на жизнь, пока его не убили?

— Ты имеешь в виду себя или Серова?

— Себя.

— В нашей борьбе, Кира, нет воздержавшихся.

— Вы можете провозгласить, что имеете право на убийство. Так всегда делали все, кто за что-либо боролся. Но разве можно лишать нормальной жизни тех, кто все еще жив?

Она посмотрела на его безжалостное лицо, на темные треугольники на впалых щеках, на напряженные мышцы его лица.

Он ответил:

— Когда кто-то может вынести любые страдания сам, он обязательно находит силы вынести страдания других. Это закон военного времени. Мы живем на рассвете огромного нового солнца, доселе невиданного. Мы — его первые лучики. Мы несем на себе страдания не только всех прошлых, но и будущих поколений. Каждая минута наших нынешних страданий превратится в десятилетия счастья для будущих поколений.

Официант принес чай и пирожные.

Когда она подносила пирожное ко рту, рука ее непроизвольно дернулась, выдавая испуганную торопливость, не объяснимую одной лишь жадностью до редкого угощения.

— Кира! — воскликнул Андрей и выронил ложку.

Она испуганно уставилась на него.

— Кира! Почему ты не сказала мне?

— Андрей... я не понимаю, о чем ты го... — начала было она, заранее зная, что он уже догадался.

— Подожди, не ешь это. Официант! Принесите тарелку горячего супа. Затем — полный обед, несите все, что у вас есть! Да поживее! Кира, я не знал... не знал, что ты в таком состоянии.

— Я пыталась найти работу... — сказала она, слабо, беспомощно улыбнувшись.

— Почему же ты не сказала мне?

— Ведь ты бы не стал использовать свое положение, чтобы помогать друзьям?

— Но это... совсем другое, Кира, это...

Она впервые видела его таким испуганным. Он вскочил и про-
бормотал:

— Извини, я сейчас.

Он прошел через весь зал к телефону. До нее доносились обрывки телефонного разговора. «Товарища Воронова, срочно... Андрей Таганов... На совещании? Так вызовите его! Товарищ Воронов?.. Немедленно... Да. Мне это безразлично... Значит, утвердите еще одно... завтра же утром! Да... Спасибо, товарищ Воронов. До свидания».

Вернувшись к столу, он улыбнулся ей.

— Ну вот, завтра выйдешь на работу в дирекции Дома крестьянина. Работа не бог весть какая, но это первое, что попало, она не покажется тебе трудной. Будь там завтра в девять утра. Скажешь, что от товарища Воронова, он все знает. А сейчас — вот, возьми.

И, распахнув бумажник, он вынул оттуда пачку банкнот и сунул ей в руку.

— О, Андрей, я не могу.

— Если не можешь для себя, возьми для тех, кому они действительно нужны. Наверняка твоей семье сейчас трудно.

Она подумала о том, кто остался дома и кому эти деньги были нужны, и решила взять их.

ГЛАВА XV

Кира спала, запрокинув голову, и на ее подбородок маленьким треугольничком запрыгнул отсвет уличного фонаря. Ресницы ее были неподвижны. На слегка приоткрытых, словно у ребенка, губах застыло что-то вроде улыбки, доверчивой и робкой.

Будильник заверещал в 6.30 утра. Он звонил так ежедневно уже два месяца.

Еще не проснувшись, чувствуя, будто проваливается в ледяную пропасть, Кира первым делом схватила будильник и заткнула при первом же истеричном взвизге — чтобы не разбудить Лео; затем, покачиваясь и дрожа от холода, она немного постояла; звон будильника все еще звучал в ушах, словно оскорбительные слова. Все ее тело протестовало, мышцы болели, будто какая-то тяжелая болезнь гнала ее обратно в постель; холодный пол горел у нее под ногами.

Затем на ощупь, в темноте, она побрела в ванную, едва удерживаясь от соблазна снова забраться в постель. Все еще с закрытыми глазами она нащупала кран, из которого медленной струйкой текла вода — ее не закрывали на ночь, чтобы она не замерзла в трубах. Одной рукой она несколько раз плеснула себе в лицо ледяной водой, опираясь другой на край раковины, чтобы не упасть.

Затем, все-таки открыв глаза, она стащила с себя ночную рубашку. От ее теплого тела шел пар. Стуча зубами, Кира попыталась улыбнуться и тем самым внушить себе, что она уже проснулась и худшее — позади.

Кира оделась и проскользнула обратно в спальню. Она не зажгла свет. На столе, на фоне утренней мглы, приникшей к окнам, чернел силуэт примуса. Она зажгла спичку и, заслоняя собой свет пламени, начала лихорадочно накачивать керосин. Примус не зажигался. Часы тикали в темноте, подгоняя ее. Кусая губы, она яростно качала. Наконец примус зажегся, и она поставила на него чайник.

Она пила чай с сахарином, медленно жуя черствый хлеб. Одно окно было покрыто толстым слоем ледяных узоров, которые лениво поблескивали при свете луны. На улице все еще было темно. Она тихо сидела за столом, боясь шевельнуться, стараясь даже жевать бесшумно. Лео спал беспокойно, тяжело переваливаясь с боку на бок, кашляя в подушку сухим, удушающим кашлем, и иногда вздыхал, но как-то хрипло, что больше походило на стон.

Кира натянула валенки, надела зимнее пальто и плотно обмоталась старым шарфом. На цыпочках подойдя к дверям, она бросила последний взгляд на лицо Лео, которое в темноте казалось лишь бледным пятном, и послала ему воздушный поцелуй. Затем медленно и бесшумно открыла дверь и, выйдя так же бесшумно, закрыла ее за собой.

На улицах лежал снег, отливая синевой. Казалось, что над крышами темнота отступала, и, присмотревшись, можно было различить высоко в небе голубые просветы. Где-то за домами пронзительно, словно хищная птица, завизжал трамвай. Скользя по обледенелому тротуару, Кира побежала к остановке.

Там уже собралась очередь. Согнувшись на ветру, Кира стояла молча, как и остальные ожидающие; подошел трамвай — череда светящихся в темноте окон, дрожащих во мгле; очередь нарушилась. около узкой двери образовалась страшная суতোлка, настоящий водоворот, а желтые квадраты стали стремительно заполняться плотно прижатыми друг к другу телами. Когда трамвай, звеня, тронулся, Кира осталась стоять на остановке. Теперь придется полчаса ждать другого, а это значит, что она опоздает, а если она опоздает, ее уволят. Она бросилась вслед ускользящему трамваю, подпрыгнула и ухватилась за медную ручку, но на ступеньках не было места, и ее ноги так и волочились по замерзшей земле. Чья-то сильная рука схватила ее за воротник пальто и втащила в вагон; одной ногой ей удалось встать на подножку; чей-то грубый голос прорычал ей в ухо:

— Ты что — ненормальная? Вот так и гибнут люди!

С кучкой людей она висела на подножке, держась лишь одной рукой, и смотрела, как мимо проносится лежавший вдоль тротуара снег; когда проезжающий мимо грузовик прижимался к трамваю так близко, что мог сбить Киру с подножки, она что было силы вцеплялась в стоящих рядом людей.

Дом крестьянина располагался в чем-то бывшем большом особняке. Кира поднялась по мраморной лестнице с балюстрадой, на которую сыпался свет из огромного окна с витражом в виде рога изобилия, из которого летели розовые персики и бордовый виноград. Над лестницей висела табличка: «Товарищи! Не плюйте на пол!»

Были там и огромные серп и молот из позолоченного папье-маше, плакат с изображением крестьянки со снопом пшеницы; на других плакатах были намалеваны просто снопы: зеленые, золотистые, красные; портрет Ленина, крестьянин, давящий ногой паука с голоной священника, портрет Троцкого, крестьянин с красным трактором, Карл Маркс, лозунги «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Кто не работает, тот не ест!», «Да здравствует государство рабочих и беднейшего крестьянства!», «Товарищи крестьяне! Громите укрывателей продовольствия!». Дальше висел целый ряд газет, ратовавших за «лучшее взаимопонимание между рабочими и крестьянами и широкое распространение городских идей в деревне». Они пропагандировали новое движение под названием «Смычка города с деревней». Именно для этого и был организован Дом крестьянина. Там и сям попадались плакаты с изображением жмущих друг другу руки рабочего и крестьянина, рабочего и крестьянки, а также крестьянина и работницы; плуга и молотка, фабричных труб и пшеничных полей, надписи «Наше будущее — в смычке города с деревней», «Товарищи, принимайте активное участие в смычке города с деревней», «Товарищ, что ты сделал для смычки?».

Плакаты, словно гигантская волна пены, поднимались от двери наверх по лестнице к кабинетам. В каждом из них были обшарпанные мраморные колонны и перегородки из некрашенных досок, а также столы, множество папок, портреты вождей пролетариата и печатная машинка. Дирекцию Дома крестьянина воплощала в себе товарищ Битюк со своими пятью подчиненными, одной из которых была Кира.

Товарищ Битюк была долговязой, тощей, седой женщиной, строго соблюдала военную форму одежды и всем сердцем одобряла советскую власть. Главной целью ее жизни было непрерывно доказывать эту свою преданность Стране Советов, хотя она закончила институт благородных девиц и носила на груди старомодный кулон-часы.

Среди ее четырех подчиненных были: высокая длинноносая девушка в кожаной куртке, которая являлась членом партии, могла вертеть товарищем Битюк как угодно и прекрасно знала об этом; молодой человек с нездоровым цветом лица, который членом партии не являлся, но уже подал заявление и, таким образом, рассматривался как кандидат, о чем напоминал при любой возможности; и, наконец, две молоденькие девушки, которые работали только из-за зарплаты, их звали Нина и Тина. Нина носила серьги и отвечала на телефонные звонки, Тина печатала на машинке. По неведению откуда появившейся привычке, мгновенно распространившейся по всей стране и захватившей даже партийцев, по привычке, за которую никто не отвечал и никого нельзя было наказать, все

некачественные отечественные изделия назывались «советскими»: были «советские» спички, которые нельзя было зажечь, «советские» платки, которые рвались, как только их надевали, «советские» ботинки с картонными подметками. Таких девушек, как Нина и Тина, называли «советскими» девушками.

В Доме крестьянина было множество дверей и коридоров, по которым бегало бесчисленное множество ног, создавая вид кипучей деятельности. Кира так и не узнала, кто были люди, работающие в других кабинетах, и чем они занимались, включая и мифического товарища Воронова, которого за все время работы она видела всего один раз.

Как постоянно напоминала им товарищ Битюк, Дом крестьянина — это «сердце гигантского организма, чьи вены несут свет пролетарской культуры к самым отдаленным деревням». Дом гостеприимно принимал многочисленные крестьянские делегации, всех «сельских товарищей», приезжающих в город, являясь одновременно и учителем, и гидом, удовлетворяющим культурные и духовные потребности крестьян.

Сидя за своим столом, Кира наблюдала, как товарищ Битюк, брызгая слюной, с кем-то разговаривает по телефону:

— Да-да, все готово. В час крестьяне из сибирской делегации идут в Музей революции, где прослушают двухчасовую лекцию по пролетарской истории — мы уже заказали специального экскурсовода. В три у них будет встреча в нашем марксистском клубе, где им прочитают лекцию на тему «Проблемы советских города и деревни». А в пять их будут чествовать в клубе пионеров, где милые крошки покажут им физические упражнения. В семь повезем их в оперу — уже заказали две ложи в Мариинском.

Положив трубку, товарищ Битюк повернулась к подчиненным.

— Товарищ Аргунова, заявка на специального лектора у вас?

— Нет, товарищ Битюк.

— Товарищ Иванова! Вы напечатали заявку?

— Какую заявку, товарищ Битюк?

— Заявку на специального лектора для крестьянской делегации из Сибири.

— Но вы мне не говорили ни о какой заявке...

— Я написала ее от руки и положила к вам на стол.

— Ах да, конечно... Я видела ее, но не знала, что ее нужно отпечатать. У меня в машинке лента порвалась.

— Товарищ Аргунова, утвержденная заявка на новую ленту для машинки у вас?

— Нет, товарищ Битюк.

— А где она?

— В кабинете у товарища Воронова.

— А почему там?

— Он еще не подписал ее.

— А другие подписали?

— Да, товарищ Битюк, подписали товарищи Семенов, Власова и Переверстов, но товарищ Воронов еще не вернул.

— Некоторые не осознают огромного культурного значения нашей работы, — распалилась было товарищ Битюк, но, заметив пристальный и подозрительный взгляд девушки в кожаной куртке, услышавшей критику в адрес начальника, поспешила поправиться: — Я имею в виду вас, товарищ Аргунова. Вы не проявляете в работе пролетарскую сознательность. Вы должны проследить за тем, чтобы заявка была подписана вовремя.

— Хорошо, товарищ Битюк.

Часами Кира, бледная и худая, в своем старом выцветшем платье, подшивала документы, справки, отчеты, доклады, заявки, чтобы навечно похоронить их в архиве; она пересчитывала книги — стопы, горы книг в красно-белых обложках, которые еще пахли типографской краской и предназначались для отправки в деревенские клубы: «Что мы можем сделать для стирания граней между городом и деревней», «Красный крестьянин», «Азбука коммунизма», «Товарищ Ленин и товарищ Маркс». Постоянно раздавались телефонные звонки; приходили и уходили какие-то люди, которых следовало называть «граждане» и «товарищи»; словно пластинка патефона, нужно было постоянно призывать, подражая товарищу Битюк: «Итак, товарищи, наше участие в смычке...» или: «Культурный прогресс пролетариата, товарищи, требует...» Иногда в управление забредали и сами «товарищи» крестьяне. Они выстраивались за низкой некрашеной перегородкой, одной рукой робко теребя шапку, а другой — почесывая затылок, и медленно кивали, непонимающе уставившись на Киру, говорившую им:

— ...для вас назначена экскурсия в Зимний дворец, где вы можете ознакомиться с тем, как жили цари и как они угнетали трудящихся, затем...

Бородатые крестьяне в ответ мямлили:

— Товарищ, мы по вопросу о нехватке зерна...

— ...а после экскурсии — лекция «О неизбежном крахе капитализма».

После ухода крестьян Нина и Тина осторожно обнюхивали место, где те стояли, и смотрели, не осталось ли каких-либо пятен на деревянном полу. Однажды Кира увидела, как Нина что-то раздавила ногтем большого пальца.

В то утро, поднимаясь по лестнице, Кира взглянула на стенгазету, выпускавшуюся, как и в других учреждениях, работниками Дома крестьянина после того, как содержание отредактируют в партбюро. Ее вывешивали на самое видное место, для «повышения морального духа и сознательности коллективного труда» и для «распространения классово важных новостей и конструктивной пролетарской критики».

Стенная газета Дома крестьянина представляла собой квадратный метр бумаги с колонками машинописного текста и заголовками, нарисованными красным и синим карандашами. В ней была неизменная передовица о том, «что каждый из нас должен сделать для решения проблемы смычки города и деревни», юмористическая статья «Как мы проткнем пузо капиталистам», сопровождаемая изображением сидящего на унитазах толстого господина в шелковом цилиндре, а также стихи местного поэта под рубрикой «В ритме труда». Были в ней и многочисленные «конструктивные критические заметки»:

«Товарищ Надя Чернова носит шелковые чулки. Пора ей напомнить, что такая роскошь — это не по-пролетарски».

«Некоему руководящему товарищу вскружила голову его высокая должность, и он бывает груб и несдержан даже с членами комсомола. Мы помним, что под сокращение штатов попадали и не такие головы; помните и вы, товарищ N...»

«Товарищ Е. Овсов слишком многословен, когда его спрашивают о деле. Это ведет к потере ценного времени и совсем не по-пролетарски».

«Хорошо известный всем нам товарищ постоянно забывает выключать свет в туалете. Товарищ, электричество достается государству не бесплатно».

«Товарищ Кира Аргунова проявляет недостаточно классовой сознательности. Товарищ Аргунова, время буржуазного высокомерия прошло».

Она стояла неподвижно, слыша, как бешено бьется ее собственное сердце. Игнорировать критику в свой адрес со страниц всемогущей стенгазеты не осмеливался никто. Все читали ее внимательно и немного нервно, почтительно принимая вынесенный приговор: от Нины и Тины до самого товарища Воронова, потому что стенгазета была голосом общественной сознательности. Никто, даже Андрей Таганов, не мог спасти тех, кто был заклеен стенгазетой как «антиобщественный элемент». Среди сотрудников ходили слухи о предстоящем сокращении штатов, и Кира почувствовала неприятный холодок. Она подумала, что Лео вчера поужинал лишь пшенной кашей и что кашель его стал ужасным.

Сидя за своим столом, она гадала, кто и почему мог донести на нее в стенгазету. Кира была очень осторожной и ни разу даже словом не обмолвилась против советской власти. По усердию и энтузиазму в работе ее можно было сравнить лишь с самой товарищем Битюк. Она никогда ни с кем не спорила и не отвечала никому грубо, чтобы не нажить себе врагов. Быстро пересчитывая тома Карла Маркса, она беспомощно, лихорадочно спрашивала себя: «Неужели, неужели я все еще отличаюсь от них? Но как они об этом догадываются? Что я такого сделала? А может, не сделала?»

Когда товарищ Битюк отлучалась, а такое случалось довольно часто, вся работа в кабинете замирала. Все собирались вокруг столика Тины, где начинались целые совещания о том, что в кооператив забросили симпатичный набивной ситец, из которого получают очаровательные блузки; о том, что в частном ларьке на рынке продавались тончайшие хлопковые чулки, совсем как шелковые; и, конечно, о любовниках, в особенности о любовниках Тины. Она считалась самой симпатичной в отделе и пользовалась успехом у мужчин. Еще ни разу не случалось, чтобы она появилась с ненапудренным носом, подозревали даже, что она красит тушью ресницы; и кое-кто из мужчин был замечен поджидющим ее после работы. Несмотря на то что во всех обсуждениях решающим было мнение девушки в кожаной куртке, так как она была членом партии и, следовательно, непререкаемым авторитетом, когда разговор заходил о любовных делах, тут она уступала Тине. Она со снисходительной улыбкой и плохо скрываемым любопытством слушала, как Тина рассказывает шепотом:

— А тут Мишка звонит в дверь, а у меня-то — Ивашка в одних кальсонах. А Елена Максимовна, соседка, кричит: «Тина! Тут к тебе пришли!» И тут же заваливается Мишка и видит Ивашку в одних кальсонах. Вы бы видели его лицо! Умора! Честное слово, умереть со смеху! Я тут же ему и говорю: «Милый, дорогой! Это Иван, сосед, он живет с Еленой Максимовной и пришел ко мне за аспирином». А Елена Максимовна-то кричит: «Конечно, он живет со мной. Пойдем ко мне, дорогой». И что, вы думаете, этот вшивый Ивашка отказался?

Молодой человек, который был кандидатом в члены партии, не участвовал в этих разговорах, а скромно сидел за своим столом, время от времени делая замечания: «Товарищи женщины! Вы рассказываете вещи, которые мне как серьезному гражданину и кандидату в члены партии слушать стыдно!»

Те в ответ хихикали, строили глазки и таинственно улыбались молодому человеку.

Кира оставалась за своим столом и продолжала работать, не слушая эти разговоры. Если на нее и поглядывали, то только враждебно.

Она отчаянно старалась понять, за что ее презирают, неужели за это самое «буржуазное высокомерие»? Ей и Лео эта работа была просто необходима, и нужно было во что бы то ни стало сохранить ее. Во что бы то ни стало...

Встав из-за стола, она как бы невзначай подошла к столу Тины. Компания встретила ее холодными и удивленными взглядами. Дождавшись паузы, она, стараясь вложить в свой голос побольше энтузиазма и выразительности, невпопад вставила:

— А мой-то, вот хохма, поругался со мной, потому что увидел меня с кем-то возле дома... он... наорал на меня... а я ему сказала, что у него старомодные буржуазные замашки собственника... а он... со мной поругался...

Она почувствовала, что спина покрылась холодным потом и что блузка прилипла между лопаток. Кира старалась говорить таким же игриво-небрежным голосом, что и Тина. Она попыталась сама поверить в сочиненную ею историю. Для нее было странно думать об этом мифическом друге, сопоставляя его с Лео, которого Ирина изобразила обнаженным, словно бога.

— ...а он... наорал на меня...

— Гм... — сказала Нина.

Девушка в кожаной куртке ничего не сказала.

— На Кузнецком рынке, — продолжила Тина, — продают новую помаду, советскую, к тому же дешевую. Только говорят, что ею нельзя пользоваться, потому что ее делают на жире лошадей, умерших от сапа.

* * *

В половине первого все уходило на обеденный перерыв. За пять минут до его начала товарищ Битюк объявила:

— Еще раз напоминаю, что в час тридцать всем следует явиться не сюда, а к Смольному, на демонстрацию рабочих Петрограда в честь прибытия делегации британских профсоюзов.

Кира простояла весь перерыв в очереди в кооперативе, чтобы получить паек по карточке служащего. Она стояла неподвижно, ни о чем не думая; мысли ее были где-то далеко, в том мире, где ее жизнь с Лео была гораздо выше и важнее всего происходящего. Выбившиеся из-под старой шляпки локоны побелели от мороза. Она мысленно повторяла имя Лео, закрыв на секунду глаза. Затем

она приоткрыла их и через покрывшиеся инеем ресницы безразлично посмотрела на клевавших навоз воробьев.

Свой обед она приносила с собой. Это был завернутый в бумагу кусок воблы. Она ела ее, потому что знала, что нужно есть. Получив хлеб — двухфунтовую темную буханку, еще теплую, — она отломил кусочек корочки и съела его, вдыхая теплый аромат. Остальное приберегла для Лео. Она побежала за трамваем и успела запрыгнуть в него как раз вовремя, чтобы доехать до Смольного, на другой конец города, и успеть на демонстрацию в честь делегации британских профсоюзов.

* * *

Невский походил на медленно движущуюся ленту конвейера, сплошь забитую человеческими головами. Казалось, что гигантские красные транспаранты, раздуваемые ветром, как паруса, бесшумно плыли на двух шестах над неподвижными головами, покрытыми военными фуражками, шапками, красными косынками, шляпами. Монотонный звук шагов заполнил все пространство улицы, от стены до стены, до самых крыш, скрипучий, хрустящий звук тысяч ног, марширующих по замерзшей мостовой.

Трамваи, автомобили, извозчики остановились, чтобы пропустить шествие. Некоторые жители высовывались из окон и, безразлично понаблюдав за шествием, вновь исчезали: в Питере к демонстрациям привыкли.

«МЫ, РАБОЧИЕ ПИТЕРА, ПРИВЕТСТВУЕМ НАШИХ КЛАССОВЫХ
БРАТЬЕВ!»

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СТРАНУ ОСВОБОЖДЕННОГО ТРУДА!»

«РАБОТНИЦЫ ТЕКСТИЛЬНОЙ ФАБРИКИ № 2
ВЫРАЖАЮТ СВОЮ ПОДДЕРЖКУ
АНГЛИЙСКИМ РАБОЧИМ
В АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ!»

Кира шла в колонне между Ниной и товарищем Битюк, которая ради такого события повязала голову красной косынкой. Кира шагала твердо, с расправленными плечами и высоко поднятой головой. Ей нужно было шагать, чтобы не потерять работу, ради Лео; она не была предательницей, нет, она делала это только ради Лео, несмотря на то что на транспаранте над ее головой верещала надпись:

«ТОВАРИЩИ КРЕСТЬЯНЕ! ВСТАНЕМ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
С НАШИМИ АНГЛИЙСКИМИ БРАТЬЯМИ ПО КЛАССУ!»

Кира уже не чувствовала ног, но понимала, что все еще идет, движется вместе со всеми. Руки ее были словно в перчатках, наполненных кипятком. Она должна была идти, и она шла.

Где-то в змеище людей, что ползла все дальше и дальше по Невскому, чей-то громкий хриплый голос запел «Интернационал», остальные тут же подхватили. Песня разнеслась по всей колонне тысячами грубых нестройных голосов, вырывавшихся из прокуренных, задыхающихся на морозе глоток.

На Дворцовой площади, которая теперь называлась площадью Урицкого, возвели целый деревянный амфитеатр. На фоне Зимнего дворца, умножаясь в его зеркальных окнах, на просторной деревянной трибуне, обтянутой красной материей, стояла делегация британских профсоюзов. Питерские рабочие медленно проходили мимо. Британские классовые братья стояли неподвижно, немного удивленные, немного смущенные.

Кира запомнила лишь одного из них: высокую, худощавую и уже немолодую женщину с лицом школьной учительницы. На ней было отличное модное бежевое пальто, которое громче всех приветствий, громче «Интернационала» кричало, что оно сделано за границей. Хорошо сшитое, из дорогого материала, отлично сидящее на своей обладательнице, оно не стонало, как эта толпа вокруг Кире, о ничтожности и убожестве существования. Кроме того, на британском товарище были шелковые чулки — золотистое сияние, облизывающее ноги, увенчанные новыми коричневыми лакированными узорчатыми туфлями.

И вдруг Кире неудержимо захотелось завопить, броситься на платформу и вцепиться в эти сверкающие ноги, повиснуть на них, вцепиться в них своими зубами так, чтобы эти ноги утащили ее в свой мир, который существует где-то далеко, а сейчас оказался вот тут, совсем рядом, в пределах досягаемости ее крика о помощи.

Однако она только качнулась и закрыла глаза.

Демонстрация остановилась. Все стояли, топтались на месте, чтобы согреться, и слушали речи. Речей было много. Говорила женщина из британского профсоюзного движения. Охрипший переводчик выкрикивал слова в площадь, которая покрылась краснобагряными пятнами и пестрела цветом военных форм. Люди в толпе были плотно прижаты друг к другу.

— Это захватывающее зрелище. Нас послали сюда рабочие Англии, чтобы мы могли увидеть все собственными глазами и сказать всему миру правду о том величайшем эксперименте, который вы проводите. Мы расскажем всем об этих многочисленных коллективах русских тружеников, которые так горячо и свободно выражают свою преданность советскому правительству.

Лишь на одно безумное мгновение Кира подумала, что может прорваться сквозь толпу, подбежать к этой женщине и крикнуть ей, рабочим Англии, всему миру о том, какова на самом деле та правда, которой они жаждут. Но она вспомнила о Лео, который остался дома, о Лео, кашляющем, мраморно-бледном Лео. Перед ней стоял выбор: либо Лео, либо правда для всего мира, который к тому же не станет ее слушать. Лео победил.

* * *

В пять часов вечера сверкающий лимузин забрал делегатов, и демонстрация разошлась. Темнело. Кире нужно было успеть на лекцию в институт.

Холодные, плохо освещенные аудитории поднимали ее настроение. Все эти схемы, чертежи и плакаты на стенах, изображающие брусья, балки и поперечные сечения, были такими точными и выглядели так беспристрастно и незапятнанно. Хотя бы один короткий час, несмотря на то что ее желудок трепетал от голода, она смогла подарить мечтам о том, что станет когда-нибудь инженером и будет строить алюминиевые мосты и башни из стали и стекла, и о том, что перед ней есть какое-то будущее.

После лекции, спеша по темным коридорам, она натолкнулась на Товарища Сою.

— А, товарищ Аргунова, — сказала Товарищ Соня. — Давненько мы вас не видели. Вы уже не так активно занимаетесь учебой, а? А уж об общественной деятельности и говорить нечего — вы ведь у нас самая ярая индивидуалистка.

— Я... — начала Кира.

— Это не мое дело, товарищ Аргунова, это меня не касается. Я вот только подумала о том, как, по слухам, партия скоро будет поступать со студентами, которые не проявляют общественной сознательности.

— Я... понимаете... — Кира подумала, что будет лучше все объяснить. — Я работаю, и я очень социально активна в нашем кружке политпросвета.

— Ну да?! Что вы говорите?! Мы вас, буржуев, знаем. Все вы активные, когда боитесь потерять теплое местечко. Вам нас не надуть.

* * *

Когда Кира вошла в комнату, Мариша вскочила, как отпущенная пружина:

— Гражданка Аргунова! Держите свою проклятую кошку у себя в комнате, или я сверну ей шею!

— Мою кошку? Какую кошку? У меня нет никакой кошки.

— Да? А это кто сделал? Ваш дружок? — Мариша показала на лужу в середине ее комнаты. — А это что такое? Слон, что ли? — кипятилась она еще больше, в то время как послышалось мяу, и пара серых пушистых ушек показалась из-под стула.

— Это не моя кошка, — сказала Кира.

— А откуда же она тогда взялась?

— Откуда я знаю?

— Вы никогда ничего не знаете!

Кира не ответила и прошла в свою комнату. Она услышала, как Мариша в коридоре колотит в перегородку, которая отделяла их от других жильцов, и кричит:

— Эй, вы там! Ваша чертова кошка доску свернула и... опять весь пол засрала! Заберите ее отсюда, или я из нее все кишки выпущу и пожалуюсь на вас управдому!

Лео еще не вернулся. В комнате было темно и холодно, как в подвале. Кира включила свет. Кровать была не застлана; одеяло валялось на полу. Она разожгла буржуйку, дуя на сырые поленья; ее глаза слезились. Трубы пропустили дым. Она подвесила жестянку на проволоке, чтобы сажа не падала на пол.

Она подкачала примус. Он никак не зажигался; опять забились трубки. Она обыскала всю комнату, но специального ежика для чистки нигде не было. Она постучала в дверь.

— Гражданка Лаврова, вы снова взяли мой ежик для чистки примуса?

Никакого ответа. Она распахнула дверь.

— Гражданка Лаврова, это вы взяли мой ежик для чистки примуса?

— Ах да, — сказала Мариша. — Вам жалко даже такой ерунды. Вот он. Подавитесь.

— Сколько раз вам говорить, гражданка Лаврова, чтобы вы не смели брать мои вещи в мое отсутствие?

— Ну и что вы будете делать? Жаловаться?

Кира взяла свой ежик и хлопнула дверью.

Она чистила картошку, когда вошел Лео.

— О, — сказал он, — ты дома?

— Да. Где ты был, Лео?

— Какое тебе дело до этого?

Она не ответила.

Его плечи сутулились; губы были слишком синими. Она знала, куда он ходил, и знала то, что сходил неудачно. Она продолжала

чистить картошку. Он стоял, протянув руки к буржуйке, его губы дрожали от боли. Он закашлялся. Затем он резко повернулся и сказал:

— То же самое. Ты ведь знаешь. Проторчал там с восьми утра. Мест не появилось. Никакой работы. Никакой.

— Все в порядке, Лео. Нам не надо волноваться.

— Нет? Не надо волноваться?! Тебе, значит, нравится, что я живу на твои деньги? Ты хочешь сказать, чтобы я не волновался, в то время как ты до того урабатываешься, что становишься похожей на живой труп?

— Лео!

— Я не хочу, чтобы ты работала! Я не хочу, чтобы ты готовила! Я не... О, Кира! — Он обнял ее и положил свою голову ей на плечо, зарылся лицом в ее шею; рядом голубым пламенем горел примус. — Кира, ведь ты простишь меня, ведь так?

Она погладила по его волосам своей щекой, так как ее руки были все в картофельных очистках.

— Конечно. Любимый... Почему бы тебе не лечь и не отдохнуть? Ужин через минутку будет готов.

— Почему ты не разрешаешь мне помочь тебе?

— Но мы ведь давно закрыли эту тему.

Он наклонился к ней, подняв ее подбородок. Она прошептала, слегка дрожа: «Не надо, Лео, не целуй меня здесь». Она протянула свои грязные руки над примусом.

Он не поцеловал ее. Горькая, едва заметная усмешка метнулась в одном из уголков его рта. Он прошел к кровати и упал на нее.

Он лежал так неподвижно — одна рука свисает до пола, а голова откинута назад, — что она почувствовала какую-то тревогу. Время от времени она нежно звала его: «Лео», лишь для того, чтобы увидеть, как он откроет глаза. Каждый раз она жалела, что позвала его: она не хотела, чтобы его глаза были открыты и неподвижно смотрели на нее. Она — которая раньше всегда закрывала дверь между ними, чтобы он не мог видеть ее в те моменты, когда она готовит, — теперь стояла перед ним, нагнувшись над примусом, благоухая керосином и луком; ее руки были скользкими от грязи; ее волосы свисали вниз липкими прядями, закрывая нос, который без пудры лоснился; ее красные глаза и ноздри выделялись на белом лице; ее тело бессильно склонилось под грязным фартуком, который она не успела постирать; ее движения были тяжелыми и медленными, исчезла врожденная их ловкость; Кирой двигала лишь усталость.

Когда ужин был готов и они сели, глядя друг на друга через стол, она подумала с болью, к которой так и не смогла привыкнуть, что он — чье лицо Кира хотела видеть вечно и выглядеть при этом

молодой, бодрой, трепещущей от обожания — смотрит сейчас в глаза, распухшие от дыма, смотрит на бледный рот, который улыбается через силу.

У них было на столе просо, картошка и лук, зажаренный в льняном масле. Кира была так голодна, что ее руки с трудом подчинялись ей. Но она не могла дотронуться до проса. Она внезапно почувствовала неудержимое отвращение, какую-то ненависть. Она скорее готова была умереть от голода, чем проглотить еще одну ложку этой горькой массы, которую она ела, как ей казалось, всю свою жизнь. Она без особого интереса задумалась, есть ли на земле такое место, где не тошнит от каждого глотка; место, где яйца, и масло, и сахар — не недостижимый, сводящий с ума идеал, которого все рьяно жаждут и который все равно остается недостижимым.

Она помыла посуду в холодной воде; на поверхности воды в кастрюле плавал застывший жир. Потом она надела валенки.

— Мне надо идти, Лео, — сказала она, словно извиняясь. — Сегодня вечер в политпросвете. Общественная работа, ты ведь знаешь.

Он не ответил; он даже не смотрел на нее, когда она выходила.

* * *

Кружок политпросвета заседал в библиотеке Дома крестьянина. Библиотека отличалась от других комнат в этом здании только тем, что в ней было больше плакатов и меньше книг, и эти книги стояли в ряд на полках, а не лежали высокими стопками на столах.

Девушка в кожаной куртке была председателем этого кружка; все служащие Дома крестьянина были его членами. В кружке занимались «политическим самообразованием» и изучением «истории революционной философии». Кружок собирался дважды в неделю; один из членов зачитывал доклад, который он подготовил, остальные обсуждали его.

На этот раз была очередь Киры. Она подготовила доклад на тему «Марксизм и ленинизм».

— Ленинизм — это марксизм, приспособленный к русской действительности. Карл Маркс, великий основатель коммунизма, считал, что социализм — это логический результат капитализма в стране с высокоразвитой индустрией, где пролетариат обладает высокой степенью классовой сознательности. Но наш великий вождь, товарищ Ленин, доказал, что...

Она переписала свой доклад, слегка изменив слова, из «Азбуки коммунизма», книги, изучение которой было обязательным

для каждой школы страны. Она знала, что все слушатели читали ее, что они читали и ее доклад, снова и снова, в каждой передовице любой газеты все последние шесть лет. Они сидели вокруг нее, сгорбившись, бессильно вытянув ноги; они дрожали в своих пальто. Они знали, что она находится здесь по той же причине, что и они. Девушка в кожаной куртке сидела на председательском месте и время от времени зевала.

Когда Кира закончила, несколько рук вяло похлопали.

— Кто желает высказать замечания, товарищи? — спросила председатель.

Молодая девушка с очень круглым лицом и несчастными глазами прошепелявила, желая показать свой активный интерес:

— Я думаю, что это прекрасный доклад, и очень ценный, и поучительный, потому что он был отличным, понятным и объяснил ценность новой теории.

Некий чахоточный молодой интеллеktуал с синими веками и пенсне сказал в обычной для ученого манере:

— Я хочу сделать следующее замечание, товарищ Аргунова: когда вы говорите о том, что товарищ Ленин ставил крестьянина рядом с индустриальным рабочим в схеме коммунизма, вы должны уточнить, что речь идет о бедном крестьянине, а не каком-нибудь другом, потому что, как известно, в деревнях есть и богатые крестьяне, которые враждебно настроены к ленинизму.

Кира знала, что должна спорить и защищать свой доклад; она знала, что чахоточный молодой человек вынужден был спорить, чтобы показать свою активность; она знала, что эта дискуссия интересует его не больше, чем ее, что его веки были усталыми и синими от бессонницы, что он нервно сжимал руки, не осмеливаясь взглянуть на часы, не осмеливаясь позволить своим мыслям перескочить на дом и на те заботы, что его ожидали.

Она монотонно сказала:

— Когда я говорю о крестьянине, который стоит рядом с рабочим в теории товарища Ленина, то, само собой, я имею в виду бедного крестьянина, так как никакому другому крестьянину нет места в коммунизме.

Тот же молодой человек сонливо сказал:

— Да, но я думаю, что мы должны быть последовательными в науке и говорить «бедный крестьянин».

Председатель сказала:

— Я согласна с последним заявлением. Этот тезис должен быть исправлен и должен читаться в этом месте: бедный крестьянин. Еще замечания, товарищи?

Замечаний не было.

— Благодарим товарища Аргунову за ее ценную работу, — сказала председатель. — На нашем следующем собрании мы заслушаем доклад товарища Лескова на тему «Марксизм и коллективизм». Объявляю собрание закрытым.

С судорожным рывком и хлопанием стульев они ринулись вон из библиотеки, вниз по темным лестницам, на темные улицы. Они выполнили свой долг. Вечер — или то, что осталось от него, — принадлежал теперь им.

Кира шла быстро и слушала свои собственные шаги, слушала как-то неосмысленно, ни о чем не думая; она уже могла теперь думать, но после стольких часов ужасных усилий ни о чем не думать, помнить лишь то, что думать нельзя, мысли возвращались медленно. Она лишь слушала звук собственных шагов, быстрый, твердый, четкий, и постепенно их сила и их надежда стали подниматься по ее телу, к сердцу, к пульсирующему туману в висках. Она откинула голову назад, словно отдыхала, плывя на спине под самым небом, чистым, черным; на кончике ее носа примостились звезды и снежные сугробы крыш, которые чисто белтели в холодном свете звезд, словно белоснежные девственные вершины гор.

Затем она выпрямилась резким, легким движением тела Кирры Аргуновой и прошептала себе, как привыкла шептать себе за последние два месяца: «Это — война. Это — война. Ты ведь не сдашься, Кира, а? Война не опасна до тех пор, пока ты не сдашься. Ты — солдат, Кира, и ты не сдашься. И чем труднее, тем счастливее ты должна быть оттого, что ты можешь все это выдержать. Вот так. Чем труднее — тем счастливее. Это — война. Ты — хороший солдат, Кира Аргунова».

* * *

Когда Лео обнял ее и прошептал в ее волосы: «Ну же, Кира. Сегодня. Пожалуйста!» — она поняла, что больше не может отказывать. Ее тело, внезапно ослабевшее, требовало одного: сна, бесконечного сна. Ее повергло в ужас это свое неохотное подчинение, онемелое, безжизненное, безответное.

Он прижал ее тело к своему. Его кожа была теплой и успокаивающей под холодным одеялом, и она закрыла глаза.

— Что такое, Кира?

Она улыбнулась и вложила свои последние силы в губы, которые вжались в ложбинку его ключицы, в руки, которые обняли его тело. Но затем она расслабилась, и одна рука свесилась, мягкая и слабая, через край кровати. Она резко открыла глаза, она

любила его, она хотела его, она хотела хотеть его — она прокричала себе это почти вслух. Он целовал ее тело, но Кира думала о том, как восприняли ее доклад, о Тине и о девушке в кожаной куртке, о возможном сокращении штатов — и вдруг ее охватило отвращение к его мягким, голодным губам, потому что сама она, или что-то в ней, или вокруг нее было слишком уж недостойным его. Но она могла еще некоторое время бороться со сном, и она напрягла свое тело, словно для сурового испытания; все ее мысли о любви превратились в одно мучительное желание — чтобы все это кончилось побыстрее.

* * *

Было уже за полночь, и она не знала, спала ли она или нет. Лео хрипло дышал на подушке рядом с ней, его лоб был покрыт холодным потом. В ее голове царил туман, и лишь одна мысль была ясной: фартук. У нее грязный фартук; он отвратителен; она не могла позволить Лео увидеть, как она его носит на следующее утро; только не на следующее утро.

Кира тихо вылезла из постели и набросила пальто поверх ночной сорочки; было очень холодно, но она была слишком усталой, чтобы одеться. Она поставила таз с холодной водой на пол ванной и упала рядом; сунула фартук, мыло и свои руки в жидкость, которая казалась кислотой.

Кира не знала, бодрствует ли она на самом деле, и ей было все равно. Она знала только, что большое, желтое, жировое пятно никак не хочет отстирываться, и она терла, терла и терла сухим, едким желтым мылом, скребя ногтями, костяшками пальцев. Мыльная пена липла к меховым манжетам ее пальто и капала на пол, груди Кире судорожно вздрагивали, упираясь в оловянный край таза; ее волосы спадали вниз, в пену; рядом с дверью ванной высокое голубое окошко искрилось от мороза; костяшки ее пальцев кровоточили, а в комнате Мариши кто-то играл «Джона Грэя» на расстроенном пианино. Боль нарастала в костяшках ее пальцев, в ее глазах, в коленях, разливалась по спине; багровые руки были все в грязных, жирных мыльных хлопьях.

* * *

Они много месяцев откладывали деньги и в один воскресный вечер купили два билета на «Баядеру». Эту оперетту превозносили как «последнюю сенсацию в Вене, Берлине и Париже».

Они сидели торжественные, взволнованные, благоговейные, как на церковной службе. Кира была бледнее, чем обычно, в своем сером шелковом платье, Лео старался сдерживать кашель, и они слушали эту буйную оперетту оттуда, из-за границы.

Это был очень веселый абсурд. Это был словно взгляд сквозь снега и флаги, сквозь границу, в самое сердце того, другого мира. Все было разноцветным, кругом блестящие и хрустальные бокалы, и настоящий заграничный бар со входом из матового стекла, где зеленый свет настоящего заграничного лифта уползал вверх каждый раз, когда кто-то входил. Кружились женщины в мерцающем атласе из тех мест, где существуют моды; какие-то люди исполняли смешной заграничный танец под названием шимми; выбежала женщина, которая не пела, а пролаивала слова, презрительно выплевывая их в зал заунывным, хриплым голосом, который переходил вдруг в сиплый стон, и гремела музыка, дерзко смеющаяся, захватывающая дух, бьющая по ушам, вызывающая, пьяная, словно вызов торжествующего веселья, словно «Песня разбитого бокала»; это была жизнь, которая существовала где-то, которая была жизнью, а не пародией.

Публика хохотала, аплодировала и снова хохотала. Когда после окончания представления зажегся свет, весело улыбающиеся люди, проходя между рядами, с изумлением оглядывались на девушку в сером шелковом платье, которая сидела на стуле в опустевшем ряду согнувшись; она, закрыв лицо, рыдала.

ГЛАВА XVI

Сначала просочились слухи.

Студенты собирались в группы в темных углах и нервно дергали головой в сторону любого вновь подходящего, и среди этого шепота чаще других слышалось слово «чистка».

В очередях перед кооперативными магазинами и в трамваях люди спрашивали: «Вы слышали о чистке?»

В колонках «Правды» стали появляться заявления о том, что красные вузы находятся в плачевном состоянии, и о предстоящей чистке.

А затем в конце зимнего семестра в Технологическом институте, в университете и во всех высших учебных заведениях появились плакаты, на которых огромными красными буквами было написано:

ЧИСТКА

Эти плакаты обязывали студентов идти в деканат, получать анкеты, быстро их заполнять, отдавать управдому для подтверждения правдивости ответов и затем относить назад, в Комитет по чистке. Высшие школы Союза Советских Социалистических Республик должны были быть очищены от всех социально нежелательных элементов. Те, кого признают социально нежелательными, будут отчислены и не будут больше приниматься ни в одно учебное заведение.

Газеты ревели над страной как трубы: «Наука — оружие классовой борьбы! Пролетарские школы — для пролетариата! Мы не должны учить наших классовых врагов!»

Были и те, кому поручалось следить, чтобы этот рев не был особенно слышен за границей.

Кира получила свою анкету в институте, а Лео — в университете. Они сидели молча за обеденным столом и заполняли их. Им было не до еды в тот вечер. Когда они подписывали свои анкеты, они понимали, что подписывают смертный приговор своему будущему; но они не говорили этого вслух и не смотрели друг на друга.

Вопросы были следующие:

— Кто ваши родители?

— Чем занимался ваш отец до 1917 года?

— Чем занимался ваш отец с 1917 по 1921 год?

— Чем занимается ваш отец сейчас?

— Чем занимается ваша мать?

— Что вы делали во время Гражданской войны?

— Что делал ваш отец во время Гражданской войны?

— Являетесь ли вы членом профсоюза?

— Являетесь ли вы членом коммунистической партии?

— Любая попытка дать неверный ответ была тщетной; достоверность ответов проверялась не только Комитетом по чистке, но и ГПУ. За неверный ответ могли арестовать, посадить в тюрьму или применить любую другую меру наказания, вплоть до высшей.

Рука Киры дрожала, когда она передавала в Комитет по чистке анкету, в которой одним из ответов был:

— Чем занимался ваш отец до 1917 года?

— Был владельцем Текстильной фабрики Аргунова.

Что ждало тех, кого должны были исключить, никто не осмеливался подумать; никто не говорил об этом; анкеты были собраны, и студенты ожидали вызова из комитета, ждали молча, с нервами, натянутыми как струны. В длинных коридорах высших учебных заведений студенты сбивались в беспокойные кучки и шептались о том, что «социальное происхождение» — самое главное, что если вы из «буржуазной семьи», то у вас нет ни малейшего шанса, что если ваши родители когда-то были богаты, то вы все равно «классовый враг», даже несмотря на то, что вы голодаете, и что вы должны попытаться, если сможете, даже ценой вашей бессмертной души, если у вас есть таковая, доказать ваше «происхождение от станка или от плуга». Заметно прибавилось кожаных курток, красных платков и шелухи от семечек подсолнуха в коридорах институтов; появились такие шутки, как: «Мои родители? Крестьянка и два рабочих».

Снова возвращалась весна. Тающий снег обляпал тротуары; на углах улиц продавались голубые гиацинты. Но тем, кто был молод, было не до весны, а те, кто все же о ней думал, уже не были молодыми.

Кира Аргунова с высоко поднятой головой стояла перед Комитетом по чистке Технологического института. За столом среди других людей, которых она не знала, сидело трое знакомых: Товарищ Соня, Павел Серов, Андрей Таганов.

В основном вопросы задавал Павел Серов. Ее анкета лежала на столе перед ним.

— Так, гражданка Аргунова, ваш отец был владельцем фабрики?

— Да.

— Понятно. А мать? Она работала до революции?

— Нет.

— Понятно. У вас дома нанимали слуг?

— Да.

— Понятно.

Товарищ Соня спросила:

— И вы ведь не вступили в профсоюз, гражданка Аргунова? Вы что, считаете это излишним для себя?

— У меня никогда не было такой возможности.

— Понятно.

Андрей Таганов слушал. Его лицо не двигалось. Его глаза были неподвижными, холодными, беспристрастными, словно он никогда раньше не видел Киры. И вдруг она почувствовала необъяснимую жалость к нему, к этой неподвижности и к тому, что за ней скрывалось, хотя он и не показывал ни малейшего вида, что же таила эта неподвижность.

Когда он вдруг задал ей вопрос, его голос был твердым, а глаза пустыми, но этот вопрос прозвучал как мольба:

— Но вы ведь всегда чувствовали советской власти, гражданка Аргунова, не так ли?

Она очень тихо ответила: «Да».

* * *

Поздно ночью вокруг лампы, среди шуршащих бумажек, отчетов и документов, комитет проводил совещание.

— Владельцы фабрик были главными эксплуататорами пролетариата.

— Даже хуже, чем землевладельцы.

— Самые опасные из классовых врагов.

— Мы выполняем задание огромной важности для дела революции, и никакие личные чувства не должны вмешиваться в нашу работу.

— Приказ из Москвы — дети бывших владельцев фабрик исключаются в первую очередь.

Голос спросил, взвешивая каждое слово:

— Будут какие-нибудь исключения из этого правила, товарищ Таганов?

Он стоял у окна, руки были сжаты за спиной. Он ответил:

— Никаких исключений.

* * *

Имена исключенных были напечатаны на длинном листе бумаги, который был приколот к доске в деканате Технологического института.

Кира ждала этого. Но когда увидела свое имя в списке: «Аргунова Кира», она закрыла глаза и снова перечитала два слова, чтобы окончательно удостовериться.

Потом она заметила, что у нее открылся портфель; она аккуратно закрыла замок, поглядела на дырку в перчатке и высунула в нее палец посмотреть, на сколько он вылезет, затем скрутила распущенную нитку в маленькую змейку и смотрела, как она снова распускается.

Затем она почувствовала, что кто-то наблюдает за ней. Она повернулась. Андрей стоял один в нише окна. Он смотрел на нее, но не сделал никакого движения навстречу, не сказал ни слова, не наклонил голову в приветствии. Кира знала, чего он боится, на что надеется, чего ждет. Она подошла к нему и, посмотрев прямо в глаза, протянула руку с той же доверчивой улыбкой, которую он всегда видел на этих молодых губах, только теперь эти губы немного дрожали.

— Все в порядке, Андрей. Я знаю, ты ничего не мог сделать.

Она не ожидала от него благодарности за эти слова. Эта благодарность больно прозвучала в его голосе, когда он ответил ей:

— Я бы отдал тебе свое место, если бы я мог.

— Все в порядке... Что ж... Видимо, я никогда не стану инженером... и никогда не построю мост из алюминия.

Она попыталась рассмеяться.

— Все в порядке. Мне всегда говорили, что мост нельзя построить из алюминия.

Она заметила, что ему труднее улыбаться, чем ей.

— И, Андрей, — сказала она мягко, зная, что он не осмелится спросить об этом сам, — это ведь не значит, что мы больше не увидимся, правда?

Он взял ее ладони обеими руками.

— Не значит, Кира, если...

— Ну, что ж, главное, что не значит. Дай мне свой номер телефона и адрес, чтобы я смогла тебе позвонить, потому что мы... мы здесь не увидимся... больше... Мы такие хорошие друзья, что — ну разве не смешно? — я даже не знаю твоего адреса. Ну да ладно. Может быть... может быть, мы станем еще большими друзьями теперь.

* * *

Когда она пришла домой, Лео лежал, развалившись на кровати. Он не поднялся, услышав ее шаги, а лишь посмотрел в ее сторону и засмеялся. Он смеялся сухо, монотонно, бессмысленно.

Кира стояла неподвижно, глядя на него.

— Вышвырнули? — спросил он, приподнимаясь на дрожащем локте, волосы закрыли ему лицо. — Можешь не рассказывать. Я знаю. Тебя выставили пинком. Как собаку. И меня тоже. Как двух собак. Поздравляю, Кира Александровна. Прими сердечное пролетарское поздравление.

— Лео, ты... ты напился!

— Конечно. Чтобы отпраздновать... Все мы напились. Десятки, сотни студентов университета. Тост за диктатуру пролетариата... Много тостов за диктатуру пролетариата... Не смотри на меня так... Это хорошая старая традиция — пить на днях рождения, свадьбах и похоронах... Что ж, мы не были рождены вместе, товарищ Аргунова... И у нас не было свадьбы, товарищ Аргунова... Но мы увидим последнее... Мы увидим... последнее... Кира...

Она стояла на коленях у кровати и, прижимая к своей груди бледное лицо, с искаженным, как рана, ртом, приглаживая мокрые волосы на его лбу, шептала:

— Лео... любимый... не надо делать этого... Не то сейчас время... Мы должны теперь хорошенько подумать... — В ее голосе не было уверенности. — Это не опасно до тех пор, пока мы не сдадимся. Ты должен заботиться о себе, Лео... Должен беречь себя...

Его рот раскрылся, чтобы произнести: «Зачем?»

* * *

Кира встретила Василия Ивановича на улице.

Ей стоило больших усилий не показать изумления тем, насколько он изменился. Она не видела его с тех пор, как умерла Мария Петровна, и тогда он так не выглядел. Сейчас он шел, как старик. Его чистые гордые глаза впивались в каждое лицо горьким взглядом подозрения, ненависти и стыда. Его морщинистые, когда-то мускулистые руки неуверенно дергались, совершая бесполезные движения, как у какой-нибудь старухи. Две складки пролегли от уголков рта к подбородку, складки такого страдания, что любой невольно ощущал вину за то, что увидел это и догадался о причинах.

— Кира, рад увидеть вас снова, рад увидеть вас, — пробормотал он; его голос, его слова беспомощно зывали к ней. — Почему вы больше не приходите? Дома такая тоска. Или... или, может быть, вы слышали... и не хотите прийти?

Кира ничего не слышала. Но что-то в его голосе сказала ей, что не нужно спрашивать, о чем она могла услышать. Она вымолвила с самой теплой улыбкой, на которую только была способна:

— Конечно нет, дядя Василий, я буду рада прийти. Я просто очень много работала. Но я приду сегодня вечером, можно?

Она не спросила об Ирине и Викторе и о том, исключили ли их тоже. Словно после какого-то землетрясения все вокруг были осторожны, подсчитывали жертвы и боялись задавать вопросы.

Тем же вечером после ужина Кира зашла к Дунаевым. Она уговорила Лео лечь спать; у него был жар; его щеки горели красными пятнами; она оставила кружку холодного чая у кровати и сказала, что скоро вернется.

За голым столом, без скатерти, под лампой без абажура сидел Василий Иванович, читая старое издание Чехова. Ирина, с нерасчесанными волосами, сидела, рисуя бессмысленные фигуры на огромном листе бумаги. Ася спала полностью одетая, свернувшись калачиком в кресле в темном углу. Ржавая буржуйка дымила.

— Алло, — сказала Ирина, кривя губы. Кира никогда еще не видела, чтобы она так улыбалась.

— Хочешь чаю, Кира? Горячего чаю? Только... только у нас совсем не осталось сахара.

— Нет, спасибо, дядя Василий, я только что поужинала.

— Ну? — сказала Ирина. — Почему же ты не скажешь? Исключили?

Кира кивнула.

— А Лео тоже?

Кира кивнула.

— Ну? Почему не спросишь? Ну так я скажу тебе сама: конечно, я тоже исключена. А чего можно было ждать? Дочь бывшего богатого меховщика, поставщика царского двора!

— А Виктор?

Ирина и Василий Иванович странно обменялись взглядами.

— Нет, — медленно ответила Ирина, — Виктор не исключен.

— Я рада, дядя Василий. Это хорошие новости, не так ли? — Она поняла, что это единственная возможность подбодрить дядю. — Виктор — такой талантливый парень. Я рада, что они не отняли у него будущее.

— Да, — сказал Василий Иванович медленно, с горечью. — Виктор — очень талантливый юноша.

— На ней было белое кружевное платье, — истерично вмешалась Ирина, — и у нее такой прекрасный голос — о, я имею в виду новую постановку «Травиату» в Михайловском театре — и ты, конечно, уже видела ее? Нет? Ты должна обязательно сходить на нее. Старая классика... старая классика...

— Да, — сказал Василий Иванович, — старая классика по-прежнему остается лучшей. В те дни была культура, у людей были моральные ценности и... и честь...

— Действительно, — сказала Кира удивленно, начиная волноваться, — мне надо сходить на «Травиату».

— В последнем акте, — сказала Ирина, — в последнем акте она... О, черт!

Она кинула свои рисунки на пол с таким шумом, что проснулась Ася, которая села и глупо уставилась на все это.

— Ты все равно рано или поздно услышишь: Виктор вступил в партию!

Томик Чехова, что Кира держала в руках, упал на пол.

— Он... что?

— Он вступил в партию. Всесоюзную коммунистическую партию. С красной звездой, партийным билетом, хлебной карточкой, руками по локоть в крови, в той, что уже пролили и что еще прольют.

— Ирина! Как... как же его приняли?

Она боялась взглянуть на Василия Ивановича. Она знала, что ей не надо задавать вопросы, вопросы, которые как нож вонзались в рану; но она не могла сдержаться.

— О, он, похоже, уже давно все это распланировал. Он специально сходил с людьми — осторожно и разборчиво. Он, оказывается, много месяцев был кандидатом — а мы и не знали этого. Потом его приняли. О, его приняли без вопросов — с такими-то покровителями. Они поручились за его пролетарский дух, несмотря на то что его отец продавал меха царю!

— Он знал об этой... чистке, ну, что она скоро будет?

— О, не будь наивной. Дело не в этом. Конечно, он не знал этого заранее. У него цели посерьезнее, чем просто сохранить свое место в институте. О, мой брат Виктор — умнейший молодой человек. Когда он хочет вскарабкаться — он знает, на какие ступеньки ступать.

— Ну что ж, — Кира попыталась улыбнуться и сказать это ради Василия Ивановича, не глядя на него, — это дело Виктора. Он знает, чего хочет. Он... он все еще здесь живет?

— Если бы это зависело от меня, то он... — Ирина резко оборвала себя. — Да. Эта свинья живет пока еще здесь.

— Ирина, — сказал Василий Иванович устало, — он твой брат.

Кира переменяла тему; но разговор не клеился. Спустя полчаса вошел Виктор. Выражение достоинства на лице и красная звезда на лацкане были выставлены на всеобщее обозрение.

— Виктор, — сказала Кира, — я слышала, что ты теперь правоверный коммунист.

— Я имел честь вступить во Всесоюзную коммунистическую партию, — ответил Виктор. — И я не позволю, чтобы о партии отзывались таким тоном.

— А, — сказала Кира. — Понятно.

Но случилось так, что она не увидела протянутой руки Виктора, когда уходила.

У двери, в коридоре, Ирина прошептала ей: «Сначала я думала, что отец вышвырнет его вон. Но... мамы больше нет... и вообще... и ты ведь знаешь, что отец всегда души не чаял в Викторе... ну, он думает, что сможет перетерпеть это. Я думаю, что это убьет отца. Ради бога, Кира, приходи почаще. Ты ему нравишься».

* * *

Так как будущего у них не было, то жили они сегодняшним днем.

Бывали дни, когда Лео часами не отрывался от книги и почти не говорил с Кирой, а когда заговаривал, то в его улыбке прорывалось горькое бесконечное презрение к себе, к миру, к вечности.

Однажды Лео напился; он навалился на стол, оставившись на разбитый стакан, который лежал на полу.

— Лео! Где ты это нашел?

— Занял. Занял у нашей дорогой соседки, товарища Мариши. У нее всегда полно.

— Лео, зачем ты это делаешь?

— А почему мне этого не делать? Почему? Кто в этом чертовом мире может мне сказать, почему я не должен этого делать?

Но бывали дни, когда спокойствие вдруг очищало его глаза и улыбку. Он ждал Киру с работы и, когда она входила, спешил ее обнять. Они могли просидеть весь вечер, не говоря ни слова, их присутствие, взгляд, пожатие руки, словно наркотическое вещество, придавали им уверенность, заставляли забыть о следующем дне, о всех следующих днях.

Рука об руку гуляли они по тихим светлым улицам весенними белыми ночами. Небо было как матовое стекло, отсвечивающее сиянием, которое шло не от солнца, а от какого-то другого светила. Они смотрели друг на друга, на неподвижный, бессонный город, залитый этим странным светом. Он прижимал ее руку к своей, и, когда они оставались одни на длинной, пустой, освещенной первыми лучами солнца улице, он нагибался и целовал ее.

Шаги Киры были твердыми. Впереди ее ждало слишком много вопросов; но здесь, рядом с ней, было то, что придавало ей уверенность: его прямое, сильное тело, его длинные худые руки, его надменный рот с высокомерной улыбкой, которая отвечала на все вопросы. И иногда ей становилось жалко этих бесчисленных, безымянных людей, что жили вокруг них, которые лихорадочно искали какого-то ответа, сминая в своих поисках других людей, возможно, даже ее саму; но Киру невозможно было смять, потому что она знала этот ответ. Ей не нужно было гадать о будущем. Этим будущим был Лео.

* * *

Лео с каждым днем становился все бледнее и все молчаливее. Голубые вены на его висках были похожи на прожилки мрамора. Он непрерывно кашлял, задыхаясь. Он принимал лекарства от кашля, которые не помогали, и отказывался сходить к врачу.

Кира часто встречалась с Андреем. Она спросила Лео, не возражает ли он. «Вовсе нет, — ответил он ей, — если он — твой друг. Только не приводи его сюда. Я не уверен, что смогу быть вежливым с... с одним из них».

Она не приглашала Андрея к себе домой. Она звонила ему по воскресеньям и весело улыбалась в трубку: «Хочешь увидеть меня, Андрей? В два часа в Летнем саду — вход со стороны набережной».

Они сидели на скамье, а дубовые листья боролись с палящим солнцем у них над головами. Они говорили о философии. Она временами улыбалась, когда понимала, что Андрей — единственный человек, с которым она могла думать и говорить о своих мыслях.

У них не было причины встречаться. И все же они встречались и договаривались о новых встречах, и ей было как-то по-странному приятно, а он смеялся над ее короткими летними платьями, и его смех был удивительно счастливым.

Однажды он пригласил ее провести воскресенье за городом. Она пробыла в городе все лето и не смогла отказаться. Лео нашел работу на воскресенье: ломать деревянные тротуары вместе с бригадой, ремонтирующей улицы. Он не возражал против ее поездки.

За городом она увидела море, сверкающее на солнце; и золотой песок, в котором ветер сделал легкие, ровные волны; и высокие рыжие свечи сосен, чьи словно сведенные судорогой корни были оголены среди песка и ветра; сосновые шишки катились навстречу морским ракушкам.

Кира и Андрей поплыли наперегонки. Кира победила. Но когда они побежали по пляжу в своих купальных костюмах, а песок отлетал

от их пяток и вода вперемешку с песком летела на мирных воскресных отдыхающих, победил Андрей. Он поймал ее, и они вместе покапались по песку, это был вихрь из ног, рук и грязи, который врзался в ведро с обедом некой матроны, завизжавшей от ужаса. Они кое-как распутались и сидели, громко хохоча. А когда эта матрона все же сумела подняться на ноги, собрала свой обед и вперевалку отошла от них, бормоча что-то об «этой современной молодежи, которая не может держать свои любовные дела при себе», они расхохотались еще громче.

Они поужинали в грязной маленькой деревенской харчевне, где Кира говорила с подавальщиком по-английски. Хотя тот и не мог понять ни слова, но кланялся, заикался и разлил воду по всему столу в своем порыве услужить первому иностранному товарищу в их забытом богом уголке. Когда они уходили, Андрей заплатил ему двойную стоимость их ужина. Подавальщик кланялся до земли, убедившись, что имел дело с подлинными иностранцами. Кира выглядела немного удивленной. Андрей засмеялся, когда они вышли:

— Почему бы и нет? Приятно сделать и подавальщика счастливым. Я все равно получаю больше денег, чем могу потратить на себя.

В поезде, когда он с грохотом ворвался в вечер и дым города, Андрей спросил:

— Кира, когда я увижу тебя снова?

— Я позвоню тебе.

— Нет. Я хочу знать сейчас.

— Через несколько дней.

— Нет. Мне нужен определенный день.

— Ну, что ж, тогда в среду, вечером?

— Хорошо.

— После работы, в пять тридцать, в Летнем саду.

— Хорошо.

Когда она вернулась домой, Лео спал в кресле; его руки были грязными, и пыльные полосы пролегли по его влажному, пылающему лицу, его темные ресницы были светлыми от пыли, а тело вконец ослабло от изнурения.

Она умыла ему лицо и помогла раздеться. Он кашлял.

Последующие два вечера превратились в долгие яростные споры, но Лео сдался: он пообещал пойти в среду к доктору.

* * *

Вава Миловская договорилась о встрече с Виктором в среду вечером. В среду днем Виктор позвонил ей, его голос был

нетерпеливо-извиняющимся: он задерживается по срочному делу в институте и не сможет увидеть ее. Срочные дела задерживали его все последние три раза, когда он обещал прийти. До Вавы доходили слухи; она слышала определенное имя; она знала, чего следует подозревать.

Вечером она аккуратно оделась; застегнула широкий черный ремень из лакированной кожи вокруг узенькой талии поверх своего лучшего нового белого пальто: слегка дотронулась до губ новой иностранной помадой, надела новый заграничный браслет из целлулоида. Небрежно нацепив белую шляпку на черные кудри, она сказала матери, что пойдет к Кире Аргуновой.

Она заколебалась на площадке перед квартирой Киры, и ее руки немного дрожали, когда она нажимала на звонок.

Жилец открыл дверь.

— К гражданке Аргуновой? Сюда, товарищ, — сказал он ей. — Вам нужно пройти через комнату гражданки Лавровой. Вот эта дверь.

Вава решительно, рывком распахнула дверь, не постучавшись.

Они были там — вместе — Мариша и Виктор — согнувшись над граммофоном, который играл «Пожар московский».

Лицо Виктора похолодело в немой ярости. Но Вава не смотрела на него. Она вскинула голову и сказала Марише настолько гордо и драматично, насколько могла, дрожащим голосом, глотая слезы:

— Простите, гражданка. Я только хотела зайти к гражданке Аргуновой.

Удивленная и ничего не подозревающая Мариша указала на дверь Киры большим пальцем. С высоко поднятой головой Вава прошла через комнату. Мариша не могла понять, почему Виктор так быстро ушел.

Киры не было дома, но был Лео.

* * *

Кира ни на секунду не присела в этот день. Лео пообещал позвонить ей в контору и сообщить диагноз доктора. Он так и не позвонил. Она звонила ему трижды. Никто не отвечал. По дороге домой она вспомнила, что сегодня среда и что она обещала встретиться вечером с Андреем.

Она не могла допустить, чтобы он, ничего не зная, ожидал ее в людном парке у входа. Она заскочит в Летний сад и скажет, что не может остаться с ним. Кира добралась до сада вовремя.

Андрея не было там.

Она посмотрела на набережную, которая уже начинала темнеть. Она всмотрелась в деревья и тени сада. Она ждала. Дважды она

спрашивала у милиционера время. Она ждала. Она не могла понять, что случилось.

Он не пришел.

Когда она наконец собралась идти домой, то оказалось, что она прождала час.

Кира со злостью сунула руки в карманы. Она не могла беспокоиться об Андрее, когда думала о Лео, и о докторе, и о том, что ей предстояло услышать. Она быстро поднялась по ступеням. Она промчалась сквозь Маришину комнату и распахнула дверь. На тахте лежал Лео, сжимая в руках Ваву, ее пальто валялось на полу. Они целовались.

Кира стояла, спокойно глядя на них, вопрос застыл в ее поднятых бровях.

Они вскочили. Лео плохо держался на ногах. Он снова был пьян. Он стоял, покачиваясь, на его лице появилась горькая презрительная улыбка.

Лицо Вавы пошло темными красными пятнами. Она открыла рот, задыхаясь. Она не могла произнести ни звука. И, так как никто не сказал ни слова, она вдруг прокричала в тишину:

— Ты думаешь, что это ужасно, да? Что ж, я тоже так думаю! Это ужасно, это подло! Но мне наплевать! Мне наплевать на то, что я делаю! Мне больше не важно это! Я — сволочь? Что ж, я не одна такая! Но мне наплевать. Наплевать. Наплевать!

Истерически рыдая, она выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Кира и Лео не двигались.

Он презрительно усмехнулся:

— Ну, говори же!

Она медленно ответила:

— Мне нечего сказать.

— Слушай, ты могла бы уже привыкнуть. Ты могла бы уже привыкнуть к тому, что ты не можешь обладать мною. Потому что ты не можешь обладать мною. Я не буду твоим. Я недолго буду твоим.

— Лео, что сказал доктор?

Он засмеялся:

— Много чего.

— Что у тебя?

— Ничего. Совсем ничего.

— Лео!

— Ничего — пока. Но скоро у меня это будет. Через несколько недель. Всего несколько недель.

— Что, Лео?

Он сделал величественный жест и покачнулся:.

— Ничего страшного. Всего лишь — туберкулез.

* * *

Доктор спросил: «Вы — его жена?»

Кира поколебалась, затем ответила: «Нет».

Доктор сказал: «Понятно». Затем он добавил: «Что ж, я думаю, у вас есть право знать это. Гражданин Коваленский в очень плохом состоянии. Мы называем это туберкулезом в начальной стадии. Его все еще можно остановить — сейчас. Через несколько недель будет слишком поздно».

— Через несколько недель у него будет... туберкулез?

— Туберкулез — серьезное заболевание, гражданка. В Советской России это смертельное заболевание. Желательно предотвратить его. Если позволить ему развиться — вы уже не сможете остановить его.

— Что... нужно ему сделать?

— Отдыхать. Много отдыхать. На солнце. Свежем воздухе. Хорошо питаться. По-человечески. Ему нужно попасть в санаторий этой зимой. Еще одна зима в Петрограде будет означать для него смерть. Вам придется послать его на юг.

Она не ответила; но доктор иронически улыбнулся, так как слышал этот ответ и без слов, и он посмотрел на заплаты ее туфель.

— Если этот молодой человек дорог вам, — сказал он, — пошлите его на юг. Если в человеческих силах — или даже в нечеловеческих, — пошлите его на юг.

Кира была спокойна, когда шла домой. Когда она вошла, Лео стоял у окна. Он медленно повернулся. Его лицо было таким глубоко спокойным, что он выглядел моложе; он выглядел так, словно первый раз хорошо спал ночью; он тихо спросил:

— Где ты была, Кира?

— У доктора.

— О, извини. Я не хотел, чтобы ты знала все это.

— Он сказал мне.

— Кира, извини меня за прошлый вечер. Я говорю об этой маленькой дуре. Я надеюсь, ты не подумала, что я...

— Конечно, нет. Я понимаю.

— Я думаю, это произошло потому, что я был испуган. Но теперь я не боюсь. Все кажется настолько проще — когда установлен срок... Сейчас главное, Кира, — не говорить об этом. Давай не будем думать об этом. Мы ничего не можем сделать — как доктор, возможно, сказал тебе. Мы все еще можем быть вместе — ненадолго. Когда он станет заразным — что ж...

Она смотрела на него. Вот каким образом он принимал свой смертный приговор.

Она произнесла твердым голосом:
— Глупости, Лео. Ты едешь на юг.

* * *

В первой государственной больнице, в которую она пришла, дежурный сказал ей:

— Место в санатории в Крыму? Он — не член партии? И он — не член профсоюза? И он — не государственный служащий? Вы шутите, гражданка.

Во второй больнице ей сказали:

— У нас сотни людей ждут очереди, гражданка. Члены профсоюза... Нет, мы не можем даже поставить его на очередь.

В третьей больнице ее отказались принять.

Нужно было ждать в очередях, ужасных очередях из уродливых созданий, шрамов, перевязок, костылей, открытых ран и зеленых, слизистых пятен глаз, из мычания и стонов; и — над всей очередью живых — стоял запах морга.

Нужно было ходить в Главное управление здравоохранения, ждать не один час в тусклых, сырых коридорах, которые пропахли карболкой и грязными простынями. Были секретарши, забывавшие о назначенном приеме, были и ассистенты, которые говорили: «Очень жаль, гражданка. Следующий, проходите»; были и молодые начальники, которые всегда куда-то спешили, и медработники, которые просто стонали: «Я же говорю вам, что он ушел, рабочее время кончилось, нам надо закрываться, вам нельзя сидеть здесь всю ночь».

В конце первых двух недель она уяснила себе твердо, словно это был какой-то мистический абсолют, что если у человека туберкулез, то надо быть членом профсоюза и нужно получить профсоюзную путевку в профсоюзный санаторий.

Нужно было попасть на прием к множеству начальников, пустить в ход имена и фамилии, рекомендательные письма, нужно было умолять сделать исключение. Нужно было попасть на прием к главам профсоюзов, которые слушали ее мольбу с изумленными, ироничными взглядами. Одни смеялись; некоторые пожимали плечами; другие вызывали секретарш, чтобы те проводили посетительницу; один сказал, что может все устроить и устроит, но назвал такую сумму, которую она не смогла бы заработать за год.

Она держалась настойчиво, бодро, и ее голос не дрожал, и она не боялась просить. Это было ее миссией, ее крестовым походом.

Она удивлялась временами, почему слова *Но он ведь умрет* значили так мало для них, а слова *Но он не государственный*

служащий значили так мало для нее и почему это так трудно было объяснить.

Она заставила Лео принять участие в этих поисках. Он подчинился, не споря, не жалуясь, ни на что не надеясь.

Она все перепробовала. Она попросила помощи у Виктора. Виктор с достоинством сказал: «Дорогая сестра, я хочу, чтобы ты поняла, что мое членство в партии свято и не может быть использовано для достижения личных целей».

Она попросила Маришу. Мариша засмеялась. «Да это с нашими-то санаториями, которые набиты до отказа, и с очередями аж до следующего поколения? Товарищи рабочие умирают, пока ждут, а он даже еще не болен! Вы не понимаете жизни, гражданка Аргунова».

Она не могла зайти к Андрею. Андрей подвел ее.

Несколько дней подряд, после того как он не пришел на встречу, она заходила к Лидии с одним и тем же вопросом: «Заходил ли Андрей? Не было ли от него писем?»

В первый день Лидия сказала: «Нет». На второй день она хихикнула и поинтересовалась: «Что это такое, роман, а?» И сказала, что расскажет Лео, ведь Лео — такой красивый! Кира прервала ее: «Ой, брось эту ерунду, Лидия! Это важно. Сразу дай мне знать, как только что-нибудь услышишь, ладно?»

Лидия так ничего и не услышала.

Однажды вечером, когда Кира была у Дунаевых, она, как бы между делом, спросила Виктора, видел ли он Андрея Таганова в институте. «Конечно, — сказал Виктор, — он там каждый день бывает».

Она была обижена. Она была в гневе. Она была поражена. Что она такого сделала? В первый раз она стала думать о своем поведении. Может быть, она глупо вела себя в то воскресенье за городом? Она попыталась припомнить каждое слово, каждый жест. Она ничего плохого не нашла. Он казался даже более счастливым, чем когда бы то ни было. Спустя немного времени она решила довериться их дружбе и дать ему возможность объясниться.

Она позвонила ему. Она услышала голос старой хозяйки квартиры, кричащий «Товарищ Таганов!» с такой интонацией, которая означала его присутствие; за этим последовала долгая пауза; хозяйка вернулась и спросила: «Кто его спрашивает?», и не успела Кира произнести последний слог своего имени, как старуха рывкнула: «Его нет дома!» — и бросила трубку.

Кира тоже повесила трубку. Она решила забыть Андрея Таганова.

* * *

После месяца хождений по различным начальникам Кира поняла, что для Лео двери государственных санаториев закрыты и открыть их ей не под силу.

Но в Крыму существовали и частные санатории, лечение в которых стоило больших денег. Значит, нужно было эти деньги достать.

Она пошла к товарищу Воронову и попросила выдать ей зарплату за полгода вперед, этого хватило бы для начала. Но тот улыбнулся и сказал, что нельзя быть уверенным в том, что ее не уволят через месяц, не говоря уже о полугоде. Она обратилась и к доктору Миловскому, самому богатому из своих знакомых, о банковском счете которого ходило много завистливых слухов. Услышав просьбу Киры, он тут же покраснел и истерично замахал руками, словно отгоняя нечистую силу:

— Что ты, что ты, девочка! Откуда у меня такие деньги! Я же не капиталист какой, хе-хе. Мы и сами едва концы с концами сводим, хе-хе. Я живу честным пролетарским трудом, хе-хе, тебе любой скажет...

Зная, что у родителей уже ничего нет, она все же спросила их, не могут ли они чем помочь. Галина Петровна только заплакала.

Она спросила Василия Ивановича. Тот предложил ей последнее, что у него осталось, — старый меховой полушубок Марии Петровны. Но его не хватило бы даже на билет до Крыма. Кира отказалась его взять. Будучи уверена в том, что Лео это не понравится, тем не менее она написала его тетке в Берлин: «Я пишу потому, что очень люблю его, и надеюсь, что Вы его тоже немного любите». Ответ так и не пришел.

Из таинственных и опасливых слухов, даже более таинственных и опасливых, чем о ГПУ, Кира знала, что можно было занять деньги у ростовщиков под огромные проценты. Невероятными стараниями ей удалось получить имя и адрес одного такого человека. На рынке в частном ларьке толстый мужчина с опаской перегнулся через прилавок, увешанный красными косынками и шелковыми чулками. Она прошептала известное ему имя и нужную сумму.

— Спекуляция? — шепотом спросил он.

Кира знала, что лучше ответить «да», и он сказал ей, что это можно устроить. Под 25 процентов в месяц. Кира с готовностью согласилась. В залог требовались меха или бриллианты. Но узнав, что ничего этого у Киры нет, толстый господин тут же отвернулся от нее, словно и не разговаривал с ней вовсе.

Когда она пошла к трамвайной остановке, пробираясь сквозь темные торговые ряды, то вдруг удивленно замерла на месте, увидев

в частной лавке, завешанной буханками свежего хлеба и окороками, знакомое лицо спекулянта с Николаевского вокзала, в подбитом мехом пальто с запахом гвоздичного масла. Видимо, он преуспел в жизни. Он улыбался покупателям через круг копченой колбасы.

По пути домой она вспомнила чьи-то слова: «Я получаю больше, чем могу потратить на себя». И Кира решила пойти в институт и во что бы то ни стало увидеть Андрея.

Для этого ей нужно было пересесть на другой трамвай. Встретив Андрея в коридоре, Кира не смогла не улыбнуться ему, увидев, что он смотрит прямо на нее. Однако он резко отвернулся и, хлопнув дверью, исчез в одной из аудиторий института.

Она осталась стоять на месте, словно замороженная.

Вернувшись домой, Кира увидела, что Лео стоит посреди комнаты и держит в руке какую-то мятую бумагу. Лицо его перекопилось от гнева:

— Значит, письма пишем? Зачем ты лезешь в мои дела? Кто тебя просил писать?

На столе она увидела конверт с немецким штемпелем. Он был адресован Лео.

— Что они ответили, Лео?

— Тебе интересно? Тебе правда интересно?

И он бросил письмо ей в лицо. Ей запомнилась лишь одна фраза: «...Нет никаких оснований ожидать от нас помощи; тем более когда ты связался с какой-то уличной девкой, у которой еще хватает наглости писать достойным людям».

* * *

Дождливым осенним днем Дом крестьянина посетила делегация из Клуба ткачих. Товарищ Соня была почетным членом делегации. Увидев Киру в кабинете товарища Битюк, она расхохоталась:

— Ну и ну! Товарищ Аргунова как честная советская гражданка работает в Доме крестьянина!

— В чем дело, товарищ? — нервно и подозрительно спросила товарищ Битюк. — В чем дело?

— Шутка, — пробасила Товарищ Соня, — просто шутка!

Кира покорно пожала плечами — она знала, чем это для нее обернется.

Когда объявили о сокращении штатов, Кира ничуть не удивилась, увидев свою фамилию в списке уволенных «антиобщественных» элементов. Теперь ей было все равно. Оставшиеся деньги она истратила на молоко и яйца для Лео, к которым он так и не притронулся.

* * *

Днем Кира была спокойна: пустое лицо, пустое сердце. В голове ее засела лишь одна мысль. Днем она не боялась за Лео, потому что знала, что он должен поехать на юг и непременно туда поедет; она была в этом уверена.

Но ночью все было по-другому.

Она чувствовала, как его тело, влажное и холодное, прижимается к ней. Иногда во сне он ронял голову ей на плечо и лежал так, доверчивый и беспомощный, как ребенок, а его дыхание было похоже на стон.

Она не могла забыть, как в предсмертной агонии кричала Мария Петровна: «Кира! Я хочу жить! Жить!» Она чувствовала, как Лео горячо и прерывисто дышит ей в шею. Ей казалось, что это кричит не Мария Петровна, а Лео, и ему уже ничем нельзя помочь: «Кира! Я хочу жить! Жить!»

Может, она сходит с ума? Это ведь так просто. Ей были нужны всего лишь деньги. *Его* жизнь — и деньги.

«Я зарабатываю больше, чем могу потратить на себя».

«Кира! Я хочу жить! Жить!»

* * *

Чтобы достать деньги, она решила на отчаянную попытку. Она шла по мокрому от дождя тротуару, в котором отражались желтые огни. Доктор сказал, что на счету каждая неделя. Она увидела, как у ярко освещенного театра остановился роскошный лимузин.

Из него вышел человек в роскошной шубе. Кира встала у него на пути и твердым и четким голосом сказала:

— Пожалуйста! Можно поговорить с вами? Мне очень нужны деньги. Мне нечего вам предложить. Я знаю, это так не делается, но вы должны понять. Это так важно, речь идет о жизни человека!

Человек остановился. Ему еще не приходилось слышать просьбы, похожие на приказы. Оценивающе прищурив глаза, он спросил:

— Сколько ты хочешь?

Она сказала ему.

— Что? За одну ночь? Да твоим подругам за всю жизнь не заработать таких денег!

Он не понял, почему эта странная девушка вдруг повернулась и побежала вдоль по улице, прямо по лужам, так, словно за ней кто-то гнался.

* * *

Она сделала последнюю попытку обратиться к государству.

Потратив несколько недель на звонки, рекомендательные письма, упрощения секретарей и заместителей, Кира все же добилась приема у одного из самых важных начальников города. Она могла лично встретиться с ним. Он мог все. Нужно было лишь убедить его.

Начальник сидел за столом. За ним было высокое окно, сквозь которое струился узкий поток света, отчего кабинет делался похожим на храм. Кира стояла перед ним, глядя прямо в глаза. В ее взгляде не было ни враждебности, ни мольбы, только глубокое спокойствие и доверие. Голос ее был чистым, твердым, юным.

— Товарищ комиссар, видите ли, я люблю его. А он болен. Вы знаете, что это за болезнь? Она съедает организм изнутри, постепенно, и вскоре уже ничего нельзя сделать. А потом он умрет. Но пока его жизнь... его жизнь зависит от нескольких слов и листка бумаги — это же очень просто, если увидеть это так, как оно есть, — это всего лишь слова и бумага; это то, что создали мы сами, создали для себя; неважно, правы мы или нет, но мы ужасно зависим от слов на бумаге, правда же? Его не посылают в санаторий, потому что никто не вписал его имя в листок бумаги среди других имен, что называется членство в профсоюзе. Ведь это всего лишь чернила, бумага и то, что мы думаем. Эту бумагу можно написать и порвать ее, и снова написать. Но его болезнь не остановить словами, не остановить вопросами. Товарищ комиссар, я понимаю, что деньги, и профсоюз, и бумаги — все это очень важно. И если кто-то должен ради них страдать и мучиться, я не возражаю. Я согласна работать круглые сутки. Я согласна ходить в старье — не смотрите на мое платье, товарищ комиссар, я знаю, что оно безобразно, но мне все равно. Может быть, я не всегда понимала вас и ваши порядки, но я умею быть послушной, я научусь... Но, когда это касается самой жизни, товарищ комиссар, мы должны быть серьезны, разве нет? Мы не можем позволить всем этим придуманным вещам отнять чью-либо жизнь. Один росчерк вашего пера — и он сможет поехать в санаторий, и ему не придется умирать. Товарищ комиссар, если мы спокойно и просто подумаем над всем этим — как оно есть: можем ли мы знать, что такое смерть? Ведь это конец всему, навсегда, никогда снова, никогда, независимо от того, хотим мы этого или нет. Разве вы не видите, почему он не может умереть? Потому, что я люблю его. Нам всем приходится страдать. Мы все чего-то добиваемся и что-то теряем. Это все неважно. Но потому, что *мы* — *живые*, в каждом из нас есть что-то, что... что как... основа нашего существования — и *этого*

нельзя касаться. Вы понимаете меня? *Этим* он является для меня, и вы не можете отнять его у меня, потому что вы бы не позволили мне стоять перед вами, говорить, дышать, двигаться лишь затем, чтобы потом сказать, что все равно отнимете его у меня. Мы ведь оба еще не сошли с ума, ведь нет же, товарищ комиссар?

Товарищ комиссар ответил:

— В Гражданскую войну погибло сто тысяч рабочих. Почему у нас в СССР не может умереть один аристократ?

Кира медленно брела домой, разглядывая вечерний город. Она смотрела на сверкающий тротуар, отшлифованный тысячами старых ботинок, на трамваи, в которых ехали люди, на каменные коробки, в которые они забирались на ночь; на плакаты, изображающие их мечты и их еду; она думала, видит ли кто-нибудь из тех тысяч глаз, что окружают ее, то же, что видит она; и почему ей дано видеть все это...

* * *

Из-за того, что на кухне на пятом этаже склоненная над плитой женщина мешала в кастрюльке вонючую капусту, а сама женщина стонала, жаловалась на боли в спине и чесала голову ложкой,

из-за того, что в пивнушке на углу какой-то человек, прислонившись к стойке, сдувал с кружки пива пену, которая падала на пол и ему на брюки, отрывивал и пел песню,

из-за того, что где-то на белой постели, покрытой желтыми пятнами, сопя мокрым носиком, спал ребенок,

из-за того, что в подвале мужчина, сорвав с женщины одежду, впился ей в губы и они со стенами катались по мешкам с мукой и картошкой,

из-за того, что где-то среди холодных каменных стен кто-то, согнувшись перед позолоченным крестом, поднимал к небу дрожащие от возбуждения руки и бился лбом о холодный каменный пол,

из-за того, что среди грохота машин, сверкания стали и капель горящего жира мужчины, перенапрягаясь и тяжело дыша, вздувая сверкающие от пота мощные груди, варили мыло,

из-за того, что в общественной бане из тазов поднимался пар и красные, распаренные тела кричали, натираясь мылом; ворча и вздыхая, терли друг другу спины, от которых шел пар и стекала грязная с хлопьями мыльной пены вода, — Лео Коваленский был приговорен к смерти.

ГЛАВА XVII

Это была последняя возможность, и она должна была испробовать ее.

По тихой пустынной улочке Кира пришла к неприметному дому. Старая хозяйка открыла дверь и подозрительно посмотрела на Киру — к товарищу Таганову никогда не приходили женщины. Но она молча проводила Киру по коридору и, показав Кире дверь его комнаты, куда-то ушла, шаркая ногами по полу.

Кира постучала и услышала его голос.

— Войдите, — сказал Андрей.

Она вошла.

Он сидел за столом и при виде ее хотел было подняться, но так и остался сидеть. Какое-то время он смотрел на нее, не двигаясь. Затем медленно поднялся, так медленно, что Кира подумала, сколько же она так стоит, а он все не спускал с нее глаз.

Наконец он сказал:

— Добрый вечер, Кира.

— Добрый вечер, Андрей.

— Снимай пальто.

Внезапно она испугалась, потеряла уверенность в себе, смутилась. Ожесточение и враждебность, которые пригнали ее сюда, куда-то улетучились. Она послушно сняла пальто и бросила шляпу на кровать. Комната была просторной и пустой, со свежепобеленными стенами. Здесь стояли узкая железная кровать, стол, стул, комод. Не было ни картин, ни плакатов, только книги, океан книг и газет, захлестнувший стол, комод и разлившийся по полу.

— Холодно сегодня, — сказал он.

— Да, холодно.

— Садись.

Она присела у стола, а он — на кровати, вцепившись руками в колени. Ей было не по себе от его пристального взгляда.

- Ну, как ты живешь, Кира? Ты выглядишь усталой.
- Я действительно немного устала.
- Как дела у тебя на работе?
- Никак. Меня уволили по сокращению штатов.
- Извини, я найду тебе другую работу.
- Спасибо, но я не уверена, нужна ли она мне. А как твоя работа?
- В ГПУ? Много работы. Обыски, аресты. Ты ведь все еще не боишься меня, правда?
- Нет.
- Я не люблю делать обыски.
- А аресты?
- Ничего не имею против — когда это нужно.
- Они помолчали, и затем она сказала:
- Андрей, если я мешаю, то я могу уйти.
- Нет, не уходи, пожалуйста, — он попытался улыбнуться. — Мешаешь мне? Зачем ты так говоришь?.. Я просто немного смущен... моя комната немного в беспорядке, я не ждал гостей.
- У тебя хорошая комната. Большая, светлая.
- Знаешь, я редко бываю дома, а когда прихожу, то у меня хватает сил лишь добраться до кровати.
- Вновь воцарилась пауза.
- Как твоя семья? — спросил он.
- Спасибо, все в порядке.
- Я часто вижу Виктора Дунаева, твоего двоюродного брата, в институте. Как ты к нему относишься?
- Плохо.
- Я тоже.
- Виктор теперь в партии, — сказала Кира после очередной паузы.
- Я голосовал против его приема, но остальным очень хотелось его принять.
- Я рада, что ты так поступил. Я ненавижу таких коммунистов, как он.
- Ну, а какие коммунисты тебе нравятся?
- Такие, как ты, Андрей.
- Кира... — начал было он, но запнулся. Качая головой, он посмотрел на нее и отвел взгляд. — Так, ничего...
- Она твердо спросила: «Что я такого сделала, Андрей?» Он взглянул на нее, нахмурился и, покачав головой, отвернулся в сторону: «Ничего».
- Вдруг он спросил:
- Кира, зачем ты пришла?

— Я так долго тебя не видела.

— Послезавтра будет два месяца.

— Если не считать, что ты видел меня три недели назад в институте.

— Да, я видел тебя.

Она ждала объяснений, но он ничего не сказал, и она решила начать первой. Ее слова прозвучали мольбой.

— Я пришла потому, что подумала — может, ты хотел меня видеть.

— Я не хотел этого.

Она поднялась.

— Кира, не уходи!

— Но я не понимаю, Андрей.

Он встал и посмотрел ей в глаза. Его голос был грубым и хриплым, слова звучали словно оскорбление:

— Я не хотел, чтобы ты знала. Но если хочешь — я скажу. Я хотел больше никогда не видеть тебя... — Его слова были словно удары кнута. — Потому что... я... люблю тебя.

Она бессильно прислонилась к стене. Он продолжал:

— Ничего не говори, я знаю, что ты хочешь сказать, знаю каждое слово. Но слова бессмысленны. Я знаю, что мне, наверное, должно быть стыдно. И мне стыдно. Я знаю, что ты симпатизировала и доверяла мне, потому что мы были друзьями. Наша дружба была такой чистой, и, конечно, теперь ты вправе презирать меня.

Она стояла у стены неподвижно.

— Когда ты вошла, я хотел выпроводить тебя. Но если бы ты ушла, я побежал бы следом за тобой. Я думал, что не скажу тебе ни слова, не подозревал, что признаюсь тебе в любви. Я знаю, что ты лучше бы отнеслась ко мне, если бы я сказал, что ненавижу тебя.

Кира по-прежнему молча стояла у стены. В ее расширившихся глазах была не жалость к нему, а мольба о сострадании.

— Ты напугана? Теперь ты понимаешь, почему я не мог смотреть тебе в глаза? Я знал, как ты относишься ко мне и что никогда не полюбишь. Я знал, что ты сказала бы, и даже представлял твой взгляд. Когда это началось? Не знаю. Зато знаю наверняка, что это должно кончиться, потому что это невыносимо для меня. Видеть тебя, улыбаться, говорить о будущем человечества и ждать, когда твоя рука коснется моей. Я думал о твоих ногах, бегущих по песку, о том, как играл свет на твоей шее, и о том, как твоя юбка развевалась на ветру. Рассуждать о смысле жизни — и лелеять надежду увидеть твою грудь в глубоком вырезе платья!..

— Андрей... не надо... — прошептала она.

Его слова были не признанием в любви, а скорее признанием в преступлении.

— Зачем я тебе все это говорю? Я и сам не знаю. Мне кажется, что это всего лишь сон. Я так долго носил эти слова в себе! Тебе не следовало приходить сюда. Я не друг тебе. Может, тебе это больно слышать, но мне все равно. Я... хочу тебя! Теперь все!

— Андрей. Я... не знала...

— Я не хотел, чтобы ты знала. Я хотел все прекратить и больше не видиться с тобой. Ты не знаешь, что со мной творилось. Однажды мы делали обыск. Мы арестовали одну женщину. Она каталась у меня в ногах, умоляя о пощаде. А я думал о тебе и представил, что это ты валяешься там, на полу, в ночной рубашке, крича о пощаде, как много месяцев кричал я. Я сознавал, что, будь это ты, я овладел бы тобой прямо там, на полу, если бы не остальные. Потом я застрелил бы тебя и застрелился сам, мне было бы на все наплевать — ведь это было бы уже потом. Я понял, что мог бы арестовать тебя однажды ночью, увезти куда-нибудь и там овладеть тобой. Я мог это сделать. Я засмеялся и пнул ту женщину ногой. Мои люди никогда не видели меня таким. Они увезли ее в тюрьму, а я, выдумав причину, пошел домой один, думая о тебе... Не бойся, я никогда такого не сделаю... Мне даже нечего тебе предложить. Я не могу посвятить тебе свою жизнь. Моя жизнь — это двадцать восемь лет того, к чему ты испытываешь презрение. А ты... ты воплощаешь все, что я должен бы ненавидеть, но я хочу тебя. Я отдал бы все, что имею и что когда-нибудь мог бы иметь, за то, что ты никогда не сможешь мне дать!

Он увидел ее широко открытые глаза.

— Что ты сказал, Андрей? — пролепетала она.

— Я сказал, что отдал бы все...

В ее глазах стоял ужас от той мысли, что так ясно промелькнула в ее голове секунду назад.

— Андрей... мне лучше уйти... я пойду...

Но он смотрел на нее не отводя глаз и, подойдя, вдруг мягко и тихо спросил:

— Ты могла бы мне это дать... Кира?

Кира думала в тот момент не о нем и не о Лео; она думала о Марии Петровне в предсмертной агонии. Она прижалась к стене, распластав руки по холодной штукатурке. Его голос, его надежда подталкивали ее. Она медленно поднялась на цыпочки и сказала ему в лицо:

— Да, могу! Я люблю тебя! — Она подумала, как странно это было — чувствовать чужие губы, не губы Лео. Она шептала: — Да... уже давно... но я не знала, что ты меня...

Она чувствовала его губы и его руки, она думала, какие они сильные, и о том, будет ли это для него радостью или пыткой. Кира надеялась, что это продлится недолго.

* * *

От уличного света на стене лежал белый квадрат с черным перекрестом. На их фоне Кира видела лицо Андрея на подушке. Его тело было неподвижным, лишь вздрагивала грудь от биения сердца.

Она сбросила одеяло и села, закрыв руками грудь и плечи.

— Андрей, я ухожу.

— Кира! Не сейчас, не этой ночью.

— Но мне нужно идти.

— Ты нужна мне здесь. До утра.

— Я должна идти. Там... моя семья. Андрей... мы должны держать все в строгой тайне.

— Кира, ты выйдешь за меня замуж?

Она не ответила. Почувствовав, что она дрожит, он укутал ее одеялом.

— Кира, почему ты боишься?

— Андрей... я... не могу.

— Но я люблю тебя.

— Андрей... ты — коммунист, а ты знаешь, какие взгляды у моей семьи. Ты должен понять. Они и так столько пережили, а если я выйду за тебя, это добьет их. Если мы скажем им... но... мы ведь можем и не говорить. Ведь для нас нет никакой разницы?

— Нет. Если ты так хочешь.

— Андрей!

— Да, Кира?

— Ты выполнишь все, что я скажу?

— Все.

— Я хочу лишь одного. Никто, никто не должен об этом знать, обещаю мне.

— Обещаю.

— Видишь ли, твоя партия, наверное, не одобрит такую... такую любовницу, как я... Так что лучше... Мы играем с огнем, понимаешь? А это опасно. Давай не будем разрушать свою жизнь.

— Разрушать свою жизнь? Кира! — Он счастливо рассмеялся, прижимая ее руки к губам.

— Об этом не должна знать ни одна живая душа, кроме нас с тобой.

— Никто не узнает, я обещаю, Кира.

— А сейчас я пойду.

— Нет, Кира, пожалуйста, не уходи. Ну, объясни своим как-нибудь, придумай причину, но останься со мной. Я не могу позволить тебе уйти. Пожалуйста, Кира. Позволь хотя бы посмотреть на тебя еще, Кира...

* * *

Кира дождалась, когда он уснул, и бесшумно выскользнула из кровати. Чувствуя под ногами холодный пол, она торопливо оделась. Он не дышал, как она открыла дверь и ушла.

По пустым длинным улицам свистел ветер. Небо казалось свинцово-серым. Она шла торопливыми шагами, словно чувствуя, что должна была от чего-то бежать.

Темные, пустые глазницы окон, словно стражи, смотрели на нее, выстроившись длинными рядами вдоль ее пути. Она пошла быстрее. Шаги ее раздавались слишком громко, их отзвуки напоминали чей-то крик. Ветер трепал юбку, задирая ее выше колен. Кира пошла еще быстрее. Она увидела плакат с изображением рабочего с красным флагом; рабочий смеялся.

Подобно вспыхнувшей молнии, она вдруг бросилась бежать мимо темных витрин и фонарных столбов; ее пальто развевалось на ветру, а ноги мелькали, словно спицы в колесе, сливаясь в едином круге, который нес ее вперед. Она то ли бежала, то ли летела, движимая какой-то посторонней силой, и ей казалось, что все хорошо и будет хорошо, если бежать все быстрее и быстрее.

Задышавшись, взлетела по лестнице и остановилась у двери. Она стояла, тяжело дыша, и смотрела на дверную ручку. Вдруг она почувствовала, что не может войти внутрь, в комнату Лео, не может лечь в его постель, рядом с ним. Она протянула руку к двери и лишь немного погладила ее, потому что теперь вход туда ей был закрыт.

Она уселась на ступеньках. Ей казалось, что она слышит, как где-то там, за дверью, тяжело дыша, спал Лео. Она еще долго так сидела.

Повернув голову, она увидела, что квадрат окна подъезда был уже ярко-голубым. Уже наступило утро. Она встала, вытащила из кармана ключ и открыла дверь. Лео спал. Она села на подоконник, сжавшись в комок. Он так и не узнает, во сколько она вернулась.

* * *

Лео уезжал на юг. Чемодан уже был собран, и билет лежал в кармане. Для него было зарезервировано место в частном санатории, которое было оплачено за месяц вперед.

Про деньги она объяснила:

— Видишь ли, когда я писала твоей тетке в Берлин, я заодно написала своему дяде в Будапешт; разве ты не знал, что у меня есть в Будапеште дядя? Или я никогда о нем не говорила... У нас была семейная ссора, и он уехал еще до революции. Отец запретил даже вспоминать о нем. Но он совсем неплохой и всегда любил меня. Так вот, я ему написала, и он прислал мне деньги, сказав, что могу обращаться к нему в любое время. Но, пожалуйста, никогда не говори о нем в присутствии моей семьи, потому что отец... ну, в общем, ты понимаешь...

Она вдруг подумала, как легко оказалось лгать.

Андрею она сказала, что ее семья голодает. Ей даже не пришлось просить: он отдал ей всю свою месячную зарплату и сказал, чтобы она тратила деньги не стесняясь. Она не сомневалась, что так и получится, хотя брать деньги оказалось нелегко. Но, неожиданно вспомнив товарища комиссара, который спрашивал, почему бы у нас в СССР не умереть одному аристократу, она широко и счастливо улынулась и взяла деньги.

Убедить Лео поехать на юг было непросто. Он сказал, что не может допустить, чтобы его содержала она — или ее дядя. Он говорил это с нежностью и яростью. Чтобы убедить его, понадобилось много долгих часов. «Послушай, Лео, ну какая разница, чьи это деньги — мои, твои, еще чьи-то? Ты хочешь жить. Я хочу, чтобы ты жил. Сейчас хотя бы это все еще возможно для нас. Разве ты недостаточно меня любишь, чтобы жить для меня? Я знаю, будет нелегко. Шесть месяцев. Вся зима. Я буду скучать по тебе, но мы преодолеем разлуку... Лео, я люблю тебя, люблю, люблю... У нас все еще впереди!»

Она добилась своего.

Его поезд отходил в восемь вечера, а в девять она должна была встретиться с Андреем; она попросила его повести ее на открытие нового кабаре.

Лео молчал, когда они выходили из дома. Он ни слова не прооронил по дороге на вокзал. Она вместе с ним вошла в вагон и увидела деревянную полку, на которой ему предстояло провести несколько ночей; она захватила из дома подушку и теплое одеяло. Затем они вышли на платформу. Говорить было не о чем.

Когда прозвенел первый звонок, Лео сказал:

— Пожалуйста, Кира, давай не будем делать глупостей, когда поезд тронется. Я не выгляну из окна, а ты не маши мне рукой, не беги за поездом, ну и все такое.

— Хорошо, Лео.

Кира посмотрела на афишу на чугунном столбе. На открытии нового кабаре, которое должно было начаться в 9 часов, обещали большой оркестр, фокстроты и удивительные закуски. Как-то растерянно и несколько испуганно она спросила:

— Лео... ведь в девять часов ты будешь уже далеко?..

— Да, далеко.

Вокзальный колокол ударил в третий раз.

Он крепко обнял ее и поцеловал. Его поцелуй был таким долгим, что Кира чуть было не задохнулась. Лишь только когда прозвучал паровозный гудок, он оторвался от ее губ и прошептал:

— Кира... единственная моя... Я люблю тебя... люблю так сильно...

Он прыгнул на подножку вагона, когда поезд уже тронулся, и тут же исчез внутри. Он не выглянул из окна.

Она стояла, вслушиваясь в скрип рельсов, перестук колес, в пыхтение паровоза где-то впереди, и смотрела, как клубы пара расползаются под железными сводами ангара. Мимо нее проносились вереница освещенных окон. Вокзал вонял карболкой. Окна проносились все быстрее и быстрее, сливаясь в одну желтую линию. Больше ничего не было видно, кроме пара, дыма да куска черного вечернего неба.

И тут она поняла, что этот поезд уносит от нее Лео. Ее охватило невыразимо страшное, жуткое чувство. Кира побежала вслед за поездом, ей хотелось остановить его. Она ухватила за медный поручень и почувствовала, что на нее неумолимо надвигается что-то огромное и грозное, что нужно остановить, но одной ей это было не под силу. Споткнувшись, она упала, и ее поволокло по деревянному настилу перрона, но тут ее подхватил какой-то красноармеец в буденновке и, толкнув локтем в грудь, отбросил от поезда.

— Собираешься, что делаешь? — прорычал он.

Часть вторая

ГЛАВА I

Раньше это был Санкт-Петербург; война сделала его Петроградом; революция сделала его Ленинградом.

Это город из камня. Жители города не воспринимают этот камень как завезенный откуда-то на их землю в виде отесанных глыб, которые затем положили одна на другую и таким образом возвели город. Нет, им представляется одна сплошная гигантская скала, из которой вырублено все — дома, улицы, мосты, — а земля, принесенная в пригорошнях, развезенная вокруг, втоптанная в камень, служит лишь напоминанием, что не из одного камня состоит земля.

На фоне сплошного гранита редкие деревья кажутся болезненными чужестранцами, жалкими и ненужными, а парки — неохотной уступкой камня живой природе. Весной сквозь гранитную облицовку набережных иногда пробивается одинокий одуванчик, и прохожие, умиляясь, снисходительно улыбаются его яркой желтой шапочке, словно напроказившему малышу. Весна в город приходит не из земли; первые фиалки, красные тюльпаны и белые гиацинты появляются здесь из рук цветочниц, торгующих ими на улицах.

Петроград не был рожден, он был создан. Человеческие руки и воля воздвигли его там, где люди не селились испокон веков. Честолюбивый царь указал, что здесь, на этом месте быть городу. Люди принесли землю, чтобы засыпать болота, в которых ни одной живой твари, кроме комаров, не водилось. И, словно комары, умирали люди и валялись в хлюпающее бездонное чрево болота. Никто по своей воле не шел строить новую столицу. Город поднимался трудом крепостных, тысяч солдат, целых полков, которые, беспрекословно подчиняясь приказу, не могли отказаться иступить в смертный бой — с болотом ли, с вражеской ли ратью. Они гибли без числа, и на их костях вырос город. Коренные его горожане так и говорят: «Петроград стоит на скелетах».

Петроград не тороплив, но и не ленив; он грациозен и размерен, как и приличествует размаху его огромных улиц. Этот город широко и привольно раскинулся среди болот и хвойных чащоб. Его площади напоминают вымощенные гранитом поля, а ширина его улиц не уступает притокам Невы, величайшей из рек, когда-либо пересекавших великие города.

На Невском, столице столичных улиц, дома выстроены поколениями, ушедшими для поколений грядущих. Массивные и монолитные, как крепости, они не потерпят никаких реконструкций; стены их толсты, а окна, подобно бойницам, рядами нависают над широкими, мощными красновато-коричневым гранитом тротуарами. От памятника Александру III — огромного серого всадника, восседающего на огромном коне, — тянутся серебряные рельсы, прямые как стрела, к далекому зданию Адмиралтейства, к его белой колоннаде и изящному золотому шпилю, взметнувшемуся над расколотым горизонтом словно корона, словно символ Невского, в чьих домах с причудливыми башенками, балконами и карнизами, нависшими над улицей, отразились вечные черты неподвижного каменного лица Петрограда.

На полпути вниз по проспекту поднимается высоко к облакам золотой крест на небольшом золоченом куполе Аничкова дворца, похожего на красный куб с прорезями незатейливых серых окон. А совсем рядом в небо взмывают запряженные в колесницу кони, чьи копыта вскинулись над величественными колоннами Александровского театра. Дворец походит на казарму, театр выглядит как дворец.

У подножия дворца Невский разрезан потоком мутной бурлящей воды, через который перекинут мост. Четыре черные статуи украшают этот мост. Может быть, они всего лишь случайные декорации, но, возможно, в них затаен истинный дух Петрограда, города, воздвигнутого человеком вопреки воле природы. Каждая статуя — это дуэт мужчины и лошади. В первой — ужасные копыта хрипящего животного зависли в воздухе, готовые раздавить стоящего на коленях обнаженного мужчину, протягивающего руки в попытке укротить чудовище. Во второй — мужчина уже стоит на одном колене, в апогее борьбы он из последних сил удерживает уздечку, его торс изогнулся назад, мышцы его ног, его рук, его тела готовы разорвать кожу в клочья. В третьей — они лицом к лицу, мужчина твердо стоит на ногах, его голова находится у самых ноздрей удивленного животного, впервые почувствовавшего хозяина. В четвертой — лошадь покорена, она ступает спокойно, ведомая рукой высокого стройного человека, который, гордясь своей победой, с высоко поднятой

головой, твердым взглядом и непоколебимой уверенностью идет прямо в неизвестное будущее.

Зимними ночами над Невским вспыхивают гирлянды больших белых шаров, и падающий снег сверкает в их свете подобно кристалликам соли. Вдали, барахтаясь в мягком мраке, мерцают разноцветные фонари трамвайных линий — красные, зеленые, желтые. Сквозь влажные от мороза ресницы свет белых шаров становится похожим на вереницу крестиков, чьи лучи пересекаются в черном небе.

Невский начинается от берега Невы, от пристани, которая кажется аккуратной и изысканной, как гостиная в аристократическом доме. Ее красный гранитный парапет, ряд дворцов с прямыми углами, высокими окнами и строгими колоннадами выглядит гармонично и одновременно роскошно, с каким-то строгим, мужским изяществом.

Разделенные рекой, стоят лицом к лицу Зимний дворец, самый величественный дворец Петрограда, и Петропавловская крепость, самая его величественная тюрьма. В Зимнем дворце жили монархи; после смерти они пересекали Неву — в собор Петропавловской крепости, где их закрывали белой плитой на царском кладбище. Тюрьма стоит позади собора. Стены крепости охраняли покой почивших царей и спокойствие империи от их еще живых врагов. В огромных бесконечных залах дворца в высоких зеркалах отражается крепостной вал, за которым живые люди на десятилетия были преданы забвению в одиноких каменных могилах.

Мосты изогнулись над рекой, словно длинные стальные горбы, где трамваи медленно подползают к середине и мягко скатываются, постукивая, к противоположному берегу. Правый берег, тот, что начинается сразу за крепостью, постепенно отвоевывает у города та самая природа, которую он когда-то вытеснил из своих границ; широкий бесконечный Каменноостровский проспект похож на реку, полную предчувствия моря; каждый шаг по нему — шаг навстречу природе. И проспект, и река, и сам город обрываются на островах, где Нева разбивается среди кусочков суши, держащихся друг за друга изящными мостами; где тяжелые белые глыбы льда громоздятся друг на друга, останавливаясь у темно-зеленой воды; где белые снега хранят тишину, и эта сплошная белизна нарушается лишь лапами елей да следами птичьих ног; где за последним островом небо и море сливаются в незаконченную серую акварель, на которой чуть проступает мутно-зеленоватая лента невидимого горизонта.

Но в Петрограде также есть и боковые улочки. Совсем неприметные, эти закоулки выстроены из камня, чей цвет смыли дожди, и теперь они такие же серые, как небо над головой и как грязь

под ногами; они незатейливы, как тюремные коридоры, и пересекаются под прямыми углами у квадратных зданий, похожих на тюрьмы. На ночь наглухо запираются чугунные ворота над раскисшими в слякоть тротуарами проходов.

Маленькие магазинчики с тусклыми витринами хмурятся блеклыми вывесками. Маленькие парки задыхаются чахлой травой, на которой слякоть и пыль и снова слякоть наслаиваются столетиями. Гранитные парапеты охраняют воду, изобилующую отбросами и насильно заключенную в каналы. На потемневших углах висят банки для сбора медаков для сиротских домов, а под ними приколочены заржавевшие иконки Богоматери.

А выше по Неве поднимаются чащобы краснокирпичных труб, выплывающих черные облака, которые долго висят над старыми, сутулыми деревянными домами, над набережной из гниющих бревен, над безразличной рекой. Дождь медленно пробивается сквозь копоть; дождь, дым и камень — лейтмотив этого города.

Жители Петрограда иногда задаются вопросом: какая же сила удерживает их в этом городе? Во время долгой зимы они проклинают грязь и камень и жаждают свежести хвойных лесов. Весной они бегут из города словно от ненавистной мачехи к зеленой траве, к песку, в блистающие столицы Европы. Но осенью, словно к непобедимому господину, возвращаются они в Петроград, изголодавшиеся по просторным улицам, по грохочущим трамваям и холодным бульжным мостовым, спокойные, отдохнувшие, словно жизнь начинается заново. «Петроград, — говорят горожане, — это единственный Город».

Города растут как леса, расползаются как сорняки. Но Петроград не рос. Он явился в окончательном совершенстве. Петроград не ведает природы. Это творение человеческих рук. Природе свойственно ошибаться и рисковать, она смешивает цвета и не имеет представления о прямых линиях. Петроград был создан человеком, который знал, чего хотел. Величие Петрограда осталось незапятнанным, а убожество — ничем не смягченным. Его линии, ровные и четкие, — свидетельство упорного стремления человека к совершенству.

Города растут вместе со своими жителями, борются за первенство среди других городов, медленно поднимаясь по лестнице времени. Петроград не поднимался. Он явился, чтобы стоять на высоте, чтобы повелевать. Еще не был заложен первый камень, а город уже стал столицей. Это монумент силе человеческого духа.

Люди мало знают о человеческом духе. Они — всего лишь родовое понятие, часть природы. Человек же — это слово, у которого нет множественного числа. Петроград был создан не людьми, но человеком. О нем не сложено ни легенд, ни сказок; он не воспевается

в фольклоре; он не прославляется в безымянных песнях на бесчисленных дорогах России. Этот город стоит особняком, надменный, пугающий, неприступный. Через его гранитные ворота не проходил ни один паломник. Эти ворота никогда не распахивались навстречу кротким, убогим и уродливым, как ворота гостеприимной Москвы. Петрограду не нужна душа, у него есть разум.

И может быть, это не просто совпадение, что в русском языке о Москве говорят «она», а о Петрограде — «он».

И может быть, это не просто совпадение, что те, кто от имени народа захватил власть, перенесли свою столицу из холодного и надменного города-аристократа в добрую и смиренную Москву.

В 1924 году, после смерти человека по имени Ленин, город приказано было назвать Ленинградом. Кроме того, революция налепила плакаты на городские стены и красные полотнища на его дома и разбросала шелуху семечек по его мостовым. На пьедестале памятника Александру III революция высекла пролетарские стихи и повесила красный флаг на жезл в руке Екатерины II. Она переименовала Невский проспект в проспект 25-го Октября, а Садовую — в улицу 3-го Июля — в честь событий, которые отныне нельзя было забывать. И теперь грубые кондукторши в переполненных трамваях кричали: «Угол 25-го Октября и 3-го Июля! Покупаем новые билеты, товарищи!»

В начале лета 1925 года Гостекстильтрест выпустил ткани новых расцветок. И улицы Петрограда заполнились улыбающимися женщинами, которые впервые за много лет надели платья из новой материи.

Однако выбор расцветок был небогат, и женщины в платьях в черно-белую клеточку встречали женщин в таких же платьях, женщины в платьях в красно-белый горошек сталкивались с подругами в платьях в бело-красный горошек. Вскоре все они становились похожи на воспитанников одного огромного детского дома — угрюмые, хмурые, потерявшие всю радость от ношения новой одежды.

В витринах сверкали заграничные искусственные украшения: бусы и блестящие круглые пластмассовые серьги — последний крик моды. Надежное прикрытие невообразимых цен защищало их от угрюмых женщин, стоящих за стеклами витрин.

В магазине возле Невского был выставлен бесценный фарфор: белый чайный сервиз, на котором рукой известного мастера были черным нарисованы причудливые изящные цветы. Сервиз стоял там уже много месяцев: никто не мог позволить себе купить его.

На Невском открыли новый «заграничный» книжный магазин. Огромная, в два этажа, витрина сплошь была заставлена сверкающими, разноцветными обложками немислимых книг «оттуда».

Над широкими сухими тротуарами Невского появились яркие навесы, и на солнце ослепительно засверкали начищенные барометры.

К стене одного из домов прислонилась огромная афиша с изображением напряженного лица, больших глаз и длинных рук знаменитого актера. Над изображением, выполненным широкими, смелыми мазками, стояло название немецкого фильма.

На прохожих отовсюду смотрели портреты Ленина в красных бантах и траурных лентах: недоверчивое лицо с бородкой и узкими восточными глазами.

На залитых солнцем улицах потрепанные мужики продавали сахарин и гипсовые бюстики Ленина. На телеграфных проводах расселись воробьи. У дверей кооперативов стояли длинные очереди, женщины снимали кофты и, оставаясь в мятых блузках с короткими рукавами, открывали свои дряблые белые руки первым жарким лучам летнего солнца.

На стене висел плакат с изображением исполина-рабочего, вскинувшего высоко к небу огромный молот, тень от которого мрачным крестом падала на город под его сапогами.

Кира Аргунова остановилась у плаката, чтобы закурить сигарету.

Из кармана старого пальто она достала бумажную пачку и, взяв двумя пальцами сигарету, не глядя, поднесла ее ко рту. Затем, открыв старую сумочку из кожзаменителя, она достала из нее дорогую заграничную зажигалку, на которой были выгравированы ее инициалы. Прикурив, она уголком рта пустила дымок и захлопнула сумочку. Резким движением засучив потрепанный рукав пальто, она посмотрела на маленькие часики на тонком золотом браслетике. Кира торопливо зашагала вперед, каблуки ее туфель громко зацокали по тротуару. Туфли ее были залатаны, ноги обтягивали блестящие заграничные шелковые чулки.

Она шла к старому особняку, над входом в который красовались звезда и надпись золотыми буквами: «Районный комитет Всесоюзной коммунистической партии».

Стеклянная дверь была безупречно начищена, но засов на воротах парка был сломан. Когда-то посыпанные шлаком и ухоженные дорожки заросли травой, а в неработающем фонтане вокруг замызанного мраморного купидона с зеленоватой полоской плесени на животе плавали окурки.

Кира торопливо шла по пустынным дорожкам через зеленый запущенный парк, где почти не был слышен грохот уличных трамваев. Голуби, напуганные звуком ее шагов, лениво перелетали с ветки на ветку; где-то над цветами клевера жужжал полосатый

шмель. Целый строй огромных раскидистых дубов защищал особняк от любопытных взглядов с улицы.

В глубине парка стоял небольшой двухэтажный флигель, соединенный с особняком короткой галереей. Окна первого этажа были разбиты, и на краю стекла сидел воробей. Резко поворачивая голову, он деловито осматривал заброшенные, пустые комнаты. На подоконнике второго этажа лежала стопка книг.

Тяжелая резная дверь была незаперта. Кира вошла и нетерпеливо начала подниматься по длинной лестнице. Лестница действительно была очень длинной. Она поднималась на второй этаж прямым бесконечным пролетом голых, кое-где потрескавшихся каменных ступеней. Лестницу когда-то сопровождала восхитительная балюстрада. Но она была выломана, и местами лишь зазубренные мраморные столбики торчали у основания ступеней. Вдоль стен с фресками, изображающими грациозных белых лебедей, голубое озеро, гирлянды роз, прокатывалось гулкое эхо. На стенах штукатурка местами облупилась, а фрески полиняли.

Кира постучала в дверь на самом верху лестницы.

Открыл ее Андрей Таганов и, удивленный, отступил назад. Его взгляд был таким, словно он видел какое-то чудо из другой жизни. Не шелохнувшись, он так и стоял перед ней. Под распахнутым воротником его рубашки виднелась загорелая шея.

— Кира!

Она засмеялась звонким, металлическим смехом:

— Ну, как поживаешь, Андрей?!

Его руки медленно и нежно обняли ее. Так нежно, что она даже не почувствовала их прикосновения, ощутив лишь силу и волю его рук; он страстно поцеловал ее, закрыв глаза, а она равнодушно смотрела в потолок.

— Кира, но я не ждал тебя раньше вечера.

— Знаю. Но ты же не выгонишь меня, правда?

Через маленький коридорчик Кира прошла в его комнату. С повелительной небрежностью она бросила сумку на стол, а шляпу на стул.

Только она знала, почему Андрею Таганову пришлось экономить прошлой зимой и перебраться из своей комнаты в этот флигель особняка, который был не нужен райкому и был бесплатно отдан Андрею.

Когда-то здесь было тайное любовное гнездышко какого-то князя. Много лет назад он ожидал здесь легких, крадущихся шагов и шуршания шелковых юбок по мраморной лестнице. Исчезла его роскошная мебель, но камин, стены и потолок сохранились.

Стены были покрыты белой парчой с искусной ручной вышивкой в виде серебряных листочков. Карниз был украшен цепью мраморных

купидонов, держащих рога изобилия, из которых сыпались белые мраморные цветы, мраморная Леда вольготно раскинулась в белокрылых объятиях. Из мягкой синевы неба, изображенного на потолке, среди светлых пушистых облачков белые голуби и голубки — свидетели долгих и роскошных ночных оргий — ныне созерцали железную кровать, поломанные стулья, длинный обшарпанный стол, на котором были свалены книжки в красных обложках. На стенах висели плакаты с изображением красноармейцев и кожаная куртка на гвозде.

Кира категорично сказала:

— Я не приду к тебе сегодня вечером.

— Почему? Кира? Ты не можешь?

— Не могу. Не делай только трагический вид. Вот, я тебе кое-что принесла. Это тебя развеселит.

И она вытащила из кармана маленькую игрушку — стеклянную трубку, заполненную красной жидкостью, в которой плавала черная фигурка.

— Что это?

Она зажала трубку в кулачке, но фигурка не двигалась.

— На, попробуй ты, я не умею.

Она сунула трубку в его руку и сжала его пальцы. Кира знала, что ее прикосновение было ему отнюдь не безразличным, хотя он не показал этого ни единым движением. Он сжал кулак, и жидкость в трубке вдруг заклокотала, и черная рогатая фигурка истерично запрыгала вверх-вниз по трубке.

— Вот, видишь? Называется «Американский резидент». Я купила ее на улице. Правда, забавная штучка?

— Да, очень... — сказал он, глядя на фигурку в трубочке. — Кира, почему ты не придешь сегодня?

— Понимаешь, дела. Ничего особенного, ты ведь не сердисься?

— Нет, если тебе так нужно. Ты побудешь со мной немного?

— Только недолго, — она сорвала с себя пальто и бросила его на кровать.

— О, Кира!

— Нравится? Сам виноват. Ты ведь хотел, чтобы у меня было новое платье.

Платье было красное, очень простое, очень короткое, отделанное черной лакированной кожей: пояс, четыре пуговицы, плоский круглый воротник и огромный бант. Она стояла, прислонившись к двери, слегка сутулясь. Она показала Андрею вдруг очень хрупкой и молодой, детское платье облегло ее тело, которое выглядело таким же беспомощным и невинным, как и тело ребенка. Ее спутанные волосы были откинута назад, юбка открывала стройные ноги,

крепко прижатые друг к другу, ее глаза были круглыми и искренними, но улыбка была насмешливой и самоуверенной, а губы широкими и влажными. Он стоял, глядя на нее, испугавшись женщины, которая казалась самой опасной и самой желанной из всех, кого он знал.

Она нетерпеливо дернула головой:

— Ну? Тебе оно не нравится?

— Кира, ты... платье... такое красивое. Я никогда не видел, чтобы женщина так одевалась.

— Ты что-то понимаешь в женских платьях?

— Я просмотрел целый журнал парижских мод вчера в Цензурном бюро.

— Ты смотрел журнал мод?

— Я думал о тебе. Я хотел знать, что нравится женщинам.

— И что же ты почерпнул из него?

— Я хотел бы, чтобы у тебя все это было. Забавные маленькие шляпки. И туфли, похожие на сандалии — состоящие из одних ремешков. И драгоценности. Бриллианты.

— Андрей! Ты ведь не сказал этого своим товарищам из Цензурного бюро, а?

Он засмеялся, пристально и недоверчиво глядя на нее:

— Нет, не сказал.

— Перестань смотреть на меня так. Что с тобой? Ты боишься подойти ближе?

Его пальцы дотронулись до ее красного платья. Потом его губы вдруг уткнулись в ее голый локоть.

Он сидел в глубокой нише окна, а она стояла рядом с ним, в тесном объятии его рук. Его лицо было лишено выражения, и лишь глаза беззвучно смеялись, беззвучно кричали то, чего он не мог ей сказать. Потом он заговорил, уткнувшись лицом в ее красное платье:

— Знаешь, я рад, что ты пришла сейчас, а не вечером. Ведь так много часов мне пришлось бы ждать... Я никогда не видел тебя такой... Я пытался читать и не мог... Это платье будет на тебе и в следующий раз? Этот кожаный бант ты сама придумала?.. Почему ты выглядишь такой... такой взрослой в этом детском платье?.. Мне нравится этот бант... Кира, знаешь, я ужасно скучал по тебе... Даже когда я работаю, я...

Ее глаза были нежными, молящими, слегка испуганными:

— Андрей, ты не должен думать обо мне, когда ты работаешь.

Он сказал медленно, без улыбки:

— Временами лишь мысли о тебе помогают мне в этой работе.

— Андрей, что с тобой?

Но он опять улыбнулся:

— Почему ты не хочешь, чтобы я о тебе думал? Помнишь, в прошлый раз, когда ты была здесь, ты сказала мне о той книге, которую читала и в которой был герой по имени Андрей, и ты сказала, что подумала обо мне? С тех пор я все время повторял себе это, и я купил эту книгу. Я знаю, что это не так уж много, Кира, но... ну... ты ведь не часто говоришь мне такие вещи.

Она откинулась назад, скрестив руки за головой, насмешливая и неотразимая:

— О, я думаю о тебе так редко, что даже забыла твою фамилию. Надеюсь, что встречу ее в какой-нибудь книге. Ведь я даже забыла этот шрам, вон там, над твоим глазом.

Ее палец пробежал вдоль его шрама, скользнул по лбу и разгладил его нахмуренные брови; она смеялась, игнорируя мольбу, которую видела в его глазах.

— Кира, это очень дорого будет стоить — установить телефон в твоём доме?

— Но они... мы... у нас нет электрической проводки в квартире. Это невозможно.

— Мне так часто хочется позвонить тебе. Временами бывает так тяжело ждать, просто ждать тебя.

— Разве я не прихожу так часто, как ты этого хочешь, Андрей?

— Не в этом дело. Иногда... видишь ли... я просто хочу взглянуть на тебя... в тот же день, когда ты уже побывала здесь... иногда даже через минуту, как только ты уйдешь. Когда ты уходишь, я понимаю, что не могу ни позвать, ни найти тебя, у меня нет права даже подойти к твоему дому, словно ты уехала из города. Иногда я смотрю на людей, что ходят по улицам, и я пугаюсь — того, что ты потерялась где-то среди них, а я не могу попасть к тебе, не могу крикнуть тебе поверь всех этих голов.

Она неумолимо сказала:

— Андрей, ты обещал никогда не приходить ко мне домой.

— Но ты позволила бы мне звонить тебе, если бы я выбил тебе телефон?

— Мои родители могут догадаться. И... ох, Андрей, мы должны быть осторожны. Мы должны быть такими осторожными — особенно теперь.

— Почему — особенно теперь?

— О, ну ладно, не более, чем обычно. Но ведь это не так трудно — соблюдать одно лишь условие, просто быть осторожными — ради меня?

— Конечно, нет, дорогая.

— Я буду приходить часто. Я никуда не денусь, даже когда ты устанешь от меня.

— Кира, зачем ты это говоришь?

— Ну, ты ведь устанешь от меня когда-нибудь, ведь так?

— Ты ведь так на самом деле не думаешь, Кира?

Она поспешила сказать: «Нет, конечно, нет... Ну конечно, я люблю тебя. Ты ведь знаешь это. Но я не хочу чувствовать... чувствовать, что ты привязан ко мне... что твоя жизнь...»

— Кира, почему ты не хочешь, чтобы я сказал, что моя жизнь...

— Вот почему я не хочу, чтобы ты говорил вообще.

Она нагнулась и закрыла его рот крепким и сильным поцелуем.

За окном какой-то член райкома медленно играл «Интернационал» одной рукой на звонком концертном рояле.

Губы Андрея голодно двигались по ее шее, рукам, по плечам. Он с трудом оторвался от нее. Он заставил себя легкомысленно, весело сказать, поднимаясь:

— У меня кое-что есть для тебя, Кира. Я готовил это для сегодняшнего вечера. Но теперь...

Он вынул крошечную коробочку из ящика стола и вложил ей в руку. Она стала беспомощно протестовать:

— Ой, Андрей, не надо. Я же просила тебя не делать этого больше. После всего, что ты сделал для меня и...

— Я ничего для тебя не сделал. Я думаю, что ты слишком уж бескорыстна. Вечно только о семье и думаешь. Мне пришлось биться за то, чтобы ты взяла это платье.

— И чулки, и зажигалку, и... Ой, Андрей, я так благодарна тебе, но...

— Ну, не бойся же, открой ее.

Это был маленький плоский флакончик настоящих французских духов. У нее перехватило дыхание. Она хотела возразить. Но она увидела его улыбку и смогла лишь счастливо засмеяться: «Ох, Андрей!»

Его руки медленно двигались в воздухе, не дотрагиваясь до нее, следуя очертаниям ее шеи, груди, ее тела. Рука двигалась осторожно и внимательно, словно создавая статую.

— Что ты делаешь, Андрей?

— Стараюсь запомнить.

— Что?

— Твое тело. То, как ты стоишь — именно сейчас. Иногда, когда я бываю один, я пытаюсь нарисовать тебя в воздухе — вот так, чтобы почувствовать, что ты стоишь рядом.

Она прижалась к нему еще сильнее. Ее глаза потемнели; ее улыбка стала медленной, застывшей. Она сказала, протягивая ему флакон духов:

— Ты сам должен открыть. Я хочу, чтобы ты сам уронил на меня первую каплю.

Она немного отодвинулась от него и спросила:

— Куда упадет первая капля?

Кончики его пальцев были влажными от духов и источали поразительный аромат другого мира, он робко прижал их к ее волосам.

Она дерзко засмеялась: «А куда еще?»

Кончики его пальцев дотронулись до ее губ.

— А куда еще?

Его руки прочертили мягкую линию по ее шее и резко остановились у воротничка из черной лакированной кожи.

Ее глаза притягивали к себе его взгляд, она рванула воротник, и застежки ее платья щелкнули, расстегиваясь.

— Куда еще?

Он шептал, погружив свои губы в ее грудь: «О, Кира, я хотел тебя — здесь — сегодня вечером...»

Она откинула голову, ее лицо было темным, вызывающим, безжалостным, а ее голос — низким: «Я здесь — сейчас».

— Но...

— Почему бы и нет?

— Если ты не...

— Я хочу. За этим я пришла.

И когда он попытался подняться, ее руки повелительно прижали его к себе. Она прошептала:

— Не раздевайся. У меня нет на это времени.

* * *

Он простил ей эти слова, потому что забыл их, когда увидел ее изнуренную, дышащую рывками. Ее глаза были закрыты, голова безвольно лежала на его руке. Он был благодарен ей за то удовольствие, которое он ей доставил.

Он мог простить ей все что угодно, когда она вдруг обернулась у двери. Из-под ее пальто виднелось смятое красное платье. Она прошептала, ее голос был утомленным, томным и нежным:

— Ты ведь не будешь слишком сильно скучать по мне до следующего раза, Андрей?.. Я... Тебе хорошо было, да?

* * *

Она быстро взбежала по ступенькам к своей квартире, к квартире, где жил когда-то адмирал Коваленский. Она открыла дверь, нетерпеливо глядя на свои наручные часы.

В бывшей гостиной Мариша Лаврова стояла перед примусом, одной рукой помешивая суп в котле, в другой руке она держала какую-то книгу, заучивая вслух: «Связь между общественными классами может быть изучена на примере распределения экономических средств производства в любом историческом...»

Кира остановилась рядом с ней.

— Ну, как продвигается марксистская теория, Мариша? — громко прервала она ее, снимая шляпу и встряхивая волосы. — У тебя есть папироска? Я выкурила последнюю по дороге домой.

Мариша кивнула подбородком на туалетный столик.

— В ящичке, — ответила она. — Прикури и мне, пожалуйста. Ну, как дела?

— Прекрасно. На улице прекрасная погода. Настоящее лето. Ты занята?

— Угу. Завтра буду читать лекцию в кружке — по историческому материализму.

Кира зажгла две сигареты и сунула одну из них в Маришин рот.

— Спасибо, — сказала Мариша, помешивая ложкой густую жидкость. — Исторический материализм и суп с лапшой. Это для гостя, — лукаво подмигнула она. — Ты вроде знаешь его. Зовут — Виктор Дунаев.

— Желаю вам счастья. Тебе и Виктору.

— Спасибо. А как у тебя дела? Какие-нибудь новости от твоего друга?

Кира нехотя ответила:

— Да. Я получила письмо... И телеграмму.

— Как он? Когда он возвращается?

Лицо Киры вдруг застыло в суровом, благоговейном спокойствии. Мариша, казалось, смотрела сейчас на ту самую аскетическую Киру, которой она была восемь месяцев назад. Она ответила:

— Сегодня вечером.

ГЛАВА II

Телеграмма лежала на столе перед Кирой. В ней было всего четыре слова:

«Приезжаю пятого июня. Лео».

Она много раз читала ее, но еще оставалось два часа до прибытия поезда из Крыма, и она все перечитывала ее. А сначала Кира положила ее на серое, выцветшее атласное одеяло постели и, присев на колени рядом с ней, стала аккуратно разглаживать каждую складочку этой бумажки. На ней было всего четыре слова: каждое из этих слов шло за два месяца; ей вдруг стало интересно — по сколько дней она заплатила за каждую букву; она и не пыталась думать о том, сколько это часов и какими были эти часы для нее.

Но она помнила, сколько раз она кричала себе: «Это не важно. Он вернется назад — живой». Все стало простым и легким: если человеку удастся свести жизнь лишь к одному желанию — жизнь становится холодной, ясной и терпимой. Возможно, другие и знали, что есть какие-то люди, улицы и чувства; она не знала этого; она помнила и видела лишь одно — он вернется живым. Это было и наркотиком, и дезинфицирующим средством; оно выжгло все внутри и сделало ее ледяной, прозрачной, улыбающейся.

Вот она, ее комната — которая вдруг стала такой пустой, что ее поражало, как эти четыре стены могли держать в себе такую чудовищную пустоту. Бывало, что она просыпалась по утрам, и новый день казался ей таким же тусклым и безнадежным, как и серый квадрат из снежных облаков в оконном проеме. Ей стоило немислимых усилий подняться; это были дни, когда каждый шаг по комнате давался с колоссальным усилием воли, когда все предметы вокруг нее — примус, сервант, стол — превращались во врагов, которые кричали ей о том, что когда-то принадлежало не только ей, но и им тоже и что они потеряли.

Но Лео был в Крыму, где каждая минута была солнечным лучом, а каждый луч солнца — новой капелькой жизни.

Бывали дни, когда она убегала из своей комнаты к людям и голосам, но убегала и от людей, потому что вдруг ощущала себя еще более одинокой.

Она бродила по улицам, засунув руки в карманы, сторбив плечи. Она смотрела на извозчиков, на воробьев, на снег, который лежал вокруг горящих фонарей, и умоляла их о чем-то таком, что она не смогла бы назвать. Затем она возвращалась домой, зажигала буржуйку и ела недоваренный ужин на голом столе, потерянная в этой тусклой комнате, раздавленная треском горящих поленьев, а на полке тикали часы, и за окном хрустел снег под ногами людей.

Но Лео пил молоко и ел фрукты, которые таяли во рту свежим, искристым соком.

Бывали ночи, когда она забиралась с головой под одеяло, уткнувшись лицом в подушку, словно пытаясь спрятаться от своего собственного тела, тела, горящего от прикосновений чужого человека, — в кровати, которая принадлежала Лео.

Но Лео лежал на пляже под солнцем, и его тело покрывалось загаром.

Бывали моменты, когда она с внезапным удивлением видела — словно раньше не понимала всего этого, — что она делает со своим телом; тогда она закрывала глаза, так как за этой мыслью следовала другая, еще более страшная, запретная: что она делает с душой другого человека.

Но Лео прибавил в весе пять фунтов, и врачи были довольны.

Бывали моменты, когда ей казалось, что она на самом деле видит, как рот его растягивается в улыбке, видела ловкое, повелительное движение длинной, тонкой руки. Она видела это в мгновения более краткие, чем молния, и затем каждый ее мускул кричал от боли так громко, что ей казалось, что не одна она слышит это.

Но Лео писал ей.

Она читала его письма, стараясь вспомнить интонацию голоса, которым он произносил бы каждое слово. Она раскладывала вокруг себя все эти письма и сидела с ними в комнате, словно с живым человеком.

Он возвращался назад, вылечившимся, сильным, спасенным. Она жила восемь месяцев ради этой телеграммы. Она никогда не заглядывала дальше. Дальше этой телеграммы не было будущего.

* * *

Поезд из Крыма опаздывал.

Кира стояла на платформе неподвижно, глядя на пустые рельсы — две стальных полосы, которые превращались в медь где-то далеко

вперед, в чистом, летнем закате. Она боялась взглянуть на часы и узнать то, чего она и страшилась больше всего: что поезд безнадёжно, на неопределенное время, опаздывает. Платформа дрожала под скрипящими колесами тяжелого товарного состава. Где-то в длинном стальном туннеле чей-то голос скорбно выкрикивал через ровные отрезки времени одни и те же слова, которые сливались и одно, словно птица выкрикивала в сумерках: «Гришка, толкай ее...» Чьи-то ботинки лениво, бесцельно прошаркали позади нее. На другой стороне женщина сидела на каком-то тюке, склонив голову. Стеклопанели ангара над головой Кире становились какими-то уныло-оранжевыми. Тот же голос заунывно выкрикивал: «Гришка, толкай ее...»

Когда Кира пришла в контору начальника вокзала, его помощник резко ответил, что поезд сильно опаздывает, что это неизбежная задержка, недоразумение на каком-то узловом пункте; и поезд никак не придет раньше завтрашнего утра.

Она еще немного постояла на платформе бесцельно, не желая уйти с того места, где она так живо почувствовала присутствие Лео. Потом она медленно пошла прочь, спустилась по лестнице; ее руки совсем обессили, ноги неуверенно задерживались на каждой ступеньке.

Далеко внизу, в конце улицы, небо разлилось плоской полосой яркого, чистого, неподвижного желтого цвета, как пролитый желток яйца, и улица казалась коричневой и широкой в теплых сумерках. Она медленно пошла прочь.

Она увидела знакомый угол, прошла мимо, затем вернулась и пошла в другом направлении, к дому Дунаевых. Этот вечер нужно было чем-то заполнить.

Дверь открыла Ирина. Ее волосы были растрепаны, но на ней было новое платье из батиста в белую и черную полоску, и ее усталое лицо было аккуратно напудрено.

— Кира! Вот это да! Какой сюрприз! Входи. Снимай пальто. Я тебе что-то — кого-то сейчас покажу. А как тебе нравится мое новое платье?

Кира вдруг засмеялась. Она сняла пальто: на ней было точно такое же платье из черно-белого батиста.

Ирина глотнула воздух:

— О... О, черт! Когда это ты купила?

— С неделю назад.

— Я-то думала, что если куплю платье с такими простыми полосами, то не так уж много народа будет ходить в таких же, но в первый же раз, как я его надела, я встретила трех дам в таких же платьях,

и все это за какие-нибудь пятнадцать минут... Да ладно, что толку теперь говорить?.. Ой, да заходи же!

В столовой окна были открыты, комната казалась просторной и свежей из-за мягкого гула, доносящегося с улицы. Василий Иванович поспешно встал, улыбаясь, роняя инструменты и кусок дерева на стол. Виктор поднялся, полный достоинства, и поклонился ей. Высокий, светловолосый крепкий молодой человек вскочил на ноги и встал неподвижно, в то время как Ирина объявила:

— Двое маленьких близнецов из советского исправительного заведения!.. Кира, позволь представить Сашу Чернова. Саша, это моя двоюродная сестра, Кира Аргунова.

Рука Саша была большой и твердой, а его рукопожатие слишком сильным. Он застенчиво улыбнулся робкой, искренней, обезоруживающей улыбкой.

— Саша, это действительно редкий случай, — сказала Ирина. — Редкая гостья. Петроградская отшельница.

— Ленинградская, — поправил Виктор.

— Петроградская, — повторила Ирина. — Как поживаешь, Кира? И говорить не хочу, как я всегда рада тебя видеть!

— Ужасно рад познакомиться с вами, — пробормотал Саша. — Я так много слышал о вас.

— Нет никаких сомнений, — сказал Виктор, — в том, что Кира — самый популярный человек в городе — и даже в партийных кругах.

Кира резко взглянула на него, но он приятно улыбался:

— Очаровательные женщины всегда были соблазнительной темой для восхищенного шепота. Как мадам Помпадур, например. Очарование опровергает марксистскую теорию: оно не знает классовых различий.

— Замолчи, — сказала Ирина. — Я не знаю, о чем ты говоришь, но уверена, что о чем-то низком.

— Вообще нет, — сказала Кира спокойно, глядя Виктору в глаза. — Виктор очень льстит мне, хотя и преувеличивает.

Саша неуклюже подвинул стул для Кире и молча предложил ей сесть, махнув рукой и беспомощно улыбнувшись.

— Саша изучает историю, — сказала Ирина, — вернее, изучал. Его вышвырнули из университета за то, что он пытался мыслить в стране свободной мысли.

— Я хочу, чтобы ты поняла, Ирина, — сказал Виктор, — что я не потерплю таких замечаний в моем присутствии. Я хочу, чтобы партию уважали.

— Ой, да брось ты играть, как на сцене! — резко сказала Ирина. — В парткоме тебя не услышат!

Кира заметила долгий молчаливый взгляд Саши, брошенный на Виктора. В стальных голубых глазах Саши не было ни робости, ни дружелюбия.

— Очень жаль, что так получилось с вашей учебой, Саша, — сказала Кира, почувствовав вдруг, что он ей нравится.

— Я не придаю этому большого значения, — медленно произнес Саша размеренным, убежденным тоном. — Это действительно было не существенно. Есть некоторые поверхностные обстоятельства, которые диктатура может контролировать. Но есть некоторые ценности, которые она не сможет ни постигнуть, ни покорить.

— Ты откроешь, Кира, — холодно улыбнулся Виктор, — что у тебя и Саши есть много общего. Вы оба склонны презирать элементарную осторожность.

— Виктор, пожалуйста... — начал Василий Иванович.

— Отец, я имею право полагать, пока я кормлю эту семью, что мои взгляды...

— Кого это ты кормишь? — спросил тоненький голосок из соседней комнаты. Ася появилась на пороге, ее чулки обвисли на худых лодыжках, в одной руке она держала лоскутки разрезанного журнала, а в другой — ножницы. — Хорошо бы, если бы действительно кормил. Я все время голодна, а Ирина никогда не дает мне добавки супа.

— Отец, надо что-то делать с этим ребенком, — сказал Виктор. — Она растет лодырем. Если бы она вступила в детскую организацию, например в пионеры...

— Виктор, давай не будем снова обсуждать это, — спокойно, но твердо прервал его Василий Иванович.

— Вот еще, не хочу я быть никакой вонючей пионеркой, — сказала Ася.

— Ася, вернись в свою комнату, — приказала ей Ирина, — или я уложу тебя спать.

— Кого на помощь звать будешь? — заявила Ася, исчезая за дверью.

— На самом деле, — сказал Виктор, — если я могу учиться так, как я учусь, и к тому же работать и снабжать деньгами всю родню, то не понимаю, почему Ирина не может сладить с одним-единственным ребенком?

Никто не ответил.

Василий Иванович склонился над куском дерева, который он до этого резал. Ирина рисовала ручкой ложки на старой скатерти. Виктор поднялся:

— Извини, Кира, что покидаю такую редкую гостью, но я должен идти. Меня пригласили на ужин.

— Конечно, — сказала Ирина. — И позаботься, чтобы та, которая тебя пригласила на ужин, не позаимствовала столовое серебро из комнаты Киры.

Виктор ушел. Кира заметила, что инструменты дрожат в морщинистых пальцах Василия Ивановича.

— Что это вы делаете, дядя Василий?

— Раму, — Василий Иванович поднял голову, гордо показывая свое изделие, — для одной из картин Ирины. Это хорошие картины. Стыдно, что они портятся и пылятся в ящике стола.

— Эта рамка прекрасна, дядя Василий. Я не знала, что вы можете делать такие вещи.

— О, я когда-то здорово мастерил такие штуки. Я уже много лет не занимался этим. Но я был мастером в... в те былые дни, когда я был молод, в Сибири.

— Как ваша работа, дядя Василий?

— Он не работает больше, — сказала Ирина. — Как ты думаешь, сколько можно проработать в частном магазине?

— Что случилось?

— Ты разве не слышала? Магазин закрыли из-за просроченных платежей налогов. И сам хозяин пострадал даже больше, чем мы... Хочешь чаю, Кира? Я приготовлю. Жильцы украли наш примус, но Саша поможет мне разжечь самовар на кухне. Пойдем! — бросила она ему повелительно, и Саша послушно поднялся.

— Я не знаю, зачем я прошу его помочь мне, — сказала она Кире, — он — самое беспомощное, бестолковое и неуклюжее существо на свете. — Но ее глаза счастливо мерцали. Ирина взяла его за руку и вывела из комнаты.

На улице темнело, и окно стало ярко-синим. Василий Иванович не зажигал лампы. Он лишь ниже нагнулся над резьбой.

— Саша — милый мальчик, — вдруг сказал он, — и я беспокоюсь.

— Почему? — спросила Кира.

Он прошептал:

— Политика... Тайные общества. Бедный, обреченный дурачок.

— А Виктор подозревает?

— Думаю, да.

Ирина включила свет, возвращаясь с блестящим подносом с чашками, а за ней шел Саша с дымящимся самоваром.

— Вот и чай. И печенье. Сама пекла. Посмотрим, Кира, как тебе понравится стряпня художницы.

— А как твоё искусство, Ирина?

— Работа, ты хочешь сказать? О, я все еще работаю. Но, боюсь, я не очень хорошо рисую плакаты. Меня дважды высмеивали

в стенгазете. Заявили, что мои крестьянки выглядят как танцовщицы кабаре, а мои рабочие слишком изящны. Это все моя буржуазная идеология, знаешь ли. Так чего им надо от меня? Это ведь не моя специальность. Иногда хочется кричать, уж нет сил придумывать эти новые и новые проклятые плакаты.

— А теперь у них еще это соревнование, — скорбно сказал Василий Иванович.

— Какое соревнование?

Ирина пролила чай на скатерть стола.

— Межклубные соревнования. Кто сделает самый лучший и самый красный плакат. Приходится работать на два часа больше каждый день — бесплатно — ради славы клуба.

— При советской власти, — протянул Саша, — нет эксплуатации.

— Я думала, — сказала Ирина, — что у меня была неплохая идея: настоящая пролетарская свадьба рабочего и крестьянки — на тракторе, черт бы их побрал! Но, оказывается, что Клуб красных типографов выпускает уже символический плакат: союз аэроплана и трактора — в общем, союз электрификации и пролетарского государственного строительства.

— А зарплата... — вздохнул Василий Иванович. — Она потратила всю зарплату прошлого месяца на туфли для Аси.

— Ну, — сказала Ирина, — не босиком же ей ходить.

— Ирина, вы слишком много работаете, — сказал Саша, — и воспринимаете эту работу слишком серьезно. Зачем тратить нервы? Все это — временно.

— Да, да, — сказал Василий Иванович.

— Надеюсь, что так, — сказала Кира.

— Саша — мой спаситель, — усталый рот Ирины улыбнулся и нежно, и саркастически одновременно, словно пытаясь компенсировать невольную нежность в голосе. — Он сводил меня в театр на прошлой неделе. А две недели назад мы ходили в Музей Александра III и проболтались там несколько часов, разглядывая картины.

— Лео приезжает завтра, — сказала вдруг Кира не к месту, словно больше не могла держать это в себе.

— О! — Ирина выронила ложку. — Ты нам не говорила этого. Я так рада! А он теперь в порядке?

— Да. Он должен был приехать сегодня вечером, но поезд опаздывает.

— Как поживает его тетя в Берлине? — спросил Василий Иванович. — Все еще помогает вам? Вот пример семейной привязанности. Я ужасно восхищен этой дамой, хотя я никогда и не видел ее. Любой, кто сейчас далеко отсюда, свободен и невредим и все же понимает

нас, нас, которые погребены заживо на этом советском кладбище, должно быть, прекрасный человек. Она спасла жизнь Лео.

— Дядя Василий, — сказала Кира, — когда встретите Лео, пожалуйста, не упоминайте об этом, ладно? Я имею в виду помощь его тети. Вы ведь помните, я говорила вам, как он чувствителен, когда бывает должен кому-то, так что давайте не будем напоминать ему об этом, ладно?

— Конечно, я понимаю, детка. Не беспокойся... Да... это Европа. Заграница. Живя по-человечески, можно быть человеком. Я думаю, что нам сейчас трудно понять доброту и то, что раньше называли этикой. Мы все превращаемся в зверей в этой зверской борьбе. Но мы будем спасены. Мы будем спасены до того, как станем зверьми.

— Ждать уже недолго, — сказал Саша.

Кира заметила испуганное, молящее выражение Ирининых глаз.

Было уже поздно, когда Кира и Саша собрались уходить. Он жил далеко отсюда, в другом конце города, но предложил проводить ее до дома, так как на улицах было темно. На нем было старое пальто, и он шел немного сутулясь. Они быстро шагали в мягких, прозрачных сумерках по городу, полному аромата теплой земли, которая дышала где-то глубоко под тротуаром и бульжной мостовой.

— Ирина несчастлива, — сказал он вдруг.

— Да, — сказала Кира, — она несчастна. Все несчастны.

— Мы живем в трудное время. Но все переменится. Уже меняется. Все еще есть люди, для которых свобода значит больше, чем просто слово на плакате.

— Вы думаете, у них есть шанс, Саша?

Его голос был низким, напряженным от страстной убежденности, в нем говорила спокойная сила, и она удивилась: как это она подумала, что он робкий.

— Вы думаете, русский рабочий — животное, которое облизывает свое ярмо, в то время как из него выбивают мозги? Вы думаете, они обмануты этим звоном, который развела эта кучка тиранов? Вы знаете, что они читают? Вы знаете, что за книги прячут на фабриках? Знаете ли вы о бумагах, которые переходят из рук в руки? Вы знаете о том, что народ просыпается и?..

— Саша, — прервала она его, — ведь вы играете в очень опасную игру.

Он не ответил. Он смотрел на старые крыши города, над которыми висело молочно-синее небо.

— Народ, — сказала она, — принес уже слишком много жертв, таких, как вы.

— Россия имеет длинную революционную историю, — сказал он. — Они знают это. Они даже учат этому в своих школах, но они

думают, что история эта окончена. Это не так. Она только начинается. И в ней всегда хватало людей, которые не думали об опасности. Во времена царя — или в любое другое время.

Она остановилась, посмотрела на него в темноте и сказала с отчаянием, забывая о том, что познакомилась с ним лишь несколько часов назад:

— Ох, Саша, а стоит ли рисковать?

Он возвышался над ней, пряди светлых волос выбивались из-под шапки. Его рот улыбался над поднятым воротником пальто.

— Не волнуйтесь, Кира. И Ирина не должна волноваться. Я — вне опасности. Они меня не получат. Не успеют.

* * *

Утром Кира должна была идти на работу.

Она настояла на том, что будет работать; Андрей нашел ей место — лектором и экскурсионным гидом в Музее революции. Работа состояла в том, чтобы сидеть дома и ждать звонка из экскурсионного центра. Когда ей звонили, она спешила в музей и вела группу удивленных людей по залам того, что когда-то было Зимним дворцом. Она получала по несколько рублей за каждую экскурсию, но она была внесена в список управдома как советский служащий, что спасло ее от непомерной платы за квартиру и от подозрений в том, что она буржуйка.

Утром она позвонила на Николаевский вокзал; поезд из Крыма ожидался только к полудню. Потом ей позвонили из экскурсионного центра; ей нужно было ехать.

В залах Зимнего дворца висели выцветшие фотографии революционных вождей, пожелтевшие прокламации, карты, графики, макеты царских тюрем; было там и ржавое оружие, и осколки бомб. Тридцать рабочих ожидали в вестибюле дворца «товарища гида». Они находились в отпуске, но их местный культпросвет организовал для них экскурсию, и они не могли отказаться от этого предложения. Они уважительно сняли кепки и зашаркали робко и послушно вслед за Кирой. Они слушали внимательно, вытягивая вперед головы.

— ...А эта фотография, товарищи, была сделана как раз перед его казнью. Он был повешен за убийство тирана, одного из приспешников царя. Таков был конец еще одной славной жертвы на пути рабочекрестянской революции.

— ...А эта диаграмма, товарищи, дает нам наглядную иллюстрацию динамики стачечного движения в царской России. Вы заметили, что красная линия резко падает после 1905 года...

Кира вела свою экскурсию по памяти — гладко, механически; она не различала слов; это было не чем иным, как последовательностью заученных звуков, один звук следовал за другим автоматически, помимо ее воли. Она не знала, что собирается сказать; она знала, что ее рука поднимется после нужного слова и укажет на нужную картинку; она знала, на каком слове серое, безликое стадо, из которого состояла ее аудитория, засмеется, а на каком слове зарычит и задохнется от классового негодования. Она знала, что ее слушатели хотят, чтобы она говорила побыстрее, а экскурсионный центр хочет, чтобы экскурсия была длинной и подробной.

— ...А это, товарищи, — та самая карета, в которой Александр II ехал в тот день, когда его убили. Эта изрешеченная осколками задняя часть кареты была вырвана взрывом бомбы, которую бросил...

Но она думала о крымском поезде; возможно, он уже прибыл; возможно, одинокая комната, та, которую она ненавидит, уже стала храмом.

— Товарищ гид, скажите, правда ли, что Александру II платил международный империализм?

* * *

Комната была пустой, когда она пришла домой.

— Нет, — сказала Мариша, — он не приезжал.

— Нет, — сказал грубый голос по телефону, — поезд еще не пришел. Это снова вы, гражданка? Что с вами такое? Поезда ходят не ради вашего личного удобства. Он прибудет не раньше вечера.

Она сняла пальто. Она подняла руку и посмотрела на наручные часы; ее рука замерла в воздухе; она вспомнила, чей это подарок; она сняла часы и кинула их в ящик стола.

Она свернулась в кресле у окна и попыталась почитать газету; газета выскользнула из рук; Кира сидела неподвижно, положив голову на плечо.

Прошел час, и она услышала за дверью шаги, дверь открылась без стука. Сначала она увидела запыленный чемодан. Потом она увидела улыбку, губы вокруг белых зубов загорелого лица. Она стояла, держа руку у рта, и не могла шевельнуться.

Он сказал:

— Алло, Кира.

Она не поцеловала его. Ее руки упали на его плечи и двинулись вниз, по его рукам; весь ее вес переместился в ее пальцы, так как она вдруг стала склоняться вниз, и ее лицо медленно сползало

по его груди, по материи его пальто; и, когда он попытался поднять ее голову, она прижалась губами к его руке и не отпустила ее; ее плечи вздрагивали; она рыдала.

— Кира, маленькая глупышка!

Он тихо смеялся; его дрожащие пальцы гладили ее волосы. Он поднял ее на руки, отнес в кресло и сел в него, держа ее на руках и придвигая ее губы к своим губам.

— И это — сильная Кира, которая никогда не плачет. Тебе не надо бы так радоваться при виде меня, Кира... Перестань, Кира... Маленькая дуручка... Моя любимая, любимая...

Она попыталась встать:

— Лео... тебе надо снять пальто и...

— Сиди спокойно.

Он держал ее, и она откинулась назад и почувствовала вдруг, что у нее нет сил поднять руки, что нет сил даже двинуться. И эта Кира, которая презирала женственность, улынулась нежно, доверчиво, ее улыбка была даже слабее женской, это была улыбка потерянного, заблудившегося ребенка; ее ресницы набухли и блестели от слез.

Он смотрел на нее, его глаза были полузакрыты, и в его взгляде было столько иронии и понимания собственной власти над ней, что она почувствовала себя несколько оскорбленной; этот взгляд возбуждал больше, чем ласки любовника.

Потом он отвернулся и спросил:

— Тебе было очень трудно этой зимой?

— Немножко. Но не нужно говорить об этом. Это в прошлом. Ты больше не кашляешь, Лео?

— Нет.

— А ты хорошо себя чувствуешь? Ты совсем, совсем, полностью здоров? Можешь жить снова?

— Я здоров — да. Но, что касается того, чтобы жить снова...

Он пожал плечами. Его лицо было загорелым, его руки были сильными, а щеки больше не были впалыми; но она заметила в его глазах что-то неизлеченное; что-то такое, что, возможно, уже было не вылечить.

— Лео, разве худшее не позади? Разве мы не можем начать теперь...

— С чего начать? Я ничего не привез тебе назад — кроме здорового тела.

— Чего же мне еще желать?

— Больше нечего — от альфонса.

— Лео!

— А разве я им не являюсь?

— Лео, ты не любишь меня?

— Я люблю тебя. Я люблю тебя слишком сильно. А жаль. Все было бы проще, если я не любил бы. Но любить женщину и видеть, как она протаскивает себя через этот ад, который они называют жизнью, не помогать ей, а позволять, чтобы она тащила еще и тебя, вместе... Ты что, думала, что я буду славословить это здоровье, которое ты мне дала? Я ненавижу его, потому что *ты* вернула его мне. И потому что я люблю тебя.

Она мягко засмеялась:

— Так ты что же, предпочел бы ненавидеть меня?

— Да. Лучше ненавидеть. Ты — то, что я потерял уже давно. Но я так сильно люблю тебя, что пытаюсь держаться за тот образ, в каком ты меня видишь, каким я был когда-то. Но долго продержаться я не смогу. Больше, Кира, я ничего тебе предложить не могу.

Она спокойно посмотрела на него, ее глаза высохли, а ее улыбка была уже не детской, но даже более сильной, чем женская. Она сказала:

— Есть лишь одно, что для нас важно и что мы будем помнить. Остальное не важно. Мне наплевать на то, какой должна быть жизнь, и на то, что она с нами делает. Она не ломает нас, ни тебя, ни меня. Это наше единственное оружие. Это единственное знамя, которое мы можем держать перед теми, кто окружает нас. Это все, что мы должны знать о будущем.

Он сказал, нежно и серьезно, как никогда:

— Кира, я хотел бы, чтобы ты была не такой, какая ты есть.

Потом она уткнулась своим лицом в его плечо и прошептала:

— И мы больше никогда не будем говорить об этом. А теперь нам вообще не нужно говорить, ведь так? Мне нужно встать и припудрить нос, а тебе — снять пальто и принять ванну, и я приготовлю тебе обед... Но сначала позволь мне посидеть с тобой, несколько секунд, просто посидеть... не двигайся... Лео.

Ее голова медленно заскользила по его груди, к коленям, к ногам.

ГЛАВА III

Три дня спустя зазвонил дверной звонок, и Кира пошла открывать дверь.

Она приоткрыла ее на длину цепочки и увидела, что за порогом стоит полная женщина в очень дорогом пальто. Ее лицо с массивным подбородком заученным жестом было вздернуто вверх, открывая статную белую шею. Полные губы, тронутые ярчайшей фуксиновой помадой, были приоткрыты, обнажая белые крепкие зубы. Поглаживая рукой широкий зеленый шелковый шарф, она пропела изящным, тщательно подобранным голосом:

— Здесь живет Лео Коваленский?

— Да... — ответила Кира, недоверчиво уставившись на бриллианты, сверкающие на толстых белых пальцах женщины. Кира по-прежнему держала дверь на цепочке. Тонем вежливой настойчивости женщина произнесла:

— Я хочу его видеть.

Кира впустила ее. Женщина, прищурив глаза, вопросительно и с любопытством осмотрела ее.

Лео с удивленным видом поднялся с дивана. А женщина, театрально вытянув руки ему навстречу, воскликнула:

— Лео, как я рада вас видеть! Я же обещала вас найти, помните? Я решительно настроена стать вам обузой!

В ответ на ее смешок Лео даже не улыбнулся. Изыщно поклонившись, он сказал:

— Кира, это Антонина Павловна Платошкина. А это Кира Александровна Аргунова.

— О! Аргунова?.. — произнесла Антонина Павловна, словно отмечая для себя факт, что Кира не носит фамилию Лео. Она протянула руку, согнутую в запястье, словно приготовленную для поцелуя.

— Антонина Павловна и я были соседями в санатории, — объяснил Лео.

— И он был совершенно неблагодарным соседом, должна я вам пожаловаться, — грубовато рассмеялась Антонина Павловна. — Он так и не подождал меня, а я так хотела, чтобы мы поехали на одном поезде. И к тому же, Лео, вы не сообщили номер своей квартиры, и я битый час добивалась его у управдома. Управдомы — неизбежное зло наших дней, и мы, интеллигенция, должны относиться к ним с чувством юмора.

Сняв пальто, она осталась в дорогом шелковом платье, сшитом по последней моде, и в пластмассовых заграничных сережках. Ее волосы были тщательно зачесаны назад, лишь два завитка спускались на пухлые напудренные щеки. Волосы были невероятно рыжими и при каждом движении колыхались, словно маятник. Платье тесно облегалo фигуру, толстые бедра и тяжелые ноги. Под платьем виднелись невероятно тонкие лодыжки и крошечные ступни, которые казались раздавленными непомерной тяжестью. Она села, и живот тут же вывалился ей на колени.

— Когда вы вернулись, Тоня? — спросил Лео.

— Вчера. Ужасная поездка! Эти советские поезда! Я думала, что растеряю все, чего достигла в санатории. Я лечила нервы, — пояснила она, взглянув на Киру. — У всех восприимчивых людей в наши дни обязательно расшатанные нервы. Но Крым! Он спас мне жизнь.

— Да, там было прекрасно, — согласился Лео. — Очаровательно.

— Но когда вы уехали, Лео, Крым потерял все свое очарование. Знаете, Лео был самым очаровательным пациентом в санатории, и все были в него влюблены. Платонически, конечно, можете не беспокоиться, — подмигнула она Кире.

— Я и не беспокоюсь, — ответила та.

— Лео любезно давал мне уроки французского. Наткнуться на такого человека, как Лео, такое облегчение в наши мрачные дни. Простите меня, Лео. Я понимаю, что я непрошенный гость, но это было бы выше моих сил — потерять дружбу такого человека, особенно в этом мерзком городе, где так мало настоящих людей!

— Отчего же, Тоня, я действительно рад, что вы разыскали меня.

— О, эти люди! Среди них так много знакомых, которые разговаривают, пожимают тебе руку... Но что они значат? Ничего. Пустое место. Да кто из них понимает глубокое значение духа или настоящей смысл нашей жизни?

Лео улыбнулся медленной непонимающей улыбкой, но сказал:

— Можно заполнить жизнь каким-нибудь интересным делом, если, конечно, оно не запрещено.

— Совершеннейшая правда. Конечно же, современная культурная женщина по природе своей неспособна оставаться пассивной.

У меня, например, имеется обширная программа на предстоящую зиму. Я хочу освоить культуру и религию Древнего Египта.

— Чего, простите? — спросила Кира.

— Древнего Египта. Я хочу воссоздать для себя его дух во всей полноте. В этих далеких цивилизациях есть огромное значение, таинственная связь с нашим временем, чего мы, современные люди, не умеем ценить... Я уверена, что в предыдущей инкарнации я... А вы не интересуетесь теософией, Лео?

— Нет.

— Я, разумеется, ценю вашу позицию, но лично я долго изучала теософию и много размышляла об этом. В теософии есть трансцендентная истина, объяснение многих загадочных явлений нашей жизни. Словом, я из тех натур, что тянутся ко всему мистическому, но не думайте, что я старомодна. Я ведь еще изучаю и политическую экономию, да-да, не удивляйтесь!

— Тоня, но зачем?

— Нужно шагать в ногу со временем. Чтобы критиковать, нужно понять. А знаете, в этом есть что-то забавное и романтическое: труд, рынок, капитал. Кстати, вы не читали последний сборник стихов Валентины Сиркиной?

— Нет, не читал.

— Просто восхитительно. Такая глубина переживаний, и при этом — вполне современно, вполне. Там есть строчка, постоите, как же это... «Мое сердце — асбест, что гасит пыл доменной печи моих эмоций...» — что-то вроде этого. Превосходно!

— Должен вам сказать, что я не читаю современных поэтов.

— Я принесу вам эту книгу, Лео. Я уверена, что вы ее поймете и оцените. Да и Кире Александровне тоже понравится.

— Спасибо, — сказала Кира, — но я вообще не интересуюсь поэзией.

— Правда? Как интересно! Но тогда вы уж точно любите музыку.

— Фокстроты, — сказала Кира.

— Да? — зажигательно улыбнулась Антонина Павловна, при этом ее подбородок выдался вперед, а лоб как бы откатился назад; губы ее открывались как-то медленно, словно с трудом. — Кстати, о музыке, — она обернулась к Лео, — это еще один важный пункт моей программы на зиму. Коко пообещал достать мне место в ложе на каждый концерт в филармонии. Бедняжка Коко! В душе он глубоко артистичен, если к нему найти правильный подход, но в раннем детстве ему не привили любви к симфонической музыке. Так что в ложе мне, вероятно, придется сидеть одной. У меня мелькнула чудесная

мысль, Лео! Может быть, вы разделите мое одиночество? С Кирой Александровной, конечно.

Кивнув Кире, она вновь обернулась к Лео.

— Спасибо, Тоня, но боюсь, зимой у нас не будет для этого времени.

— Лео, дорогой! — Она вытянула руки в широком жесте сочувствия. — Конечно же, я все понимаю! Ваше трудное положение... О! Эти времена не для таких людей, как вы. Но все же не теряйте мужества. У меня есть кое-какие связи... Коко ни в чем не может мне отказать. Он так не хотел отпускать меня в Крым. Он так скучал по мне — не представляете, как он был рад снова видеть меня! Да, он предан мне больше, чем муж. Брак — старомодный предрассудок, вы со мной согласны? — улыбнулась она Кире.

— Крым, должно быть, благоприятно сказался на вашем здоровье, — холодно сказал Лео.

— О, это райский уголок! Такого места больше нет нигде! Темное, бархатное небо, алмазы звезд, море, божественная луна! Я никогда не понимала, почему вы оставались равнодушным к ее колдовским чарам. Я думала, что вы совершенно неромантичны, но теперь я понимаю почему.

Она бросила быстрый взгляд на Киру. Этот взгляд на мгновение застыл под прямым, пристальным взглядом Киры. Затем, жеманно улыбнувшись, она отвернулась и со вздохом произнесла:

— Странные вы существа — мужчины. Чтобы понять вас, настоящей женщине нужно изучить целую науку. Лично я познала ее на своем горьком опыте. — Она устало вздохнула, театрально пожав плечами. — Я знала героических офицеров Белой армии, знала и грубых железных комиссаров. — Она резко рассмеялась. — Да, я открыто признаю это, а почему бы и нет? Мы же здесь современные люди... Конечно, многие меня не понимали, но я не сержусь, я прощаю их. Знаете ли, *положение обязывает*.

Кира сидела на ручке кресла и, пока они разговаривали, рассматривала свои ногти. За окном было уже темно, когда Антонина Павловна посмотрела на свои усыпанные бриллиантами часы.

— О, как уже поздно! Я так восхищена, что совсем потеряла чувство времени. Я должна бежать домой. Коко, наверное, впал в меланхолию без меня, бедный малыш.

Она открыла сумочку, достала маленькое зеркальце и, изящно держа его двумя прямыми пальцами, внимательно изучила свое лицо прищуренными глазами. Она достала маленькую красную бутылочку и крошечную щеточку и покрыла губы пурпурными мазками.

— Восхитительная штука, — пояснила она, показывая бутылочку Кире, — намного лучше, чем помада. Я заметила, что вы

не очень-то пользуетесь помадой, Кира Александровна. А зря. Я вам твердо это рекомендую. Говорю вам, как женщина женщине, никогда нельзя пренебрегать своим внешним видом, знаете ли. Особенно, — дружелюбно и интимно засмеялась она, — особенно когда приходится охранять такую ценную собственность.

У двери коридора Антонина Павловна повернулась к Лео:

— Не беспокойтесь об этой предстоящей зиме, Лео. С моими связями... Коко, конечно, знает самых высоких... я даже побоюсь шепотом произнести те имена, которые он знает, и... конечно, Коко как пластилин в моих руках. Вы должны познакомиться с ним, Лео. Мы можем много сделать для вас. Я уж позабочусь, чтобы такой восхитительный молодой человек, как вы, не пропал в этом советском болоте.

— Спасибо вам, Тоня. Я ценю ваше предложение. Но, надеюсь, я еще не совсем пропал — пока что.

— Какую именно должность он занимает? — вдруг спросила Кира.

— Коко? Он — заместитель управляющего Пищетреста — это официально, — Антонина Павловна таинственно подмигнула ей с усмешкой, понизив голос, а затем, взмахнув рукой с бриллиантами, вспыхнувшими искрами в свете электрической лампочки, она протянула:

— Au revoir, mes amis. Скоро увидимся.

Закрыв дверь на цепочку, Кира выдохнула:

— Лео, я удивлена!

— Чем же?

— Тем, что ты знаком с такой отвратительной...

— Я не позволяю себе критиковать твоих друзей.

Они прошли через комнату Мариши. Та сидела в углу, у окна, подняв от книги голову, и удивленно глядела на Лео, испуганная тоном его голоса. Они прошли в свою комнату, и Лео хлопнул за собой дверью.

— Ты могла бы хотя бы быть вежливой, — заявил он.

— Что ты имеешь в виду?

— Ты могла бы сказать хоть пару слов — хотя бы парочку в час.

— Она же пришла не для того, чтобы меня слушать.

— Я не приглашал ее. И она — не моя подруга. Но не надо было устраивать трагедии из этого.

— Лео, но где ты это нашел?

— Это грелось в том же санатории, и у этого были иностранные книги, которые приносят истинное наслаждение после того,

как четыре дня считаешь советский бред. Вот как мы познакомились. Что тут плохого?

— Но, Лео, разве ты не видишь, чего ей нужно?

— Конечно, вижу. А ты что, на самом деле думаешь, что она это получит?

— Лео!

— Ну, тогда почему я не могу говорить с ней? Она — безвредная дура, которая пытается что-то строить из себя. И у нее действительно есть связи.

— Но общаться с таким человеком...

— Она ничем не хуже, чем то красное быдло, с которым все время приходится общаться. И по крайней мере она — не красная.

— Ну как знаешь.

— Ох, да брось ты, Кира. Она больше не придет сюда.

Он вдруг тепло улыбнулся ей, его глаза были веселыми, словно ничего не случилось, и она сдалась, положив ему на плечи свои руки и прошептал:

— Лео, разве ты не понимаешь? Такие люди никогда не должны смотреть на тебя.

Он засмеялся, похлопывая ее по щеке:

— Пусть смотрит. Меня от этого не убудет.

* * *

Лео сказал ей:

— Напиши своему дяде в Будапешт немедленно. Поблагодари его и скажи, чтобы он больше не посылал нам денег. Со мной все в порядке. Мы сами будем теперь зарабатывать. Я записал всю сумму денег, которые ты мне посылала. А ты записывала все свои расходы, как я тебя просил? Мы должны начать выплачивать ему деньги — если он достаточно терпелив, ибо один черт знает, сколько времени это займет.

Она прошептала: «Да, Лео», не глядя на него.

Он однажды заметил на ней золотые наручные часы и нахмурился:

— Откуда это взялось?

Она ответила тогда:

— Это подарок. От... Андрея Таганова.

— О, неужели? Так ты принимаешь от него подарки?

— Лео! — крикнула она на него дерзко, но затем стала оправдываться: — Почему бы и нет, Лео? У меня был день рождения, и я не могла обидеть его.

Он презрительно пожал плечами:

— Ох, да мне все равно. Это твое собственное дело. Что касается меня, то я бы не чувствовал себя нормально, если бы носил что-то, купленное на деньги ГПУ.

Она спрятала зажигалку, шелковые чулки и духи. Она сказала Лео, что красное платье заказала к его возвращению. Но, к его удивлению, она не любила надевать его.

Она проводила большую часть времени в Зимнем дворце, говоря зевающим экскурсантам:

— Долг каждого сознательного гражданина — знать историю нашего революционного движения, чтобы быть бдительным, просвещенным борцом за дело мировой революции, которая является нашей высшей целью.

По вечерам она пыталась уговорить Лео: «Мне сегодня нужно уйти. Я обещала Ирине...» или: «Я действительно должна идти сегодня. На собрание экскурсоводов». Но он заставлял ее остаться дома.

Она временами смотрелась в зеркало и дивилась своим глазам, о которых люди говорили ей, что они такие чистые и честные.

Она никуда не выходила по вечерам. Она не могла оторваться от него. Она не могла насмотреться на него, она сидела молча, свернувшись в кресле, и наблюдала за тем, как он ходит по комнате. Она смотрела на очертания его тела, когда он стоял у окна, отвернувшись от нее. Он стоял, уперев руки в бока, его тело слегка клонилось вперед, и из-под его темной, потрепанной рубашки виднелись напряженные мышцы его загорелой шеи, эти мышцы волновали ее, словно были каким-то предвестьем, обещанием его лица, которого она не видела. Тогда она вставала, неуверенно подходила к нему и проводила рукой по твердым сухожилиям его шеи, не говоря ни слова, не поцеловав его.

Потом, она думала с холодным интересом о том другом человеке, который где-то ждал ее. Но она знала, что должна увидеть Андрея. Однажды вечером она надела свое красное платье и сказала Лео, что обещала зайти к своим родителям.

— Можно мне пойти с тобой? — спросил он. — Я не видел их с тех пор, как вернулся, и должен повидать их.

— Нет, не в этот раз, Лео, — ответила она спокойно. — Я бы не хотела этого. Мама... так изменилась... я знаю, вы не поладите с ней.

— Тебе нужно именно сегодня идти, Кира? Я ненавижу, когда ты уходишь и оставляешь меня одного. Я так долго был без тебя.

— Я обещала им, что приду сегодня вечером. Я не пробуду там долго. Я скоро вернусь.

Она надевала пальто, когда в дверь позвонили.

Мариша пошла открывать дверь, и они услышали голос Галины Петровны, мощной волной доносящийся до их комнаты:

— Что ж, я рада, что они дома. Я вот подумала, если они навещают других людей и забывают собственных родителей и...

Галина Петровна вошла первой; Лидия шла следом; Александр Дмитриевич шаркал вслед за ними.

— Лео, дорогой мой мальчик! — Галина Петровна кинулась к нему и расцеловала его в обе щеки. — Я так рада тебя видеть! Добро пожаловать назад в Ленинград.

Лидия слабо пожала им руки; она сняла свою старую шляпку, тяжело села и стала возиться со шпильками в волосах: длинная прядь волос выбилась из небрежно скрученного завитка на затылке. Она была бледной и ненакрашенной; ее нос блестел, она скорбно уставилась в пол.

Александр Дмитриевич пробормотал:

— Я рад, что ты здоров, мой мальчик, — и неуверенно похлопал Лео по плечу с робким, испуганным выражением, какое бывает у животного, знающего, что его сейчас побьют.

Кира спокойно посмотрела на них и сказала с холодной уверенностью:

— Почему вы пришли? Я как раз собиралась идти к вам, как и обещала.

— Как ты... — стала говорить Галина Петровна, но Кира прервала ее:

— Ну, раз уж вы здесь, то раздевайтесь.

— Я так счастлива, что ты снова здоров, Лео, — сказала Галина Петровна. — Ты мне как сын родной. Ты для меня настоящий сын. Все остальное — буржуазные предрассудки.

— Мама! — слабо запротестовала Лидия.

Галина Петровна расположилась в удобном кресле. Александр Дмитриевич, как бы извиняясь, сел на краешек стула у двери.

— Спасибо, что пришли, — любезно улыбнулся Лео. — Единственной причиной того, что я не зашел к вам, является...

— Кира, — докончила за него Галина Петровна. — Знаешь ли ты, что за все время, пока тебя не было, мы видели ее не более, чем три раза?

— У меня для тебя есть письмо, Кира, — вдруг сказала Лидия.

— Письмо? — Голос Киры слегка задрожал. На конверте не было обратного адреса, но Кира узнала почерк. Она равнодушно кинула письмо на стол.

— Разве ты не хочешь прочитать его? — спросил Лео.

— Спешить некуда, — ответила она резко. — Ничего важного.

— Ну, Лео? — голос Галины Петровны грохотал; ее голос стал громче, чище. — Какие у тебя планы на эту зиму? Ведь такой интересный год наступает! Столько возможностей, особенно для молодежи.

— Так много... чего? — спросил Лео.

— Такое широкое поле деятельности! Это не то, что в умирающих, загнивающих городах Европы, где люди работают, как рабы, за жалкие гроши и влачат жалкое существование. Здесь каждый из нас имеет возможность быть полезным, творческим членом огромной общности. Здесь работа человека — не ничтожная попытка утолить свой голод, а вклад в гигантскую стройку будущего человечества.

— Мама, — спросила Кира, — кто написал это все для тебя?

— Послушай, Кира, — Галина Петровна распрямилла плечи, — ты не только ведешь себя нагло со своей матерью, но и оказываешь плохое влияние на будущее Лео.

— Я бы не стал волноваться из-за этого, Галина Петровна, — сказал Лео.

— И конечно, Лео, я надеюсь, что ты достаточно современен, чтобы вычеркнуть все те предрассудки, которыми мы все наделены. Мы должны признать, что советская власть — единственная прогрессивная власть в мире. Она находит применение всем человеческим ресурсам. Даже такой старый человек, как я, которая всю жизнь была бесполезной для общества, может найти свое призвание. А уж такие молодые люди, как вы...

— Где вы работаете, Галина Петровна? — спросил Лео.

— О, а вы не знаете? Я преподаю в трудовой школе — раньше это называли средней школой, знаете ли. Шитье и вышивание. Мы все осознаем, что такой практический предмет, как шитье, — намного важнее для наших маленьких будущих граждан, чем такой бесполезный мертвый предмет, как, например, латинский язык, который преподавали в наше буржуазное время. А наши методы? Да мы ушли на столетия вперед от Европы. Например, рассмотрим комплексный метод, который мы...

— Мама, — сказала Лидия устало, — Лео, может быть, не интересно.

— Ерунда! Лео — современный молодой человек. Так вот, этот метод, который мы сейчас используем... Например, как раньше делали? Дети должны были механически заучивать столько сухих, не связанных между собой предметов — историю, физику, арифметику. А что мы делаем сейчас? У нас есть комплексный метод. Возьмите, к примеру, прошлую неделю. Темой была фабрика. Таким

образом каждый учитель строил свой урок вокруг этой центральной темы. На истории им говорили о росте и развитии фабрик; на физике им рассказывали о машинах и оборудовании; преподаватель арифметики давал им задачи по производству и потреблению; на уроке рисования они рисовали фабрику изнутри. А на моем уроке мы делали спецодежду и блузки. Разве вы не видите преимущество такого метода? Это производит неизгладимое впечатление на детские умы. Рабочая спецодежда и блузки — практически и конкретно, вместо того чтобы учить их теоретическим швам и стежкам.

Голова Лидии вяло опустилась на грудь; она слышала все это много раз.

— Я рад, что вам нравится ваша работа, Галина Петровна, — сказал Лео.

— Я рада, что ты получаешь свой паек, — сказала Кира.

— Конечно, я получаю, — заявила Галина Петровна с гордостью. — Конечно, наше распределение продуктов потребления не достигло еще уровня совершенства, и то подсолнечное масло, которое я получила на прошлой неделе, было таким прогорклым, что мы даже не смогли его использовать... но ведь это переходный период...

— ...строительства государства! — крикнул вдруг Александр Дмитриевич, словно отвечая хорошо выученный урок.

— А вы чем занимаетесь, Александр Дмитриевич? — спросил Лео.

— О, я работаю! — Александр Дмитриевич дернулся так, словно готов был прыгнуть вперед, словно готовился защищаться от опасного обвинения. — Да, я работаю. Я — советский служащий. Да, да!

— Конечно, — протянула Галина Петровна, — должность Александра не так ответственна, как моя. Он — бухгалтер в районной конторе где-то в дальнем конце Васильевского острова. Туда так далеко ездить каждый день! И что там за контора, Александр? Но, как бы там ни было, у него есть хлебная карточка — хотя он получает недостаточно даже для самого себя.

— Но я работаю, — сказал Александр Дмитриевич кротко.

— Конечно, — сказала Галина Петровна, — я получаю паек получше, потому что я принадлежу к привилегированному классу педагогов. Я веду очень большую общественную работу. Ты знаешь, Лео, я ведь была избрана заместителем секретаря педсовета? Очень отрадно сознавать, что наша власть ценит такое качество в человеке, как умение быть лидером. Я даже произнесла речь по методологии современного образования на межклубном собрании, где Лидия так восхищенно сыграла «Интернационал».

— Конечно, — сказала Лидия скорбно, — «Интернационал». Я тоже работаю. Музыкальным директором и аккомпаниатором в рабочем клубе. Фунт хлеба в неделю, бесплатный проезд в трамвае и иногда деньги, те, что остаются от взносов каждый месяц.

— Лидия трудно поддается влиянию, — вздохнула Галина Петровна.

— Но я играю «Интернационал», — сказала Лидия, — и красный похоронный марш — «Вы жертвою пали», и клубные песни. Мне даже аплодировали, когда я сыграла «Интернационал» на собрании, где мама произнесла речь.

Кира устало поднялась, чтобы приготовить чай. Она подкачала примус, поставила на него чайник и стала задумчиво смотреть на него — и сквозь шипение пламени доносился гремящий, громкий голос Галины Петровны, которая говорила ритмично, словно обращаясь к классу:

— ...да, дважды, представляете? Дважды упомянули в ученической стенгазете как одну из трех самых современных и сознательных педагогов... Да, у меня есть кое-какое влияние. Когда эта наглая молодая преподавательница попыталась управлять школой, то ее быстро уволили. И, будьте уверены, я нашла что сказать по этому поводу...

Кира не услышала остальное. Она задумчиво смотрела на письмо, что лежало на столе. Когда она снова услышала голос, то говорила уже Лидия:

— ...духовное утешение. Я знаю. Мне открылось это. Есть вещи, которые наш смертный разум не может постичь. Спасение святой России придет от веры. Это уже предсказывалось. Терпением и долгим страданием искупим мы грехи наши...

За дверью Мариша завела свой граммофон, который запел «Джона Грэя». Это была новая пластинка, и быстрые звуки песенки весело плясали, резко пощелкивая.

Джон Грэй был парень бравый,

Китти была прекрасна...

Кира сидела, подперев подбородок рукой, пламя примуса слегка трепетало от ее дыхания. Она улыбнулась вдруг очень мягко и сказала:

— Мне нравится эта песня.

— Эта вульгарная, ужасная песня, настолько заигранная, что меня тошнит от нее? — Лидия задыхнулась от негодования.

— Да... Даже если она и заигранная... В ней есть такой милый ритм... такие щелчки... словно вгоняют заклепку в сталь...

Она говорила мягко, просто, слегка беспомощно, она редко говорила так со своей семьей. Она подняла голову и посмотрела на них,

и — они никогда раньше не видели ее такой — в ее глазах были мольба и боль.

— Все еще думаешь о своей инженерии, не так ли? — спросила Лидия.

— Иногда, — прошептала Кира.

— Не могу понять, что с тобой такое, Кира, — прогрохотала Галина Петровна. — Ты никогда не бываешь довольна. У тебя прекрасная работа, легкая и хорошо оплачиваемая, а ты хандрить из-за какой-то своей детской мечты. Экскурсионные гиды, так же, как и учителя, считаются не менее важными людьми, чем инженеры, в наше время. Это очень почетная и ответственная должность и к тому же делает огромный вклад в строительство общества. И разве это не более интересное дело — строить из живых умов и идеологий, чем из кирпичей и стали?

— Ты сама виновата, Кира, — сказала Лидия. — Ты всегда будешь несчастлива, так как ты отказалась от утешения верой.

— Что толку, Кира? — вздохнул Александр Дмитриевич.

— А кто сказал, что я несчастлива? — резко дернув плечами, громко спросила Кира; она поднялась, взяла папиросу и прикурила, нагнувшись к пламени примуса.

— Кира всегда была неуправляемой, — сказала Галина Петровна, — хотя, казалось бы, именно сейчас, в наше время, надо бы перестать витать в облаках.

— Какие у вас планы на эту зиму, Лео? — внезапно, с безразличием и словно не ожидая ответа, спросил Александр Дмитриевич.

— Никаких, — сказал Лео. — Ни на эту, ни на какую-либо другую зиму.

— Я видела сон, — сказала Лидия, — про ворону и зайца. Заяц перебежал дорогу, а это дурное знамение. Но ворона сидела на дереве, похожем на огромную белую церковную чашу.

— Возьмите, например, моего племянника Виктора, — сказала Галина Петровна. — Вот вам умный, современный молодой человек. Он этой осенью заканчивает институт, и у него уже есть отличная работа. Кормит всю семью. В нем нет ничего сентиментального. Он прекрасно воспринимает современную реальность. Он пойдет далеко, этот мальчик.

— Но Василий не работает, — заметил Александр Дмитриевич тихим, монотонным голосом.

— Василий всегда был непрактичным, — заявила Галина Петровна.

Александр Дмитриевич вдруг как-то совсем не к месту сказал:

— У тебя красивое красное платье, Кира.

Она устало улыбнулась:

— Спасибо, папа.

— Ты плохо выглядишь, дочка. Устала?

— Нет. Не очень. Я чувствую себя прекрасно.

Голос Галины Петровны перекрыл шум примуса:

— ...а ведь только лучших учителей хвалят в стенгазете, знаете ли. Наши ученики очень строги и...

Поздно ночью, когда гости ушли, Кира взяла письмо с собой в ванную и распечатала его. В нем было всего несколько строк:

«Кира, любимая.

Пожалуйста, прости меня за то, что я написал тебе.

Позвони мне, пожалуйста.

Андрей».

* * *

На следующий день Кира провела две экскурсии. Придя домой, она сказала Лео, что ее уволят, если она не придет на собрание гидов в этот вечер. Она надела красное платье. На площадке она чмокнула Лео в щеку; он стоял и смотрел, как она уходит. Она помахала ему рукой, прыгая через ступеньки с холодной, радостной усмешкой. На углу улицы она открыла кошелек, достала маленький флакончик из Франции и подушила свои волосы. Она запрыгнула в трамвай, идущий на полной скорости, и встала, держась за кожаный ремешок, наблюдая, как мимо проплывают светофоры. Она вышла и пошла легко и быстро, с холодной решимостью по направлению к дворцу, где размещался райком партии.

Кира беззвучно взбежала по мраморной лестнице флигеля и резко постучала в дверь.

Когда Андрей открыл дверь, она засмеялась, целуя его:

— Я знаю, я знаю, я знаю... Не говори этого... Я хочу, чтобы ты прости меня сначала, а потом я объясню все.

Он счастливо прошептал:

— Ты прощена. Не надо ничего объяснять.

Она не стала объяснять. Она не дала ему возможности пожаловаться ей. Она закружилась по комнате, а он пытался поймать ее. Материя ее пальто обдала холодом его руки, холодом и ароматом летнего ночного воздуха. Он только успел прошептать:

— Ты знаешь, что прошло две недели с тех пор...

Но он не закончил фразы.

Потом она заметила, что он одет так, будто собирался уйти куда-то.

— Ты собирался выйти, Андрей?

— Ах... да, собирался, но это не важно.

— Куда ты собирался пойти?

— На заседание партийной ячейки.

— Заседание партийной ячейки? И ты говоришь, что это не важно? Но ты ведь не можешь пропустить его.

— Могу. Я не пойду туда.

— Андрей, я лучше приду завтра и...

— Нет.

— Что ж, тогда давай выйдем вместе. Своди меня на крышу «Европейской».

— Сегодня?

— Да. Сейчас.

Он не хотел отказываться. Ей не хотелось видеть выражение его глаз.

Они сидели за белым столиком на крыше гостиницы «Европейская». Они сидели в слабо освещенном углу и не видели ничего в этом большом зале, кроме голой белой спины какой-то женщины, сидящей через несколько столов от них. Небольшая прядь золотых волос завивалась на ее затылке, выскользнув из аккуратных, блестящих волн ее прически. Меж ее лопатками пролегла золотистая тень, ее длинные пальцы держали бокал с жидкостью цвета ее волос, она слегка покачивала бокал, а за этой женщиной, за туманом из желтых огоньков и синего дыма, оркестр играл фокстроты из «Баядеры», и скрипач раскачивался в такт золотистому бокалу.

Андрей сказал:

— Прошло две недели, Кира, и... и тебе, наверное, нужно это.

Он сунул ей в руку рулончик, свернутый из денежных банкнот. Это была его месячная зарплата.

Она прошептала, отталкивая ее и закрывая его пальцы на этом рулоне:

— Нет, Андрей... Спасибо... Но мне не нужно. И... и не думаю, что они снова мне понадобятся...

— Но...

— Видишь ли, я провожу так много экскурсий, а маме дали еще больше уроков в школе, и у нас у всех есть одежда и все, что нам нужно, так что...

— Но, Кира, я хочу, чтобы ты...

— Пожалуйста, Андрей! Давай не будем спорить. Не будем об этом... Пожалуйста... Возьми их назад... Если... если они мне понадобятся, я скажу тебе.

— Обещаешь?

— Да.

Скрипки стонали тяжело и уныло, и вдруг музыка взорвалась, словно фейерверк, да так, что быстрые, веселые звуки были почти видны в воздухе; они, казалось, искрами выстреливали в потолок.

— Знаешь, — сказала Кира, — мне не надо было просить, чтобы ты привел меня сюда. Это место — не для тебя. Но мне оно нравится. Это карикатура, правда, очень дешевая и жалкая, но все же карикатура на то, чем является Европа. Ты знаешь эту музыку, что они играют? Это из «Баядеры». Я видела эту оперетту. Ее и в Европе играют. Как здесь... почти как здесь.

— Кира, — спросил Андрей, — этот Лео Коваленский, он что — влюблен в тебя, или как?

Она посмотрела на него, и отраженный электрический свет задрожал в ее глазах двумя искрами.

— А почему ты об этом спрашиваешь?

— Я видел твоего двоюродного брата Виктора Дунаева на собрании, и он сказал мне, что Лео Коваленский вернулся, и он улыбнулся так, словно эта новость что-то должна значить для меня. Я даже и не знал, что Коваленский уезжал куда-то.

— Да. Он вернулся. Он уезжал куда-то в Крым, по-моему, у него что-то не в порядке со здоровьем. Я не знаю, любит ли он меня, но вот Виктор когда-то был влюблен в меня, и этого он мне так и не простил.

— Понятно. Мне не нравится этот человек.

— Виктор?

— Да. И Лео Коваленский тоже. Я надеюсь, что ты не часто видишься с ним. Я не доверяю людям такого типа.

— О, я вижу его редко, да и то по случайности.

Оркестр перестал играть.

— Андрей, попроси их сыграть что-нибудь для меня. Кое-что, что я люблю. Это называется «Песня разбитого бокала».

Он смотрел на нее, когда оркестр взорвался музыкой, разбрызгивая искры звуков. Такой веселой музыки он не слышал никогда; и никогда не видел Киру такой грустной; она сидела неподвижно, беспомощно глядя в одну точку, ее глаза были несчастными и потерянными.

— Музыка просто прекрасная, Кира, — прошептал он, — но почему у тебя такой вид?..

— Она нравилась мне... давным-давно... когда я была ребенком... Андрей, у тебя бывает такое чувство, что тебе что-то обещали в детстве, и ты смотришь на себя и думаешь: «Я не знал тогда, что все произойдет именно так», — и это странно, и смешно, и немного грустно?

— Нет, мне никогда ничего не обещали. Я тогда многого не знал, и теперь так странно узнавать это... Ты знаешь, в первый раз, когда я привел тебя сюда, мне было стыдно войти. Я думал, что это не место для члена партии. Я думал... — Он мягко засмеялся, как бы извиняясь. — Я думал, что приношу жертву ради тебя. А теперь мне нравится здесь.

— Почему?

— Потому что мне нравится сидеть в таком месте, где у меня нет никаких причин быть, никаких причин, кроме того, чтобы просто сидеть и смотреть на тебя через этот столик. Потому что мне нравятся эти огоньки на твоём воротнике. Потому что у тебя очень строгий рот — а мне это нравится, — но, когда ты слушаешь эту музыку, твой рот становится веселым, словно тоже ее слушает. И все эти вещи не имеют никакого значения ни для кого на свете, кроме меня, и, ведя жизнь, в которой каждая минута должна иметь цель, я вдруг открываю для себя, что это такое — жить так, чтобы не иметь никакой другой цели, кроме самого себя, и вдруг я вижу, что эта цель может оказаться настолько священна, что я даже не могу спорить, не могу сомневаться, не могу бороться с этим, а потом я понимаю, что возможна такая жизнь, когда живешь только ради собственного счастья — и тогда все, все остальное кажется совсем другим.

Она прошептала:

— Андрей, ты не должен так говорить. Я чувствую себя так, словно отрываю тебя от твоей жизни, от всего того, что было твоей жизнью.

— А ты не хочешь этого чувствовать?

— Но разве это не пугает тебя? Тебе иногда не кажется, что это приведет тебя к такому выбору, который ты не имеешь права делать?

Он ответил с такой спокойной уверенностью, что слово, которое он произнес, показалось каким-то легким, беззаботным и поэтому неискренним:

— Нет.

Он перегнулся к ней через стол, глаза его были спокойными, голос мягким:

— Кира, ты выглядишь испуганной. А на самом деле это несерьезный вопрос. Мне никогда не приходилось сталкиваться в жизни со слишком уж большим количеством вопросов. Люди создают себе вопросы, потому что боятся смотреть прямо. А нужно только смотреть прямо и видеть путь, а когда ты его видишь, то не надо сидеть и смотреть на него — надо идти. Я вступил в партию, потому что знал, что я прав. Я люблю тебя, потому что знаю, что я прав. В чем-то ты и моя работа — одно целое. Все ведь очень просто.

— Не всегда, Андрей. Ты знаешь свою дорогу. Но она не для меня.

— Это не в духе того, что ты мне говорила раньше.

Она беспомощно прошептала:

— А что я тебе говорила?

Оркестр играл «Песню разбитого бокала». Никто не пел. Голос Андрея звучал, как слова этой музыки. Он сказал:

— Ты помнишь, ты сказала когда-то, что корни у нас с тобой одни и те же, потому что мы оба верим в жизнь? Это редкая способность, и ей нельзя научить. И это нельзя объяснить тем людям, в которых это слово — жизнь — не пробуждает такого же чувства, какое пробуждает храм, военный марш или скульптура, изображающая идеальное тело. Из-за этого чувства я и вступил в партию. Из-за этого чувства я и хотел бороться с самым бессмысленным и бесполезным из всех чудовищ, что мешают человеку жить. И таким образом, все мое существование было борьбой и будущим. Ты научила меня жить настоящим.

Она сделала отчаянную попытку. Она медленно сказала, глядя на него:

— Андрей, когда ты в первый раз сказал мне, что ты любишь меня, ты был голоден. Я хотела удовлетворить твой голод.

— И это все?

— Это — все.

Он спокойно засмеялся, так спокойно, что ей пришлось сдаться.

— Ты не знаешь, что говоришь, Кира. Такие женщины, как ты, не могут любить *только* из-за этого.

— А что это за женщины — как я?

— Эти женщины — все равно что храм, все равно что военный марш и...

— Давай выпьем, Андрей.

— Ты хочешь выпить?

— Да. Прямо сейчас.

— Ладно.

Он заказал бутылку вина. Он наблюдал за блеском бокала у ее губ; длинная, тонкая, подрагивающая линия жидкости между ее пальцами казалась золотой. Он сказал:

— Давай поднимем тост за то, что я не осмелился бы произнести в любом другом месте, только здесь: за мою жизнь.

— Твою новую жизнь?

— За мою единственную.

— Андрей, а что, если ты потеряешь ее?

— Я не могу потерять ее.

— Но ведь столько всего может случиться. Я не хочу держать твою жизнь в своих руках.

— Но ты уже держишь ее.

— Андрей, ты должен задумываться... иногда... что, возможно, случится так... Что, если со мной что-нибудь произойдет?

— Зачем об этом думать?

— Но это возможно.

Ей вдруг показалось, что слова его ответа были звеньями цепи, которую она ни за что не смогла бы порвать:

— А еще возможно, что каждому из нас предстоит быть приговоренным к смертной казни. Но разве это значит, что мы должны готовиться к этому?

ГЛАВА IV

Они рано ушли с крыши гостиницы, и Кира попросила Андрея отвезти ее домой; она устала, она не смотрела на него.

Он сказал: «Конечно, любимая», подозвал извозчика и дал ей посидеть молча, положив голову на его плечо. Он держал ее руку в своей и молчал, чтобы не беспокоить ее.

Он ссадил Киру у дома ее родителей. Она подождала на темной лестничной площадке и услышала, как извозчик отъехал; она подождала еще десять минут; она стояла в темноте, прислонившись к холодному окну. Там, за окном, торчали вентиляционная шахта и голая кирпичная стена с одним окном; в этом окне желтое пламя свечи конвульсивно вздрагивало и огромная тень женской руки то поднималась, то опускалась, монотонно и бессмысленно.

Спустя десять минут Кира спустилась по ступенькам и быстрым шагом пошла к трамвайной остановке.

Проходя через комнату Мариши, она услышала незнакомый голос, доносящийся из ее собственной комнаты. Это был медленный, глубокий, растягивающий слова голос, который методично и щепетильно делал паузу на букве «о», а затем снова катился дальше, словно на хорошо смазанных шарнирах. Она резко открыла дверь.

Первой, кого она увидела, была Антонина Павловна в парчовом тюрбане, которая с любопытством вытянула свой подбородок вперед. Потом она увидела Лео; затем она увидела человека с тягучим голосом — и ее глаза вдруг застыли. Он тяжело приподнялся, одарив ее пронзительным, оценивающе-подозрительным взглядом.

— А, Кира, я уж думал, что ты проведешь всю ночь с экскурсионными гидами. А ты говорила, что вернешься быстро, — резко поприветствовал ее Лео, а Антонина Павловна протянула:

— Добрый вечер, Кира Александровна.

— Извини, я ушла отсюда сразу, как только смогла, — ответила Кира, ее глаза неподвижно смотрели на лицо незнакомца.

— Кира, позволь представить. Карп Карпович Морозов, а это — Кира Александровна Аргунова.

Она не замечала того, что большая рука Карпа Карповича пожирает ее руку. Она смотрела на его лицо. На его лице были большие веснушки, светлые узкие глаза, тяжелый красный рот и коротенький нос с широкими, отвесными ноздрями. Она уже видела это лицо дважды до этого; она вспомнила мешочника на Николаевском вокзале, торговца продуктами с рынка.

Она стояла, не снимая пальто, не говоря ни слова, ледяная от чувства необъяснимого жуткого страха.

— В чем дело, Кира? — спросил Лео.

— Лео, разве мы до этого не встречали гражданина Морозова?

— Не думаю.

— Не имел удовольствия, Кира Александровна, — протянул Морозов, его глаза сразу стали резкими, в то же время оставаясь наивными и благодушно-дружелюбными.

В то время как Кира медленно снимала пальто, он повернулся к Лео:

— Да, так вот о магазине, Лев Сергеевич, он будет неподалеку от Кузнецкого рынка. Отличное место. Я там присмотрел пустой магазинчик — как раз то, что нам нужно. Одно окно, узкая комната — не нужно платить огромные деньги за метраж, и я сунул пару червонцев управдому, и он позволит нам бесплатно пользоваться хорошим, большим подвалом — то, что нам нужно. Я могу сводить вас туда завтра, вам очень там понравится.

Пальто Киры упало на пол. На столе стояла лампа, и в ее свете она видела, как лицо Морозова наклоняется к лицу Лео, его тяжелые губы приглушали слова до лукавого, хитрого шепота. Она посмотрела на Лео. Он не глядел на нее; его глаза были холодными, слегка расширенными от непонятого ей рвения. Она стояла в полумраке, вне круга света, который отбрасывала лампа. Морозов не обращал на нее внимания. Антонина Павловна бросила медленный, лишенный всякого выражения взгляд на нее и повернулась к столу, стряхивая щелчком ногтя пепел со своей сигареты.

— Что за управдом? — спросил Лео.

— Лучше не бывает, — ухмыльнулся Морозов. — Дружелюбный парень, веселый и... практичный. Несколько червонцев, немного водки время от времени, и, в общем, при правильном подходе он обойдется нам недорого. Я сказал ему, чтобы он очистил эту лавку для вас. И мы закажем новую вывеску — «Лев Коваленский. Продовольственные товары».

— О чем вы говорите? — Кира швырнула эти слова в Морозова с такой яростью, словно дала ему пощечину. Она стояла над ним,

свет лампы отбрасывал какие-то ломаные тени на ее лицо. Морозов отпрянул от нее и немного испуганно прижался к столу.

— Мы обсуждаем маленькое дельце, Кира Александровна, — объяснил он мягким, примирительным тоном.

— Я ведь обещала вам, что Коко сделает много для Лео, — улыбнулась Антонина Павловна.

— Кира, я объясню это позже, — медленно сказал Лео. Эти слова были приказом.

Она молча придвинула стул к столу и села лицом к Морозову, подавшись вперед. Морозов продолжал, стараясь не смотреть в ее глаза, которые, казалось, запоминали каждое слово:

— Вы ведь понимаете преимущество именно такого варианта, Лев Сергеевич. Конечно, частным торговцем нелегко быть в наше время. Учитывая плату за квартиру, например. Одно это уже может проглотить все доходы. Ну а скажем, вы — единственный владелец — и что? Квартплата не будет слишком большой, так как вам надо оплачивать всего лишь одну комнату. А возьмем теперь меня, например. У нас с Тоней три большие комнаты, и, если на мне поставят тавро частного торговца — Боже Всемогущий! — плата за них просто разорит все наше предприятие.

— Все в порядке, — сказал Лео. — Меня это устраивает. Я не возражаю, пусть меня называют частником, Николаем II, хоть Мефистофелем.

— Вот и прекрасно, — слишком громко хихикнул Морозов, его подбородок и пузо затряслись. — Отлично. И, Лев Сергеевич, уважаемый, вы не пожалеете. В сравнении с нашими доходами — да благодать! — те, которых называют буржуазией, покажутся жалкими попрошайками. С нашим-то маленьким предприятием мы будем купаться в рублях, их просто надо будет подбирать с пола. Год или два, и мы — сами себе хозяева. Сунуть несколько сотен кому надо, и мы сможем упорхнуть за границу — в Париж, или в Ниццу, или в Монте-Карло, или в любой другой заграничный город, приятный и изысканный.

— Да, — сказал Лео устало. — За границу.

Потом он потряс головой, словно пытаясь отделаться от какой-то невыносимой мысли, и повелительно повернулся, словно отдавая приказ человеку, который нанимал его:

— Но этот ваш друг — коммунист — это самое опасное место в вашем плане. Вы в нем уверены?

Морозов широко раскинул жирные руки, нежно покачивая головой, как бы упрекая Лео; его улыбка была такой же смягчающей, как и вазелин:

— Лев Сергеевич, душа моя, вы ведь не думаете, что я беспомощное дитя, делающее свои первые шаги в деловом мире, а? Я так же уверен в нем, как и в вечном спасении наших душ, вот как я уверен. Вам не найти молодого человека умнее его. Шустрый, разумный. И он не из тех пустозвонов, которым нравится слушать самих себя. Он рассчитывает получить от жизни не только громкие слова и сушеную селедку. Он знает, что у него в руках хлеб с маслом, и он уж позаботится, чтобы этот хлеб с маслом не просочился сквозь пальцы. И потом, он ведь очень сильно рискует. Нас, простых людей, если поймают, то засадят всего-то на десять лет в Сибирь, а вот членов партии — сразу к стенке, и попрощаться-то не успеешь.

— Вам не о чем беспокоиться, Лео, — улыбнулась Антонина Павловна. — Я знаю этого молодого человека. Мы как-то раз пригласили его на скромный чай — ну, на шампанское с икрой, если быть точной. Он умен и совершенно надежен. Коко не подведет вас в этом деле!

— И это не очень трудно для него, — понизил Морозов свой голос до едва слышного шепота. — Он занимает должность какого-то инженера на железной дороге — и его связи расходятся во всех направлениях, как притоки реки. Ему нужно только устроить так, чтобы партия товара при перевозке была слегка подпорчена; груз ведь могут случайно уронить, или подмочить, или что-то там еще — одним словом, проследить, чтобы груз признали негодным. Вот и все. Все остальное очень просто. Груз тихонько перемещается в подвал нашего маленького магазина — «Лев Коваленский. Продовольственные товары». В этом нет ничего подозрительного — не правда ли? — просто продукты для магазина. В государственных кооперативах не досчитаются кое-каких продуктов, и добропорядочные граждане получают в них на свои карточки только извинения и обещания. Мы выжидаем парочку недель, а затем вскрываем груз и переправляем его нашим собственным клиентам — частным торговцам из трех губерний, у нас создана целая сеть таких людей. Они разумны и осмотрительны — у меня есть все адреса. Вот и все. Кому какое дело? Если кто-нибудь что-либо станет вынюхивать вокруг — что ж, у нас будет там обычный продавец, который продаст им полфунта масла, если его попросят, — вот и вся наша деятельность. Розничная торговля — открытая и законная.

— И более того, — прошептала Антонина Павловна, — если что-нибудь пойдет не так, у этого молодого коммуниста есть...

— Да, — прошептал Морозов и, таинственно оглядевшись вокруг, сделал паузу, чтобы послушать, нет ли за дверью каких-либо

подозрительных звуков, а убедившись, что все спокойно, прошептал Лео на ухо: — У него есть связи в ГПУ. Могучий друг и защитник. Я даже боюсь назвать его имя.

— О, я думаю, дело не дойдет до этого, — презрительно сказал Лео. — Если у нас будет достаточно много денег.

— Денег? Лев Сергеевич, душа моя, у нас будет столько денег, что вы будете сворачивать папиросы из десятирублевых купюр. Будем делить их на три части, вы ведь понимаете, я, вы и наш приятель-коммунист. Придется маленько подмазать его друзей с железной дороги, и дать на лапу управдому, и оплачивать вашу квартиру — вот наши расходы. Но вы должны помнить, что вы — единственный владелец магазина. Это ваш магазин, под вашей вывеской. А мне надо думать о своей должности в Государственном пиццестресте. Если бы у меня был частный магазин, зарегистрированный на мое имя, меня бы вышибли с моей должности. А я должен сохранять это место. Вы увидите, как оно нам еще пригодится.

Он подмигнул Лео. Лео не улыбнулся в ответ, но сказал:

— Не волнуйтесь. Я не боюсь.

— Тогда договорились, а? Друг мой, через месяц вы не поверите, что могли жить вот так, как живете сейчас. Ваши впалые щеки округлятся, вы прекрасно оденете Киру Александровну, купите бриллиантовый браслет, а может быть, два браслета. А потом, может быть, автомобиль и...

— Лео, ты сошел с ума?

Стул Киры с грохотом отлетел к стене, а лампа закачалась, дергаясь и тонко, стеклянно звеня. Она стояла, и три испуганных лица было повернуто к ней.

— Ты что, разыгрываешь меня? Или ты совсем потерял голову?

Лео медленно откинулся назад, глядя на нее, и холодно спросил:

— Когда это ты получила право разговаривать со мной таким тоном?

— Лео! Если это — новый способ самоубийства, то есть ведь способы и намного проще!

— Кира Александровна, вы излишне трагичны, — холодно заметила Антонина Павловна.

— Ну, будет, будет, Кира Александровна, душа моя, — сказал Морозов дружелюбно, — сядьте и успокойтесь, и давайте спокойно все обговорим. Незачем так волноваться.

Она закричала:

— Разве ты не видишь, что они делают? Ты для них — только живая ширма! Они вкладывают деньги. Ты же вкладываешь свою жизнь!

— Я рад, что от нее будет хоть какая-то польза, — резко сказал Лео.

— Лео, послушай, я буду спокойна. Я сяду. Послушай меня: не делай таких вещей с закрытыми глазами. Взгляни на это, обдумай: ты ведь знаешь, какая сейчас тяжелая жизнь. Ты ведь не хочешь сделать ее еще тяжелее, ведь так? Ты ведь знаешь, в каком государстве мы существуем. Очень сложно не попасть под его колеса. Ты что, хочешь, чтобы оно стерло тебя в порошок? Разве ты не знаешь, что тех, кого поймали на преступной спекуляции, ждет расстрел?

— По-моему, Лео уже сказал, что не нуждается в советах, — сказала Антонина Павловна, изящно держа сигарету на отлете.

— Кира Александровна, — запротестовал Морозов, — незачем так резко осуждать простое деловое предложение, которое совершенно разумно и почти законно...

— А вы помолчите, — прервал его Лео и повернулся к Кире. — Послушай, Кира, я знаю, что преступнее и хуже сделки, чем эта, нельзя и придумать. И я знаю, что рисковую своей жизнью. И я все же хочу это сделать. Ты понимаешь?

— Даже если я попрошу тебя не делать этого?

— Ничто из того, что ты скажешь, не переменит моего решения. Это мерзкое, низкое и бесчестное дело. Несомненно. Но кто втянул меня в него? Ты что думаешь? Что я всю оставшуюся жизнь буду побираться, умолять, чтобы меня взяли на работу и голодать, медленно умирая? Я вернулся уже две недели назад. Разве я нашел работу? Разве мне хотя бы пообещали ее? Они расстреливают тех, кто спекулирует продуктами? Так почему же они не дают нам возможность делать что-либо другое? Ты не хочешь, чтобы я рисковал своей жизнью. А что такое моя жизнь? У меня нет работы. У меня нет никакого будущего. Я не смог бы делать то, что делает Виктор Дунаев, даже если бы меня заживо варили в масле! Рискуя жизнью, я рискую очень немногим.

— Лев Сергеевич, душа моя, — вздохнул Морозов в восхищении, — как вы умеете говорить!

— А вы можете идти, — сказал Лео. — Увидимся завтра, Морозов, и посмотрим этот ваш магазин.

— Лео, я удивлена, — заметила Антонина Павловна, поднимаясь с достоинством, — если вы позволяете, чтобы на вас влияли, и, похоже, не цените ту возможность, которую мы вам предоставили. А я-то думала, что вы будете благодарны и...

— Кто это должен быть благодарным? — резко и грубо спросил он. — Я нужен вам, а вы нужны мне. Это деловое соглашение. Вот и все.

— Конечно, конечно, именно так, — сказал Морозов, — и я ценю вашу помощь, Лев Сергеевич. Все в порядке, Тоня, душа моя, успокойся, и мы обговорим все детали завтра.

Он широко расставил ноги и поднялся с трудом, упершись руками в колени. Его тяжелый живот вздрагивал, когда он двигался, и от этого он казался почти голым, несмотря на мятый костюм. У двери он повернулся к Лео:

— Ну, Лев Сергеевич, скрепим наше предложение рукопожатием? Мы не можем подписать контракт, вы, конечно, понимаете, но мы положимся на ваше слово.

Рот Лео был презрительно изогнут, когда он протянул свою руку. Этот жест, казалось, дался ему ценой победы над самим собой. Морозов тепло и долго тряс его руку, а затем низко поклонился в старой крестьянской манере и вышел. Антонина Павловна вышла вслед за ним, не глядя на Киру.

Лео проводил их до дверей. Когда он вернулся, Кира все еще стояла в той позе, в которой он оставил ее. Он сказал до того, как она повернулась к нему:

— Кира, мы не будем спорить об этом.

— Есть еще одна вещь, Лео, — прошептала она, — и я не могла сказать тебе об этом при них. Ты сказал, что у тебя ничего не осталось в жизни, а я думала, что у тебя есть... я.

— Я не забыл об этом. И это одна из причин, почему я это делаю. Ты думаешь, что я буду стоять и смотреть, как ты проводишь эти экскурсии и глотаешь сажу над примусом? Этой дуре, Антонине, не приходится проводить экскурсии. Она никогда не надела бы те платья, в которых ходишь ты, даже чтобы помыть пол; да ей и не приходится мыть полы. Скоро и ты перестанешь их скрести. Маленькая глупышка! Ты не знаешь, какой может быть жизнь. Ты никогда не видела ее. Но ты ее увидишь. И я увижу, пока они меня не прикончат. Послушай, даже если бы я знал, что меня расстреляют через шесть месяцев, я бы все равно пошел на это!

Она оперлась о стол, потому что почувствовала слабость. Она прошептала:

— Лео, если бы я умоляла тебя, ради моей любви, ради твоей, если бы я сказала тебе, что буду благословлять каждый час каждой экскурсии, каждый пол, который я скребу, каждую демонстрацию, на которой я должна присутствовать, каждое заседание политпросвета и каждый красный флаг — только бы ты не делал этого, — ты бы все равно сделал так?

Он ответил:

— Да.

* * *

Гражданин Карп Морозов встретился с гражданином Павлом Серовым в ресторане. Они сидели за столом в темном углу. Гражданин Морозов заказал щи. Гражданин Серов заказал чай и французское пирожное. Потом гражданин Морозов подался вперед и прошептал сквозь пар супа:

— Все в порядке, Павлуша. Я нашел человека. Я встречался с ним вчера.

Павел Серов держал чашку у своего рта, и его белые губы едва двигались, так что Морозов скорее угадал, чем услышал вопрос:

— Кто?

— Его имя — Лев Коваленский. Молодой. Нет ни гроша за душой, и не черта не боится. Отчаянный. Готов на все.

Белые губы снова без звука произнесли:

— Надежный?

— Абсолютно.

— Прост?

— Как младенец.

— Будет держать язык за зубами?

— Могила.

Морозов разгрузил тяжелую ложку щей в рот; кусок капусты свисал; он втянул его в рот, звонко чмокнув. Он склонился еще ближе и выдохнул:

— Кроме того, у него плохое происхождение. Отец был расстрелян за контрреволюцию. В случае чего... на него можно будет свалить вину. Аристократ-предатель, знаете ли.

Серов прошептал: «Ладно». Его ложка впилась в шоколадный эклер, и по всей тарелке растекся нежный желтый крем. Его бледные губы резко и без выражения прошептали:

— А теперь слушайте. Я хочу получать свою долю заранее — за каждый груз. Мне не нужны отсрочки. Я не буду просить дважды.

— Да поможет мне Бог, ты получишь все это, Павлуша, не нужно мне говорить это, ты...

— И еще, мне нужна осторожность. Понятно? Осторожность. С этих пор вы не знаете меня, ясно? Если мы случайно встретимся — мы не знакомы. Антонина будет отдавать мне деньги в том борделе, как и договорились.

— Конечно. Конечно. Я все помню, Павлуша!

— Скажите этому бездельнику Коваленскому, чтобы держался подальше от меня. Я не хочу с ним встречаться.

— Конечно. Тебе и не надо.

- Магазин нашли уже?
- Сегодня собираюсь оформить.
- Хорошо. А теперь сидите. Я уйду первым. А вы сидите еще двадцать минут. Понятно?
- Конечно. Да благословит нас Бог.
- Ваш Бог меня не касается. Прощайте.

* * *

Секретарша сидела за столом в конторе железнодорожного депо. Она сидела перед деревянным барьером и очень сосредоточенно печатала, приподняв верхнюю губу и закусив нижнюю. Там, по другую сторону барьера, на грязном, неубранном полу, стояли два стула; шестеро посетителей терпеливо ждали; двое из них сидели. На двери, за секретаршей, было написано: «Товарищ Серов».

Товарищ Серов пришел с обеда. Широкими быстрыми шагами он прошел через приемную конторы, скрипя крепкими, блестящими армейскими сапогами. Шесть голов дернулись, провожая его робкими, молящими взглядами. Он пересек комнату так, словно она была пустой. Секретарша последовала за ним в его кабинет.

Портрет Ленина висел на стене его кабинета, над широким, новым столом. Он висел между графиком, показывающим прогресс на советской железной дороге, и плакатом, на котором было написано большими буквами:

«ТОВАРИЩИ, ИЗЛАГАЙТЕ СВОЕ ДЕЛО БЫСТРО.
ПРОЛЕТАРСКАЯ ОПЕРАТИВНОСТЬ —
ЭТО ДИСЦИПЛИНА МИРНОГО
РЕВОЛЮЦИОННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА».

Павел Серов достал плоский золотой портсигар из кармана, зажег папиросу, сел за стол и стал просматривать кипу бумаг. Секретарша стояла, робко ожидая.

Вскоре он поднял голову и спросил:

- В чем дело?
- Там эти граждане, товарищ Серов, пришли к вам на прием.
- По какому делу?
- В основном насчет работы.
- Никого не могу принять сегодня. Должен идти на собрание Дорпрофсожа через полчаса. Отпечатала мой доклад на тему «Железнодорожные пути как кровеносные сосуды пролетарского государства?»

— Конечно, товарищ Серов. Вот он.

— Отлично.

— Товарищ Серов, посетители ждут уже около трех часов.

— Скажи им, чтобы они убирались к черту. Пусть приходят завтра.

В случае чего найдешь меня в главном управлении Союза железнодорожников. После заседания кружка я буду там... Да, кстати, завтра я задержусь.

— Хорошо, товарищ Серов.

* * *

Из управления Союза железнодорожников Павел Серов возвращался домой в сопровождении одного из своих товарищей по партии. Серов был в хорошем настроении. Он насвистывал какую-то веселую мелодию и подмигивал проходящим мимо девушкам.

— Знаешь, — сказал Павел своему товарищу, — сегодня я собираюсь устроить вечеринку. Я уже три недели не отрывался от работы. Хочется немного покутить. Что скажешь?

— Превосходно.

— Просто небольшая компания, только наш круг. У меня дома. Ну что?

— Отлично.

— У меня есть знакомый, который может достать первоклассную водку. Давай зайдём в ресторан «Де Гурме», купим закуски.

— Идет, старик.

— Устроим праздник.

— Что будем отмечать?

— Не волнуйся, найдем повод. И не будем мелочиться. Мне плевать на деньги, когда я хочу повеселиться.

— Это правильно.

— Кого пригласим? Давай Гришку и Максима с подругами.

— И Лизавету.

— Конечно, я позову твою Лизавету. Затем Вальку Дурову — вот это девчонка! Она может привести с собой кучу подруг. Еще я думаю позвать Виктора Дунаева и Маришу Лаврову. Этот проходимец Виктор когда-нибудь станет большим человеком — лучше поддерживать с ним дружеские отношения. Да... как ты думаешь, дружище, следует ли мне приглашать Товарища Соню?

— А как же.

— Вот черт. Эта корова волочится за мной. Уже больше года. Пытается подцепить меня. Но будь я проклят, если... Она меня не интересуется.

— Однако, Павлуша, будь осторожен. Если ты оскорбишь чувства Товарища Сони, то она, занимая такое высокое положение...

— Я знаю. Черт возьми! Под ее чутким руководством находятся две профсоюзные организации и пять женских кружков. Ничего не поделаешь, придется мне ее пригласить.

* * *

В комнате Павла Серова было почти темно: шторы на окнах задернуты, на лампу наброшен женский шарф оранжевого цвета. То здесь, то там, на фоне стен, кресел и тахты выступали из темноты бледные лица гостей. В центре комнаты на полу стояло блюдо с шоколадным тортом из ресторана «Де Гурме», на торте был след от чьей-то подошвы. Возле подушки на кровати Серова лежала разбитая бутылка. Виктор и Мариша сидели на тахте. Рядом с ними на полу лежала шляпа Виктора, служившая пепельницей. Граммофон наигрывал фокстрот «Джон Грэй», пластинку заело, игла подпрыгивала на одном и том же месте, издавая резкий, скрипучий звук; но никто этого не замечал. Какой-то молодой человек, сидя на полу и опершись на спинку кровати, пытался запеть; он бормотал себе под нос какой-то печальный мотив, лишенный мелодии; время от времени он вскидывал голову и начинал визжать, пробуя взять высокую ноту, так что всех передергивало, и тогда кто-нибудь запускал в него туфлю или подушку с криком: «Гришка, заткнись!» — после чего он снова опускал голову. В углу возле плевательницы спала девушка. На ее лоснящееся, размяннившееся лицо спадали липкие пряди волос.

Павел Серов, шатаясь, бродил по комнате, размахивая пустой бутылкой, и, с трудом ворочая языком, с обидой в голосе настойчиво предлагал выпить:

— Кто-нибудь хочет выпить?.. Давайте выпьем!..

— Черт побери, Павел, — отозвался кто-то из темноты, — у тебя же бутылка пустая...

Павел остановился, качаясь из стороны в сторону, посмотрел бутылку на свет, плюнул с досады и зашвырнул ее под кровать.

— Вы думаете, что у меня больше нет? — сказал Павел, грозя пальцем. — Неужели вы считаете меня жмотом?.. Презренным жмотом, который не может позволить себе купить столько водки, сколько нужно?.. Ведь вы же действительно считаете меня жалким жмотом? Хорошо, я вам сейчас покажу... Я вам покажу, на что я способен... Я вам покажу...

Он порывлся в ящичке под столом, шатаясь приподнялся и стал размахивать над головой неоткупоренной бутылкой.

— Я все могу, все, — сказав это, Павел заковылял в тот угол, из которого был брошен упрек. Он усмехнулся в лица тем, кто повернулся взглянуть на него; затем широко размахнулся и запустил бутылкой в книжный шкаф. Послышался звон разбитого стекла. Одна из девушек пронзительно закричала. Кто-то из мужчин грязно выругался.

— Мои чулки, Павел, мои чулки! — всхлипывала девушка, задирая юбку выше колен, — чулки были залиты водкой.

Мужская рука, возникшая из темноты, коснулась девушки.

— Ничего страшного, дорогуша. Сними их.

Серов торжествующе захихикал:

— Ну что, могу я себе это позволить? А? Могу?.. Павел Серов способен сейчас на все!.. Он может позволить себе все что угодно!.. Он может купить вас всех с потрохами!

Кто-то залез под стол и начал рыться в ящике в поисках непочатых бутылок.

Послышался стук в дверь.

— Войдите! — прорычал Серов. Никто не входил. В дверь снова постучали. — Какого черта? Что вам нужно? — Шатаясь, он подошел к двери и рванул ее на себя.

В коридоре стояла полная женщина с мертвенно-бледным лицом. Это была соседка Павла. На ней была длинная фланелевая ночная рубашка. Женщина вся дрожала, сжимая в руке концы старой шали, которая была накинута на ее плечи, и смахивая нависающие на сонные глаза пряди седых волос.

— Товарищ Серов, — захныкала она в негодовании, — прекратите весь этот шум, пожалуйста. В такой поздний час... теперь у вас, молодежи, совсем нет совести... вы не боитесь Бога... нет, вы...

— Иди своей дорогой, бабуля, давай, иди, откуда пришла! — в приказном тоне рявкнул Серов. — Иди ложись, накройся подушкой и не возмущайся. А может, хочешь прокатиться до ГПУ?

Женщина поспешно развернулась и, крестясь, засемила прочь.

Товарищ Соня сидела и курила в углу возле окна. На ней был сшитый на заказ зеленый френч с карманами на груди и на бедрах; несмотря на то что френч был из дорогой импортной ткани, Товарищ Соня не обращала внимания, что пепел падает прямо на него. Девушка, сидящая рядом, заунывно вопрошала вполголоса:

— Скажи, Соня, почему ты сняла с должности Дашку? Ей необходима была эта работа, она действительно...

— Я не обсуждаю подобные вопросы в нерабочее время, — холодно ответила Товарищ Соня. — Кроме того, я всегда поступаю во благо коллектива.

— Конечно же, я не сомневаюсь в этом, но послушай, Соня...

Товарищ Соня заметила Павла Серова, который стоял, пошатываясь, возле дверей. Оборвав девушку на полуслове, она встала и направилась к Павлу.

— Сюда, — сказала Товарищ Соня, поддерживая Павла своей крепкой рукой и подводя его к креслу. — Тебе лучше сесть. Вот так. Давай я тебя посажу поудобнее.

— Соня, ты — настоящий друг, — пробормотал Павел, в то время как Соня подкладывала ему под спину подушку, — ты настоящий друг. Ты бы не стала кричать на меня, если бы я захотел слегка пошутить, ведь правда?

— Конечно.

— Ты же, в отличие от некоторых присутствующих здесь подлецов, не считаешь меня пьяницей, правда?

— Конечно же, не считаю, Павел. Некоторые просто не ценят тебя.

— Точно. В этом-то все и дело. Меня не ценят. Я великий человек. Я скоро буду великим человеком. Но они этого не знают. Никто этого не знает... Я буду очень могущественным человеком. Да по сравнению со мной всякие иностранные капиталисты станут просто ничтожеством... Да, именно ничтожеством... Я буду отдавать приказы самому товарищу Ленину.

— Павел, наш великий вождь умер.

— Да, верно. Товарищ Ленин умер... Ну и что?.. Мне нужно выпить, Соня. Мне очень плохо. Товарищ Ленин мертв.

— Все хорошо, Павел. Но тебе лучше не пить сейчас.

— Но мне очень плохо, Соня. Никто не ценит меня.

— Я ценю тебя, Павел.

— Ты — настоящий друг. Ты — самый настоящий друг, Соня...

На тахте Виктор обнимал Маришу. Она хихикала, считая пуговицы на пиджаке Виктора; на третьей пуговице Мариша сбилась со счета и начала все сначала.

— Ты благороден, Виктор, — шептала она, — ты порядочен и хорошо воспитан. Вот за что я люблю тебя. А я всего-навсего жалкое отродье. Моя мать была раньше кухаркой... Я помню, что много-много лет назад она работала в большом доме, у хозяев были лошади, кареты и ванная комната, а я помогала матери чистить на кухне овощи. В том доме жил элегантный юноша, сын хозяев. Ах! Какие красивые наряды он носил. Он говорил на разных иностранных языках и выглядел, прямо как ты. Я даже никогда не осмеливалась смотреть на него. И сейчас мой кавалер — благородный молодой человек, — она расплылась от счастья в улыбке. — Забавно, правда? У меня, Маришки, чистильщицы овощей, такой кавалер!

— Замолчи, — сказал Виктор и поцеловал ее, его одолевал сон. Какая-то девушка, стоявшая в темноте над ними, посмеиваясь, спросила:

— Когда же вы собираетесь расписаться в ЗАГСе?

— Отстань, — отмахнулась от нее Мариша. — Когда-нибудь распишемся. Мы уже помолвлены.

Товарищ Соня подтащила поближе к Серову кресло. Павел положил голову на ее колени, и она стала поглаживать его волосы.

— Ты — редкая женщина, Соня, — бормотал Павел, — редкая... Ты же понимаешь меня...

— Конечно, Павел. Я всегда говорила, что ты самый талантливый и самый способный из всех нас.

— Ты — чудесная женщина, Соня, — он принялся целовать ее, причитая: — Никто не ценит меня.

Потом повалил ее на пол, склоняясь над мягким, тяжелым телом.

— Мужчина нуждается в женщине... — шептал он, — понимающей, сильной и крепкой женщине... Я не понимаю, кому нравятся все эти тощие кикиморы?... Мне нравятся такие женщины, как ты, Соня...

Они не заметили, как оказались в маленькой кладовой, расположенной между комнатой Павла и квартирой соседей. Приглушенный лунный свет проникал через затянутое паутиной окно и освещал груды ящиков и корзин. Павел прислонился к плечу Товарища Сони, при этом он, запинаясь, приговаривал:

— Они считают Павла Серова ублюдком без рода и племени, удел которого — жрать всю жизнь помой... Ну, ничего. Я покажу им! Павел Серов покажет им, в чьих руках власть... Я знаю один секрет... Великий секрет, Соня... Но я тебе его не открою... Соня, ты всегда мне нравилась... Я всегда хотел, чтобы при мне была такая женщина, как ты, Соня... мягкая и спокойная...

Когда Павел попытался пристроиться на перевернутой вверх дном плетеной корзине, груды ящиков покачнулись и с грохотом рухнула на пол. Разгневанные соседи стали яростно барабанить в стену.

Но Товарищ Соня и Павел Серов уже лежали на полу, не обращая на это никакого внимания.

ГЛАВА V

Продавец, утерев рукой нос, завернул в газету фунтовый кусок масла. Он отрезал этот кусок от полурастаявшего большого желтого круга, который лежал на крышке стоявшего перед ним на прилавке деревянного бочонка; затем продавец вытер нож о фартук, который некогда был белым. Его тусклые глаза слезились; узкие губы образовывали впадину на морщинистом лице щеки; вытянутый подбородок зловеще нависал над слишком высоким прилавком, который скрывал его иссохшие мощи, облаченные в старый синий свитер. Продавец фыркнул и, ослабившись, выставил напоказ хорошенькой покупательнице в голубой шляпке, украшенной бутафорскими вишенками, два сломанных почерневших зуба:

— Гражданка, это лучшее масло в городе, самое лучшее масло.

На прилавке возвышалась пирамида, выложенная из кирпичиков неприглядного черного и серого хлеба. Сверху была подвешена гирлянда из салами, кренделей и сушеных грибов. Грязные медные чашки допотопных весов и пыльная рама единственного в магазине узенького окна были облеплены мухами. Над окном с улицы была прилажена вывеска, забрызганная первым сентябрьским дождем:

ЛЕВ КОВАЛЕНСКИЙ. ПРОДТОВАРЫ

Покупательница небрежно бросила на прилавок несколько серебряных монет и забрала свой сверток. Уже направляясь к выходу, она вдруг непроизвольно остановилась, увидев только что вошедшего молодого человека. Она не знала, что это владелец магазина, но понимала, что подобного типа молодые люди редко встречаются на улицах Петрограда. На Лео было новое импортное пальто, пояс которого был туго затянут на талии стройной фигуры; на голове у него была фетровая шляпа мышинного цвета, поля которой с одной стороны были приподняты, подчеркивая надменный профиль его лица с сигаретой в уголке рта, несомой двумя длинными тонкими пальцами,

затянутыми в перчатки; перчатки его были из крепкой блестящей заграничной кожи. Он двигался ловко, уверенно и естественно. Грациозность его движений соответствовала одежде, которую он носил с легкостью фотомодели со страниц иностранных журналов, с бессознательностью пушного зверя, не думающего о своем роскошном мехе.

Девушка вызывающе посмотрела на молодого человека. В ответ Лео бросил на нее взгляд, в котором были выражены и приглашение, и насмешка, и нечто очень похожее на обещание. Затем он развернулся и направился к прилавку, девушка же не спеша вышла из магазина.

Продавец раболепно поклонился, опустив голову так низко, что его подбородок задел круг масла:

— Здравствуйте, Лев Сергеевич, здравствуйте.

Лео, стряхнув в стоящую на прилавке пустую консервную банку пепел с сигареты, спросил:

— Есть ли в кассе какие-нибудь деньги?

— Да, господин Лев Сергеевич, жаловаться не приходится, дела сегодня идут хорошо, и...

— Давай все сюда.

Продавец в нерешительности, перебирая кривыми пальцами, пробормотал:

— Но, господин, последний раз Карп Карпович сказал, что вы...

— Я сказал — давай все сюда.

— Хорошо, господин Лев Сергеевич.

Лео небрежно затолкал банкноты в бумажник. Затем вполголоса спросил:

— Прибыл вчера вечером груз?

Продавец утвердительно закивал, доверительно хихикая и подмигивая.

— Помалкивай, — сказал Лео, — и будь осторожен!

— А как же, конечно, господин Лев Сергеевич, конечно, вы же знаете, что я, если можно так выразиться, — сама осторожность. Карп Карпович знает, что он может полностью доверять старому верному слуге, который проработал при нем в течение...

— Ты бы мог хоть иногда пользоваться липкой бумагой для мух?

— Да, конечно, господин Лев Сергеевич, я...

— Я сегодня уже не вернусь. Закроешь магазин как обычно.

— Да, господин Лев Сергеевич. Всего доброго, господин Лев Сергеевич.

Ничего больше не говоря, Лео ушел.

На углу его поджидала девушка в голубой шляпке, украшенной бутфорскими вишенками. Она улыбнулась в надежде

и нерешительности. После небольшого раздумья Лео тоже улыбнулся и зашагал прочь, от его улыбки щечки и носик под полями голубой шляпки вспыхнули румянцем. Девушка стояла и смотрела, как молодой человек вскочил в экипаж и исчез из виду.

Лео доехал до Александровского рынка. Он проскочил мимо раскинувшихся вдоль тротуара лотков с разным старьем, не обращая внимания на умоляющие взгляды торговцев. Остановился он у небольшого киоска, в витрине которого были выставлены самые дорогие фарфоровые вазы, мраморные часы, бронзовые подсвечники, попавшие на грязный, мрачный рынок из какого-нибудь разрушенного и разграбленного дворца.

— Я хотел бы купить у вас что-нибудь в качестве подарка, — бросил он продавцу, который уже подобострастно закулил. — Свадебного подарка.

— Да? Очень хорошо, — принялся раскланиваться продавец. — Позвольте... для своей невесты, господин?

— Конечно же нет. Для моего друга.

Лео с беспристрастным высокомерием обвел взглядом великолепные и изысканные сокровища, которые должны бы были покоиться в музее на бархатных подушечках под стеклянными колпаками.

— Что-нибудь получше, — приказным тоном сказал он.

— Да, конечно, господин, — продолжал раскланиваться продавец, — что-нибудь прекрасное для любимого друга.

— Нет, для человека, которого я ненавижу. — Лео указал на голубую вазу с золотой инкрустацией, стоящую в углу: — Что это?

— А, это, господин! — Продавец в нерешительности потянулся за вазой, а затем медленно и осторожно перенес ее на прилавок; ее цена могла ошеломить даже покупателя в импортном пальто. — Это настоящий севрский фарфор, господин, — прошептал продавец, смахивая с вазы паутину и демонстрируя изящное фабричное клеймо у ее основания. — Великолепная вещь, господин, — продолжал он шепотом, — роскошная вещь.

— Я беру ее, — сказал Лео.

У продавца при виде бумажника в облаченных в перчатки руках покупателя, который даже не справился о цене, пересохло в горле, и он судорожно принялся трепать свой галстук.

* * *

— Товарищи, в этот мирный период построения государства рабочий класс является передовым ударным отрядом нашей революции. Образование широких масс рабочих и крестьян представляет

в это историческое время задачу огромной важности. Мы, руководящие работники экскурсионных центров, являемся частью огромной мирной армии воспитателей и педагогов, вооруженных принципами практической методологии исторического материализма, соответствующих духу советской действительности, призванных...

Кира сидела в девятом ряду, на стуле, который грозил развалиться под ней в любую минуту. Собрание экскурсоводов подходило к концу. Люди вокруг Киры, устало опустив головы, украдкой посматривали на большие настенные часы, висевшие над головой выступающего. Кира еще пыталась вслушиваться; она внимательно следила за движением губ оратора, стараясь уловить каждое слово, сожалея о том, что он говорит недостаточно громко. Однако произносимая речь не могла заглушить голоса, которые крутились в ее памяти: первый — в телефонной трубке, в котором чувствовалась плохо скрываемая мольба: «Кира, почему мы с тобой так редко видимся?» — и второй — высокомерный, раздающийся ночью в темноте ее комнаты: «Что ты скажешь насчет всех этих твоих визитов, Кира? Ты утверждала, что была вчера у Ирины. Но тебя у нее не было». Как долго она еще сможет продержаться таким образом? Она не видела Андрея уже три недели.

Вокруг Киры зашумели стулья, собрание закончилось. Она поспешно бежала вниз по лестнице.

— ...Да, прекрасная речь, — ответила она на ходу одной из коллег. — Конечно, просвещение пролетариата — наша основная задача...

Это было легко. Это было легко после того, как она смогла, смотря прямо в глаза Лео, рассмеяться и сказать: «Лео, к чему все эти глупые вопросы? Ты что, не доверяешь мне?», а самой тем временем прикрывать на груди след от поцелуя Андрея.

Она примчалась домой. Посреди комнаты Мариши стояли два чемодана и плетеная корзина; зияли пустотой выдвинутые ящики шкафа, сорванные со стен плакаты были свалены в кучу на чемоданы. Мариши дома не было.

В комнате Киры прислуга отбежала от гудящего на окне примуса, чтобы помочь Кире снять пальто.

— Лео еще не вернулся? — поинтересовалась Кира.

— Нет, госпожа.

Кирино пальто было старым, со стершимися заплатами на локтях. На воротнике ее платья с обтрепанными краями виднелись сальные пятна. Кира быстрым движением сняла платье через голову и кинула его прислуге. Затем, поправив взъерошенные волосы, она опустилась на кровать, сбрасывая старые туфли со сбитыми каблуками

и стаскивая штопаные чулки. Прислуга наклонилась над кроватью и, помогая Кире одеться, нежно заскользила по вытянутым стройным ножкам девушки, натягивая шелковые чулки и туфельки на высоком каблуке; затем прислуга поднялась и подала Кире элегантное шерстяное платье темного цвета. После чего убрала старое пальто и туфли в платяной шкаф, в котором висело четыре новых пальто и стояло шесть пар новых туфель.

Однако, чтобы сохранить звание советского служащего и не потерять работу, Кира вынуждена была ходить в обносках.

На столе стоял роскошный букет белых лилий — подарок Лео. Белые лепестки были слегка покрыты копотью, летящей из примуса. У Киры теперь была прислуга, хотя кухни в их квартире не было. Прислуга приходила на пять часов каждый день и готовила на примусе у окна.

Вскоре пришел Лео и принес с собой завернутую в газету вазу из севрского фарфора.

— Ужин еще не готов? — спросил он. — Сколько раз я говорил тебе, что не переносу копотю этой штуки?

— Все готово, господин, — прислуга, на молодом круглом лице которой были выражены испуг и повинование, поспешно выключила примус.

— Ты купил подарок? — спросила Кира.

— Вот он. Не разворачивай. Можешь случайно разбить. Давай ужинать. Ничего страшного, что мы опоздаем.

После ужина прислуга, помыв посуду, ушла. Кира устроилась перед зеркалом и стала аккуратно подводить губы настоящей французской помадой.

— Я полагаю, ты не собираешься идти в этом платье? — спросил Лео.

— Почему бы и нет.

— Ни в коем случае. Наденешь то черное, бархатное.

— Но мне абсолютно не хочется наряжаться. К Виктору на свадьбу — ни за что. Если бы не дядя Василий, я бы вообще туда не пошла.

— Ну раз уж мы идем, я хочу, чтобы ты выглядела лучше всех.

— Но, Лео, это неразумно. Там будет много товарищей Виктора по партийной работе. К чему показывать им, что у нас есть деньги?

— Ну и что? Да, у нас есть деньги. Пусть они увидят это. Я не хочу выглядеть убого ради каких-то голодранцев.

— Хорошо, Лео. Сделаю так, как ты считаешь нужным.

Лев оценивающе взглянул на Киру, когда она встала перед ним строгая, как монахиня, грациозная, как маркиза семнадцатого века.

Ее руки на фоне мягкого темного бархата казались еще более белыми и изящными. Он одобрительно улыбнулся и взял ее кисть так, словно она была благородной дамой на приеме при дворе, и поцеловал ее ладонь так, словно она была куртизанкой.

— Лео, что ты им купил? — поинтересовалась Кира.

— Да так, обычную вазу. Можешь взглянуть на нее, если хочешь. Она развернула газету и воскликнула в изумлении:

— Лео! Но это... это стоит целое состояние!

— Естественно. Это же севрский фарфор.

— Лео, мы не можем подарить им это. Нам нельзя показывать им, что мы способны покупать подобные вещи. Это действительно очень опасно.

— А, чепуха.

— Лео, ты играешь с огнем. К чему делать такие подарки на глазах у всех этих коммунистов?

— Именно потому, что они коммунисты.

— Но они же знают, что обыкновенный частный торговец не может позволить себе таких подарков.

— Прекрати нести вздор!

— Отнеси эту вазу назад и обменяй ее.

— Я не сделаю этого.

— В таком случае я отказываюсь идти к Виктору.

— Кира...

— Лео, пожалуйста!

— Ну, хорошо, ладно!

Он схватил вазу и грохнул ее об пол. Она разлетелась на мелкие блестящие кусочки. Кира от неожиданности и изумления ахнула. Лео засмеялся:

— Ну, вот и все. Пойдем. По дороге ты что-нибудь купишь.

Кира стояла и смотрела на осколки.

— Лео, это же стоит таких денег... — уныло произнесла она.

— Ты можешь выкинуть из головы это слово — «деньги»? Неужели мы не можем спокойно жить, не думая все время только о них?

— Но ты же обещал, что мы будем экономить. Деньги нам еще пригодятся. Ведь все приходит и уходит.

— Ерунда! У нас еще есть время для того, чтобы начать экономить.

— А знаешь ли ты, что значат все эти сотни рублей, которые лежат сейчас здесь, на полу? Неужели ты не помнишь, что за каждую копейку тебе приходится рисковать жизнью?

— Конечно же, я помню это. Это то, чего я никогда не забуду. Но откуда я знаю, будет ли у меня вообще будущее? К чему тогда все

эти сбережения? Может, они мне никогда не понадобятся. Я достаточно долго тряса над деньгами. Имею я право пустить все на ветер, если мне этого хочется, — пока еще есть такая возможность?

— Хорошо, Лео. Пойдем, мы и так уже опоздали.

— Пойдем. Только не хмурься. Ты слишком красива, чтобы хмуриться.

* * *

Гостиная у Дунаевых была украшена цветами: на столе стоял букетик астр, на буфете красовались маргаритки, на пианино установили вазу с настурциями. Пианино взяли на вечер у соседей; и после того, как его втащили, на паркете у самой двери остались глубокие царапины.

На Викторе был скромный темный костюм, который соответствовал выражению скромного счастья на его лице. Он обменивался рукопожатиями и, принимая поздравления, улыбался и грациозно раскланивался. На Марише было розовое шерстяное платье с белой розочкой на плече. Она была смущена и следила за движениями Виктора с робкой и недоверчивой гордостью; при каждом комплименте со стороны гостей Мариша заливалась румянцем и торопливо кланялась, обменивалась рукопожатиями с людьми, которых она совсем не знала, и рассеянным, блуждающим взглядом пыталась найти среди гостей Виктора.

Гости входили, шаркая ногами, и, пробормотав наилучшие пожелания молодым, рассаживались, чувствуя себя не очень уютно. Друзья семьи держались по отношению к партийным настороженно, обращаясь к ним с поддельной доброжелательностью. Партийные в обществе друзей Виктора из буржуазного прошлого чувствовали себя неуверенно и стесненно, отчаянно пытались быть вежливыми. На фоне сгорбленной фигуры хранящего молчание Василия Ивановича, взгляд которого был наполнен немой тоской, и Ирины в самом лучшем залатанном платье, чьи движения были слишком отрывисты, а резкий голос звучал с поддельной веселостью, все заверения гостей о счастье звучали неестественно.

На маленькой Асе был розовый бант, собиравший прядь жестких волос, которая все время спадала ей на нос. Время от времени девочка, смотря на кого-либо из гостей, начинала хихикать, покусывая при этом костяшки пальцев. Иногда с неприкрытым любопытством она таращила глаза на Маришу. Девочка вертелась вокруг стола, на котором были выставлены разнообразны свадебные подарки: бронзовые часы, фарфоровая пепельница в форме черепа,

новый примус, полное собрание сочинений Ленина в красном бумажном переплете. Ирина внимательно присматривала за Асей, чтобы вовремя успеть оттащить ее от буфета или от блюд со сладостями.

Галина Петровна ходила за Виктором по пятам, похлопывая его по плечу и повторяя:

— Я так счастлива, так счастлива, мой мальчик!

Лицо Виктора застыло в широкой улыбке, обнажающей его белые сверкающие зубы. Ему не нужно было ей улыбаться в ответ; он всего-навсего поворачивал голову в ее сторону и кивал в знак одобрения, не меняя при этом выражения лица.

Когда Виктору удалось избавиться от нее, Галина Петровна принялась похлопывать по плечу Василия Ивановича, приговаривая:

— Я так счастлива, так счастлива, Василий. Ты можешь гордиться своим сыном.

Василий Иванович кивал головой с таким видом, будто ничего не слышит.

Первым, кого Кира увидела, войдя в гостиную, был Андрей, стоявший в одиночестве у окна.

Кира сразу же остановилась в дверях. Глаза Андрея и Киры встретились. Андрей медленно перевел взгляд на того, кто держал девушку под руку. Лео высокомерно ухмыльнулся.

Кира направилась прямо к Андрею. В своем великолепном темном платье она держалась грациозно, гордо и уверенно; протянув руку, Кира громко обратилась к нему:

— Добрый вечер, Андрей. Очень рада вас видеть.

Пока они обменивались рукопожатием, Андрей подал Кире знак глазами, что все понимает и будет очень осторожен. Кира дружески-беспристрастно улыбнулась ему.

Лео медленно подошел к ним; его лицо выражало безразличие. Он кивнул в знак приветствия Андрею и, нагло улыбаясь, вежливо поинтересовался:

— Вы тоже друг Виктора?

— Такой же, как и вы, — ответил Андрей.

Кира не спеша пошла поздравить Виктора и Маришу. Она приветствовала знакомых, улыбаясь и раскланиваясь, перебросилась несколькими словами с Ириной. Она знала, что молодой человек у окна не сводит с нее глаз; Кира не оборачивалась в его сторону.

Она переговорила со множеством гостей и затем как бы случайно снова подошла к Андрею; Лео разговаривал с Лидией в другом конце комнаты.

Андрей страстно зашептал:

— Виктор всегда меня приглашает. Но это первый раз, когда я согласился прийти. Я знал, что ты будешь здесь. Кира, уже три недели, как...

— Я знаю. Извини, Андрей. Но я не могла. Я объясню тебе все позже. Я рада видеть тебя, но будь осторожен.

— Я обещаю. Какое красивое платье, Кира. Новое?

— О... да. Это подарок моей мамы.

— Кира, ты всегда ходишь в гости с ним?

— Ты имеешь в виду Лео?

— Да.

— Я надеюсь, ты не собираешься решать за меня, с кем я могу...

— Кира! — Он был удивлен холодной решительностью в ее голосе; он принялся извиняться: — Кира, прости. Конечно, я не хотел... Извини меня. Я понимаю, что у меня нет никаких прав на то... Но ты же знаешь, он мне никогда не нравился.

Она весело улыбнулась, как будто ничего и не произошло, и, прячась в тень оконной ниши, нежно погладила его по руке.

— Не волнуйся, — прошептала она, удаляясь от Андрея. Поправляя волосы, она обернулась, бросив в его сторону взгляд, пронизанный таким теплым сочувствием и пониманием, что Андрей, взволнованный от того, что им впервые вместе приходилось скрывать от других свою тайну, затаил дыхание.

Василий Иванович сидел в одиночестве под лампой в углу комнаты, и от света, проникающего сквозь красный атласный абажур, его седые волосы казались розовыми. Он смотрел на шаркающие по полу ноги молодых коммунистов в армейских сапогах, на голубой туман клубившегося под потолком табачного дыма, струи которого медленно циркулировали, подобно густой кипящей смеси, на сияющий сквозь дым золотой крестик Лидии, который она носила на черной бархатной ленте.

Кира подошла к Василию Ивановичу и молча села рядом. Он похлопал ее по руке. Он знал, что Кира все понимает. Затем, словно продолжая вслух свои размышления, Василий Иванович произнес:

— ...Я бы сильно не возражал, если бы он любил ее. Однако же нет... Знаешь, Кира, когда он был маленьким мальчиком с такими большими черными глазами, я, бывало, смотрел на тех благородных дам с величием императриц, которые были моими клиентками, и гадал, какая же из них является матерью подрастающей где-то красавицы, которая в один прекрасный день станет еще одной моей дочерью... Вы уже имели удовольствие познакомиться с родителями Мариши, Кира?

Галина Петровна не отпускала Лео.

— ...Я так рада, Лео, что дела у вас идут хорошо, — оживленно говорила она, — я всегда верила, что у такого способного молодого человека, как вы, никогда не будет никаких проблем. У Киры изумительное платье. Я счастлива видеть, что вы заботитесь о моей девочке...

Виктор примостился на подлокотнике кресла, в котором сидела рыжеволосая Рита Экслер. Он наклонился поближе к девушке, держа в руках свою сигарету, от которой она пыталась прикурить. Рита только что оформила развод со своим третьим мужем; она прищурилась, глядя из-под длинной рыжей челки, и принялась нашептать что-то очень конфиденциальное. Виктор и Рита рассмеялись.

Мариша неуверенно подошла и с грубоватым кокетством взяла Виктора за руку. Он отдернул ее и раздраженно заметил:

— Мы не должны оставлять без внимания наших гостей, Мариша. Посмотри, Товарищ Соня совсем одна. Пойди и поговори с ней.

Мариша безмолвно повиновалась. Рита сквозь облако дыма проводила ее взглядом; затем она приподняла свою коротенькую юбку и скрестила длинные худые ноги.

— Откровенно говоря, — холодно и решительно заявила Товарищ Соня, — я не могу одобрить твой выбор, товарищ Лаврова. Настоящий пролетарий не должен сочетаться браком с представителем другого класса.

— Но, позвольте, Товарищ Соня, — с изумлением возразила Мариша, — Виктор же член партии.

— Я всегда говорила, что условия приема в партию недостаточно строги, — ответила Товарищ Соня.

Мариша удрученно бродила по комнате среди гостей. Никто не обращал на нее внимания, да и она сама не могла найти темы для разговора с ними. Заметив Василия Ивановича, стоящего в одиночестве у буфета, выстраивая в один ряд бутылки и бокалы, Мариша подошла к нему и нерешительно улыбнулась. Василий Иванович с изумлением посмотрел на нее.

— Я понимаю, что не нравлюсь вам, Василий Иванович. Но вы же видите, что я... я очень его люблю, — решительно выпалила Мариша, заливаясь от смущения румянцем.

Василий Иванович посмотрел на нее и голосом, не выражающим никаких чувств, сказал:

— Это превосходно, дитя.

Угрюмые и мрачные члены Маришиной семьи, расположившись в темном углу комнаты, чувствовали себя очень неловко. Ее отец — сутулый седой мужчина в рабочей куртке и залатанных штанах — сидел, обхватив мозолистыми руками колени; его суровое

лицо было наклонено вперед, пристальным и недовольным взглядом он изучал комнату; его темные, по-юношески сверкающие глаза не соответствовали высохшему лицу. Мать Мариши робко выглядывала из-за спины мужа: в своем коленкоровом платье, украшенном цветочным узором, она выглядела мертвенно-бледной и совершенно бесформенной, лицо ее было того тусклого серого цвета, который приобретает прибрежный песок, размытый многочисленными дождями. Младший брат Мариши, долговязый мальчик лет восьми, стоял, держась за юбку матери, и бросал в сторону маленькой Аси недобрые, подозрительные взгляды.

Виктор подошел к Павлу Серову, стоявшему в окружении трех мужчин в кожаных куртках. Обняв одной рукой Серова, а другой обхватив секретаря их партийной ячейки, Виктор дружески-доверительно склонился над ними; его темные глаза засияли. Товарищ Соня, подойдя поближе к группе мужчин, расслышала шепот Виктора:

— ...да, я горжусь семьей моей жены и их вкладом в дело революции. Вы знаете, что при царе ее отец был сослан в Сибирь.

— Товарищ Дунаев очень сообразительный человек, — заметила Товарищ Соня.

Ни Виктору, ни Серову не понравился ее тон.

— Виктор — один из наших лучших работников, Соня, — возразил Серов.

— Я сказала, что товарищ Дунаев очень сообразительный человек, — повторила она и добавила: — У меня не возникает никаких сомнений насчет его классовой преданности. Я уверена, что он не имеет ничего общего с такими аристократами, как вон тот гражданин по фамилии Коваленский.

Павел Серов пристально посмотрел на высокую фигуру Лео, разговаривавшего с Ритой Экслер, и затем спросил у Виктора:

— Так это он — Лев Коваленский?

— Да. Он очень близкий друг моей двоюродной сестры. А что?

— Нет, ничего. Все в порядке.

Лео заметил Киру и Андрея, сидевших рядом на подоконнике. Он принес Рите свои извинения и удалился; девушка раздраженно пожалала плечами. Неторопливым шагом подойдя к Кире и Андрею, Лео спросил:

— Не помешаю?

— Конечно нет, — ответила Кира.

Лео присел рядом с Кирой. Он вытащил золотой портсигар и, открыв его, предложил Кире сигарету. Она отрицательно покачала головой. Затем он протянул портсигар Андрею. Тот не отказался. Лео предложил Андрею зажигалку.

— Социология является излюбленной наукой вашей партии, — начал Лео, обращаясь к Андрею, — не находите ли вы, товарищ Таганов, что эта свадьба представляет собой особенно интересный случай?

— Почему вы так думаете, гражданин Коваленский?

— На данном примере мы можем наблюдать неизменность человеческой природы. Брак по социальным мотивам является одним из старейших обычаев человечества. Всегда считалось целесообразным жениться или выходить замуж за представителя правящего класса.

— Но не забывайте, — возразил Андрей, — что в данном случае жених и невеста принадлежат к одной и той же социальной группе.

— Что за вздор! — вмешалась в разговор Кира. — Они просто любят друг друга.

— Любовь, — заметил Лео, — не является частью философии партии товарища Таганова, не так ли?

— Этот вопрос никоим образом не должен интересовать вас, — ответил Андрей.

— Почему же? — поинтересовался Лео, глядя на своего собеседника. — Это как раз то, что я в данный момент пытаюсь выяснить, — с расстановкой добавил он.

— И что же, данная постановка вопроса противоречит вашей теории в этой области?

— Отнюдь, даже подтверждает ее. Видите ли, моя теория заключается в том, что зачастую предметом сексуальных вожделений членов вашей партии становятся представители слоев общества более высоких, чем те, к которым они сами принадлежат, — глядя в глаза Андрею, Лео легким движением сигареты указал на Маришу, стоящую на другом конце комнаты.

— Если подобное происходит, то такие союзы не всегда оказываются несчастливymi, — рассудительно сказал Андрей. Он посмотрел прямо на Киру, но рукой указал в сторону Виктора.

— Мариша выглядит счастливой, — обратилась Кира к Лео. — Почему тебя это возмущает?

— Меня возмущает самонадеянность друзей... — начал Лео.

— ...которые не знают, где пролегают границы дружеских отношений, — продолжил вместо него Андрей.

— Андрей, — отозвалась Кира, — в данный момент мы нетактичны по отношению к... Марише.

— Прошу прощения, — парировал он. — Я уверен, что гражданин Коваленский понял меня правильно.

— Понял, — сказал Лео.

Ирина поставила на поднос бокалы, по которым Василий Иванович разлил вино. Затем она принялась раздавать их гостям с кроткой, беспристрастной улыбкой на лице; Ирина хранила молчание, что было ей не свойственно.

Подносы опустели молниеносно; гости с нетерпением подняли в руках бокалы. Виктор поднялся, и болтовня мгновенно утихла. Воцарилось торжественное молчание.

— Дорогие друзья, — зазвучал его ясный, вкрадчивый голос. — У меня не хватает слов для того, чтобы выразить вам всем глубокую благодарность за любезность, оказанную вами в этот знаменательный день моей жизни. Давайте поднимем бокалы за человека, который дорог моему сердцу не только как родственник, но и как человек, являющийся блестящим примером нам, молодым революционерам, вступающим на путь служения делу пролетариата, как человек, посвятивший этому всю свою жизнь, мужественно выступая против царской тирании, проведя лучшие годы своей жизни в ссылке в суровых условиях Сибири, борясь за свободу народа. И поскольку все это для всех нас является наивысшей целью, давайте вначале выпьем за одного из самых ярких борцов за победу власти рабочих и крестьян, за горячо любимого мною тестя Глеба Ильича Лаврова!

Разразились бурные аплодисменты, послышался звон бокалов, взоры устремились на ту сторону стола, где сидел, мрачно ссутулившись, отец Мариши. Лавров медленно поднялся, держа в руках бокал. На его лице не было улыбки; он поднял свою огрубелую руку, требуя тишины, в которой зазвучал его твердый и размеренный голос:

— Послушайте, вы, сопливая молодежь. Я был сослан в Сибирь потому, что, видя, как люди умирают от голода и нищеты под царским сапогом, я выступал за свободу. Но до сих пор люди умирают от голода и нищеты и гибнут, втоптанные в грязь. Только теперь сапоги — красного цвета. Я провел четыре года в ссылке не для того, чтобы сегодня банда упоенных властью кровожадных безумцев, имеющих о свободе еще более смутное представление, чем поборники царизма, угнетала народ сильнее, чем когда бы то ни было! Ну что же, пейте что хотите, пейте до тех пор, пока не потеряете остатки вашей нечистой совести, пейте за что хотите. Но когда вы будете пить за Советы, не вздумайте пить за меня!

Воцарившееся в комнате гробовое молчание внезапно нарушил звучный хохот Андрея Таганова.

Павел Серов вскочил, положив руку на плечо Виктору, и, поднимая бокал, закричал во весь голос:

— Товарищи, даже в рядах рабочих есть предатели! Давайте выпьем за тех, кто верен нашему делу!

Затем шум стал нарастать, послышался звон бокалов, гости стали говорить громко и похлопывать друг друга по плечу, наконец все слилось в общий гул. На Лаврова никто не обращал внимания.

Только Василий Иванович медленно подошел к нему и посмотрел прямо в глаза. Затем он протянул бокал и предложил:

— Давайте выпьем за счастье наших детей, несмотря на то что вы не верите, что они будут счастливы. Я ведь в это тоже не верю.

Они выпили.

На другом конце комнаты Виктор, схватив Маришу за руку, потащил ее в сторону, шепча ей в ухо побелевшими губами:

— Ты, дура набитая! Почему ты не рассказала мне о нем раньше?

— Я боялась, — лепетала Мариша, щурясь от нахлынувших на глаза слез. — Я знала, что тебе это не понравится, дорогой... Дорогой, ты не должен был...

— Заткнись!

Пили одну рюмку за другой. Виктор припас большое количество бутылок, и Павел Серов помогал откупоривать их. Подносы со сладостями были опустошены. На столе грудились грязные блюда. Было разбито несколько бокалов. Под потолком, подобно неподвижному голубому облаку, висел дым от папирос.

Семья Мариши ушла. Галлина Петровна, которую повело в сон, пыталась изо всех сил держать голову прямо. Александр Дмитриевич похрапывал, опершись головой на подлокотник кресла. Маленькая Ася заснула в коридоре на чемодане, ее мордашка была выпачкана в шоколадной глазури. Ирина сидела в углу комнаты, равнодушно наблюдая за гостями. Товарищ Соня сидела под красной лампой, уткнувшись в газету. Виктор и Павел стояли возле буфета в окружении еще нескольких человек. Они звенели бокалами и приглушенными голосами пытались напевать революционные песни. Мариша бесцельно слонялась по комнате; ее нос блестел, белая роза на плече поблекла и сникла.

Лидия обняла Маришу за талию.

— Великолепно, — произнесла Лидия низким печальным голосом, — это просто великолепно.

— И что же, по-твоему, великолепно? — поинтересовалась Мариша.

— Любовь, — ответила Лидия. — Романтика. Вот именно: романтика... Сегодня, к сожалению, редко можно встретить любовь. Избранники для дара сего немногочисленны... Мы скитаемся по нашему бренному миру в поисках романтики. Но никаких прекрасных чувств, увы, не осталось. Приходила ли тебе когда-нибудь в голову мысль, что никаких прекрасных чувств сегодня не существует?

— Это ужасно, — отозвалась Мариша.

— И печально, — вздохнула Лидия. — Да, это действительно очень печально... Тебе, девочка, очень повезло... Но все же это печально... Послушай, я сыграю для тебя что-нибудь прекрасное... Что-нибудь прекрасное и печальное...

Она неуверенно принялась перебирать по клавишам, наигрывая какой-то цыганский романс; ее пальцы то судорожно неслись по клавиатуре, извлекая резкие звуки, то задерживались на протяжных печальных аккордах, срываясь временами на фальшивую ноту. На протяжении всей игры Лидия темпераментно скидывала голову в такт музыке.

Андрей прошептал Кире:

— Пойдем, Кира. Позволь мне отвезти тебя домой.

Он указал на Лео, который сидел на кресле на другом конце комнаты, высоко запрокинув голову. Одной рукой он обнимал за талию Риту; другая его рука лежала на плече хорошенькой блондинки, которая заливалась смехом после каждого произнесенного им слова. Голова Риты покоилась на плече Лео, а ее рука ласкала его взъерошенные волосы.

Кира молча поднялась и, оставив Андрея в одиночестве, направилась к Лео. Подойдя к нему, она мягким голосом сказала:

— Лео, нам пора ехать домой.

Он сонно отмахнулся от нее:

— Оставь меня в покое. Убирайся отсюда.

Вдруг Кира заметила, что Андрей стоит рядом с ними.

— Вы бы выбирали выражения, Коваленский, — бросил он.

Лео оттолкнул Риту, а заливающаяся смехом блондинка соскользнула на пол. Нахмурившись, он сказал, указывая пальцем на Киру:

— А тебе лучше вообще держаться подальше от нее. Тебе следует прекратить посылать ей подарки, часы и все такое прочее. Мне это не нравится.

— Какое право вы имеете выказывать свое недовольство этим?

Лео встал, покачиваясь и зловеще улыбаясь:

— Какое право? Я тебе скажу, какое право. Я и...

— Лео, — решительно вмешалась Кира, — она говорила громко, взвешивая каждое слово и не сводя с него глаз, — на тебя все смотрят. Итак, что ты хотел сказать?

— Ничего, — огрызнулся Лео.

— Если бы вы не были пьяны, то... — начал Андрей.

— То — что? А ты выглядишь трезвым. Но все же ты недостаточно трезв, раз ставишь себя в дурацкое положение, волочась за женщиной, к которой ты даже не имеешь права подойти.

— Ну так слушайте, вы...

— Тебе лучше не перебивать, Лео, — вставила Кира. — Андрей хочет тебе что-то сказать прямо сейчас.

— И что же ты хочешь мне сказать, товарищ гэпэушник?

— Ничего, — ответил Андрей.

— Тогда лучше оставь ее в покое.

— Я не сделаю этого, поскольку вы потеряли всякое уважение к...

— Получается, что *ты* защищаешь *ее* от *меня*? — расхохотался Лео. Его смех был оскорбительнее пощечины.

— Пойдем, Кира, — сказал Андрей, — я отвезу тебя домой.

— Хорошо, — откликнулась Кира.

— Никуда она с тобой не пойдет! — взревел Лео. — Ты просто...

— Нет, пойдет! — обрвала его на полуслове Ирина, внезапно возникшая между двумя мужчинами. Лео изумленно уставился на нее. С силой развернув Лео и подталкивая его к оконной нише, Ирина кивнула Андрею в знак того, чтобы он поторапливался. Андрей взял Киру за руку и повел ее из комнаты; она следовала за ним покорно, не говоря ни слова.

— Ты просто безумец, — прошептала Ирина Лео в лицо. — Чего ты хочешь этим добиться? Дать им всем понять, что она твоя любовница?

Лео пожал плечами и безразлично засмеялся:

— Хорошо. Пусть она идет с кем хочет. Если она полагает, что я ревную, то она ошибается.

Кира, сидя в пролетке, хранила молчание; ее голова была запрокинута назад, глаза закрыты.

— Кира, — прошептал Андрей, — этот человек тебе не друг. Тебе не нужно с ним встречаться.

Она продолжала молчать.

Когда они проезжали мимо дворца с садом, Андрей спросил:

— Кира, ты не очень устала? Может быть... заедем ко мне домой?

— Нет, я не устала. Поедем к тебе, — безразлично ответила Кира.

* * *

Когда Кира вернулась домой, Лео спал в одежде, раскинувшись на кровати. Он приподнял голову и посмотрел на Киру.

— Где ты была, Кира? — поинтересовался он слабым, беспомощным голосом.

— Просто... просто каталась, — ответила она.

— Я думал, что ты ушла. Навсегда... Что я наговорил сегодня вечером, Кира?

— Ничего, — прошептала Кира, опускаясь рядом с Лео на колени.

— Тебе следует уйти от меня, Кира... О, если бы ты могла меня бросить... Но ты не сделаешь этого... Ты не покинешь меня, Кира?.. Кира? Не покинешь?

— Конечно, нет, — прошептала она. — Лео, ты можешь перестать заниматься своей коммерцией?

— Нет. Слишком поздно. Но до того... до того, как они возьмут меня... Я буду с тобой, Кира... Кира... Кира... я люблю тебя... ты — все еще моя...

— Конечно... конечно, — отозвалась Кира, прижимая его голову к своей груди. На фоне ее черного бархатного платья лицо Лео казалось белым как мел.

ГЛАВА VI

— Товарищи! Наша страна окружена лагерем недругов, которые ждут гибели Союза Советских Социалистических Республик и организуют против нас многочисленные заговоры. Но более серьезную опасность для нас представляют не происки империализма, а враждебные элементы внутри страны и раздоры в наших рядах.

Наглухо закрытые высокие окна с решетчатыми рамами упирались в серую пустоту осеннего неба. Колонны из бледно-золотистого мрамора уходили под мрачные своды зала. С одного из походивших на угрюмые иконы портретов — всего их было пять — на толпу кожаных курток и красных косынок взирал вождь пролетариата, товарищ Ленин. В парадной части зала был установлен высокий аналой, походивший на длинное тонкое древко факела; над аналоем, подобно пламени этого факела, висело знамя из красного бархата, на котором золотыми буквами было написано: «Всесоюзная коммунистическая партия — организатор и руководитель борьбы за свободу во всем мире!» Раньше этот зал был дворцом, сегодня он походил на храм; присутствующие напоминали армию, которая с напряжением и вниманием ожидает приказов от своих командиров. Шло партийное собрание.

У стоявшего за аналоем председательствующего была маленькая черная бородка, на носу его сверкало в полумраке пенсне; он часто жестикулировал длинными руками с очень маленькими кистями. В зале перед ним все было неподвижно, только капли дождя медленно стекали по оконным стеклам.

— Товарищи! Очень серьезная опасность, которую я именую чрезмерным идеализмом, угрожает нам с каждым днем все больше и больше. Мы все слышали, какие обвинения бросают нам заблудшие жертвы этого опасного течения. Они заявляют, что коммунизм не состоялся и мы якобы отказались от своих принципов,

начав проведение новой экономической политики, и что коммунистическая партия сделала шаг назад, отступая перед новой формой индивидуального обогащения, которая теперь царит в нашей стране. Они утверждают, что мы удерживаем в своих руках власть исключительно ради самой власти, а идеалы свои предали забвению. В этом состоит суть последних заявлений слабаков и трусов, пасующих перед действительностью. Да, действительно, мы вынуждены были отказаться от политики военного коммунизма, в результате которой наша страна оказалась на грани голодной смерти. Конечно, нам пришлось пойти на уступки частным предпринимателям. Ну и что? Отступление не означает поражения. Временный компромисс нельзя считать полной капитуляцией. Бесхребетные и слабовольные социалисты других стран, продавшие трудящиеся массы капиталистам-хозяевам, по существу предали нас. Была сорвана мировая революция, которая сделала бы возможным построение коммунизма на всей планете. А нам, соответственно, пришлось пойти на временный компромисс. Мы вынуждены были отказаться от нашей теории всеобщего коммунизма и спуститься с небес на землю для решения прозаической задачи реконструкции экономики. Наверное, некоторые полагают, что это будничная и нетворческий процесс, однако верные своему делу коммунисты осознают историческую важность нашего нового экономического курса. Они понимают революционное значение продуктовых карточек, примусов и очередей в кооперативных магазинах.

Наш великий вождь, товарищ Ленин, еще несколько лет назад со свойственной ему прозорливостью предупреждал нас об опасности «чрезмерного идеализма», который сегодня овладел умами наших лучших представителей. Под влиянием подобных заблуждений из наших рядов выпал один из наиболее значительных партийных деятелей — Лев Троцкий. Никакие заслуги перед пролетариатом не смогут искупить его вины за предательское заявление, что мы якобы изменили идеям коммунизма. Его сторонники были выведены из наших рядов. Вот почему мы вынуждены были начать партийную чистку, которая длится по сей день. Мы должны неуклонно следовать курсом, намеченным партией, — и не обращать внимания на сомнения, высказываемые теми немногими, которые, выступая с позиций своей так называемой «совести», являются приверженцами буржуазного индивидуализма. Нам не нужны эти эгоисты, которые испытывают неуместное в наши дни чувство гордости за мнимую чистоту своих убеждений. На нашей стороне те, кто не боится малых компромиссов. Твердолобые и железные коммунисты нам ни к чему. Сегодняшний коммунист должен быть гибок!

Идеализм, товарищи, хорош в разумных пределах. Злоупотребление им, подобно злоупотреблению хорошим вином, ведет к потере здравого смысла. Пусть это послужит предостережением всем тем членам нашей партии, которые до сих пор тайно сочувствуют Троцкому. Никакие предыдущие заслуги не спасут их в период следующей партийной чистки. Мы избавимся от предателей, независимо от того, кем они являются сейчас или кем они были в прошлом.

Разразились бурные аплодисменты. Зашевелились в рядах неподвижные до этого темные кожаные куртки, присутствующие поднялись со своих мест; собрание закончилось.

Народ собирался в группы, оживленно беседуя вполголоса. Смеялись приглушенно, прикладывая ко рту ладонь. Все украдкой поглядывали на стоящую в стороне отдельно ото всех группу из нескольких человек. За окнами с решетчатыми рамами серое небо постепенно превращалось в темно-синее.

— Поздравляю, дружище, — произнес кто-то, похлопывая Павла Серова по плечу. — Я слышал, тебя избрали заместителем председателя ленинского кружка Союза железнодорожников.

— Да, — скромно подтвердил Серов.

— Желаю тебе успехов, Павлуша. Ты как активист являешься для нас достойным примером для подражания. Тебе нечего бояться партийной чистки.

— Я всегда стремился к тому, чтобы моя верность партии не вызвала никаких сомнений, — без ложной скромности заметил Павел.

— Понимаешь, друг, до первого числа еще две недели, а я... ну, в общем... У меня нет денег... и я думал, что, может быть...

— Какие могут быть разговоры, — отозвался Серов, открывая бумажник, — с удовольствием.

— Ты никогда не отказываешь друзьям, Павлуша. И такое впечатление, что у тебя всегда достаточно...

— Я просто-напросто экономно расходую зарплату, — пояснил Павел.

Товарищ Соня, размахивая короткими руками, пыталась пробиться сквозь группу не отстающей ни на шаг, желающей пообщаться с ней молодежи.

— К сожалению, товарищ, об этом не может быть и речи, — раздраженно огрызалась она. — Хорошо, товарищ, я назначу вам встречу. Позвоните моему секретарю в Женотдел... Вам, товарищ, нужно последовать моему совету... Я бы с удовольствием выступила с речью на заседании вашего кружка, товарищ, но, к сожалению, в это время у меня лекция на рабфаке...

Виктор отвел в сторону бородатого докладчика.

— Две недели назад я получил диплом о высшем образовании, — обратился Виктор к нему. — Вы, конечно, понимаете, что моя сегодняшняя работа не соответствует рангу профессионального инженера и...

— Я понимаю, товарищ Дунаев, у меня на примете есть как раз то, что вам нужно. И откровенно говоря, вы, как никто другой, подойдете на эту должность. Для мужа моей хорошей знакомой Мариши Лавровой я постараюсь сделать все, что в моих силах. Однако... — Тут собеседник Виктора с осторожностью осмотрелся по сторонам, глядя поверх своего пенсне, и затем вплотную придвинулся к Виктору. — Между нами говоря, — продолжал он, понизив голос, — серьезное препятствие стоит на вашем пути. Вы, конечно, понимаете, что план ГОЭЛРО является самым грандиозным замыслом, осуществляемым сегодня у нас в стране, и подбор кадров для этого проекта производится с особой тщательностью. — Тут собеседник Виктора перешел на шепот: — Конечно, ваш партийный послужной список заслуживает уважения, но вы знаете, как это бывает, всегда найдутся люди, которые склонны подвергать все сомнению... Если быть до конца откровенным, то я должен признаться, что слышал, товарищ Дунаев, разговоры насчет вашего социального прошлого... вашего отца и всей семьи, в общем, вы понимаете, о чем идет речь... Однако не теряйте надежду. Я сделаю для вас все возможное.

Андрей Таганов одиноко стоял в проходе среди пустеющих кресел. Он не спеша застегивал пуговицы на своей кожаной куртке. Взгляд его был прикован к висящему над аналогом багровому знамени.

Когда Андрей спускался по лестнице, направляясь к выходу, его окликнула Товарищ Соня.

— Товарищ Таганов, а что вы думаете о выступлении? — задала она свой вопрос так громко, что находящиеся рядом обернулись.

— Оно было содержательным, — ответил Андрей с расстановкой, чеканя каждый слог.

— Ты не согласен с докладчиком?

— Мне бы не хотелось обсуждать это сейчас.

— Впрочем, тебя никто и не заставляет, — мило улыбаясь, заметила Соня. — В этом нет никакой необходимости. Я знаю — мы все знаем, — о чем ты думаешь. Но я хотела бы получить ответ на единственный вопрос: почему ты считаешь, что имеешь право на свое собственное суждение, идущее вразрез с мнением большинства? Значит ли для тебя что-нибудь мнение коллектива? А может быть, товарищ Таганов становится индивидуалистом?

— Извини меня, Товарищ Соня, но я тороплюсь.

— Не беспокойся, товарищ Таганов. Мне тебе нечего больше сказать. Только позволь дать тебе один дружеский совет: не забывай

о том, что, согласно сегодняшнему выступлению, может ожидать тех, кто считает себя умнее партии.

Андрей медленным шагом спустился к выходу. На улице было темно. Голубоватый отблеск освещал мрамор парадного подъезда. Свет от расположенного за толстым стеклом уличного фонаря проецировал на стену фасада клетки своих решетчатых рам, высвечивая блики сползающих дождевых капель. Уверенной поступью Андрей зашагал вниз по улице. Его хорошо слаженной фигуре с гордой осанкой впору были бы доспехи римского воина или крестоносца; однако сейчас эти атрибуты прошлого заменяла кожаная куртка. Вытянутая тень Андрея скользнула по освещенной части фасада и растворилась в темноте.

* * *

Придя домой, Виктор снял куртку и швырнул ее на стул в прихожей. Небрежно брошенные в угол калоши задели стоявший там зонтик, который с шумом упал. Виктор не потрудился его поднять.

Он прошел в гостиную. Мариша сидела за столом, зарывшись в грудe открытых книг. Склонив голову набок, она что-то старательно писала, время от времени в раздумье кусая карандаш. Василий Иванович, пристроившись у окна, увлеченно вырезал деревянную шкатулку. Ася возилась на полу с осколком разбитой вазы, в который были собраны опилки, картофельные очистки и шелуха от семечек.

— Ужин готов? — резким тоном поинтересовался Виктор. Мариша выпорхнула из-за стола навстречу Виктору и заключила его в свои объятия.

— Нет... не совсем, дорогой, — извиняясь, проговорила она. — Ирина была занята, а мне к завтрашнему дню необходимо подготовить этот доклад, поэтому...

Виктор раздраженно отбросил руки Мариши и вышел из комнаты, хлопнув дверью. По слабо освещенному коридору он направился к Ирине в комнату. Открыв дверь без стука, Виктор увидел Ирину, стоящую у окна в объятиях Саши; они целовались. Отпрянув от Саши, Ирина вскрикнула, задыхаясь от негодования:

— Виктор!

Не говоря ни слова, Виктор повернулся и захлопнул за собой дверь.

Он вернулся в гостиную и принялся орать на Маришу:

— Почему, черт возьми, кровать в нашей комнате не заправлена? В конце концов, мы живем не в свинарнике. Чем ты занималась весь день?

— Но, дорогой, — залепетала Мариша. — У меня... у меня были занятия на рабфаке, затем я ходила на собрание в Ленинскую библиотеку и на заседание редколлегии нашей стенгазеты. К тому же еще этот доклад по электрификации, который я должна прочесть завтра на собрании кружка. А поскольку я ничего не знаю по этому вопросу, мне пришлось перерыть гору литературы...

— Ладно, тогда сходи посмотри, можно ли что-нибудь быстро разогреть на примусе. Я хочу, чтобы меня кормили, когда я прихожу домой.

— Хорошо, дорогой.

Собрав поспешно книги, Мариша понеслась на кухню, прижимая к груди стопку тяжелых томов. В дверях две книги выпали у нее из рук. Мариша с трудом наклонилась, подняла их и выскочила из комнаты.

— Почему ты не устроишься на работу? — обратился Виктор к отцу.

— А в чем, собственно, дело, Виктор? — спросил он.

— Ни в чем. Абсолютно ни в чем. Просто глупо повесить на себя ярлык неработающего буржуа и находиться постоянно под подозрением.

— Виктор, мы давно с тобой не спорили о наших политических взглядах. Но если ты так настаиваешь, то тогда слушай: я никогда в жизни не стану работать на твое правительство.

— Но ты, отец, конечно, уже не надеешься на то, что...

— Я не желаю говорить о своих надеждах с членом партии. А если тебя обременяют расходы...

— Нет, отец, дело не в этом.

В гостиной появился Саша, собравшийся уже уходить и направляющийся в прихожую. Он попрощался за руку с Василием Ивановичем и, погладив по голове Асю, вышел из комнаты, не обращая никакого внимания на Виктора.

— Ирина, мне нужно поговорить с тобой, — окликнул Виктор сестру.

— Я слушаю, — отозвалась Ирина.

— Мне бы не хотелось, чтобы нас кто-нибудь слышал.

— Ничего страшного, пусть отец тоже послушает то, что ты хочешь мне сказать.

— Хорошо, так и быть. Меня беспокоит этот человек, — пояснил Виктор, указывая на только что закрывшуюся за Сашей дверь.

— Что так?

— Я надеюсь, ты оцениваешь всю сложность ситуации.

— Нет. О чем это ты?

— Ты понимаешь, с каким человеком ты находишься в любовной связи?

— Это не просто любовная связь. Мы с Сашей помолвлены.

Виктора передернуло, он открыл было рот, но не нашелся что сказать. Затем, стараясь не терять самообладания, он произнес:

— Ирина, это совершенно невозможно.

Ирина смотрела прямо в глаза Виктору; ее взгляд выражал угрозу и презрение.

— Неужели? Это почему же?

Виктор склонился к Ирине, уголки его рта подергивались.

— Послушай, — сказал он, — не пытайся что-либо отрицать — это бесполезно. Я прекрасно знаю, что представляет собой этот твой Саша Чернов. Он напрямую задействован во всевозможных контрреволюционных заговорах. Это, конечно, меня не касается, и я буду держать язык за зубами. Но скоро об этом узнают мои товарищи по партии. Ты же понимаешь, что грозит таким парням, как он. Неужели ты думаешь, что я буду спокойно смотреть, как моя сестра выходит замуж за контрреволюционера? Ты представляешь, каким образом это может сказаться на моей партийной репутации?

— Ты и твоя так называемая партийная репутация мне столь же безразличны, как дерьмо кошачье, — заявила Ирина.

— Ирина! — вмешался изумленный словами дочери Василий Иванович. Виктор обернулся в его сторону.

— Объясни же хоть ты ей! — взревел Виктор. — Эта семья тяжелым бременем ложится на мои плечи и мешает мне жить. Можете провалиться ко всем чертям, если вам так этого хочется, но вам ни за что не удастся потащить меня за собой!

— Успокойся, Виктор, — тихо произнес Василий Иванович, — ни ты, ни я не можем здесь ничего поделать. Твоя сестра любит этого человека. Она имеет право на личное счастье. Бог свидетель, за последние годы Ирина видела не очень-то много хорошего.

— Если ты так боишься за свою партийную шкуру, — заявила Ирина, — то я могу покинуть этот дом. Мне хватит того, что я зарабатываю. Голодать, получая то, что твои красные кружки называют прожиточным минимумом, я могу и одна! Если бы не отец с Асей, я давно бы уже ушла!

— Ирина! — взмолился Василий Иванович. — Только не это!

— Другими словами, — обратился Виктор к сестре, — ты не собираешься бросать этого глупого мальчишку?

— И к тому же, — выпалила Ирина, — я не собираюсь говорить о нем с тобой!

— Ну и хорошо, — рассудил вслух Виктор. — Мое дело — предупредить.

— Виктор! — взмолился Василий Иванович. — Ты же не причинишь Саше никакого вреда, правда?

— Не беспокойся, — съязвила Ирина, — он ничего ему не сделает. Это бы слишком скомпрометировало его партийную репутацию.

* * *

Встретив на улице Ваву Миловскую, Кира с трудом узнала ее. Вава сама робко подошла к Кире и пробормотала:

— Как дела, Кира?

На голове у Вавы была не чищенная уже несколько дней старая фетровая шляпа, переделанная из отцовского котелка с оборванными полями. Темный локон небрежно спадал на правую щеку Вавы, ее губы были неровно покрашены поблекшей помадой с фиолетовым оттенком, носик Вавы блестел, а в ее тусклых глазах сквозили усталость и безразличие.

— Вава, я так давно тебя не видела. Как ты живешь?

— Я... Я, Кира, вышла замуж.

— Да ну... Поздравляю! Когда?

— Спасибо. Две недели назад, — глаза Вавы избегали прямого взгляда. — Я, мы... мы не устраивали большой свадьбы и никого не приглашали. Присутствовали только самые близкие. Дело в том, что мы венчались в церкви, и Коля не хотел, чтобы об этом знали в учреждении, где он работает.

— Коля?

— Да, Коля Смяткин, ты, наверное, помнишь его, вы встречались с ним как-то на вечеринке у меня дома, хотя... Вот так, теперь я — гражданка Смяткина... Коля работает в Табачном тресте; должность не очень высокая, но ему обещают повышение... Он очень хороший... к тому же... любит меня... Вот я и решила выйти за него замуж.

— Ну и правильно, Вава.

— А чего ждать? Сегодня трудно жить одной, если ты не... Ты единственный человек, Кира, который не стал желать мне счастья в семейной жизни. И это мне в тебе нравится.

— Но я искренне хочу, чтобы ты была счастлива, Вава.

— А я счастлива! — вызывающе вскинув голову, заявила Вава. — Я очень счастлива!

На руках у Вавы были засаленные перчатки. Она держала Киру за локоть; все ее поведение выражало нерешительность. Вава

не могла осмелиться высказать что-то очень для нее важное. Как бы опасаясь, что Кира может уйти, она своими пальцами еще сильнее вцепилась в руку подруги. Затем, отводя взгляд, Вава прошептала:

— Как ты думаешь, Кира... а он счастлив?

— Виктор не из тех людей, которые дорожат счастьем, — ответила Кира.

— Я бы еще поняла... — удрученно продолжала Вава, — если бы она была хорошенькой... Но я видела ее... Впрочем, это меня совершенно не касается. Кира, приходите с Лео к нам в гости. Правда... мы еще не нашли себе квартиру. Я переехала к Коле, поскольку... у меня дома... В общем, ты понимаешь, отец был против, и я решила, что мне лучше уйти. А Коля живет в комнатухе, которая раньше служила кладовой в большом особняке, она такая маленькая, что... Но когда мы найдем квартиру, я вас обязательно приглашу... Ну ладно, мне нужно бежать. До свидания, Кира.

— Всего хорошего, Вава.

* * *

— Его нет дома, — сказала пожилая женщина с седыми волосами.

— Я подожду, — настаивала на своем Товарищ Соня.

Чувствуя себя очень неловко, женщина переступала с ноги на ногу и покусывала губу.

— Я не знаю, где вы будете его ждать, гражданка, — не сдавалась она. — У нас здесь нет приемной. Я всего-навсего соседка товарища Серова, и моя квартира...

— Я подожду товарища Серова у него в комнате.

— Но позвольте, гражданка...

— Я же сказала, что я подожду товарища Серова у него в комнате.

Товарищ Соня решительно зашагала по коридору, постукивая каблукми ботинок мужского фасона. Пожилая соседка посмотрела ей вслед, удрученно качая головой.

Когда Товарищ Соня вошла, находящийся в комнате Павел от неожиданности вскочил и в знак гостеприимства широко распротер руки.

— Соня, дорогая моя! — заулыбался он. — Это ты, дорогая, извини. Я был занят и распорядился... но если бы я знал, что...

— Все в порядке, — оборвала его Товарищ Соня. Она кинула на стол тяжелый портфель и, расстегнув куртку, сняла намотанный на шею мужской шарф.

— В моем распоряжении полчаса, — уточнила Товарищ Соня, посмотрев на часы. — Я тороплюсь в райком. Сегодня мы открываем

ленинский уголок. Мне нужно было встретиться с тобой по одному важному вопросу.

Серов предложил ей стул. Затем, накинув куртку, встал перед зеркалом. Поправляя галстук и причесываясь, Павел заискивающе улыбался.

— Павел, — начала Товарищ Соня, — у нас будет ребенок.

Серов опустил руки. Его лицо перекосилось.

— Что?..

— Я беременна, — решительно ответила Товарищ Соня.

— Черт...

— Уже три месяца, — продолжала она.

— Почему ты не сказала мне раньше?

— Я не была уверена.

— Черт побери! Тебе придется...

— Сейчас уже слишком поздно что-либо делать.

— Почему же ты раньше...

— Я уже объяснила, что заметила слишком поздно.

Серов рухнул в кресло напротив Товарища Сони и пристально посмотрел на нее. Товарищ Соня хранила полное спокойствие.

— Ты уверена, что от меня? — прохрипел Павел.

— Павел, — отозвалась Соня, не повышая голоса, — ты меня оскорбляешь.

Павел встал, прошел к двери, вернулся, снова сел и затем опять вскочил.

— Ну и что мы, черт возьми, будем делать?

— Мы поженимся, Павел.

Он склонился над Соней, опустив сжатый кулак на стол.

— Ты с ума сошла! — рявкнул Павел.

Соня, не говоря ни слова, выжидающе смотрела на него.

— Ты сумасшедшая. Послушай, у меня нет никаких серьезных намерений.

— Но ты должен будешь жениться на мне.

— Никогда. Убирайся отсюда, ты...

— Павел, — тихо сказала Соня, — не говори того, о чем будешь потом жалеть.

— В конце концов... Мы живем не при капитализме. В нашей стране не существует такого понятия, как лишение девичьей чести... к тому же ты и не была девственницей... Хорошо, если хочешь, можешь обратиться в суд и востребовать деньги на содержание ребенка — пожалуйста, черт с тобой. Но нет такого закона, который мог бы заставить меня жениться на тебе! Понимаешь? Нет. Мы живем не в какой-нибудь там Англии!

— Сядь, Павел! — скомандовала Соня, застегивая на френче пуговицу. — Пойми меня правильно. Я отношусь к решению данного вопроса без старомодных предрассудков. Мне безразличны нравственность, общественное презрение и другие подобные глупости. Наш долг — вот что самое главное.

— Наш... что?

— Наш долг, Павел. Долг перед будущим гражданином страны.

Серов прыснул со смеху:

— Прекрати! Ты не на заседании кружка.

— А что, в обыденной жизни ты забываешь о преданности нашим принципам? — язвительно заметила Товарищ Соня.

Павел снова вскочил с кресла:

— Теперь, Соня, попытайся понять меня. Естественно, я всегда остаюсь верным нашим принципам... Я понимаю, что чувство долга — прекрасное чувство, и ценю его... Но какое отношение это имеет к... будущему гражданину?

— Подрастающее поколение — будущее нашей страны. Воспитание молодежи является жизненно важной проблемой. У нашего ребенка будет преимущество. Становлением его личности займутся отец и мать, являющиеся членами партии.

— Соня, черт возьми! Это уже не актуально. Для этого сегодня существуют детские сады, где с раннего возраста в одной большой семье детей воспитывают в духе коллективизма и...

— Государственные детские сады достигнут своего развития в далеком будущем. Сегодня они несовершенно. Наш ребенок должен вырасти совершенным гражданином нашей великой страны. Наш ребенок...

— Наш ребенок! Черт возьми! Откуда мне знать...

— Павел, неужели ты намекаешь, что...

— Нет, я не это имел в виду, но... Черт! Соня, я был пьян. Тебе лучше знать...

— Ты жалеешь о том, что случилось?

— Нет, и еще раз нет, Соня. Ты знаешь, что я люблю тебя... Соня, послушай, откровенно говоря, я не могу сейчас жениться. Конечно, ты мне нравишься, как никакая другая женщина, и я бы почел за великую честь жениться на тебе, но пойми, моя работа только начинается, я должен подумать о будущем. Пока у меня все идет очень хорошо и... и мой долг перед партией заключается в само-совершенствовании и...

— Я могла бы помочь тебе, Павел, или... — с расстановкой начала Товарищ Соня, глядя на Павла. Она могла дальше не продолжать; Павел все понял.

— Но Соня... — беспомощно застонал он.

— Меня все это расстроило не меньше, чем тебя, — хладнокровно сказала Соня. — Пожалуй, для меня эта новость была более тягостной. Но я готова исполнить то, что я считаю своим долгом.

Павел тяжело опустился в кресло. Не поднимая головы, он проговорил:

— Послушай, Соня, дай мне два дня на то, чтобы все обдумать и смириться с ситуацией.

— Конечно, — бросила в ответ Соня, направляясь к выходу, — подумай. Все равно сейчас у меня уже нет времени. Нужно бежать. Пока.

— Пока, — пробормотал Павел, не глядя на нее.

В тот вечер Павел напился. На следующий день он заглянул в клуб Союза железнодорожников.

— Поздравляю, товарищ Серов, — сказал при встрече председатель клуба Павлу. — Я слышал, ты собираешься жениться на Товарище Соне? Лучшей партии тебе не найти.

— Да, Павлуша, с такой женой далеко пойдешь, — позавидовал секретарь партийной ячейки.

В кружке Политпросвета к Павлу подошел незнакомый внушительного вида ответственный товарищ и, похлопывая его по плечу, расплылся в улыбке:

— Заходите в любое время, товарищ Серов. Я всегда готов помочь будущему мужу Товарища Сони.

Вечером Павел Серов позвонил Антонине Павловне и, обрував Морозова, потребовал увеличения размера своего пая и выплаты его вперед. Получив деньги, он угостил мороженым проходящую мимо девочку.

Прошло три дня. Наступил день бракосочетания Павла Серова и Товарища Сони. Они стояли в пустой комнате перед служащим ЗАГСа. Когда пришло время расписываться в большом регистрационном журнале, Товарищ Соня выразила желание оставить девичью фамилию.

Вечером того же дня Товарищ Соня переехала в комнату Серова, которая была намного больше той, где жила она.

— Дорогой, — обратилась к мужу Товарищ Соня, — мы должны придумать для нашего малыша какое-нибудь хорошее революционное имя.

* * *

В дверь Андрея постучали. Затем раздались тяжелые глухие удары, похоже было, что барабанили кулаком по ящику.

Андрей сидел на полу, изучая разложенные вокруг чертежи на больших белых листах, освещаемых стоявшей рядом лампой. Он поднял голову и раздраженно спросил:

— Кто там?

— Это я, Андрей, — послышался из-за двери низкий мужской голос. — Открой. Это я, Степан Тимошенко.

Андрей вскочил и отпер дверь. На лестничной площадке, слегка пошатываясь, опершись о стену, стоял Степан Тимошенко, матрос, служивший ранее на Балтийском флоте и в береговой охране ГПУ. На голове у него была бескозырка, на околыше которой не было ни звездочки, ни названия корабля; на Степане была гражданская одежда; верхняя пуговица его короткой куртки с кроличьим воротником была расстегнута, обнажая загорелую шею со вздувшимися мышцами; рукава куртки были слишком узкими для мощных запястий. Степан оскалился, показывая сияющую белизну зубов. В глазах его блеснул огонек.

— Добрый вечер, Андрей. Не помешал?

— Входи. Рад тебя видеть. Я уже думал, ты совсем забыл старого друга.

— Ничего подобного, — возразил Тимошенко. — Я ничего не забыл. — Пошатываясь, Степан ввалился в комнату, закрывая за собой дверь. — Я все помню... Хотя некоторые из моих старых друзей с радостью забыли бы обо мне... Я не имею в виду тебя, Андрей. Ни в коем случае.

— Садись, — предложил Андрей. — Снимай куртку. Не замерз?

— Кто, я? Я никогда не мерзну. А если бы я когда-нибудь замерз, мне бы пришлось туго, поскольку это вся моя одежда... Я сниму с себя эту чертову куртку. Повесь... Хорошо, я сяду. Уверен, ты хочешь меня усадить, потому что считаешь меня пьяным.

— Ну что ты? — оправдывался Андрей. — Просто...

— Да, я немного пьян. Я не видел тебя несколько месяцев. Где я только не был. Ты не в курсе, что меня выгнали из ГПУ?

Андрей, глядя на чертежи, утвердительно кивнул.

— Так вот, — продолжал Тимошенко, усевшись поудобнее и вытянув ноги, — они вышвырнули меня. Только представь, я — и недостаточно надежен и революционен. Степан Тимошенко, красный балтиец.

— Да, тебе не позавидуешь, — посочувствовал Андрей.

— Не нужно меня жалеть. Все это просто смешно... — Тут взгляд Степана упал на лепной карниз. — У тебя забавная квартирка. Неплохо для коммуниста.

— Мне все равно, — заметил Андрей. — Я бы переехал, но сейчас очень трудно найти жилье.

— Да уж, — согласился Тимошенко и без всякой причины разразился громким смехом. — Трудно для Андрея Таганова. А для товарища Серова, например, раз плюнуть. И для всех тех ублюдков, которые пользуются партбилетом, как мясник ножом. Им ничего не стоит вышвырнуть какого-нибудь бедолагу из квартиры прямо на улицу, в январскую стужу.

— Ты мелешь чепуху, Степан... Чего-нибудь поешь?

— Нет, не хочу... К чему ты клонишь, придурок? Думаешь, я умираю с голоду?

— Ну что ты, у меня и в мыслях...

— Я неплохо питаюсь. И у меня всегда есть что выпить. Я много пью... А сюда я пришел для того, чтобы присмотреть за Андрюшкой. Андрюшка нуждается в заботе. За ним просто необходимо присматривать.

— О чем ты говоришь?

— Ни о чем. Ни о чем, дружище. Просто так. Неужели мне и сказать нельзя? Неужели ты такой же, как все? И хочешь, чтобы мы погрязли в пустой болтовне?

— Вот, возьми, — протянул Андрей подушку, — положи под голову и расслабься. Отдохни. Ты неважно себя чувствуешь.

— Кто, я? — Тимошенко схватил подушку и, запустив ею в стену, расхохотался. — Я чувствую себя лучше, чем когда бы то ни было. Я чувствую себя превосходно. Я свободен и независим. Никаких забот. Никаких больше забот.

— Степан, приходи ко мне почаще. Мы были с тобой друзьями. Мы могли бы помогать друг другу и сейчас.

Тимошенко подался вперед и уставился на Андрея.

— Я не смогу ничем тебе помочь, малыш, — мрачно ухмыльнулся он. — Было бы правильно с твоей стороны взять и вычеркнуть из своей жизни меня и все, что со мной связано, а затем начать подхалимничать, выслуживаясь перед большим начальством. Но ты этого не сделаешь. И поэтому я ненавижу тебя, Андрей. И именно поэтому я хотел бы, чтобы ты был моим сыном. Только у меня не будет сына. Мои сыновья разбросаны по всем борделям СССР.

Степан бросил взгляд на лежащие на полу чертежи и, пнув ногой одну из книг, поинтересовался:

— Чем ты здесь занимаешься, Андрей?

— Я учусь. У меня не хватает времени на учебу, когда я занят в ГПУ.

— Значит, учишься? И сколько тебе еще учиться в институте?

— Три года.

— Ого-го. Думаешь, пригодится?

— Пригодится что?

— Вся эта твоя учеба.

— Почему бы и нет?

— Я говорил тебе, что меня турнули из ГПУ? Да, я уже говорил тебе. Но они еще не выгнали меня из партии. Однако за ними не заржавеет. Я вылечу при первой же чистке.

— Я бы не паниковал раньше времени. У тебя еще есть возможность...

— Я знаю, о чем говорю. И ты сам прекрасно понимаешь это. Догадываешься, кто последует за мной?

— Кто же? — недоумевающе ответил Андрей вопросом на вопрос.

— Ты! — выпалил Тимошенко.

Андрей стоял и, скрестив на груди руки, смотрел на Степана.

— Пожалуй, ты прав, — согласился он.

— Послушай, приятель, у тебя есть что-нибудь выпить? — поинтересовался Тимошенко.

— Абсолютно ничего нет. Ты слишком много пьешь, Степан, — заметил Андрей.

— Неужели? — затрясся от смеха Тимошенко; его гигантская тень на стене раскачивалась подобно маятнику. — Разве я много пью? А хочешь узнать, почему я пью? — Степан, пошатываясь, поднялся; он был на голову выше Андрея, его тень скользнула по стене к самому потолку. — Я тебя уверяю, молокосос, что, узнав причину, ты еще удивишься, что я пью так мало.

Степан потянулся почесать спину, при этом его слишком тесный под мышками свитер чуть не затрещал по швам. Неожиданно он заржал:

— В один прекрасный день мы совершили революцию. Мы заявили, что устали от голода, пота и вшей. И для того, чтобы расчистить дорогу к свободе, мы проливали кровь, перегрызали друг другу глотки, расшибали лбы. А что сегодня? Оглянись вокруг. Посмотри, что творится, товарищ Таганов, член партии с пятнадцатого! Ты видишь, в каких условиях живут наши братья и сестры? Видишь, что они едят? Доводилось ли тебе когда-нибудь быть свидетелем того, как умирающая с голоду женщина, харкая кровью, падает посреди тротуара? Мне приходилось видеть подобное. Видел ли ты, как мчатся по ночным улицам черные лимузины? Ты знаешь, кто в них сидит? Есть у нас в партии один такой справный парнишка. Смысленный хлопец с большими перспективами. Зовут его Павел Серов. Ты когда-нибудь видел его бумажник, который он открывает,

чтобы купить шампанское очередной шлюхе? А задумывался ли ты над тем, откуда он берет эти деньги? Бывал ли ты когда-нибудь в «Зимнем саду»? Готов поспорить, что нечасто. Но если бы ты туда ходил, ты бы встретил там respectable гражданина Морозова, давящегося икрой. Ты спросишь, кто он? Всего-навсего заместитель управляющего Пищетрестом, Государственным пищетрестом Союза Советских Социалистических Республик.

Мы — авангард мирового пролетариата, мы выступаем за свободу всех угнетенных! Да ты взгляни на нашу партию, на этих новоиспеченных коммунистов. Посмотри, как беззастенчиво собирают они урожай с полей, пропитанных нашей кровью. Нас же они считают ненадежными, недостаточно революционными и вышвыривают из партии как предателей. Нас обвиняют в троцкизме. Мы оказались лишними, потому что, свергнув царя, мы не отказались от своих взглядов и не потеряли совесть. Они пытаются от нас избавиться, потому что мы обвиняем их в том, что они проиграли сражение, задушили революцию, предали народ, оставив за собой власть, грубую и жестокую власть. Мы им не нужны. Ни ты, ни я. Таким людям, как ты, Андрей, нет места на этой земле. Неужели ты не видишь этого? Впрочем, это и хорошо. Только я думаю, что, когда ты прозреешь, меня уже не будет.

Андрей молчал. Он стоял, все так же скрестив на груди руки. Тимошенко схватил куртку и стал торопливо натягивать.

— Куда ты собрался? — спросил Андрей.

— Ухожу. Куда глаза глядят. Не желаю больше оставаться здесь.

— Степан, неужели ты думаешь, что я не понимаю всего, что творится вокруг? Но что толку орать во все горло и напиваться до полу-смерти? Этим делу не поможешь. Нужно продолжать борьбу.

— Ну давай. Вперед. Меня же это не касается. Пойду лучше выпью.

Андрей внимательно следил за тем, как Степан, застегнув куртку, нахлобучивал свою бескозырку, сдвигая ее набок.

— Степан, что ты собираешься делать?

— Сейчас?

— Нет, вообще, в будущем.

— В будущем? — расхохотался Тимошенко, запрокинув голову и потрясая могучими плечами. — В будущем... В этом-то все и дело. Почему ты так уверен, что у нас есть будущее? — Он приблизился к Андрею и лукаво подмигнул. — Не находишь ли ты странным тот факт, что так много наших товарищей по партии умирают от чрезвычайной работы? Тебе, наверное, доводилось читать об этом в газетах? Еще один из нас отдал свою жизнь делу служения революции,

посвящая всего себя решению поставленных перед нами задач... А ты знаешь, что все эти «сгоревшие на работе» на самом деле кончают жизнь самоубийством? Только газеты молчат об этом. Странно, почему это в партийных рядах сегодня так много самоубийц?

Андрей сжал в своих сильных холодных руках тяжелую, горячую и липкую от пота руку матроса.

— Степан, уж не думаешь ли ты?..

— Ни о чем я не думаю, черт побери. Меня интересует только водка. Но в случае чего я обязательно приду попрощаться. Обещаю.

В дверях Андрей снова задержал Тимошенко.

— Степан, почему бы тебе не пожить некоторое время у меня?

На прощание Степан махнул рукой с таким величием, как будто он закидывал на плечо полу мантии; он вышел, покачиваясь, на лестничную площадку.

— У тебя я ни за что не останусь. Я тебя не хочу видеть, Андрей. Не хочу смотреть на твою рожу. Понимаешь... я — старый, прогнивший и проржавевший насквозь линкор, чье место на свалке. Но это меня не беспокоит. Я бы из последних сил стал помогать единственному оставшемуся близким мне человеку — тебе, Андрей. Но дело в том, что, хоть я все кишки у себя из брюха вырву и отдам тебе, я не смогу спасти тебя!

Мраморные ступеньки уходили далеко вниз.

ГЛАВА VII

Кира стояла и смотрела на стройку. К серому небу, которое с наступлением сумерек уже начинало постепенно темнеть, восходили зубчатые стены из нового, необожженного кирпича, разграфленные белыми полосками свежего цемента. Высоко под облаками работали строители; над улицей раздавался перезвон молотков; ревели охрипшие двигатели, а где-то среди хаоса забрызганных известью лесов, балок и досок свистел вырывающийся пар. Кира наблюдала за всем, широко раскрыв глаза; на ее лице играла улыбка. Какой-то молодой человек с загорелым лицом, держащий в уголке рта трубку, проворно взбирался наверх по стропилам, маневрировать на которых было довольно опасно; движения его рук были точны и отрывисты, подобно ударам молотка. Кира не следила за временем. Она была настолько увлечена представшим ее глазам зрелищем, что ни о чем уже не помнила. Затем внезапно, на какое-то мгновение, Кира ясно и четко представила картину своего мира, которую она, казалось, видит впервые после долгой разлуки. Она не могла понять: почему она не стоит на лесах и почему не она, а тот парень с трубкой руководит работой; что не позволяет ей заняться делом ее жизни, предаться ее единственной страсти? Через какую-то долю секунды все исчезло, Кира даже не сразу поняла, что произошло. Когда иллюзия рассеялась, она снова увидела мир таким, каким привыкла его видеть, и она вспомнила, почему она не может находиться там, на лесах, по какой причине путь к любимому делу был закрыт для нее навсегда. В голове у Киры крутились слова, которые заполняли пустоту, исходящую откуда-то из груди: «Возможно... Когда-нибудь... За границей».

Чья-то рука коснулась ее плеча:

— Что вы здесь делаете, гражданка?

Высокого роста милиционер подозрительно смотрел на Киру. На его узкий лоб была надвинута защитного цвета фуражка с красной

звездой. Милиционер прищурился; его толстые бесформенные губы искривились.

— Гражданка, вы стоите здесь уже полчаса. Что вам нужно?

— Ничего, — буркнула Кира.

— В таком случае, гражданка, идите своей дорогой.

— Я просто хотела посмотреть, — пояснила она.

— Нечего вам тут смотреть, — суровым тоном заявил милиционер, шлепая губищами.

Кира молча повернулась и пошла прочь.

Небольшой карманчик, который Кира пришила с обратной стороны своего платя, становился с каждым днем все толще и толще. В нем она хранила деньги, которые ей удавалось уберечь от безрассудного транжирства Лео. Это были сбережения на будущее, ведь возможно, что когда-нибудь... за границей...

Кира возвращалась домой с собрания экскурсоводов. Она вспомнила экзамен, который на днях состоялся в экскурсионном центре. За широким столом сидел коротко подстриженный мужчина. Один за другим представляли перед ним дрожащие от волнения, с побледневшими от страха губами работники центра. Они отвечали на вопросы отрывисто и неестественно четко. Кира должным образом изложила соответствующие положения о важности экскурсии по историческим местам в деле политпросвещения и воспитания классового сознания рабочих масс; она без труда ответила на вопрос, касающийся последней забастовки текстильщиков в Великобритании; она знала почти наизусть последний указ комиссара народного образования по вопросу системы ликбеза Туркестана; но она не смогла ответить, сколько угля было добыто за последний год в Донбассе.

— Разве вы не читаете газет? — сухо поинтересовался экзаменатор.

— Я слежу за периодикой.

— В таком случае я бы посоветовал вам быть более внимательной. Нам не нужны узкие специалисты с ограниченными академическими знаниями. Сегодня просветитель должен быть политически подкованным и проявлять интерес к советской действительности во всех ее деталях... Следующий!

— Меня могут уволить, — равнодушно размышляла Кира по дороге домой. Но она не беспокоилась. Она не могла больше беспокоиться. Она ни в коем случае не хотела довести себя до состояния своей коллеги товарища Нестеровой. Эта пожилая женщина, проработавшая тридцать лет в школе, в перерывах между экскурсиями, уроками в школе, заседаниями кружков, а также приготовлением пицци для своей парализованной матери проводила все ночи напролет

за чтением газет, готовясь к экзамену, заучивая наизусть каждое напечатанное слово. Товарищ Нестерова боялась потерять рабочее место. Однако, стоя перед экзаменатором, она не могла произнести ни слова; она бессмысленно открывала рот, пытаясь что-нибудь выговорить, и в конце концов впала в истерику; после чего ее вывели из комнаты и вызвали к ней медсестру. Имя товарища Нестеровой было вычеркнуто из списка экскурсоводов.

К тому времени, когда Кира подошла к своему дому, она уже забыла об экзамене, теперь ее мысли были заняты Лео; Кира старалась угадать, в каком расположении духа он будет сегодня вечером. Этот вопрос беспокоил ее каждый раз, когда, возвращаясь с работы, она знала, что Лео дома. Утром он уходил улыбающийся, веселый и наполненный энергией; но она никогда не знала, чего ожидать в конце дня. Иногда она заставляла его читающим какую-то иностранную книгу, и он едва отвечал на ее вопросы, отказывался есть и холодно усмехался временами над строчками того, другого мира, такого далекого от их жизни. Иногда она находила его пьяным, шатающимся по комнате, горько усмехающимся. Он рвал банкноты у нее на глазах, когда она говорила ему о деньгах, которые он потратил. Иногда она заставляла его обсуждающим искусство с Антониной Павловной, зевающего и говорящего так, словно он и не слышит свои собственные слова. Иногда — редко — он улыбался ей, его глаза были молодыми и чистыми, такими, какими они были очень давно, когда они встретились в первый раз, он вкладывал деньги в ее руку и шептал:

— Спрячь их от меня... Для побега. Для Европы... давай... однажды... если бы я мог не думать... Если бы только мы могли не думать...

Она научилась не думать; она помнила только то, что это Лео и что ее жизнь теплится лишь в звуках его голоса, в движениях его рук, в очертаниях его тела — и то, что она должна стоять на страже между ним и чем-то огромным, невыразимым, которое медленно приближается к нему и которое столь многих уже поглотило. Она стояла на страже: все остальное было неважно; она никогда не думала о прошлом; о будущем — никто вокруг нее не думал о будущем.

Она никогда не думала об Андрее, она никогда не задумывалась о том, какими станут для них грядущие дни, а возможно, и годы. Она знала, что зашла слишком далеко и уже не может отступить. У нее хватало мудрости понять, что она не может оставить Лео; хватало смелости даже и не пытаться сделать это.

— Кира? — позвал ее радостный голос из ванной, когда она вошла в их комнату.

Лео вышел из ванной, в его руках было полотенце, он был голым по пояс. Он стряхивал капельки воды с лица, откинув сначала спутанные волосы со лба. Он улыбался.

— Я рад, что ты вернулась, Кира. Я ненавижу приходить домой и видеть, что тебя еще нет.

Он выглядел так, словно только что вышел из речки в жаркий летний день, и казалось, что солнце играет в капельках воды на его плечах. Он двигался так, словно все его тело было живой волей, высокий, надменный, повелительный. Эти воля и тело никогда не согнутся, потому что уже с самого их рождения они не знали, что означает слово «сгибаться».

Она стояла неподвижно, боясь приблизиться к нему, боясь спугнуть один из тех редких моментов, когда он выглядел тем, кем мог бы быть, кем должен был быть.

Он подошел к ней, его рука сомкнулась на ее шее, и он рывком прижал ее губы к своим. В его движениях была какая-то презрительная нежность, в них был приказ и голод; он был не любовником, а рабовладельцем. Она держала его руки, ее рот пил сверкающие капли с его кожи, и она знала, в чем смысл всех ее дней, всего того, что ей приходится выносить и забывать в эти дни; и больше ей ничего не надо было.

* * *

Ирина приходила навестить Киру нечасто, в те редкие вечера, когда она была свободной от работы в клубе. Ирина звонко смеялась, и роняла сигаретный пепел по всей комнате, и рассказывала самые свежие, наиболее опасные политические анекдоты, и рисовала карикатуры на всех их знакомых на белой скатерти стола.

Но в те вечера, когда Лео был в своей лавке, когда Кира и Ирина вдвоем сидели у зажженного камина, Ирина смеялась не всегда. Иногда она сидела подолгу молча, и, когда поднимала голову и смотрела на Киру, ее глаза были потерянными, молящими о помощи. Тогда она шептала, глядя в огонь:

— ...Кира, я... я боюсь... я не знаю почему. Это бывает лишь временами, но я так испугана... Что же с нами со всеми будет? Вот что меня пугает. Не сам даже вопрос, но то, что это вопрос, который никому нельзя задать. Ты задаешь его и наблюдаешь за людьми, ты видишь их глаза и понимаешь, что они чувствуют то же самое, так же боятся, как и ты, и ты не можешь спросить их об этом, но если спрашиваешь, то они все равно не могут это объяснить... Знаешь, мы все изо всех сил стараемся не думать, не думать о том, что будет через

день, а иногда через час... Знаешь, что я думаю? Я думаю, что они намеренно делают это. Они не хотят, чтобы мы думали. Вот почему мы так вкалываем. А так как остается еще немного времени после того, как мы отработали весь день и отстояли в нескольких очередях, то поэтому нам еще нужно посещать всякие общественные мероприятия, а кроме того, еще эти газеты. Ты знаешь, что меня на прошлой неделе чуть не уволили из клуба? Меня спросили о новых нефтяных месторождениях около Баку, а я ничего не знала об этом. Зачем мне знать о каких-то новых нефтяных месторождениях около Баку, если я хочу лишь зарабатывать себе на пшено, рисуя эти позорные плакаты? Почему я должна выучивать наизусть газеты, словно стихи? Конечно, мне нужен керосин для примуса. Но значит ли это, что для того, чтобы иметь керосин и готовить кашу из проса, я должна знать имя каждого вонючего рабочего на каждом вонючем месторождении, где добывают нефть? Два часа ежедневного чтения новостей государственного строительства ради пятнадцати минут стряпни над примусом?.. И мы ничего не можем поделать с этим. Если попытаемся, то будет еще хуже.

Возьми вот Сашу, например... О Кира! Я... я так боюсь! Он... он... Что ж, мне нет смысла врать тебе. Ты знаешь, что он делает. У них какая-то секретная организация, и они думают, что могут свергнуть правительство. Освободить людей. Это его долг перед людьми, говорит Саша. А я и ты знаем, что любой из тех самых людей был бы только рад продать их всех ГПУ за лишний фунт льняного масла. У них там всякие тайные собрания, и они печатают что-то и распространяют на фабриках. Саша говорит, что нельзя ждать поддержки из-за границы, мы должны сами бороться за свою свободу... Ох, что я могу сделать? Я бы хотела остановить его, но у меня нет на это права. Но я знаю, что его поймут. Помнишь тех студентов, которых сослали в Сибирь прошлой весной? Их были сотни, тысячи. Ты больше не услышишь ни об одном из них. Он — сирота, и у него нет ни одной родной души в мире, кроме меня. Я попытаюсь остановить его, но он не будет меня слушать, и он прав, но ведь я люблю его. Я люблю его. Его когда-нибудь сошлют в Сибирь. Какой во всем этом смысл? Кира! Какой смысл?

* * *

Саша Чернов обогнул угол улицы, спеша домой. Стоял темный октябрьский вечер, и маленькая рука, которая схватила его за ремень пальто, казалось, появилась ниоткуда. Потом он заметил шаль, наброшенную на волосы, и пару глаз, глядящих на него, огромных, немигающих, испуганных.

— Гражданин Чернов, — прошептала девочка, ее дрожащее тело прижалось к его ногам и не пускало его, — не ходите домой.

Он узнал дочку своей соседки. Он улыбнулся и погладил ее по голове, но инстинктивно шагнул в сторону, в тень стены.

— В чем дело, Катя?

— Мама сказала... — выпалила девочка, — мама приказала мне сказать вам, чтобы вы не ходили домой... Там какие-то люди... Они разбросали ваши книги по комнате...

— Поблагодари от меня маму, детка, — прошептал Саша и, повернувшись, исчез за углом. Он успел заметить черный лимузин, стоящий у двери его дома.

Он поднял воротник и быстро пошел. Он вошел в ресторан и набрал номер телефона. Незнакомый голос грубо ответил. Саша, не говоря ни слова, повесил трубку; его друг был арестован.

В тот вечер у них было секретное собрание. Они обсуждали планы, говорили об агитации рабочих, о новом печатном станке. Он ухмыльнулся при мысли об агентах ГПУ, которые глядели сейчас на огромную кипу антисоветских прокламаций в его комнате. Он нахмурился — завтра эти прокламации были бы распространены среди бесчисленных рабочих петроградских фабрик.

Он запрыгнул в трамвай и поехал домой к еще одному другу. Повернув за угол, он увидел черный лимузин у дверей. Он быстро пошел прочь.

Он поехал к железнодорожному депо и набрал еще один номер. Никто не отвечал.

Он пошел, шаркая по тяжелой слякоти, еще в одно место. Он не увидел света в окне комнаты его друга. Но он увидел жену дворника у задних ворот, которая что-то возбужденно шептала соседке. Он не стал подходить к дому.

Саша подышал на замерзшие голые руки. Он поспешил в еще одно место. В окне квартиры, которая ему была нужна, горел свет. Но на подоконнике стояла ваза необычной формы, что было сигналом опасности.

Он снова поехал на трамвае. Было уже поздно, и трамвай был почти пустой; в нем было слишком светло. Какой-то мужчина в военной форме вошел на следующей остановке. Саша вышел.

Он прислонился к темному фонарному столбу и вытер лоб. Его лоб был покрыт потом даже более холодным, чем тающие снежные хлопья.

Он быстро шел по улице, когда увидел какого-то мужчину в старом котелке, прогуливающегося по другой стороне. Саша повернул за угол и прошел два квартала, затем снова повернул, прошел квартал

и повернул еще раз. Затем он осторожно оглянулся. Тот же самый мужчина в старом котелке изучал витрину аптеки на расстоянии трех домов от него.

Саша пошел еще быстрее. Серые снежные хлопья порхали над желтыми огнями. Улица была безлюдной. Он не слышал никаких звуков, кроме собственных шагов и хрустящего снега. Но сквозь эти звуки, сквозь скрип колеса где-то вдалеке и сквозь приглушенный стук где-то в его груди он различил тихие, легкие, как вздох, шаги того, кто следовал за ним.

Он резко остановился и оглянулся. Мужчина в котелке нагнулся, чтобы завязать шнурок. Саша посмотрел вверх. Он стоял у двери дома, который он хорошо знал. Все заняло лишь одно мгновение. Он был уже за дверью и, прижавшись к стене в темном коридоре, не двигаясь, не дыша, смотрел в стекло двери. Он увидел, как человек в котелке прошел мимо. Он услышал его удаляющиеся шаги, затем они стали замедляться, остановились нерешительно и стали приближаться. Котелок снова проплыл мимо двери. Шаги скрипели то громче, то тише, то удалялись, то приближались.

Саша бесшумно взлетел по лестнице и постучал в дверь.

Ирина открыла ее.

Он прижал палец к губам и прошептал:

— Виктор дома?

— Нет, — шепнула она.

— А его жена?

— Она спит.

— Можно войти? За мной гонятся.

Она втянула его внутрь и стала медленно закрывать дверь. Дверь закрылась беззвучно.

* * *

Галина Петровна вошла со свертком в руках.

— Добрый вечер, Кира... Бог мой, Кира, чем это так воняет в комнате?

Кира поднялась с безразличием и уронила книгу.

— Добрый вечер, мама. Это у Лавровых. Они квасят капусту.

— Боже мой! Так вот что он мешал в большой бочке. Он — какой-то грубиян, этот старик Лавров. Он даже не поздоровался со мной. Мы ведь в некотором смысле родственники.

За дверью деревянный черпак тоскливо поскрипывал в бочке с капустой. Жена Лаврова монотонно вздыхала:

— Тяжелы грехи наши... грехи наши тяжкие...

Мальчик стругал полено в углу, и хрустальный подсвечник вздрагивал и звенел при каждом ударе. Лавровы въехали в эту комнату, когда их дочь освободила ее. До этого они жили на чердаке вместе с двумя другими рабочими семьями; они были рады переехать сюда.

Галина Петровна спросила:

— Лео дома?

— Нет, — сказала Кира. — Я жду его.

— Я должна идти на вечерние занятия, — сказала Галина Петровна, — и я просто заскочила на минутку... — Она колебалась. Она постучала пальцами по своему свертку, виновато улыбнулась и сказала как бы ненароком: — Я заскочила, чтобы показать тебе кое-что, может быть, тебе понравится это... может, ты захочешь... купить это.

— Купить это? — повторила удивленно Кира. — Что это такое, мама?

Галина Петровна развязала сверток; она держала в руках старомодное платье, отделанное белым кружевом; длинный шлейф свисал до пола; нерешительная улыбка Галины Петровны была почти застенчивой.

— Но мама! — глотнула воздух Кира. — Это ведь твое свадебное платье!

— Видишь ли, — очень быстро стала объяснять Галина Петровна, — все дело в школе. Я вчера получила зарплату и... и у меня отчислили очень большие членские взносы в Пролетарское общество химической защиты — а я даже и не знала, что я — член этого общества, и я... Понимаешь, твоему отцу нужны новые ботинки — сапожник отказался чинить старые, — и я собиралась купить их в этом месяце... но эта химическая защита и... Видишь ли, ты ведь можешь прекрасно перешить его — ну, платье, я хочу сказать — хороший материал, я его надевала... только один раз... И я подумала, может, ты захочешь сделать из него вечернее платье или...

— Мама, — сказала Кира сурово и сама удивилась легкой дрожи в своем голосе, — ты прекрасно знаешь, что если тебе что-то нужно...

— Я знаю, дочка, знаю, — перебила ее Галина Петровна, и морщины ее лица вдруг стали пунцовыми. — Ты всегда была прекрасной дочерью, но... ты так много уже дала нам... Я не могла просить... и я подумала, что лучше... но, если тебе не нравится это платье...

— Нравится, — решительно сказала Кира, — оно мне нравится. Я куплю его, мама.

— Мне оно действительно не нужно, — пробормотала Галина Петровна.

— Я все равно собиралась купить вечернее платье, — соврала Кира.

Она нашла свой бумажник. Он был плотно набит хрустящими новыми купюрами. Прошлым вечером, придя домой поздно, шатаясь, Лео поцеловал ее, сунул руку в карман, рассыпал по всему полу мятые купюры и стал набивать ее бумажник, смеясь: «Давай, трать их! Будет еще куча. Еще одна сделка с товарищем Серовым. Великий товарищ Серов. Трать их, я тебе говорю!»

Она опустошила свой бумажник в руку Галины Петровны.

— Постой, дочка! — стала протестовать Галина Петровна. — Не все же! Мне не нужно столько. Платье не стоит столько!

— Конечно, стоит. Ведь это прекрасное кружево... Давай не будем спорить, мама... И большое тебе спасибо.

Галина Петровна запихнула купюры в свою старую сумочку быстро и с испугом. Она посмотрела на Киру и мудро, очень грустно покачала головой и пробормотала:

— Спасибо, дочка...

Когда она ушла, Кира примерила платье. Оно было длинным и простым, как средневековое одеяние; рукава были узкими, тесный воротник подпирал подбородок, кружева тоже были простыми, без всяких украшений.

Она стояла перед высоким зеркалом, уперев руки в бока, откинув голову назад; ее волосы струились по белым плечам. Ее тело стало вдруг высоким, слишком худым и очень хрупким в этом платье, покрытом торжественными складками кружев, тонких как паутинка. Она смотрела на себя как на незнакомую женщину, возникшую откуда-то из глубины веков. И ее глаза показались вдруг очень большими, очень темными и испуганными. Она сняла платье и кинула его в дальний угол шкафа.

Лео пришел домой с Антониной Павловной. На ней было пальто из котикового меха и тюрбан из фиолетового атласа. Ее тяжелые французские духи перекрывали запах квашеной капусты, что шел из комнаты Лавровых.

— Где служанка? — спросил Лео.

— Ей надо было идти. Мы ждали, но ты пришел поздно, Лео.

— Все в порядке. Мы поужинали в ресторане, Тоня и я. Ты не передумала, Кира? Может быть, пойдешь с нами на это открытие?

— Извини, Лео, я не могу. У меня сегодня собрание гидов... И, Лео, ты уверен, что хочешь туда идти? Это уже третий ночной клуб, который открылся за последние две недели.

— Это особенный клуб, — сказала Антонина Павловна. — Это настоящее казино, почти что заграничное. Как в Монте-Карло.

— Лео, — беспомощно вздохнула Кира, — опять будешь играть? Он засмеялся:

— Почему бы и нет? Не надо переживать из-за нескольких сотен, не так ли, Тоня?

Антонина Павловна улыбнулась, выпятив свой подбородок:

— Конечно, нет. Мы только что ушли от Коко, Кира Александровна, — она конфиденциально понизила голос: — Послезавтра прибывает новая партия белой муки от Серова. Как этот парень делает деньги! Я ужасно восхищаюсь им!

— Я накину вечерний костюм, — сказал Лео. — Это займет лишь секунду. Отвернитесь, пожалуйста, к окошку, Тоня.

— Конечно, — улыбнулась Антонина Павловна кокетливо, — мне бы не хотелось отворачиваться. Но я обещаю не подглядывать, как бы мне этого ни хотелось.

Она встала у окна, дружески положив руки на плечи Киры.

— Бедный Коко! — вздохнула Антонина Павловна. — Он так много работает. У него сегодня вечером собрание — кружок культурпросвета для служащих Пищестреста. Он — заместитель секретаря. Он должен заниматься общественной работой, знаете ли, — она многозначительно подмигнула. — У него столько собраний, и сессий, и всяких там заседаний. Я бы несомненно завяла от одиночества, если бы наш дорогой Лео не был настолько галантен и время от времени не выводил бы меня на люди.

Кира смотрела на высокую, одетую в черное фигуру Лео. Он был одет в безукоризненный вечерний костюм. Она смотрела на него так, как смотрела на себя, когда была одета в платье из Средневековья: так, словно он был человеком из глубины веков, и было странно видеть его стоящим у стола с примусом.

Он взял Антонину Павловну под руку таким жестом, который скорее был уместен для сцены какого-нибудь заграничного фильма, и они ушли. Когда дверь в комнате Лавровых закрылась за ними, Кира услышала, как жена Лаврова прохрюкала:

— А еще говорят, что частные торговцы не делают денег.

— Диктатура пролетариата! — проворчал Лавров и плюнул на пол.

Кира надела пальто. Она шла не на собрание экскурсоводов. Она шла к флигелю, что находился в безлюдном саду двorca.

* * *

В печке Андрея горел огонь. Поленья лопались резкими маленькими взрывами, некоторые из них трескались, и эти трещины были

какого-то прозрачного, резко-красного цвета. Маленькие оранжевые языки пламени колебались, трепетали, сталкивались друг с другом, то вдруг утихая, то разгораясь с новой силой. Над поленьями, словно замерев в воздухе, длинные красные языки упирались в темный дымоход; желтые искры отлетали от поленьев и разбивались о покрытые сажей, почерневшие кирпичи. Оранжевый свет плясал, дрожал на белых, покрытых парчой стенах, на плакатах, изображающих красноармейцев, дымовые трубы и тракторы.

Кира сидела на ящике у камина. Андрей сидел у ее ног, положив голову ей на колени; его рука гладила шелковый изгиб ее ступни; его пальцы то падали на пол, то снова возвращались к ее шелковым чулкам.

— ...и теперь, когда ты здесь, — прошептал он, — твое присутствие оправдывает все страдания, все ожидание... И тогда мне не надо больше думать...

Он поднял голову. Он смотрел на нее и произнес такие слова, которых она никогда еще не слышала от него:

— Я так устал...

Она взяла его голову своими руками, ее пальцы лежали на его висках. Она спросила:

— В чем дело, Андрей?

Он отвернулся к огню. Он сказал:

— В моей партии.

Затем резко повернулся к ней.

— Ты знаешь это, Кира. Возможно, ты уже давно это знаешь. Ты была права. Возможно, ты права во многом, особенно в том, что мы старались не обсуждать.

Она прошептала:

— Андрей, ты хочешь обсудить это со мной? Я не хочу причинять тебе боль.

— Ты и не можешь причинить мне ее. Ты думаешь, что я сам все это не вижу? Ты думаешь, я не знаю, к чему пришла эта наша великая революция? Мы расстреливаем одного спекулянта, а сотни других ловят такси на Невском каждый вечер. Мы уничтожаем деревни, мы расстреливаем из пулеметов крестьян, которые сошли с ума от нищеты, крестьян, которые убили одного коммуниста. А десять партийных братьев отмщенной жертвы пьют шампанское дома у человека, у которого на руках алмазные запонки. Где он взял эти алмазы? Кто платит за это шампанское? Мы глядим на это сквозь пальцы.

— Андрей, задумывался ли ты когда-нибудь над тем, что это ты и твоя партия втянули тех, кого вы называете спекулянтами, в то, что они делают, — потому что вы не оставили им выбора?

— Я знаю это... Мы должны были поднять людей до нашего собственного уровня. Но они никак не поднимаются, те люди, которыми мы управляем, они не растут, они лишь сморщиваются. Они сокращаются до таких размеров, каких ни один человек никогда не достигал. И мы медленно скатываемся до их уровня. Мы деградируем, один за другим. Кира, я никогда не боялся. Но сейчас я боюсь. Это странное чувство. Я боюсь думать. Потому что... потому что я думаю временами, что, возможно, у наших идеалов и не может быть другого результата.

— Это верно! Причина не в людях, а в природе ваших идеалов. И я... Нет, Андрей, я не стану говорить об этом. Я хотела бы помочь тебе. Но из всех людей я меньше всех могу помочь тебе. Ты ведь знаешь это.

Он тихо засмеялся:

— Но ты помогаешь мне, Кира. Ты — единственная, кто помогает мне.

Она прошептала:

— Почему?

— Потому что, что бы ни случилось, у меня есть ты. Потому что, какую бы человеческую трагедию я ни увидел вокруг себя, у меня все равно есть ты. А глядя на тебя, я знаю, чем может быть человек.

— Андрей, — прошептала она, — ты уверен, что знаешь меня?

Он прошептал, уткнувшись губами в ее руку, так, что казалось, она сама собирала эти слова, одно за другим в свою ладонь:

— Кира, самое высшее в человеке — это не Бог. Это — то благоговение, которое он испытывает перед Богом. Это я и испытываю перед тобой, Кира. Я боготворю тебя...

* * *

— Это я, — прошептал голос за дверью, — Мариша. Впусти меня, Ирина.

Ирина отперла дверь, неуверенно, осторожно. Мариша стояла на пороге с буханкой хлеба в руках.

— Вот, — прошептала она, — я принесла вам поесть. Вам обоим.

— Мариша! — закричала Ирина.

— Тихо! — прошептала Мариша, опасливо оглядев коридор. — Конечно, я знаю. Но не беспокойся. Я держу язык за зубами. Вот, возьми. Это мой паек. Никто не узнает. Я знаю, почему ты не ела свой завтрак сегодня утром. Но ты так долго не выдержишься.

Ирина схватила ее за руку, рывком втащила в комнату, закрыла дверь и истерически хихикнула:

— Я... видишь ли... ох, Мариша, я не ожидала от тебя...

Ее волосы свисали на один глаз, другой глаз был полон слез.

Мариша прошептала:

— Я знаю, как это бывает. Черт! Ты ведь любишь его... Я ведь официально не знаю ничего, так что мне ничего не надо будет говорить, если меня спросят? Но, ради бога, не держи его здесь слишком долго. Я не очень уверена в Викторе.

— Ты думаешь, он... подозревает?

— Я не знаю. Он как-то странно ведет себя. И если он знает — я боюсь его, Ирина.

— Только до сегодняшнего вечера, — прошептала Ирина, — он уйдет... вечером.

— Я постараюсь последить за Виктором.

— Мариша, я не знаю, как благодарить тебя... я...

— Ох, черт возьми! Нечего плакать.

— Я не плачу... я... я только... я не спала две ночи и... Мариша, я такая... спасибо тебе и...

— Да ладно. Ну, пока. Мне пора назад.

Закрыв дверь, Ирина осторожно прослушала шаги Мариши до тех пор, пока они не затихли в коридоре; затем она, вздрагивая, вслушалась в тишину квартиры — все было спокойно. Она закрыла дверь на ключ, на цыпочках прокралась через свою комнату и бесшумно скользнула в маленький гардероб, дверь в который находилась рядом с ее кроватью. Саша сидел на старой подставке для обуви, наблюдая за воробьем за пыльным стеклом оконца, расположенного высоко под потолком.

— Ирина, — не отводя глаз от окошка, тихо произнес Саша, — я думаю, мне лучше уйти прямо сейчас.

— Ни в коем случае! Я не отпущу тебя.

— Послушай. Вот уже два дня я нахожусь здесь. Я не собирался этого делать. Я сожалею, что поддался на твои уговоры. Ты знаешь, что они в случае чего могут сделать с тобой!

— Если что-нибудь случится, — заметила Ирина, кладя руку на его могучие, немного сутулые плечи, — мне все равно, что они со мной сделают.

— Я ожидал подобного исхода. Но ты... Я не хочу тебя ввязывать во все это.

— Успокойся, все будет хорошо. У меня твой билет на Баку. И одежда. У Виктора сегодня вечером партийное собрание. Мы проскочим незаметно. Кроме того, ты не можешь уйти сейчас, среди бела дня. За улицей следят.

— Я сожалею о том, что сразу не дался им в руки. Мне не стоило приходить сюда. Извини, Ирина.

— Дорогой, я так счастлива! — беззвучно рассмеялась Ирина. — Я действительно верю в то, что я спасла тебя. Они арестовали всю группу. Мне удалось выяснить это у Виктора. Всех, кроме тебя.

— Но если бы...

— Теперь мы в безопасности. Всего несколько часов, и все будет кончено, — Ирина присела рядом с ним на ящик, опустив голову ему на плечо и смахивая волосы со своих сияющих, полных беспокойства глаз. — Помни, когда попадешь за границу, сразу же напиши мне. Обязательно.

— Обещаю, — бесцветно вымолвил Саша.

— Я тогда постараюсь как-нибудь выбраться отсюда. Только представь! Заграница! Мы с тобой идем в ночной клуб, и ты будешь таким смешным в смокинге. Мне кажется, что трудно будет найти портного, который согласится шить на тебя.

— Вполне возможно, — согласился Саша, пытаясь улыбнуться.

— А танцовщицы там будут разодеты в причудливые платья вроде тех, которые рисую я. Подумать только! Я смогу найти работу и буду придумывать одежду и декорации. Не будет больше никаких плакатов. В жизни не нарисую больше ни одного пролетария!

— Хотелось бы надеяться.

— Но я должна предупредить, что я очень плохая хозяйка. Тебе будет невероятно трудно жить со мной. Твой бифштекс к обеду будет подгорелым — да, мы будем есть бифштексы каждый день! — твои носки будут не штопаны, и я не потерплю никаких претензий. Только попробуй, я тебя в порошок сотру, ты, жалкое, беспомощное создание!

Ирина зашлась истерическим смехом. Уткнувшись Саше в плечо, она закусила его рубашку, поскольку ее смех постепенно перешел в нечто иное. Саша поцеловал ее волосы. Пытаясь успокоить ее, он прошептал:

— У меня не будет к тебе никаких претензий, лишь бы только ты могла заниматься своим рисованием. Это еще одно преступление, которое я никогда не прощу этой стране. Я считаю, что ты могла бы стать великим художником. А знаешь, ведь ты ни разу не подарила мне ни одного рисунка, хотя я так часто просил тебя об этом!

— Да, конечно! — с сожалением вздохнула она. — Я обещала свои картины многим, но я никогда не могла сосредоточиться хотя бы на одной из них и довести работу до конца. Но даю тебе слово: когда мы будем за границей, я нарисую десятка два картин, и ты развесишь их по стенам нашего дома. Нашего дома, Саша!

Саша крепко прижал к себе содрогавшееся тело Ирины, целуя ее взъерошенные волосы.

* * *

- Каша подгорела, — недовольно буркнул Виктор.
- Извини, — пробормотала, оправдываясь, Ирина. — Я недоглядела и...
- Еще есть что-нибудь к обеду?
- К сожалению, Виктор, в доме ничего нет...
- В этом доме никогда ничего не бывает. В последние три дня продукты прямо тают на глазах.
- Как обычно, — вставила Мариша. — К тому же не забывай, что на этой неделе я не получила хлебный паек.
- Интересно, это почему же?
- У меня не было времени стоять в очереди, поэтому...
- Ирина могла бы получить.
- Виктор, — вмешался Василий Иванович, — твоя сестра неважно себя чувствует.
- Это я вижу.
- Если не хочешь, я съем твою кашу, — предложила свою помощь Ася и потянулась к тарелке Виктора.
- Тебе достаточно, Ася, — остановила ее Ирина. — Поторопись-ка в школу.
- Черт побери! — огрызнулась Ася.
- Ася! Где ты набралась таких слов?
- Я не пойду в школу, — захныкала девочка. — Сегодня мы должны оформлять ленинский уголок. Я терпеть не могу расклеивать журнальные картинки на старых красных планшетах! На меня уже два раза накричали, потому что я прилепила их неровно.
- Давай поживее и надень курточку. Возвращаться будешь поздно.
- Ася тяжело вздохнула, покорным взглядом обвела пустые тарелки и поплелась к выходу.
- Виктор, засунув руки в карманы, откинулся на спинку кресла и пристально посмотрел на Ирину.
- Ты не собираешься сегодня на работу, Ирина? — поинтересовался он как бы между прочим.
- Нет. Я предупредила их по телефону. Плохо себя чувствую. Похоже, что у меня температура.
- В такую отвратительную погоду лучше сидеть дома, — заметила Мариша. — Гляньте, снег идет.
- Да, — согласился Виктор. — Ирине не стоит выходить.
- Я не боюсь, — пояснила Ирина, — просто я считаю, что безопаснее будет побыть дома.

— Ты никогда и ничего не боишься, — язвительным тоном сказал Виктор. — Черта характера, достойная похвалы — иногда. А в некоторых случаях можно зайти слишком далеко.

— Что ты имеешь в виду?

— Следует быть более осторожной по отношению к своему здоровью. Может, вызовешь врача?

— Нет никакой необходимости. Я не так уж плоха. Через несколько дней все будет в порядке.

— Надеюсь, — произнес Виктор, вставая с кресла.

— Куда ты сегодня собираешься, Виктор? — спросила Мариша.

— А почему тебя это интересует?

— Нет, ничего... я... просто так... Видишь ли, я подумала, что если бы ты не был очень занят, то мог бы зайти ко мне в кружок и выступить с каким-нибудь сообщением. Они наслышаны о моем выдающемся муже, и я обещала им устроить встречу с тобой. Ты бы мог обратиться к ним с речью — например, по вопросу электрификации или современного авиастроения, что-нибудь в этом духе.

— Извини, — ответил Виктор, — как-нибудь в другой раз. Я должен сегодня встретиться с одним человеком по поводу работы на площадке.

— Могу я пойти с тобой, Виктор?

— Конечно, нет. Что это значит? Проверка? Ревность? Или что?

— Нет, ничего, дорогой.

— В таком случае отстань. Я не допущу, чтобы моя жена таскалась за мной по пятам.

— Ты подыскиваешь себе новую работу, Виктор? — поинтересовался Василий Иванович.

— А что ты думаешь? Я всю жизнь просижу, получая продовольственные карточки? Ладно, вы еще увидите.

* * *

— Вы уверены? — сухо спросил дежурный.

— Да, — с готовностью выпалил Виктор.

— Кто еще замешан в этом?

— Больше никто. Только моя сестра.

— Кто еще проживает в вашей квартире, товарищ Дунаев?

— Моя жена, отец и младшая сестренка — она совсем еще ребенком. Мой отец ни о чем не подозревает. Моя жена настолько легкомысленна, что дальше своего носа ничего не видит. Кроме того, она член ВЛКСМ. Есть также соседи, но они никогда не контактируют с нами.

— Понятно. Благодарим вас, товарищ Дунаев.

— Я всего-навсего исполняю свой долг.

Дежурный поднялся и протянул руку:

— Товарищ Дунаев, от имени Союза Советских Социалистических Республик разрешите выразить вам благодарность за проявленное мужество. Еще остались люди, для которых преданность государству стоит выше родственных уз. Вот тот идеал, на котором мы воспитываем отсталые массы населения. Подобное отношение к делу является лучшим доказательством преданности со стороны коммуниста. Я постараюсь, чтобы ваш героизм не остался незамеченным.

— Я не заслуживаю таких высоких похвал, — скромно заметил Виктор. — Своим поступком я просто хотел показать партии, что семья — пережиток прошлого, который не следует принимать во внимание, когда речь идет об оценке верности члена партии нашему великому коллективу.

ГЛАВА VIII

В дверь позвонили. Ирина вздрогнула и выронила из рук газету. Мариша оторвалась от книжки.

— Я открою, — поспешил к двери Виктор.

Ирина посмотрела на висевшие в гостиной настенные часы. До отправления поезда оставался час. Виктор на собрание не пошел; он вообще не собирался выходить из дому.

Василий Иванович, сидя у окна, вырезал рукоятку ножа для бумаги. Где-то под столом шуршала журналами Ася.

— Кто мне подскажет — это фотография Ленина? Я должна вырезать для уголка десять фотографий, но их здесь так мало. Это Ленин или чехословацкий генерал? Будь я проклята, если... — раздавался ее тонкий голосок.

В коридоре послышались шаги тяжелых сапог. Дверь распахнулась настежь. На пороге стоял человек в кожаной куртке: в руке он держал клочок бумаги. За его спиной возвышались два красноармейца в буденновках, с винтовками наперевес. Еще один, со штыком в руке, расположился у входа в общий коридор.

Мариша вскрикнула. Вскочив, она прикрыла рот руками. Василий Иванович медленно встал. Ася, раскрыв рот, вытаращилась из-под стола. Ирина стояла, гордо выпрямив спину.

— Ордер на обыск, — сухо объяснил человек в кожаной куртке, кинув на стол бумагу. — Сюда! — указал он красноармейцам.

Они прошли по коридору в комнату Ирины.

Они рванули на себя дверь кладовой. Саша стоял на пороге, на его лице застыла мрачная усмешка.

Василий Иванович, из коридора наблюдавший за действиями бойцов, открыл рот от изумления.

— Так вот почему она не разрешала мне открывать! — взвизгнула Ася. Мариша стукнула ее по ноге. Со стола на пол слетел альбомный листок с незавершенным рисунком.

— Кто из вас Ирина Дунаева? — задал вопрос человек в кожаной куртке.

— Я, — отозвалась Ирина.

— Послушайте, — вмешался Саша. — Она здесь ни при чем... Она... не виновата... Я угрожал ей и...

— Чем же? — сухо поинтересовался человек в кожаной куртке. Один из солдат обыскал Сашу.

— Оружия нет, — доложил он.

— Хорошо, — бросил человек в кожаной куртке. — Отведите его в машину. Гражданку Дунаеву тоже. И старика. Комнату обыскать.

— Товарищ, — твердым голосом обратился Василий Иванович к начальнику. — Товарищ, моя дочь не виновата, — руки его дрожали.

— Мы еще побеседуем о ней, — сказав это, человек в кожаной куртке повернулся к Виктору: — Вы член партии?

— Да, — с готовностью выпалил Виктор.

— Ваш партбилет? Это ваша жена? — указал на Маришу человек в кожаной куртке.

— Да.

— Эти двое могут остаться. А вы одевайтесь.

На полу остался мокрый след от солдатских сапог. Абажур лампы свесился на одну сторону. Неровный луч света, скользнувший по коридору, освещал бледно-зеленое лицо Мариши. Запавшими глазами она пристально смотрела на Виктора.

Часовой, стоящий у входа, открыл дверь и впустил управдома, придерживавшего рукой наспех накинутое пальто, из-под которого виднелась грязная расстегнутая рубашка.

— Боже мой! Боже мой! Боже мой! — причитал он, похрустывая суставами пальцев. — Товарищ комиссар, клянусь, я ничего не знал...

Красноармеец захлопнул дверь перед соседями, собравшимися на лестничной площадке.

Ирина поцеловала Асю и Маришу. К ней подошел Виктор, лицо его выражало беспокойство:

— Сожалею, Ирина... Я не понимаю... Я попробую что-нибудь сделать и...

Ирина прервала его взглядом; она смотрела на него в упор; ее глаза неожиданно напомнили глаза Марии Петровны на старом портрете. Она повернулась и, не проронив ни слова, последовала за красноармейцами. За ней вышли Саша и Василий Иванович.

* * *

Василия Ивановича отпустили через три дня.

Сашу Чернова за контрреволюционную деятельность приговорили к десяти годам тюремного заключения в Сибири.

Ирине Дунаевой за пособничество контрреволюционеру был вынесен такой же приговор.

Василий Иванович пытался связаться с крупными должностными лицами, раздобыл несколько рекомендательных писем, адресованных помощникам секретарей, провел уйму времени, ежась в неотпливаемых приемных, названивая по телефону, стараясь каждый раз говорить уверенным голосом. Однако все было тщетно, и Василий Иванович прекрасно это понимал.

Приходя домой, он не общался с Виктором, не обращал на него внимания. И никогда не просил его о помощи.

Мариша одна встречала Василия Ивановича.

— Василий Иванович, пообедайте, — робко предлагала она. — Я приготовила лапшу, как вы любите, — специально для вас.

Каждый раз, когда Василий Иванович отвечал рассеянной улыбкой, Мариша от благодарности и смущения заливалась румянцем.

Василий Иванович навещал Ирину в камере ГПУ. В тот день, когда Василий Иванович добился того, чтобы было исполнено последнее желание Ирины, он заперся у себя в комнате и беззвучно проплакал в течение многих часов. Ирина попросила разрешения на брак с Сашей перед их отправкой.

Церемония бракосочетания состоялась в пустом коридоре ГПУ. У входа стояли часовые. Василий Иванович и Кира выступали в качестве свидетелей. Губы Саши подергивались. Ирина сохраняла присутствие духа. Она была спокойна с самого дня ареста. Она выглядела слегка осунувшейся и немного бледной; ее кожа казалась прозрачной, а глаза слишком большими; ее пальцы уверенно лежали на руке Саши. По окончании процедуры, нежно и сочувственно улыбаясь, она подняла голову для Сашиного поцелуя.

Ответственный работник, которого Василий Иванович встретил на следующий день, сказал:

— Ну, вы добились того, что хотели. Но к чему вся эта дурацкая затея? Знаете ли вы, что их тюрьмы будут находиться на расстоянии трехсот пятидесяти километров друг от друга?

— Нет, — внутри у Василия Ивановича все опустилось, — я не знал этого.

Ирина предполагала такой вариант. Именно это и явилось причиной их свадьбы; она надеялась на то, что места их заключения будут изменены. Однако она ошиблась.

* * *

Это была последняя попытка Василия Ивановича. Приговор ГПУ обжалованию не подлежал. Однако место отбывания наказания

могло быть изменено; если бы ему только удалось заручиться влиятельной поддержкой... Василий Иванович встал на рассвете. Мариша заставила его выпить чашечку черного кофе; остановив его в коридоре на полпути к выходу, она вручила ему ее. В своей длинной ночной рубашке Мариша дрожала от холода.

Василий Иванович оказался в холле казино этой ночью. Проталкиваясь через толпу, комкая в руках шляпу, он попытался остановить внушительного вида совслужащего, встречи с которым он тщетно ожидал в течение всего дня.

— Товарищ комиссар, — любезно обратился к нему Василий Иванович, — всего несколько слов... пожалуйста... товарищ комиссар...

Швейцар в ливрее вытолкнул Василия Ивановича вон; и он потерял шляпу.

И все же Василий Иванович добился приема и договорился о встрече. Вот он вошел в государственное учреждение. Его старое залатанное пальто было тщательным образом вычищено, туфли блестели от крема, волосы были аккуратно зачесаны на пробор. Представ перед столом комиссара, Василий Иванович опустил свои могучие плечи. Трудно было поверить, что много лет назад, охотясь в лесах Сибири, этот волевой человек проходил сотни километров с тяжелым ружьем за плечами. Глядя в суровое лицо сидящего за столом человека, Василий Иванович принялся излагать суть дела:

— Товарищ комиссар, это все, что я прошу. Ничего больше. Определите им одно и то же место для отбывания наказания. Ведь я прошу немногого. Я понимаю, что они контрреволюционеры и вы имеете право наказывать их. Я не жалею, товарищ комиссар. Десять лет — так десять. Но только отправьте их в одну и ту же тюрьму. Какая вам разница? Неужели это имеет какое-то значение для государства? Они так молоды. Они любят друг друга. Конечно, десять лет — не такой уж большой срок, но мы с вами знаем, что они никогда не вернуться оттуда, ведь это холодная и голодная Сибирь и условия жизни...

— О чем это вы? — перебил Василия Ивановича строгий голос.

— Товарищ комиссар, я... я не имел в виду... нет... я не имел в виду ничего такого... Но ведь они могут заболеть, например, Ирина довольно слаба... А ведь они не приговорены к смертной казни. И пока они живы — не могли бы вы не разлучать их? Для них это будет так много значить — а для других так мало. Я старый человек, товарищ комиссар, и она — моя дочь. Я знаю, что такое Сибирь. Мне было бы легче, если бы я был уверен, что она там будет не одна, что рядом с ней будет мужчина, ее муж. Я не знаю, как мне простить вас, товарищ комиссар, но вы должны простить меня. Видите ли, за всю свою жизнь я никогда никого не просил о благосклонности. Вы, наверное,

полагаете, что моему возмущению нет предела и я ненавижу вас всем своим естеством. Но это не так. Пожалуйста, сделайте то единственное, о чем я вас прошу, — отправьте их в одну и ту же тюрьму. И я буду благословлять вас до последних дней своей жизни.

Василию Ивановичу было отказано.

* * *

— Я слышал о том, что случилось, — заметил Андрей, когда Кира начала рассказывать об аресте Ирины и Саши. — Знаешь, кто донес?

— Не знаю, — ответила Кира и, отвернувшись, добавила: — Хотя догадываюсь. Не говори мне. Я не хочу этого знать.

— Хорошо, не скажу.

— Я не хотела просить тебя о помощи, Андрей. Я понимаю, что ты не имеешь права заступаться за контрреволюционера, но ты бы мог попросить, чтобы ей изменили место отбывания наказания и отправили их в одну тюрьму? Это не показалось бы предательством с твоей стороны, тем более что для твоих начальников нет никакой разницы.

— Конечно, я попробую, — пообещал Андрей, взяв Киру за руку.

* * *

В одном из учреждений ГПУ начальник, холодно глянув на Андрея, поинтересовался:

— Вы просите за родственницу, не так ли, товарищ Таганов?

— Я не понимаю, о чем вы говорите, — недоуменно сказал Андрей, глядя чиновнику прямо в глаза.

— Неужели? Вам следует знать, что интимная связь с дочерью бывшего владельца фабрики — не лучший способ укрепить свое положение в партии. Не удивляйтесь, товарищ Таганов. Вы что же, работаете в ГПУ и не догадываетесь о том, что нам все известно?! Вы меня поражаете.

— Моя личная жизнь...

— Ваша, извините, что?

— Если вы имеете в виду гражданку Аргунову...

— Да, именно о ней я и говорю. Я бы посоветовал вам, используя те полномочия, которые дает вам ваша должность, навести справки о гражданке Аргуновой — для вашей же пользы, кстати.

— Я знаю все, что мне нужно знать о гражданке Аргуновой, и не впутывайте ее в это дело. Она политически безупречна.

— Ага, *политически!* А в других отношениях?

— Если мы говорим с вами как начальник с подчиненным, то я отказываюсь обсуждать все то, что не касается ее политической репутации.

— Хорошо, я не буду продолжать разговор. Я говорил с вами просто как друг. Вам следует быть более осторожным, товарищ Таганов. У вас не очень-то много друзей осталось в партии.

Андрей не смог ничего сделать, чтобы изменить приговор Ирине.

* * *

— Черт! — проворчал Лео, окуная голову в таз с холодной водой. Прошлой ночью он пришел домой поздно, и теперь ему нужно было освежиться. — Я пойду к этому проходимцу Серову. У него друг — большая шишка в ГПУ. Если я его попрошу, он просто вынужден будет что-нибудь сделать.

— Хорошо бы, Лео, — с надеждой заметила Кира.

— Поганые садисты! Какая им разница, будут ли два несчастных человека гнить в их адской тюрьме вместе или поодиночке. Ведь понятно, что живыми им оттуда не выйти.

— Не вздумай сказать ему это, Лео. Попроси его любезно.

— Я его попрошу *любезно!*

* * *

Секретарша в приемной Павла Серова что-то сосредоточенно печатала на машинке, покусывая нижнюю губу. Десять посетителей, стоя за деревянной перегородкой, ожидали приема. Лео направился прямо в кабинет, на ходу бросив секретарше:

— Мне нужно видеть товарища Серова. Немедленно.

— Но позвольте, гражданин, — попыталась было возразить секретарша. — Туда нельзя.

— Я сказал, мне нужно немедленно его видеть.

— Товарищ Серов очень занят. Здесь, в конце концов, очередь.

— Идите и скажите ему, что пришел Лев Коваленский. Он примет меня без промедления.

Секретарша поднялась и спиной попятилась к кабинету Серова, испуганно уставившись на Лео, будто ожидая, что он вытащит пистолет. Вернувшись, она выглядела еще более напуганной. Задышавшись, она произнесла:

— Войдите, товарищ Коваленский.

Когда дверь за секретаршей закрылась, Павел Серов вскочил и, стиснув зубы, зарычал:

— Лев, ты дурак. С ума сошел, что ли? Как ты посмел прийти сюда?

Раздавшийся после этих слов холодный смех Лео напоминал пощечину, которую наносит хозяин своему непокорному рабу:

— Не тебе говорить мне о предосторожности.

— Убирайся отсюда к чертовой матери. Здесь я не буду с тобой разговаривать.

— А я буду, — заявил Лео, устраиваясь в кресле.

— Ты сознаешь, с кем ты имеешь дело? Никогда в жизни я не встречался с подобной наглостью! Ты безумец!

— Сам ты... — огрызнулся Лео.

— Ну ладно, чего ты хочешь? Выкладывай, — сдался Серов и сел за стол, напротив Лео.

— У тебя есть приятель-гэпэушник.

— Хорошо, что ты помнишь это.

— Поэтому я и пришел сюда. Двух моих друзей приговорили к десяти годам лишения свободы с высылкой в Сибирь. Они молодожены. Их отправляют в разные тюрьмы, за сотни километров друг от друга. Сделай так, чтобы обоих определили в одну и ту же тюрьму.

— Ого! — воскликнул от неожиданности Павел Серов. — Наслышан об этом случае. Прекрасный пример преданности партии со стороны товарища Виктора Дунаева.

— Просто смешно, что *ты* говоришь *мне* о преданности партии.

— Ну и что ты сделаешь, если я и пальцем не пошевелю, чтобы сдвинуть этот вопрос?

— Ты знаешь, я могу многое.

— О да, — любезно произнес Серов. — Я знаю, на что ты способен. Но я также знаю, что ты ничего мне не сделаешь. Видишь ли, для того, чтобы утопить меня, тебе нужно будет утопить и себя, а ты, при всем твоим благородстве, я думаю, не пойдешь на это.

— Послушай, оставь этот официальный тон. Мы с тобой оба не чисты на руку. И ты, и я прекрасно понимаем, что ненавидим друг друга. Но мы с тобой плывем в одной лодке, которая, надо заметить, не очень устойчива. Не кажется ли тебе, что было бы разумнее по возможности помогать друг другу?

— Согласен. И часть твоей задачи — держаться отсюда подальше. Если бы тебе не мешали шоры твоей аристократической надменности, о которой уже пора забыть, ты бы подумал, прежде чем пропустить меня ходатайствовать за своих двоюродных братьев или сестер, потому что это все равно, что афишировать наши с тобой отношения.

— Ты жалкий трус!

— Возможно. Тебе, пожалуй, тоже стоило бы развить в себе это качество. Тебе не следовало приходить сюда и просить меня об одолжении. Запомни, хотя мы и связаны с тобой одной цепью — до поры до времени, — но у меня все равно больше возможностей порвать ее.

Лео встал и направился к выходу. В дверях он обернулся.

— Дело твое. Только тебе было бы разумнее сделать то, о чем я тебя просил, — вдруг когда-нибудь эта цепь окажется в моих руках...

— А с твоей стороны было бы разумнее не приходить сюда — на случай, если цепь попадет ко мне... Слушай, — понизил голос Павел, — ты можешь для меня кое-что сделать. Скажи этой свинье Морозову, чтобы он прислал деньги. Он опять задерживает выплату со своей последней сделки. Я его предупреждал, что не намерен ждать.

* * *

— Подумай, — робко обратилась к Виктору Мариша, — как ты считаешь, может быть, мне стоит встретиться с кем надо и попросить... только о том, чтобы их отправили в одну и ту же тюрьму... кому какая разница... и...

Виктор схватил Маришу за запястье и скрутил ей руку с такой силой, что она вскрикнула от боли.

— Запомни, дура, — процедил он сквозь зубы, — держись от всего этого подальше. Тем самым окажешь мне хорошую услугу. Моя жена просит за контрреволюционеров!

— Но я только...

— Если ты скажешь кому-нибудь из своих друзей хоть одно слово, поняла — одно слово, я тут же подам на развод!

Тем вечером, возвратившись домой, Василий Иванович был спокойнее, чем обычно. Он снял пальто и аккуратнейшим образом сложил перчатки на трюмо в коридоре. Не обратив внимания на накрытый Маришей обед в гостиной, Василий Иванович обратился к Виктору:

— Я хочу поговорить с тобой, Виктор.

Виктор неохотно прошел за Василием Ивановичем в кабинет.

Василий Иванович не стал садиться. Он стоял, опустив руки, и смотрел на сына.

— Виктор, — начал он, — ты знаешь, что я могу тебе сказать. Но я не буду говорить этого. Я не буду задавать никаких вопросов. Мы живем в странное время. Много лет назад я был уверен в себе и своих мыслях. Я знал, когда я прав, знал, кого или что мне нужно

осуждать. Но сегодня все изменилось. Я не знаю, могу ли я вообще кого-нибудь в чем-нибудь осуждать. Вокруг нас столько ужаса и страданий, что трудно найти виновного. Мы все несчастные, затравленные создания. Мы много страдаем, но практически ничего не понимаем. Я не буду обвинять тебя в том, что ты, возможно, совершил. Я не знаю движущих тобой мотивов. И не буду спрашивать тебя об этом. Я все равно не пойму. Сегодня никто никого не понимает. Ты мой сын, Виктор. Я люблю тебя. Я не могу не любить тебя точно так же, как ты не можешь не быть тем, кто ты есть. Видишь ли, я хотел иметь сына еще с тех пор, когда я был моложе тебя. Я никогда не верил людям. Поэтому я хотел, чтобы у меня был человек, на которого бы я мог смотреть с гордостью, так, как я смотрю на тебя сейчас.

Однажды в детстве ты порезал себе палец. Рана была глубокой, прямо до кости. Ты зашел в дом, чтобы мы перевязали его. У тебя посинели губы, но ты не плакал. Ты не издал ни звука. Твоя мать рассердилась на меня, когда я при виде тебя расплылся в счастливой улыбке. Понимаешь, я был горд за тебя. Я знал, что я всегда буду гордиться тобой. Когда мама заставила тебя надеть бархатный костюмчик с большим кружевным воротником, ты выглядел таким смешным. Ты был таким недовольным — и таким хорошеньким! Твои кудряшки топорщились...

Но это не имеет никакого отношения к делу. Просто я не могу сказать тебе ни одного плохого слова, Виктор, у меня язык не поворачивается. Я не буду задавать тебе вопросов. Я только хочу попросить тебя об одном одолжении: ты не можешь спасти свою сестру, я знаю это. Но поговори со своими друзьями — среди них есть влиятельные люди, — пусть они сделают так, чтобы Ирину отправили в одну с Сашей тюрьму. Только и всего. Это не противоречит приговору, и твоя репутация останется вне подозрений. Исполни ее последнюю просьбу, Виктор, ты же понимаешь, что она никогда не вернется оттуда. Пожалуйста, помоги — и мы не будем ворошить прошлого. У меня по-прежнему будет сын, и я постараюсь ни о чем не думать, хотя это будет нелегко. Окажи мне эту единственную услугу во искупление того, что было сделано.

— Отец, поверь мне, если бы я мог что-либо сделать, я бы... Я пытался, но...

— Не будем спорить. Я не спрашиваю тебя, можешь ли ты что-нибудь сделать. Я знаю, что можешь. Ты только скажи мне — «да» или «нет». Но знай, если твой ответ будет отрицательным, Виктор, между нами все кончено. В таком случае у меня нет больше сына. Хватит, Виктор, я и так простил тебе слишком многое.

— Но, отец, это абсолютно невозможно и...

— Виктор, я предупредил: если скажешь «нет», ты мне больше не сын. Подумай о тех потерях, которые мне пришлось пережить за последние несколько лет. Итак, я жду твоего ответа.

— Я ничего не смогу сделать.

Василий Иванович медленно выпрямился. Его застывшее морщинистое лицо не выражало никаких чувств. Он направился к двери.

— Куда ты? — спросил Виктор.

— Тебя это больше не касается, — сказал Василий Иванович.

Мариша и Ася сидели за столом в гостиной, уставившись на тарелки. Обед уже остыл, но они к нему так и не притронулись.

— Ася, — позвал Василий Иванович, — одевайся.

— Папа! — Мариша вскочила, с грохотом отодвигая стул, впервые за все время совместной жизни она обратилась так к Василию Ивановичу.

— Мариша, — мягко произнес Василий Иванович, — я позвоню через несколько дней... когда найду жилье. Пришлете мне оставшиеся вещи?

— Вам нельзя уходить отсюда, — Маришин голос дрогнул. — Без работы, без денег... Это ваш дом.

— Это дом твоего мужа, — поправил Василий Иванович. — Пойдем, Ася.

— Могу я взять с собой свои марки? — пробормотала Ася.

— Бери, если хочешь.

Мариша сидела на подоконнике, прижимаясь лицом к стеклу. Всем своим телом она содрогалась в глухом рыдании. Василий Иванович брел с поникшей головой, опустив плечи; в свете уличного фонаря Мариша поймала взглядом полоску белой шеи, которую не прикрывали ни черная меховая шапка, ни высокий воротник старого пальто; рядом, на пятках пробираясь через коричневую грязь, покорно плелась Ася; Василий Иванович держал ее за ручку, которая по сравнению с его огромной фигурой казалась совсем крошечной; к груди Ася бережно прижимала альбом с марками.

* * *

В последний вечер перед этапом Кира пришла в ГПУ на свидание с Ириной. На восковом лице Ирины застыла мягкая улыбка; она смотрела на Киру нежным, отсутствующим взглядом, по ее глазам было видно, что мыслями она была где-то очень далеко.

— Я пришлю тебе варежки, — пыталась шутить Кира, — из шерсти. Только предупреждаю, вязать их я буду сама, поэтому не удивляйся, если не сможешь их надеть.

— Нет, Кира. Лучше пришли мне свою фотокарточку. Это будет забавно: Кира Аргунова за спицами!

— Кстати, — заметила Кира, — ты так и не подарила мне обещанную картину.

— Да, ты права. Все мои картины забрал папа. Скажи ему, чтобы он отдал тебе ту, которая понравится. Объясни ему, что я велела. Но все равно это будет не то, что я тебе обещала. А обещала я тебе настоящий портрет Лео.

— Подождем до твоего возвращения.

— Мне это приятно слышать, Кира, — попробовала улыбнуться Ирина, — только я не маленькая и все понимаю. Я не боюсь. Помнишь, как отправляли в Сибирь студентов университета. Никогда они уже не вернутся. Цинга или чахотка свалят их... Я готова к этому.

— Ирина...

— Успокойся, не будем давать волю чувствам, даже если видимся мы с тобой в последний раз... Я хотела спросить тебя, Кира. Если хочешь, можешь не отвечать. Просто мне любопытно: что у тебя с Андреем Тагановым?

— Вот уже около года я его любовница, — пояснила Кира. — Так получилось, что тетя Лео в Берлине никак не...

— Я так и полагала. Бедная ты, Кира. Еще не известно, кому из нас нужно запастись мужеством.

— Мне будет страшно только в тот роковой день, когда я сдамся. А этот день никогда не настанет.

— А я уже сдалась, и все равно ничего не боюсь. Я только хочу понять одну вещь. Но мне кажется, никто не сможет объяснить мне этого. Ясно, что меня ждет смерть. Я все понимаю. Но не могу до конца поверить в это. Все так странно. Сначала жизнь тебе кажется чем-то очень дорогим и необыкновенно прекрасным, подобно священному сокровищу. А теперь, когда моя жизнь на исходе, никому до этого нет никакого дела. И что самое главное — никто не хочет понять, что значит для меня моя жизнь, это мое сокровище, и что в ней скрыто нечто, что обязательно надо понять и оценить. Откровенно говоря, я и сама не осознаю всей ее ценности. Нам всем нужно в чем-то разобраться, Кира. Но в чем? В чем?

* * *

Политзаключенных везли в отдельном вагоне; на винтовках у охранников сверкали штывки. Ирина и Саша сидели на деревянных полках друг против друга; они проехали вместе половину пути и теперь подъехали к узловой станции, где Ирину должны

были пересадить на другой поезд. Темные окна вагона блестели, как будто обратная сторона стекла была обклеена лакированной кожей. Только налипшие пушистые хлопья снега свидетельствовали о том, что где-то за окном есть земля, облака и черное небо. Высоко под потолком раскачивался фонарь. Казалось, что при каждом стуке колес язычок пламени вспархивал и, подобно мотыльку, делающему круги над венчиком цветка, возвращался на свое прежнее место, на фитиль. Сидевший в одиночестве у окна юноша в старой зеленой студенческой фуражке слабым, заунывным голосом, в котором звучала усмешка, напевал сквозь зубы:

Эх, яблочко, куда ж ты котишься?

Саша и Ирина держались за руки. Ирина улыбалась, пряча подбородок в старый шерстяной шарф. Руки ее замерзли, изо рта шел пар.

— Нас не должны пугать эти десять лет, — шептала Ирина. — Срок не такой уж большой, как кажется. Знаешь, один философ, не помню, как его зовут, но это и не важно, сказал, что время — это иллюзия или что-то в этом роде. Время может идти быстро, если мы не думаем о нем. Мы все еще будем молоды, когда... когда выйдем на свободу. Давай пообещаем друг другу не думать ни о чем другом. Обещаешь?

— Да, — тихо промолвил Саша, глядя на руки Ирины. — Если бы я только не..

— Ты же давал мне слово, что никогда не будешь вспоминать об этом. Дорогой, неужели ты не понимаешь, что для меня было бы намного тяжелее остаться дома, в то время как тебя отправляют в Сибирь? Теперь же я чувствую, что у нас с тобой что-то общее. Ведь правда.

Саша ничего не сказал, а только опустил голову ей на колени.

— Послушай, — тихо сказала она, прильнув щекой к его светлым волосам, — я знаю, что не всегда будет легко сохранять присутствие духа. Иногда возникает мысль: что толку быть смелым ради собственной гордости? Поэтому давай договоримся, что попробуем выстоять ради самих себя. Когда тебе будет очень плохо, просто улыбнись и вспомни обо мне. Я буду поступать так же. И тогда мы останемся вместе. Запомни, очень важно хранить присутствие духа. Попробуем продержаться как можно дольше.

— Для чего все это?! — пессимистически возразил Саша. — У нас все равно не хватит сил.

— Саша, не говори так, — приподняв его голову, Ирина посмотрела ему прямо в глаза. В ее взгляде, казалось, отражалась вера

в каждое сказанное ею слово. — У нас крепкое здоровье. И кроме того, я уверена, что все эти рассказы о голоде и чахотке слишком преувеличены. Не так страшен черт, как его малюют.

Раздался скрежет колес. Поезд сбавлял ход.

— Господи, — простонал Саша, — разве уже станция?

Состав дернулся, и колеса застучали все быстрее и быстрее.

— Нет, — облегченно выдохнула Ирина, — еще нет.

Студент у окна продолжал завывать в такт колесам:

Эх, яблочко, куда ж ты котишься?

Он не спеша, с расстановкой повторял слово за словом, как будто в каждом из них заключались одновременно и вопрос, и ответ, подтверждавшие какую-то его мысль:

Эх... яблочко... куда... ты... котишься...

— Послушай, — шепотом обратилась Ирина к Саше, — знаешь, что мы сделаем? Иногда мы будем смотреть на луну — луна же везде одна, — таким образом мы будем смотреть вместе на одно и то же.

— Это будет здорово.

— Я сначала хотела выбрать солнце, но я не думаю, что там, куда мы едем, оно частый гость, поэтому...

Тут Ирина закашлялась, содрогаясь всем телом, прикрывая рот рукой.

— Ирина, — закричал Саша, — что с тобой?

— Ничего страшного, — улыбнулась Ирина, переводя дыхание. — Просто немного простудилась. Камеры в ГПУ плохо отапливаются.

За окном мелькнул свет фонаря. Затем все вновь погрузилось в темноту, только снежинки бесшумно бились об оконное стекло. Но продрогшие от холода Ирина и Саша продолжали сидеть, уставившись в окно.

— Кажется, подъезжаем, — заметила Ирина.

Саша выпрямился. Его медного цвета лицо было темнее волос. С неожиданной решительностью в голосе он спросил:

— Ирина, если они разрешат, мы будем писать друг другу письма... каждый день?

— Конечно, — успокоила его Ирина.

— Ты будешь посылать мне в письмах свои рисунки?

— С удовольствием... Смотри! — С этими словами она отколола от оконной рамы обугленную щепку. — Я нарисую для тебя что-нибудь прямо сейчас.

Несколькими быстрыми и уверенными, как движения скальпеля в руках хирурга, штрихами она набросала на спинке полки, на которой сидела, рожицу, ухмыляющегося во весь рот чертенка с изогнутыми бровями. Он озорно подмигивал. Глядя на его заразительную усмешку, невозможно было удержаться от улыбки.

— Вот так, — закончив рисовать, бросила Ирина, — он составит тебе компанию до конца пути.

Саша ответил улыбкой на улыбку чертенка. И вдруг, откинув голову назад и со всей силы сжав кулаки, он закричал так громко, что студент, сидящий у окна, вздрогнул и посмотрел на Сашу.

— К чему они говорят о чести, идеалах и патриотическом долге? Почему они берутся учить нас?..

— Дорогой, тише! Не забывай голову бесполезными мыслями. В этом бренном мире столько бесполезных мыслей!

На станции, у параллельной платформы уже стоял другой поезд. Часовые со штыками на винтовках вывели под конвоем нескольких заключенных. Саша крепко обнял Ирину могучими руками. Он стал целовать ее губы, щеки, волосы, шею. Его стон напоминал рычание зверя. Уткнувшись лицом ей в шарф, Саша хрипло, неистово, краснея и задыхаясь, прошептал слова, которые до этого он всегда произносил с неохотой:

— Я... Я люблю тебя...

Часовой коснулся Ирениного плеча; она с трудом оторвалась от Саши и последовала за красноармейцем вдоль прохода. В дверях Саша в бешенстве оттолкнул часового и, схватив Ирину, стал страстно обнимать и целовать жену, которой никогда не владел.

Часовой оттолкнул Ирину от Саши и повел ее к выходу. На мгновение она обернулась, чтобы в последний раз посмотреть на мужа. Подобно нарисованному чертенку, Ирина простодушно улыбалась, вздернув носик и озорно подмигнув. Затем дверь закрылась.

Два поезда тронулись одновременно. Плотнo прижавшись лицом к оконному стеклу, Саша разглядел темный силуэт Ирениной головы в желтом квадрате окна в поезде напротив. Поезда ехали вровень друг с другом. Колеса стучали все чаще и чаще; по вагону, за которым следил Саша, скользнул свет станционных огней. Саша думал, что если бы окно было открыто, то он, вытянув руку, смог бы достать идущий рядом поезд. Затем полоска снега, отделяющая один состав от другого, начала расширяться и поезда разъехались так, что, даже вытянись он во весь рост, состав напротив оказался бы вне досягаемости. Он перевел взгляд с окна на белую полосу, которая все больше и больше разделяла их. Он держал пальцы на стекле, как бы пытаясь схватить и удержать эту полосу. Железнодорожные пути

расходились все дальше и дальше. Теперь на уровне его глаз катились голубовато-стальные колеса, взрывая две узкие борозды в снегу. Саша уже не смотрел на снег. Его взгляд задержался на маленьком желтом квадратике, светящемся где-то очень далеко, в центре которого была едва различима черная точка — силуэт дорогого ему человека. Желтый квадратик таял на глазах, но Саша не выпускал его из поля зрения. Он чувствовал, как какая-то неведомая сила притягивает его взгляд, вызывая щемящую боль. Две длинные гусеницы поползли друг от друга по бесконечной заснеженной пустыне; перед гусеницами бежали две тонкие серебряные нити, устремленные во тьму. Саша потерял из виду окно; он видел только одну сплошную полосу, состоящую из желтых пятнышек, над которой двигалось что-то темное, отдаленно напоминающее крыши вагонов. Нанизанные на одну нить желтые бусинки срывались в темную бездну. Вскоре осталось только грязное оконное стекло, обратная сторона которого была обклеена лакированной кожей. И Саша уже не был уверен, действительно ли он еще видит желтые искорки или их ему рисует его воспаленное воображение.

У Саши теперь остался только улыбающийся во весь рот, подмигивающий чертенок, нарисованный на полке прямо напротив него.

ГЛАВА IX

«Товарищ Виктор Дунаев, один из наших самых молодых и талантливых инженеров, назначен на ответственную должность на Волховстрой, величайший строительный объект советской гидроэлектротехники. Впервые такой молодой работник назначен на столь ответственный пост».

Это была вырезка из «Правды», которая лежала в новеньком блестящем портфеле Виктора рядом с подобной же заметкой из «Красной газеты», а между ними было вложено аккуратно сложенное сообщение из «Известий», несмотря на то что в нем товарищу В. Дунаеву была отведена всего лишь одна строчка.

Отправившись на строительную площадку на реке Волхов, расположенную в нескольких часах езды от Петрограда, Виктор взял с собой этот портфель. На вокзал провожать его пришла делегация от парткома. С площадки вагона Виктор произнес короткую, но впечатляющую речь о будущем пролетарского строительства. Он уехал, даже не поцеловав Маришу. На следующий день текст его речи был опубликован в стенной газете парткома.

Мариша была вынуждена остаться в Петрограде; ей необходимо было закончить курсы рабфака и продолжать свою общественную работу. Она робко предложила, что может бросить все это и поехать с Виктором, но он настоял на том, чтобы она осталась в городе.

— Дорогая моя, мы должны помнить, — сказал он ей, — что наш общественный долг превышает всех личных интересов.

Виктор пообещал, что зайдет домой, как только снова окажется в городе. Однажды Мариша неожиданно встретила его на партийном собрании. Виктор сбивчиво объяснил тогда, что не может вернуться с ней домой по причине того, что ему нужно было успеть на ночной поезд и вернуться на стройку. Мариша на это никак не отреагировала, хотя и знала, что никакого ночного поезда нет.

Она развила в себе склонность хранить молчание. Доклады на комсомольских собраниях она читала заунывным и бесстрастным голосом. Застигнутая врасплох, она сидела, безучастно уставившись в одну точку своими полными недоумения глазами. Она осталась совершенно одна в большой пустой квартире Дунаева. Виктор переговорил с некоторыми влиятельными должностными лицами, которые в свою очередь распорядились, чтобы в свободные комнаты не был никто подселен. Но тишина квартиры пугала Маришу, поэтому вечера она проводила со своими родными, живущими по соседству с Кирой.

Когда Мариша приходила, ее мать вздыхала и несмело жаловалась на дороговизну продуктов в кооперативах, а затем молча склонялась над своей штопкой.

— Добрый вечер, — бурчал ее отец и потом делал вид, что не замечает ее присутствия.

— Снова ты? — бросал младший брат Мариши. Она не знала, что ответить. Расположившись в углу за роялем, она до самой ночи читала книги. Затем, промямлив: «Ну, я пошла», — уходила домой.

Однажды вечером Мариша увидела Киру, которая торопливо шла через комнату к выходу. Подскочив, Мариша с надеждой улыбнулась, хотя она не знала, чего именно она ждет от Киры и что сама хочет сказать ей. Сделав робкий шаг вперед, Мариша остановилась; Кира, не замечая ее, вышла из комнаты. Мариша, продолжая растерянно улыбаться, снова села.

* * *

Снег выпал рано. Сугробы на тротуарах Петрограда постепенно превратились в горные хребты, пронизанные тонкими черными нитями саж, испещренные коричневыми комьями, окурками и сероватыми, поблекшими клочками газет. Нетронутый снег, скапливающийся под стенами домов, доходил до оконных рам цокольных этажей, он был мягким и белым, словно чистый хлопок.

Выходящие на улицу подоконники напоминали белые заваленные снегом полки. Карнизы, украшенные стеклянными кружевами длинных сосулек, сверкали на солнце. В холодное голубое небо медленно поднимались нежные, как лепестки цветка, клубы розового дыма.

Высоко на крышах за металлическими оградами возвышались белые стены снега, которые могли рухнуть вниз в любую минуту. Мужчины в грубых рукавицах, высоко взмахивая лопатами, сбрасывали с крыш огромные замерзшие белые глыбы, которые разбивались с глухим стуком. Избегая столкновения, сани резко сворачивали;

голодные воробьи с распущенными перьями бросались врассыпную из-под тяжелых копыт.

На углах улиц стояли огромные котлы, заключенные в ящики из некрашенных досок. Мужчины в больших рукавицах закладывали в эти котлы снег, а из-под них вдоль обочин журчали узкие потоки грязной воды.

Ночью открытые топки горели ярким пламенем, повсюду сияли оранжевые, с пурпурным отливом огоньки. Бездомные в оборванных одеждах выныривали из темноты и, склонившись, протягивали замерзшие руки к красному пламени.

Кира бесшумно шагала по дворцовому саду. К флигелю через глубокий снег вела слегка припорошенная цепочка следов. Она знала, что они принадлежат Андрею — посетители редко забирались в глубину сада. Голые, безжизненные стволы деревьев походили на телеграфные столбы. В окнах дворца было темно, но в дальнем конце сада сквозь окоченевшие ветки пробивался яркий квадратик желтого света, и на небольшой участок снега под окном Андрея падали золотисто-розовые блики.

Кира медленно начала подниматься по неосвещенной лестнице. Она нерешительно нащупывала ногой подернувшиеся льдом, скользкие ступеньки. В парадном подъезде царил мертвый сырой холод мавзолея. Ее рука осторожно скользила по разбитым перилам. Она ничего перед собой не видела; казалось, ступенькам не будет конца.

Когда перила внезапно оборвались, Кира замерла на месте.

— Андрей! — беспомощно позвала она, в ее испуганном голосе чувствовались нотки смеха.

Клинышек света прорезал темноту, когда Андрей открыл дверь.

— Кира! — Андрей бросился ей навстречу, виновато улыбаясь. — Извини, тут все провода оборвали.

Он подхватил ее на руки и понес в комнату.

— Мне стыдно, Андрей, я такая трусиха! — весело заметила Кира.

Подойдя к камину, Андрей опустил Киру на пол. Он снял с нее пальто и шляпу. От тающего снега на воротнике ее пальто руки Андрея стали мокрыми. Он усадил Киру у огня и, стащив с ее рук варежки, стал растирать в своих ладонях ее замерзшие пальцы. Затем он стянул с Киры галоши и стряхнул с них снег, капельки которого, попав на раскаленные угли, зашипели.

Андрей молча обернулся и, взяв в руки длинную узкую коробку, кинул ее на колени Киры. На его лице застыла выжидающая улыбка.

— Что это, Андрей? — удивилась Кира.

— Одна заграничная вещичка.

Кира сорвала оберточную бумагу и открыла коробку. В ней лежал черный шифоновый пеньюар. Она ахнула от изумления; он был настолько прозрачен, что когда Кира, расправляя, подняла его повыше, то сквозь тонкие складки видно было, как играет огонь в камине.

— Андрей, где ты это взял? — испуганно и недоверчиво поинтересовалась Кира.

— Купил у контрабандиста.

— Андрей, *ты* — покупаешь у контрабандистов?!

— Почему бы и нет!

— Они же спекулянты.

— Ну и что! Мне очень хотелось купить этот пеньюар. Я знал, что он тебе понравится.

— Но когда-то ты...

— Это было давно.

Он сжал в руке невесомый шифон.

— Так что? Тебе не нравится?

— Андрей! — простионала Кира. — Неужели там, за границей, носят такие вещи?

— Несомненно.

— Подумать только! Черное нижнее белье. Как глупо и восхитительно!

— Вот что носят за границей. Там не боятся восхитительных глупостей. Там считают, что если вещь мила, зачем от нее отказываться.

Кира расхохоталась:

— Андрей, тебя бы вышвырнули из партии, если бы услышали твои слова.

— Кира, ты бы хотела уехать за границу?

Черный пеньюар упал на пол. Андрей со спокойной улыбкой нагнулся и поднял его.

— Я что, напугал тебя, Кира?

— Что... что ты сказал?

— Послушай! — Андрей вдруг опустился на колени перед Кирой, заключив ее в свои объятия. Его глаза были полны отчаянной решимости, которой она никогда не замечала в нем раньше. — Вот уже в течение нескольких дней я вынашиваю в голове одну идею... Поначалу она показалась мне безрассудной, но она не покидает меня... Кира, мы могли бы... Понимаешь! За границу... Навсегда...

— Андрей...

— Все можно устроить. Я могу добиться, чтобы ГПУ меня послало туда с секретным заданием. Я сделаю тебе паспорт, и ты поедешь в качестве моего секретаря. По пересечении границы мы забудем

о задании, выбросим советские паспорта и сменим наши имена. Мы бы убежали так далеко, что они никогда не нашли бы нас.

— Андрей, ты думаешь, о чем говоришь?

— Да. Только я не знаю пока, что я буду там делать. Когда я один, я даже не осмеливаюсь думать об этом. Но мне не страшно, когда я рядом с тобой. Я хочу вырваться отсюда, пока не сошел с ума от всего того, что нас окружает. Порвать со всем раз и навсегда. Мне бы пришлось начать все сначала. Но рядом со мной была бы ты. Остальное для меня не имеет значения. Я бы до конца попытался осознать то, чему я только сейчас начинаю учиться у тебя.

— Андрей, — Кира с трудом выговаривала слова, — ты, кто совсем недавно был одним из лучших представителей своей партии...

— Не бойся, говори. Я предатель. Может быть, это и так. Но с другой стороны, я, может, только сейчас перестал им быть. Все эти годы я предавал нечто большее, чем идеи партии. Не знаю. Мне все равно. Сейчас мне кажется, будто с меня сорваны все покровы. Потому что в этом крошечном беспорядке, который называют существованием, мне ничто, кроме тебя, не дает чувства уверенности, — взглянув в глаза Киры, Андрей тихим голосом спросил: — Что случилось, Кира? Что-нибудь в моих словах напугало тебя?

— Нет, Андрей, — прошептала Кира, не глядя на него.

— Я когда-то сказал, что боготворю тебя, помнишь?

— Конечно...

— Кира, выходи за меня замуж.

Ее руки непроизвольно опустились. Она молча посмотрела на него своими широко открытыми глазами, в которых осталась только мольба.

— Кира, дорогая, разве ты не понимаешь, в каком мы сейчас положении? Почему мы должны прятаться и лгать? Почему я должен жить, лихорадочно отсчитывая часы, дни, недели между нашими встречами? Почему в те моменты, когда я схожу без тебя с ума, я не могу просто позвонить тебе? Почему я должен молчать? Почему я не могу сказать Лео Коваленскому и всем людям, что ты принадлежишь мне, что ты... моя жена?

Кира больше не выглядела напуганной; имя, которое произнес Андрей, вселило в нее смелость.

— Я не могу, Андрей, — холодно и рассудительно ответила она.

— Почему?

— Ты сможешь для меня сделать то, о чем я тебя настоятельно попрошу?

— Я готов.

— Не спрашивай меня почему.

— Хорошо.

— Я не могу уехать за границу. Но если хочешь, ты можешь один отправиться...

— Забудем об этом, Кира. Я не буду задавать никаких вопросов. Тебе не следовало бы говорить о том, что я могу поехать один.

— Ладно, оставим этот разговор, — рассмеялась Кира, вскочив на ноги. — Давай устроим для себя прямо сейчас, прямо здесь, кусочек Европы. Я примерю твой подарок. Отвернись и не подсматривай.

Андрей повиновался. Когда он обернулся, Кира стояла у камина, скрестив руки за головой, за ее спиной мерцал огонь, высвечивая через тонкую темную пелену силуэт ее тела.

Андрей наклонил Киру назад. В зареве пламени локоны ее спадающих волос отливали красным.

— Кира, — тихо сказал он, — сегодня вечером я не жаловался... я счастлив... счастлив, что у меня никого нет, кроме тебя...

— Андрей, не говори этого! — взмолилась она. — Пожалуйста, я умоляю, не нужно!

Андрей замолчал. Но его глаза и прильнувшее к Кире тело беззвучно кричали ей: «У меня никого нет, кроме тебя!.. Никого... кроме тебя...»

* * *

Кира пришла домой далеко за полночь. В комнате было пусто и темно. Она утомленно опустилась на кровать в ожидании Лео. Сон овладел ею. Она лежала съевшись, в измятом красном платье. Ее волосы спадали на пол.

Киру разбудил неистовый и назойливый телефонный звонок. Она вскочила. На улице было уже светло. Лампа на столе все еще горела; Кира была одна.

Она ползла к телефону, ее глаза слипались, ресницы, казалось, были налиты свинцом.

— Алло, — пробормотала Кира, опершись о стену.

— Кира Александровна, это вы? — послышался подобострастный мужской голос, с нарочитой медлительностью растягивающий каждый звук.

— Да, — ответила Кира. — С кем я разговариваю?

— Это Карп Морозов. Кира Александровна, душа моя, не могли бы вы приехать и забрать своего... своего Льва Сергеевича домой? Ему не стоит так часто показываться в моем доме. Кажется, была какая-то вечеринка и...

— Я сейчас буду, — выпалила Кира, бросая трубку. Сон как рукой сняло.

Она наспех оделась. Пальто не застегивалось: дрожащими пальцами она не могла просунуть пуговицы в петли.

Дверь открыл Морозов. Он был без пиджака. Жилетка плотно облегла его тело, собираясь складками на его брюшке. Он по-лакейски поклонился:

— Ах, Кира Александровна! Как мы себя сегодня чувствуем? Прошу прощения за то, что побеспокоил вас, но... Входите, входите.

В широком коридоре с белыми стенами пахло сиренью и нафталином. Она услышала, как в комнате за полуоткрытой дверью заливался веселым беспечным смехом Лео.

Не дожидаясь приглашения Морозова, Кира направилась прямо в гостиную. Стол был накрыт на троих. Антонина Павловна, отставив пальчик, изящно держала чашку; на ней было восточное кимоно; пудра на носу скаталась в шарики; по лицу, от носа до подбородка, размазалась помада; неподведенные глаза казались очень маленькими, припухшими и утомленными. Лео сидел за столом. На нем были черные брюки и рубаха навыпуск, воротник которой был расстегнут; ослабленный галстук болтался на шее, волосы торчали в разные стороны. Лео звучно хохотал, пытаясь удержать куриное яйцо на острие ножа.

Он поднял голову и удивленно посмотрел на Киру. Молодое лицо Лео дышало здоровьем. Казалось, ничто и никогда не сможет изменить или испортить это лицо.

— Кира! Что ты здесь делаешь?

— Кира Александровна случайно... — начал было робко Морозов, но Кира резко перебила его:

— Он позвонил мне.

— Почему ты... — взъелся на Морозова Лео, его лицо исказила злоба; затем, кивнув головой, он снова рассмеялся: — Черт возьми, здорово! Они все считают, что мне нужна нянька!

— Лев Сергеевич, дорогой мой, я не хотел...

— Заткнись! — огрызнулся Лео и повернулся к Кире: — Ну, поскольку ты здесь, снимай пальто и сядь позавтракай. Тоня, посмотри, не найдется ли парочка яиц.

— Пойдем домой, Лео, — спокойно сказала Кира.

Взглянув на нее, Лео пожал плечами:

— Ну, если ты настаиваешь.

Он медленно поднялся.

Морозов взял недопитую чашку чая и вылил на блюдце ее содержимое; держа блюдце кончиками пальцев и шумно прихлебывая

жидкость, он сказал, нерешительно переводя взгляд то на Киру, то на Лео:

— Я... видите ли... все получилось следующим образом: я позвонил Кире Александровне, поскольку боялся, что ты, Лев Сергеевич... плохо себя чувствуешь. А ты...

— ...был пьян, — закончил за него Лео.

— Нет, но...

— Я был пьян. Вчера, но сегодня утром я трезв. И нечего было...

— Была небольшая вечеринка, Кира Александровна, — успокоила, перебивая Лео, Антонина Павловна. — Мы несколько задержались там и...

— Было пять часов, когда ты доползла до постели, — проворчал Морозов. — Я знаю это наверняка, потому что, когда ты врезалась в мою кровать, ты уронила графин с водой.

— Так вот, Лео привел меня домой, — продолжала Антонина Павловна, не обращая внимания на Морозова, — допускаю, что мы немного устали...

— Немного... — язвительно начал Морозов.

— ...пьяны, — пожав плечами, закончил за него Лео.

— По-моему, изрядно пьяны, — в порыве гнева кровь подступила к лицу Морозова, скрывая его веснушки. — Так пьяны, что, встав утром, я обнаружил его прямо в одежде на тахте в коридоре. Даже из пушки не поднять!

— Ну и что из этого? — безразлично спросил Лео.

— Грандиозная была вечеринка, — заметила Антонина Павловна. — А как Лео может тратить деньги! Захватывающее зрелище. Хотя, честно говоря, Лео, дорогуша, ты вел себя слишком безрассудно.

— Что я сделал такого? Не помню.

— Я не против того, что ты проиграл так много в рулетку и заплатил по десять рублей за каждую разбитую тобой рюмку, но тебе не следовало давать на чай официантам по сто рублей.

— Отчего же? Пусть видят, чем отличается благородный человек от этого красного отродья.

— Может быть, ты и прав. Но зачем было платить оркестру пятьдесят рублей каждый раз, когда ты хотел, чтобы они перестали играть то, что тебе не нравится? А потом ты выбрал из толпы присутствующих самую красивую девушку, которую ты раньше никогда не видел, и предложил ей любую цену за то, чтобы она разделась перед гостями; ты засовывал ей в декольте сотенные купюры.

— А у нее было отличное тело, — заметил Лео.

— Лео, пойдем домой, — скомандовала Кира.

— Минуточку, Лев Сергеевич, — с расстановкой произнес Морозов, опуская на стол блюдо. — Где ты взял столько денег?

— Не знаю, — безразлично ответил Лео. — Мне их дала Тоня.

— Антонина, откуда они у тебя?..

— Как, разве ты не в курсе? — Антонина Павловна подняла брови, выражая удивление и скуку. — Я взяла тот сверток, который лежал у тебя под мусорной корзиной.

— Тоня! — неистово закричал Морозов. Он так резко вскочил со своего места, что посуда, стоявшая на столе, задребезжала. — Ты не могла сделать этого!

— Ошибаешься, — возразила Антонина Павловна, дерзко вскидывая голову. — Я не привыкла к тому, чтобы меня попрекали деньгами. Ну так вот, я взяла те деньги! И что ты мне теперь сделаешь?

— Боже мой! Господи! — Морозов схватился за голову и стал качать ею из стороны в сторону, сотрясаясь, подобно механической игрушке, в которой сломалась пружина. — Что мы будем делать? Мы должны были отдать эти деньги Серову. Их нужно было отдать еще вчера. У нас на руках нет больше ни рубля... если я не доставлю Серову эти деньги сегодня... он... убьет меня... Что же мне делать?.. Он ждать не будет...

— Не будет, говоришь? — холодно усмехнулся Лео. — Ничего, потерпит. Перестань скулить, как собачонка. Чего ты испугался? Он ничего не сможет нам сделать, и он это понимает.

— Ты меня удивляешь, Лев Сергеевич, — пробурчал Морозов, заливаясь краской. — Ты ведь честно получаешь свою долю, не так ли? И ты считаешь, что это благородно — взять...

— Благородно? — звучно расхохотался Лео; в его смехе звучала надменность. — Это ты говоришь мне? Дорогой мой друг, я уже давно выбросил из головы это слово. Навсегда. Более того, я сам готов пойти на любую низость, самую неблагородную. Чем гаже — тем лучше. Всего хорошего... Пойдем, Кира. — Ищущим взглядом Лео посмотрел по сторонам: — Где же, черт побери, моя шляпа?

— Разве ты не помнишь, Лео, что потерял ее по дороге, — осторожно напомнила Антонина Павловна.

— Да, точно. Ну и плевал я на нее. Куплю себе новую. Нет, три новые шляпы. Всем привет.

Кира кликнула сани. По дороге домой они не проронили ни слова.

Когда они оказались одни в своей комнате, Лео грубо и бесцеремонно заметил:

— Я не хочу, чтобы меня кто-нибудь критиковал, даже ты. Тебе особо жаловаться не на что. Если хочешь знать, то я никогда не изменял тебе. Остальное тебя не должно касаться.

— Я спокойна, Лео. У меня к тебе нет никаких претензий. Но я хотела бы поговорить с тобой. Прямо сейчас.

— Я слушаю, — равнодушно отреагировал Лео и присел на стул. Кира встала перед Лео на колени и обхватила его руками. Она поправила свои волосы; ее полные решимости глаза были широко открыты. В спокойном голосе Кире чувствовалась напряженность.

— Лео, мне не в чем тебя упрекать или винить. Я знаю, чем ты занимаешься, и понимаю, для чего ты это делаешь. Но послушай: еще не поздно, они пока не поймали тебя, у тебя есть время. Давай попытаемся в последний раз, попробуем собрать все возможные средства и обратимся с просьбой о выдаче нам заграничных паспортов. Мы убежим из этой проклятой страны как можно дальше!

Лео посмотрел Кире прямо в глаза; он с трудом выдержал ее пылающий огнем взгляд.

— Зачем зря беспокоиться? — сухо поинтересовался он.

— Лео, я знаю наперед, что ты скажешь. Ты потерял желание жить. Но несмотря на это, не сдавайся. Даже если ты не веришь, что у тебя когда-нибудь появится интерес к жизни. Просто отложи вынесение окончательного приговора до того дня, когда мы вырвемся отсюда. И когда ты окажешься на свободе, в стране, живущей по общечеловеческим законам, тогда ты и решишь, хочешь ты жить или нет.

— Глупенькая! Неужели ты думаешь, что они дадут заграничный паспорт человеку с такой анкетой, как у меня?

— Лео, нам нужно попробовать. Мы не должны сдаваться. Без надежды мы не сможем прожить и минуты. Лео, нельзя допустить, чтобы ты сломался под действием этой силы. Я сделаю все возможное, чтобы ты не стал ее жертвой.

— Ты имеешь в виду ГПУ? Но каким образом ты будешь противостоять ему?

— Не о ГПУ речь. Существует еще более могущественная сила. Она сломала Виктора, Андрея, мою мать. Но она не должна уничтожить тебя.

— Она сломала Виктора, что ты хочешь этим сказать? Неужели ты сравниваешь меня с этим лизоблюдом, который...

— Лео, подхалимство и другие подобные вещи — это несущественно. Воздействие этой силы на Виктора было более пагубным, его склонность к подхалимству — это всего лишь следствие. Эта сила сломала что-то внутри Виктора. Без воздуха и воды растения погибают. Я не дам сделать то же самое с тобой. Пусть миллионам людей грозит та же участь. Но ты должен остаться в живых. Ты, Лео, человек, которого я боготворю.

— Какой возвышенный слог! Откуда?

Кира уставилась на Лео и испуганно повторила:

— Откуда...

— Иногда, Кира, меня удивляет, почему ты никак не хочешь избавиться от склонности воспринимать все всерьез. Мне ничего не угрожает. Я делаю то, что хочу, чего не скажешь о других.

— Лео, послушай, я хочу решиться на один шаг. Мы с тобой должны распутать целый клубок проблем. Сделать это нелегко. Попробуем решить все одним махом!

— Как ты это себе представляешь?

— Лео, давай поженимся!

— Что? — скептически посмотрел на нее Лео.

— Давай поженимся.

Он откинул голову и расхохотался. Это был тот звучный холодный смех, который он позволял себе по отношению к Андрею Таганову и Морозову.

— Что за чепуха, Кира? Хочешь прикрыть грех законным браком?

— Не в этом дело.

— Не поздновато ли для нас обоих?

— Ну и что?

— К чему? В этом есть какая-нибудь необходимость?

— Нет.

— Тогда зачем все это?

— Не знаю. Однако я прошу тебя об этом.

— Это недостаточно веская причина, чтобы делать глупости. Я не расположен к тому, чтобы превратиться в почтенного супруга. Если ты боишься потерять меня, то никакая бумажка, исписанная каракулями красного чиновника, не удержит меня.

— Я не боюсь потерять тебя. Я опасаясь, что ты можешь потерять самого себя.

— И ты полагаешь, что два рубля за ритуальные услуги в ЗАГСе и благословение у правдома спасут мою заблудшую душу?

— Лео, у меня нет никаких причин просить — но я прошу.

— Ты что, выдвигаешь мне ультиматум?

— Нет, — мягко сказала Кира и смущенно улыбнулась.

— Тогда забудем об этом.

— Хорошо, Лео, — сдалась она.

Лео подхватил Киру под локти и приподнял.

— Ты маленькая истеричка, — утомленно произнес он. — Ты своими глупыми страхами доводишь себя до припадка. Выбрось все это из головы. Если ты так этого хочешь, то с сегодняшнего дня будем откладывать каждый рубль, собирать их для поездки в Сан-Франциско, Монте-Карло или на путешествие к планете Юпитер.

Лео высокомерно улыбался. Его необыкновенно красивое лицо было для Киры своего рода наркотиком, волшебным, безграничным и совершенным, как музыка. Она положила голову ему на плечо и стала беспомощно и безнадежно повторять наркотически действующее на нее имя:

— Лео... Лео... Лео...

ГЛАВА X

Перед тем как пойти на работу, Павел Серов выпил. Днем он еще пропустил рюмочку. Он позвонил Морозову, и голос, принадлежащий явно самому Карпу, ответил ему, что товарища Морозова нет дома. Павел прошелся взад-вперед по своему кабинету. Схватив со стола чернильницу, он грохнул ее об пол. Затем, найдя в письме, которое он продиктовал, орфографическую ошибку, скинул его и бросил в лицо секретарше. Он снова позвонил Морозову, но никто не поднял трубку. После этого Павлу позвонила женщина. Сладким голосом она настойчиво прошептала:

— Павлуша, дорогой, ты пообещал мне браслет!

Какой-то спекулянт принес браслет, завернутый в грязный носовой платок, но отказался оставить его, пока не будет выплачена вся сумма. Серов позвонил Морозову в Пищетрест; но, когда секретарь поинтересовался, кто звонит, Серов, не ответив, бросил трубку. Затем Серов разорался на какого-то посетителя в ободранной одежде, который пришел спросить, нет ли работы. Серов пригрозил ему ГПУ и распорядился, чтобы секретарша выпроводила всех визитеров. Он ушел с работы на час раньше обычного, хлопнув за собой дверь.

По пути домой, проходя мимо дома Морозова, Павел было задержался у подъезда, но, заметив стоящего на углу милиционера, не решился войти.

За ужином — который был прислан из столовой, расположенной в соседнем квартале, и состоял из холодного борща, на поверхности которого плавал застывший жир, — Товарищ Соня объявила:

— Павел, мне нужна шуба. Ты же понимаешь, что мне нельзя простужаться, ради здоровья нашего ребенка. И не кроличью. Я знаю, тебе это по средствам. Нет, я не намекаю на то, чем ты подрабатываешь, просто я трезво смотрю на вещи.

Павел швырнул свою салфетку прямо в суп и, не притронувшись к еде, вышел из-за стола.

Он попытался позвонить Морозову домой, но, тщетно прождав в течение пяти минут, положил трубку. После этого Павел сел на кровать и опустошил бутылку водки. Товарищ Соня собралась и ушла на заседание педсовета в какую-то вечернюю школу для безграмотных домработниц. Павел прикончил еще одну бутылку.

Затем он решительно встал — его слегка покачивало из стороны в сторону — и, туго затянув пояс своей меховой куртки, направился к Морозову домой. Павел позвонил в дверь три раза. Никто не открывал. Безразлично облокотившись о стену, он продолжал держать палец на кнопке звонка. За дверью было тихо. Тут Павел вдруг услышал шаги. Кто-то поднимался по лестнице. На всякий случай он спрятался в самом дальнем углу лестничной площадки. Шаги стихли этажом ниже, и Павел услышал, как сначала открылась, а потом закрылась дверь. Он смутно осознавал, что его не должны здесь видеть. Достав из кармана свою записную книжку и прислонив ее к стене, при проникающем в подъезд свете уличного фонаря он вывел:

«Морозов, ублюдок!

Если ты не вернешь мне долг до утра, то будешь завтракать в ГПУ.
Надеюсь, ты меня понял.

С наилучшими пожеланиями,

Павел Серов».

Павел сложил записку и просунул ее под дверь.

По истечении пятнадцати минут Морозов бесшумно вышел из ванной комнаты и на цыпочках прошмыгнул в коридор. Он нервно прислушался. На лестнице было тихо. Вдруг его взгляд привлек слабо различимый в темноте клочок бумаги, лежащий на полу.

Склонившись над лампой в гостиной, Морозов прочитал записку. Он побледнел.

Раздался телефонный звонок. Вздвогнув, Морозов замер как вкопанный. Ему вдруг показалось, что тот, кто находится на другом конце телефонного провода, мог увидеть его с запиской в руке. Он затолкал клочок бумаги в карман и, дрожа от страха, поднял трубку. Звонила старая тетушка Морозова. Тяжело сопя, она попросила денег займы. Морозов назвал ее старой сукой и повесил трубку.

— Подбирай выражения, — через открытую дверь спальни раздался пронзительный голос Антонины Павловны, которая причесывалась, сидя за туалетным столиком. В ответ на это разъяренный Морозов взвился:

— Если бы не ты и не этот твой чертов любовник...

— Он не мой любовник — пока! — завизжала Антонина Павловна. — Неужели ты думаешь, что, если бы он был им, я бы ползала на четвереньках перед таким старым гнусным дуралеем, как ты!

Они разругались.

Морозов забыл о лежащей в его кармане записке.

* * *

Потолок ресторана, расположенного на крыше гостиницы «Европейская», был выполнен из стекла; казалось, что на присутствующих неумолимо надвигается черная пустота, давящая с большей силой, чем свод, сооруженный из стальных пластин. Горел желтый свет, который приглушался легкой пеленой из табачного дыма, жары и беспросветной мглы за стеклом. Лежащее на белых столиках серебро было начищено до блеска.

На бриллиантовых запонках людей и в капельках пота, проступившего на их покрасневшихся лицах, играли желтые искорки. Публика вождеденно склонилась над тарелками; все недоверчиво и поспешно пережевывали пищу; они не просто беззаботно проводили время в ночном кабаке — они насыщались.

За угловым столиком какой-то лысый мужчина был увлечен поглощением кровавого бифштекса; он один за другим отрезал маленькие кусочки и отправлял их себе в рот, энергично шлепая при этом толстыми губами. Напротив него сидела девочка лет пятнадцати с рыжими волосами; она ела торопливо, втянув голову в плечи; когда она подняла лицо, оно залилось краской; рот девочки перекосялся, казалось, еще чуть-чуть — и она разрыдается.

Облако дыма клубилось у окна; худощавый мужчина с вытянутым лицом, при близком рассмотрении которого без труда просматривались линии черепа, раскачивался взад и вперед на задних ножках стула. Он курил без остановки, зажав сигарету в длинных желтых пальцах и выпуская дым через широкие ноздри; на лице его застыла сардоническая нездоровая усмешка.

Между столами прохаживались женщины; держались они с какой-то неуклюжей, наигранной дерзостью. Девушка с мягкими золотистыми кудрями, сидящая одна за столиком в свете лампы, клевала носом. Вокруг ее глаз синели круги теней. Ротик был приоткрыт в порочной улыбке. Какая-то сухопарая темноволосая женщина до неприличия громко хохотала. Ее накрашенный помадой рот разверзся глубокой раной, выставляя напоказ белые зубы и очень красные десны. На плечах женщины выпирали кости, под ключицами просматривались впадины; ее кожа была цвета мутного кофе.

Оркестр играл «Джона Грэя», играл грубо и отрывисто, как бы срываю ноты со струн до их полного созревания, и этим подменяя неуловимую веселость судорожным ритмом.

Официанты бесшумно сновали сквозь толпу сидящих и с чрезмерным раболепием склонялись над столиками. Их отвисшие щеки выражали одновременно уважение, издевку и жалость к тем бедолагам, которые с таким трудом пытаются разогнать тоску.

Морозов помнил о том, что деньги ему нужно достать до утра. В ресторан «Европейской» он пришел один. Он успел посидеть за тремя столиками, выкурить четыре сигары и переговорить по душам с пятью дородными мужами, которые, казалось, не были ограничены во времени. По истечении двух часов у Морозова в бумажнике уже была необходимая сумма денег.

Он с облегчением вытер пот со лба и, заняв столик в дальнем углу, заказал себе коньяк.

Степан Тимошенко так основательно облокотился на стол, что казалось, будто он лежит на белой скатерти. Одной рукой он подпирал голову, держа пальцы на мощном затылке, в другой сжимал рюмку. Когда рюмка опустела, он нерешительно стал покачивать ею в воздухе, гадая о том, как бы снова наполнить ее, действуя одной рукой. Степан разрешил проблему элементарно просто: он грохнул рюмку об пол и, схватив бутылку, поднес ее ко рту. Метрдотель искоса бросил на Степана нервный хмурый взгляд, ему не по душе были ни куртка с кроличьим воротником, ни помятая, сдвинутая на один бок бескозырка, ни черные ботинки, которыми матрос наступил на шлейф атласного платья женщины, сидящей за соседним столиком. Однако метрдотель должен был быть осторожен — до этого Степан Тимошенко уже бывал здесь, все знали, что он член партии.

К столику матроса ненавязчиво подскочил официант и собрал осколки стекла на совок. Другой официант принес начищенную до блеска рюмку и, осторожно взяв бутылку Тимошенко, тихо сказал:

— Вам помочь, гражданин?

— Пошел к черту, — бросил Тимошенко и тыльной стороной ладони оттолкнул рюмку, которая упала и разбилась.

— Что хочу, то и делаю, — заревел Тимошенко так, что со всех сторон на него оглянулись. — Если захочу, то буду пить из горла. Могу и из двух сразу.

— Позвольте, гражданин...

— Хочешь, чтобы я тебе показал, как это делается? — поинтересовался Тимошенко; его глаза зловеще сверкали.

— Нет, не нужно, гражданин, — поспешно отказался официант.

— Убирайся к черту, — с мягкой убедительностью произнес Тимошенко. — Мне не нравится твоя рожа. Я терпеть не мог все эти рожи. — Пошатываясь, он встал. — Я ненавижу все эти рожи! — продолжал орать он.

Степан стал пробираться между столиками. Метрдотель последовал за ним, при этом осторожно нашептывая:

— Гражданин, если вы себя плохо чувствуете...

— Прочь с дороги! — завопил Тимошенко, споткнувшись о туфли какой-то женщины.

Почти дойдя до двери, он внезапно остановился, и лицо его расплылось в мягкой улыбке.

— Ба! — воскликнул он. — Друг мой! Друг мой дорогой!

Степан поплелся к Морозову. Схватив стул, он пронес его над чьей-то головой и, с грохотом опустив его, подсел за столик к Морозову.

— Прошу прощения, гражданин, — задыхаясь, произнес Морозов, вставая из-за стола.

— Сиди спокойно, старик, — приказным тоном сказал Тимошенко и своей мощной заскорузлой лапой, как кувалдой, хлопнул Морозова по плечу так, что тот с глухим звуком свалился на стул. — Тебе не удастся убежать от друга, товарищ Морозов. Мы же с тобой друзья. Старые друзья. Хотя может быть, ты меня и не знаешь. Мое имя Степан Тимошенко, Степан Тимошенко, — и, немного подумав, он добавил: — красный балтиец.

Морозов недоумевал.

— Да, — продолжал Тимошенко, — твой старый друг и обожатель. Знаешь что?

— Что? — повторил Морозов.

— Мы должны с тобой выпить. Как хорошие друзья. Мы должны выпить. Официант! — Степан заорал так громко, что скрипач, исполняющий «Джона Грэя», сфальшивил.

— Принеси нам две бутылки, — приказал Тимошенко, когда расторопный официант возник у него за спиной. — Нет! Принеси нам три бутылки!

— Три бутылки чего? — робко спросил официант.

— Чего угодно, — бросил Тимошенко. — Нет! Подожди! Неси что подороже. Что хлещут эти зажавшиеся капиталисты в подобных случаях?

— Тогда шампанского, гражданин?

— Давай шампанского, и побыстрее. Три бутылки и два фужера.

Когда официант принес шампанское, Тимошенко наполнил один фужер и поставил его перед Морозовым.

— Вот! — дружески улыбнулся Тимошенко. — Выпьешь со мной?

— Да, то... товарищ, — смиренно выговорил Морозов. — Благодарю вас, товарищ!

— За твое здоровье, товарищ Морозов, — торжественно произнес Тимошенко, поднимая фужер. — За товарища Морозова — гражданина Союза Советских Социалистических Республик!

Они чокнулись. Морозов украдкой осмотрелся по сторонам: помощи ждать было неоткуда. Дрожащей рукой он поднес фужер к губам. Выпив, он заискивающе улыбнулся.

— Это было очень любезно с вашей стороны, товарищ, — пробормотал Морозов, пытаясь подняться. — Мне очень приятно, товарищ. Но теперь, если вы не возражаете, я должен идти...

— Сиди! — приказал Тимошенко. Он снова наполнил фужер и поднял его, откидываясь на спинку стула и улыбаясь. На этот раз его улыбка не была дружественной; темные глаза Тимошенко пристально и насмешливо смотрели на Морозова. — За товарища Морозова, человека, который победил революцию, — сказав это, Степан звучно рассмеялся и, запрокинув голову, одним глотком опустошил фужер.

— Товарищ... — пролепетал Морозов. — Товарищ... что вы имеете в виду...

Тимошенко засмеялся еще громче и перегнулся через стол к Морозову, локти его лежали крест-накрест, бескозырка, из-под которой торчали липкие локоны, была сдвинута на затылок. Внезапно смех оборвался.

— Не нужно так бояться, товарищ Морозов, — мягким, убедительным тоном сказал Тимошенко; улыбка, появившаяся на его лице, повергла Морозова в еще больший испуг, чем хохот матроса. — Не бойтесь меня. Я всего-навсего побежденный, победу надо мной одержал ты, я просто хочу сказать тебе, что признаю свое поражение и ни на кого не имею зуба. Черт, я питаю к тебе глубокое уважение, гражданин Морозов. Ты взял величайшую за всю историю человечества революцию и сделал из нее заплатку себе на задницу.

— Товарищ, — с робкой решительностью сказал Морозов, — я не понимаю, о чем вы говорите.

— Нет, ты понимаешь, — печально заметил Тимошенко. — Ты очень хорошо понимаешь. Ты разбираешься в этом лучше, чем я, лучше, чем миллионы дураков во всем мире, которые смотрят на нас с благоговением. Ты должен поговорить с ними, товарищ Морозов, у тебя есть что им сказать.

— Откровенно говоря, товарищ, я...

— Например, знаешь, каким образом ты заставил нас сделать это. Я лично не в курсе. Я знаю только то, что мы сделали это. Мы

совершили революцию. У нас были красные знамена, на которых было написано, что мы идем на этот шаг на благо мирового пролетариата. Были дураки, которые верили в то, что мы делаем это на благо угнетенных и страждущих. Но мы-то с тобой, товарищ Морозов, знаем одну тайну. Мы никому ее не расскажем. Зачем? Мир не захочет слышать ее. Мы знаем, что революция — на благо тебе, товарищ Морозов. Я снимаю перед тобой шапку!

— Товарищ, кем бы ты ни был, товарищ, — взмолился Морозов, — чего ты хочешь?

— Только сказать тебе, что она твоя, товарищ Морозов.

— Кто? — спросил Морозов, прикидывая, не сошел ли матрос с ума.

— Революция, — ответил Тимошенко мягким голосом. — Революция... Знаешь ли ты, что такое революция? Я тебе сейчас расскажу. Мы убивали людей на улицах, в подвалах, на борту кораблей... На борту кораблей... Я помню одного молодого человека — офицера — от силы лет двадцати. Он перекрестился — должно быть, мать научила его этому. Из рта его текла кровь. Он посмотрел на меня. В его глазах не было испуга. Его взгляд выражал своего рода удивление. По поводу того, чего мать никогда не объясняла ему. Он посмотрел на меня. Это было последнее, что он сделал.

По подбородку Тимошенко текло. Он наполнил фужер, который задрожал у него в руке; Степан с трудом контролировал свои движения. Не сводя глаз с Морозова, он механически вылил себе в рот содержимое фужера.

— Вот что мы делали в тысяча девятьсот семнадцатом году. А теперь я расскажу тебе, для чего мы это делали. Мы делали это для того, чтобы гражданин Морозов, проснувшись утром, мог почесать свой живот, потому что перина, на которой он спал, была не очень мягкой, и это вызвало зуд в его пупке. Мы делали это для того, чтобы он мог ездить в большом лимузине, а под задницей у него лежала бы пуховая подушка. И на окне была бы прикреплена стеклянная подставка для цветов, например ландышей. Для того, чтобы он мог попить коньяк в подобном заведении. Для того, чтобы по праздникам он мог взбираться на трибуну, задрапированную красной материей, и произносить речи о пролетариате. Мы делали это, товарищ Морозов. И теперь расплачиваемся, под занавес. Не смотри на меня так свирепо, товарищ Морозов. Я всего лишь твой покорный слуга. Я сделал для тебя все, что было в моих силах. И тебе следовало бы наградить меня улыбкой. Тебе действительно есть за что меня благодарить!

— Товарищ, — сказал, задышавшись, Морозов, — позвольте мне уйти.

— Сидеть! — прикрикнул Тимошенко. — Налей себе выпить, слышишь? Пей, ублюдок! Пей и слушай!

Морозов повинился, в его дрожащих руках фужер звякнул о бутылку.

— Понимаешь, — с трудом выговаривал каждое слово Тимошенко, — я не возражаю против того, что мы потерпели поражение. Я также не имею ничего против того, что для победы мы совершали величайшие преступления и в конечном счете она ускользнула от нас. Было бы не так обидно, если бы нас победил могучий воин в стальных латах, огнедышащий дракон в человеческом обликии. Но победу над нами одержала вошь. Большая, толстая, медлительная белая вошь. Ты видел когда-нибудь вшей? Самые толстые из них — белые... Это была наша собственная ошибка. Когда-то людьми правили ниспосылаемые Богом с небес гром и молния. Затем ими стал править меч. Сегодня людьми правит примус. Когда-то людьми руководило благоговение. Затем страх. Сегодня людьми руководит их желудок. Раньше люди были скованы по рукам и ногам цепями. Сегодня они опутаны прямой кишкой. Только героев за прямую кишку не удержать. Это была наша собственная ошибка.

— Товарищ, ради бога, товарищ, зачем вы все это мне говорите?

— Мы задумали построить храм. Выйдет ли у нас в конечном счете хотя бы часовня? Нет. У нас не получится даже сортира. Мы построили затхлую кухню с одной старой печкой! Мы поставили на огонь чайник и стали готовить варево из крови, пепла и стали. Что же у нас получилось? Новое человечество? Люди из гранита? Или по меньшей мере ужасное чудовище? Нет. Мы народили извиляющихся ничтожеств. Гуттаперчевых, двуличных созданий. Этих тщедушных людишек даже не нужно наказывать. Они покорно берут кнут в свои руки и секут сами себя. Тебе никогда не доводилось присутствовать на заседании какого-нибудь кружка политпросвета? Не мешало бы. Там многое можно узнать о человеческом духе.

— Товарищ! — выдохнул Морозов. — Чего вы хотите? Денег? Я заплачу. Я...

Тимошенко расхохотался так громко, что все присутствовавшие обернулись. Морозов съехался, пытаясь уйти от взглядов.

— Ты вошь! — надрывался Тимошенко. — Ты слабоумная, близорукая вошь! Ты думаешь, что со мной можно разговаривать, как с товарищем Виктором Дунаевым, или Павлом Серовым, или...

— Товарищ! — взревел Морозов. В их сторону снова обернулись. Но он не обращал на это уже никакого внимания. — Вы... Вы... Вы не имеете права говорить подобные вещи. Я не имею ничего общего с товарищем Серовым! Я...

— Я не утверждал этого, — медленно заметил Тимошенко. — Чего ты так всполошился?

— Ну, я думал... Я... Вы...

— Я не утверждал этого, — повторил Тимошенко. — Я только сказал, что у вас должно быть что-то общее. Вы все за одно — ты, Виктор Дунаев, Павел Серов, а также около миллиона других владельцев партийных билетов. Победители и завоеватели — те, кто пресмыкается. «Пресмыкающиеся всех стран, соединяйтесь!» — вот что будет лозунгом будущего человечества. Ты знаешь, что миллионы людей на земле смотрят на нас. Но они находятся далеко, и им не очень хорошо видно. Они видят большую поднимающуюся тень и полагают, что это огромное животное. Они не могут рассмотреть поближе, что эта коричневатая мягкая тень покрыта сверкающим ворсом. Они не понимают, что это скопище маленьких, коричневых, лоснящихся тараканов, которые не говорят ни слова, а лишь шевелят усиками. Но издалека эти усики не видны. А это-то и плохо, товарищ Морозов, — мир не может разглядеть усиков!

— Товарищ! Товарищ, о чем вы говорите?

— Они там видят только черную тучу и слышат гром. Им сказали, что позади тучи течет рекой кровь и гибнут люди. Ну и что, подумаешь! Они, сторонние наблюдатели, не боятся крови. В крови — честь. Но знают ли они, что мы купаемся не в крови, а в гное? Послушай, я дам тебе совет. Если вы хотите удержать эту страну в своих щупальцах, то скажите миру, что на завтрак вы отрубаете головы и проводите массовые расстрелы. Пусть мир узнает, что вы являетесь ужасным чудовищем, которого должны бояться и уважать, а уничтожить можно только в честном бою. Но не показывайте всем, что вы не армия героев и не сборище извергов, а всего-навсего жалкие, самонадеянные счетоводы, страдающие грыжей. Не дайте им понять, что вас нужно не стрелять, а обрабатывать дезинфицирующими средствами; что уничтожать вас нужно не пушками, а карболовой кислотой!

В кулаке Морозов сжимал влажную салфетку. Он еще раз вытер лоб.

— Вы правы, товарищ, — как можно яснее и спокойнее сказал Морозов, пытаясь при этом незаметно выскочить из-за стола. — Прекрасные мысли. Я с вами полностью согласен. Теперь, если вы позволите...

— Сядь! — крикнул Тимошенко. — Сядь и выпей. Выпей, а не то я пристрелю тебя, как собаку. Ты знаешь, я не сдал еще свой пистолет. Держи... — Степан наполнил фужер до краев; золотистая струйка потекла по скатерти на пол. — Выпей за тех, кто красным знаменем подтер себе задницу.

Морозов вышил.

Затем он засунул руку в карман и, достав носовой платок, вытер пот со лба. Скомканный клочок бумаги упал на пол.

Резким движением Морозов нагнулся, чтобы поднять его. Заметив это, Тимошенко подался вперед и схватил за руку Морозова.

— Что ты, дружище? — поинтересовался он.

Морозов пнул ногой бумажку, и она закатилась под пустой столик. Он сидел с равнодушным выражением лица; над верхней губой у него проступили капельки пота.

— А это? Ничего особенного, товарищ. Просто клочок бумаги.

— Значит, — произнес Тимошенко и бросил подозрительно-спокойный взгляд на Морозова, — ненужный клочок бумаги? Пусть там и лежит. Уборщица выбросит его в корзину для мусора.

— Пускай, — с готовностью согласился Морозов. — Вот именно. В корзину для мусора. Очень правильно сказали, товарищ. — Он захихикал, вытирая пот со лба. — Уборщица выбросит его в корзину для мусора. Хотите еще выпить, товарищ? Бутылка уже пуста. Теперь за мой счет. Официант! Еще одну бутылку шампанского.

— С удовольствием выпью еще, — отозвался Тимошенко; он сидел не шелохнувшись.

Официант принес бутылку. Морозов, услужливо перегнувшись через стол, наполнил фужер.

— Вы знаете, товарищ, мне кажется, что вы меня неправильно поняли, но я вас не виню, — с каждым произнесенным словом к нему возвращался голос. — Я вижу, что движет вами, и очень вам сочувствую. Сегодня так много подлых — даже можно сказать, бесчеловечных. Следует быть начеку. Мы с вами должны поближе познакомиться, товарищ. Трудно судить о человеке с первого взгляда, а особенно в подобной обстановке. Уверен, что вы посчитали меня за... за спекулянта или что-то в этом роде. Очень забавно, правда?

— Не то слово, — отреагировал Тимошенко. — Что это вы постоянно смотрите вниз, товарищ Морозов?

— Да так, — фыркнул Морозов, вскидывая голову. — Смотрю, знаете ли, на свои туфли, товарищ. Немного жмут. Доставляют неудобство. А все потому, что в своем учреждении я целый день на ногах.

— Да вы что! — посочувствовал Тимошенко. — Ноги нужно беречь. Придя домой, следует принять горячую ванну или попарить ноги в тазу, добавив немного уксуса. Очень полезно.

— Неужели? Спасибо, что подсказали. Как только приду домой, обязательно попробую!

— Уже пора домой, не так ли, товарищ Морозов?

— О!.. Ну, вы понимаете... в общем, еще не очень поздно и...

— Да? А мне показалось, что не так давно кто-то спешил.

— Я, ну, нет, не скажу, чтобы я очень спешил, и, кроме того, такой приятный...

— Что случилось, товарищ Морозов? Что-нибудь боитесь здесь оставить?

— Кто — я? С чего вы взяли, товарищ... товарищ... как вы ска-
зали ваше имя?

— Тимошенко. Степан Тимошенко. А как же насчет того ненуж-
ного клочка бумаги, который лежит под столиком?

— А... Вы об этом. Я уже совсем забыл о нем. Подумайте... това-
рищ Тимошенко, на что он мне?

— Не знаю, — размеренно ответил Тимошенко.

— Абсолютно ненужная бумажонка, товарищ Тимошенко.
Еще выпьете?

— Да, спасибо.

— Вот, пожалуйста.

— Что же там такое под столом, товарищ Морозов?

— Да так, товарищ Тимошенко. Нагнулся шнурок завязать.

— Где, покажите?

— Хм, интересно, шнурок вовсе и не развязан. Видите? А я-то думал, что он развязался. Знаете ведь, как бывает. Эти совет-
ские... эти шнурки в наше время какие-то непрочные и ненадежные.

— И не говорите. Рвутся, как нитки, — согласился Тимошенко.

— Да, прямо как нитки, — подхватил Морозов. — А что это
вы подались вперед, товарищ Тимошенко? Вам же так неудобно?
Почему бы не пододвинуться сюда, здесь бы вам...

— Нет, мне и здесь хорошо. Прекрасно видно вон тот столик. Он
мне очень нравится. У него такие красивые ножки, правда? Сделаны
с художественным вкусом.

— Что да, то да. Изящности не отнять. Однако вот там слева
от нас у оркестра сидит хорошенькая блондинка. Как вам ее фигурка?

— Действительно, ничего. У вас хорошие туфли, товарищ Моро-
зов. Лакированная кожа к тому же. Могу поспорить, что купили вы
их не в кооперативе.

— Вы правы... Откровенно говоря... видите ли...

— Что мне в них нравится — так это выпуклый носок. Напоми-
нает шишку на лбу. И блестит точно так же. Да уж. Эти иностранцы
знают, как делать туфли.

— Говоря о качестве импортной продукции, отметим, например,
что в капиталистических странах... в капиталистических... в капи-
талистических...

— Ну и что же, товарищ Морозов, в капиталистических странах?

Морозов рванулся за запиской. Тимошенко перехватил его руку и, как клещами, сжал ее своими пальцами. В мгновение ока оба очутились на полу на четвереньках. Их глаза встретились — два зверя в смертельной схватке. Затем свободной рукой Тимошенко схватил записку. Он поднялся и, выпустив руку Морозова, сел за столик. Степан читал записку, в то время как Морозов продолжал стоять на четвереньках и, подняв голову, смотрел на него глазами осужденного, ожидающего приговора военного суда.

«Морозов, ублюдок!

Если ты не вернешь мне долг до утра, то будешь завтракать в ГПУ.

Надеюсь, ты меня понял.

С наилучшими пожеланиями,

Павел Серов».

Морозов уже сидел за столиком, когда Тимошенко оторвал взгляд от записки.

Тимошенко разразился гомерическим хохотом и, не останавливая смех, медленно встал. Его живот, кроличий воротник пальто и вздутые на шее сухожилия содрогались. Он стоял слегка покачиваясь, держа записку обеими руками. Затем его смех, подобно граммофонной пластинке, начавшей крутиться с меньшей скоростью, плавно перешел на низкое, сухое кудахтанье. Опустив записку в карман, он неторопливо повернулся; его плечи поникли, движения вдруг стали неуклюжими и робкими. Тяжело волоча ноги, он нерешительно побрел к выходу. В дверях метрдотель покосился на него. Тимошенко ответил ему кротким взглядом.

Морозов сидел за столом, одна его рука, подобно руке паралитика, повисла в воздухе. Он прислушивался к раздававшемуся на лестнице однообразному, обрывистому кудахтанью Тимошенко, напоминающему то икоту, то кашель, то всхлипывания.

Вдруг Морозов вскочил.

— Боже мой, боже мой! — запричитал он.

Забыв пальто и шляпу, он слетел вниз по ступенькам и выскочил на широкую, безлюдную, заснеженную улицу. Тимошенко нигде не было видно.

* * *

Деньги Морозов Павлу Серову не отправил. Он также не появился у себя в Пищетресте. Всю первую половину следующего дня он просидел дома у себя в комнате. Морозов пил водку. Каждый раз, когда

раздавался телефонный звонок или звонок в дверь, он втягивал голову в плечи и начинал покусывать костяшки пальцев. Пока все было спокойно.

За обедом Антонина Павловна развернула вечернюю газету и, бросив ее Морозову, язвительно заметила:

— Что с тобой сегодня, в самом деле?

Он пробежал взглядом газету. На первой полосе были новости в кратком изложении:

«В селе Василькино, в районе реки Кама, крестьяне, подстрекаемые контрреволюционными элементами, подожгли местный клуб имени Карла Маркса. Под обгоревшими обломками были найдены тела председателя и секретаря клуба, которые являлись представителями партийной организации города Москвы. В Василькино направлен отряд ГПУ».

«В селе Свердловское прошлой ночью было расстреляно двадцать пять крестьян за убийство селькора, сотрудника газеты Коммунистического союза молодежи города Самары. Крестьяне отказались сообщить имя убийцы».

На последней странице была напечатана небольшая заметка:

«Сегодня рано утром под мостом, на льду Обуховского канала было найдено тело Степана Тимошенко, бывшего матроса Балтийского флота. Он застрелился выстрелом в рот. Кроме партбилета, при нем не было найдено никаких бумаг, объясняющих причину его самоубийства».

Морозов вытер пот со лба и выпил подряд два стакана водки. Аркан слетел с его шеи.

Раздался телефонный звонок. Морозов с важным видом подошел к аппарату и поднял трубку. Антонина Павловна не могла понять причину произошедшей в нем перемены.

— Морозов... — раздался сдавленный шепот на другом конце провода.

— Павлуша, ты? — спросил в свою очередь Морозов. — Послушай, Павел, приношу свои извинения, у меня есть деньги, но...

— Забудь о деньгах, — прошипел Серов. — Все путем. Слышишь... Я оставлял тебе вчера записку?

— Да, конечно, я считаю, что я заслуживаю этого и...

— Ты ее уничтожил?

— Почему тебя это так беспокоит?

— Ничего серьезного. Просто представь, что может быть... Так ты ее уничтожил?

Бросив взгляд на вечернюю газету, Морозов ухмыльнулся.

— Конечно, — заверил он Павла. — Не беспокойся.

Весь вечер он не выпускал газету из рук.

— Дурак! — бормотал он себе под нос, вызывая крайнее любопытство Антонины Павловны. — Идиот! Он потерял ее. Бродил всю ночь бог знает где, пьяный дурак, и потерял ее!

Морозов не знал, что Степан Тимошенко, придя из ресторана «Европейской» в свою холодную комнату на чердаке, сел за расшатанный стол и при свете догорающей свечи, закрепленной в горлышке зеленой бутылки, на обрывке коричневой оберточной бумаги старательно написал письмо. Затем он вложил его в конверт, куда он также поместил еще один помятый клочок бумаги; написав на конверте адрес Андрея Таганова, Степан запечатал его и не спеша спустился по скрипучей лестнице на улицу.

На коричневой оберточной бумаге было написано следующее:

«Дорогой Андрей!

Я обещал, что я обязательно попрощаюсь с тобой. И вот я хочу сдержать свое слово. Конечно, это не совсем то, но я надеюсь, ты простишь меня. Я устал от того, что нас окружает, и больше не могу этого терпеть. Тебе, как моему единственному наследнику, я оставлю записку, которую ты найдешь в этом конверте. Я понимаю, что наследство не из приятных. Надеюсь, что ты не последуешь за мной слишком скоро.

Твой друг

Степан Тимошенко».

ГЛАВА XI

Павел Серов сидел за столом в своем кабинете, делая исправления в напечатанном на машинке тексте очередного доклада по теме «Железнодорожный транспорт и классовая борьба». Секретарша Павла стояла рядом, беспокойно следя за движениями карандаша в его руке. Окно кабинета выходило на железнодорожную платформу. Подняв голову, Павел заметил, как вдоль путей промелькнул какой-то высокий человек в кожаной куртке. Серов рванулся вперед к окну, но незнакомец уже исчез.

— Эй, ты видела этого мужчину? — бросил он секретарше.

— Нет, товарищ Серов. Где?

— Ладно, ничего. Просто мне показалось, что это один из моих знакомых. Интересно, что он здесь делает?

Через час Павел вышел из кабинета и, спускаясь по лестнице к выходу и щелкая на ходу семечки, снова увидел человека в кожаной куртке. Павел не ошибся: это был Андрей Таганов.

Павел Серов остановился, нахмурился брови. Сплюнув шелуху, он как бы невзначай подошел к Андрею.

— Добрый день, товарищ Таганов, — обратился к нему Павел.

— Добрый вечер, товарищ Серов, — ответил Андрей.

— Собираешься попутешествовать, Андрей?

— Нет.

— Охотишься на мешочников?

— Нет.

— Тебя перевели в транспортный отдел ГПУ?

— Нет.

— Ну, рад тебя видеть. Ты редкая птица. Так занят, что не находишь больше времени для старых друзей? Хочешь семечек?

— Нет, спасибо.

— Не имеешь такой дурной привычки? Ты, по-моему, правильный во всех отношениях. Никаких грехов, кроме одного, да? Рад,

что тебя заинтересовал этот старый вокзал, мой, так сказать, второй дом. Ты здесь уже около часа, не так ли?

— Будут еще какие-нибудь вопросы?

— У меня? Я тебя ни о чем не спрашивал. Какие у меня могут быть к тебе вопросы. Просто я хотел, так сказать, по-дружески пообщаться с тобой. Обязательно нужно общаться с кем-нибудь, если не хочешь прослыть индивидуалистом. Почему бы тебе не заскочить ко мне в гости, пока ты в этих краях?

— Может быть, зайду, — проговорил Андрей. — До свидания, товарищ Серов.

Серов стоял нахмурившись, между зубов у него застряла семечка. Он проводил взглядом спускавшегося по лестнице Андрея.

* * *

Продавец вытер нос рукой. Промокнув краем передника оставшиеся на горлышке бутылки подтеки льняного масла, спросил:

— На сегодня все, гражданин?

— Все, — ответил Андрей Таганов.

Продавец, оторвав кусок газеты, завернул бутылку; на бумаге проступили жирные пятна.

— Как идет торговля? — поинтересовался Андрей.

— Отвратительно, — ответил продавец, пожимая плечами, на которых, как на вешалке, болтался старый синий свитер. — Вы первый покупатель за последние три часа. Рад слышать человеческий голос. Целый день ничего не делаю, только гоняю мышей.

— Да, невесело. Терпите убытки, наверное?

— Кто — я? Магазин принадлежит не мне.

— В таком случае, мне кажется, вы скоро останетесь без работы. Хозяин сам будет выполнять обязанности продавца.

— Кто? Мой шеф? — Продавец издал хриплый смешок; широко раскрыв рот, он выставил напоказ два своих сломанных почерневших зуба. — Никогда в жизни. Хотелось бы посмотреть, как элегантный товарищ Коваленский взвешивает селедку или льняное масло.

— При такой торговле всю его элегантность скоро как рукой снимет.

— Кто знает, — вздохнул продавец.

— Все может случиться, — заметил Андрей Таганов.

— С вас пятьдесят копеек, гражданин.

— Держите. До свидания.

* * *

У Антонины Павловны были билеты на новую балетную постановку в Мариинский театр. Это представление давалось для членов профсоюза, и Морозову в Пищетресте дали билеты. Но поскольку он был равнодушен к балету, да к тому же его ждали на каком-то школьном собрании с докладом по вопросу пролетарского распределения продовольственных товаров, он отдал билеты Антонине Павловне. Она пригласила с собой Лео и Киру. «Конечно, это будет революционный балет, — объясняла она, — красный балет. И вы, конечно, знаете мое отношение к политике, но нужно иметь широкие взгляды на искусство, как вы считаете? В конце концов, это интересный эксперимент».

Кира отказалась, и Лео пришлось идти с Антониной Павловной одному. На ней было зеленое, вышитое золотом платье, слишком тесное в талии. В руках Антонина Павловна держала перламутровый бинокль на длинной позолоченной ручке.

Кира договорилась о свидании с Андреем. Но когда она вышла из трамвая и направилась по темным улицам к дворцовому саду, она почувствовала, как ноги ее наливаются свинцом, а напряженное неподатливое тело начинает сопротивляться; казалось, будто она идет против сильного ветра. Ее плоть напоминала ей о том, что она старалась забыть, — о прошлой ночи, похожей на ее первую ночь, проведенную в серебристо-серой комнате, в которой она вместе с Лео прожила уже более трех лет. Тело ее ощущало чистоту и святость; непослушные ноги пытались удержать ее от приближения к тому, что казалось кощунством, потому что она страстно желала этого, и в то же время именно в этот вечер ей не хотелось желать этого. Наконец Кира поднялась по высокой темной лестнице. Андрей открыл дверь.

— Андрей, сделаешь для меня то, о чем я тебя попрошу?

— Прежде чем тебя поцеловать?

— Нет, потом. Своди меня сегодня вечером в кино.

— Хорошо, — сказал Андрей, поцеловав Киру. Лицо его не выражало ничего, кроме неизменной радости от встречи с ней.

Они вышли вместе, под руку. Под ногами скрипел только что выпавший снег. На холщовых афишах трех самых больших кинотеатров на Невском красными буквами было написано:

ГВОЗДЬ СЕЗОНА!
НОВЫЙ ШЕДЕВР СОВЕТСКОГО КИНЕМАТОГРАФА!
«КРАСНЫЕ ВОИНЫ»

*Эпическое полотно о героических подвигах красноармейцев
в Гражданской войне!*

САГА О ПРОЛЕТАРИАТЕ!

Колоссальное произведение о массовом подвиге рабочих и крестьян!

На одном из кинотеатров также висел плакат:

ТОВАРИЩ ЛЕНИН СКАЗАЛ:

«ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ ВАЖНЕЙШИМ ДЛЯ НАС ЯВЛЯЕТСЯ КИНО».

Вход в кинотеатр был ярко освещен. Билетеры зевали, уныло поглядывая на прохожих. Никто не обращал внимания на вывешенные фотоснимки с кадрами из фильма.

— Сюда ты не хочешь, — заметил Андрей.

— Нет, — подтвердила Кира.

В четвертом кинотеатре, поменьше, шел заграничный фильм. Это была старая, неизвестная, непримечательная по составу актеров лента; на стекле витрины были наклеены три выпцветшие фотографии с изображением дамы с чрезмерным макияжем на лице, одетой в платье, которое было модным лет десять назад.

— Может, посмотрим это? — предложила Кира. Касса была закрыта.

— Извините, граждане, мест нет, — пояснил билетер. — На этот и на следующий сеанс все билеты проданы. Фойе полностью забито желающими.

— Что ж, сойдут и «Красные воины», — вздохнула Кира, когда они покорно пошли прочь.

В фойе огромного с белыми колоннами кинотеатра было пусто. Сеанс уже начался, и по правилам никого не должны уже были пускать. Однако оживившийся билетер с готовностью пропустил их.

В зале было темно и холодно. Грохот оркестра отражался от стен огромного пустого помещения. Кое-где среди свободных рядов сидели случайные зрители.

По экрану, шлепая по грязи, несется толпа в серой ободранной форме со штыками наперевес. Толпа в серой ободранной форме сидит у костра и варит похлебку. Тянется бесконечно длинный товарный поезд, в вагонах которого сидит толпа в ободранной форме. Появляются титры: «Спустя месяц». Шлепая по грязи, несется толпа в серой ободранной форме, со штыками наперевес. Повсюду развеваются знамена. На фоне серого горизонта ползает в окопах толпа в серой ободранной форме. Появляются титры: «Битва под Завражино». Толпа в лакированных сапогах расстреливает выстроенную вдоль

стенок толпу в лаптях. Появляются титры: «Битва под Самсоново». Шлепая по грязи, несется толпа в серой ободранной форме, со штыками наперевес. Появляются титры: «Спустя три недели». На фоне заходящего солнца тянется бесконечно длинный поезд. Появляются титры: «Пролетариат наступил тяжелым сапогом на горло поверженных аристократов-предателей». Толпа в лакированных сапогах танцует в грязном борделе среди разбитых бутылок и полуголых девиц, которые смотрят прямо в камеру. Появляются титры: «Но красным воинам присущ дух верности делу пролетариата». Шлепая по грязи, несется толпа в серой ободранной форме, со штыками наперевес. В фильме нет ни сюжета, ни героя. До этого Кира и Андрей обратили внимание на плакат в фойе: «Цель пролетарской культуры — показать жизнь масс во всей ее полноте».

В перерыве перед второй серией Андрей спросил Киру:

— Хочешь посмотреть, чем закончится?

— Да, еще все равно рано.

— Я знаю, что тебе фильм не нравится.

— Ты тоже от него не в восторге. Забавно получается, Андрей. У меня была возможность пойти сегодня вечером на новую балетную постановку в Мариинский, но я отказалась, потому что спектакль был революционным, и вот сейчас я смотрю это эпическое полотно.

— С кем у тебя была возможность пойти в театр?

— Да так, с одним моим другом.

— Не со Львом Коваленским, случайно?

— Андрей, тебе не кажется, что ты ведешь себя бесцеремонно?

— Кира, из всех твоих друзей — он единственный...

— ...который тебе не нравится, я знаю. И все же мне кажется, что ты говоришь об этом слишком часто.

— Кира, тебя не интересует политика, не так ли?

— Нет, и что?

— Ведь у тебя никогда не возникало желания бессмысленно принести в жертву свою жизнь и запросто вычеркнуть из нее годы, проведя их в тюрьме или ссылке? Правда?

— К чему ты клонишь?

— Держись подальше от Льва Коваленского.

Она открыла рот, и на некоторое время ее рука застыла в воздухе. Переведя дыхание, она с большим трудом выговорила:

— Что... ты... имеешь... в виду... Андрей?

— Надеюсь... ты не хочешь прослыть знакомой человека, который дружит с плохими людьми?

— Какими людьми?

— Разными. С товарищем Серовым, например.

— Ну что у Лео может быть...

— Он ведь владелец частного продовольственного магазина, так?

— Андрей, ты что, разговариваешь со мной как агент ГПУ с...

— Нет, я тебя не допрашиваю. Я просто хочу знать, насколько хорошо ты знаешь его дела, — для твоей же безопасности.

— Какие, какие дела?

— Больше я ничего не могу тебе сказать. Я и так сказал тебе слишком много. Но я должен быть уверен, что твое имя нигде не будет фигурировать.

— Где оно может фигурировать?

— Кира, *с тобой и по отношению к тебе* я не агент ГПУ.

Свет погас. Оркестр заиграл «Интернационал».

На экране, тяжело ступая на сухую заскорузлую землю, движется толпа в грязных сапогах. Перед зрителями мелькают огромные, во весь экран серые сапоги с толстыми подошвами; снаружи, под действием мышц, они собраны в складки, изнутри пропитаны потом. Сапоги не спешат, но и не медлят; это не копыта, но и не человеческие ноги; они перекатываются с пятки на носок, с пятки на носок, подобно серым танкам, дробя и сметая все, что попадает на их пути, превращая комья земли в пыль; бесконечным серым потоком чеканят шаг безжизненные, лишённые жалости сапоги.

Кира, заглушаемая грохотом «Интернационала», прошептала:

— Андрей, ты что, выполняешь новое задание ГПУ?

— Нет, я веду самостоятельное расследование, — сухо ответил он.

На экране на фоне черного неба возникают серые тени людей в военной форме, собравшихся вокруг костров. Чьи-то мозолистые руки помешивают воду в железном котелке; кто-то осклабился, показывая кривые зубы; покачиваясь из стороны в сторону, играет гармонист, на его лице застыла сальная усмешка; вскидывая ноги и прихлопывая в ладоши, выплясывает «казачок» какой-то парень; кто чешет бороду, кто — шею, кто — затылок; боец в расстегнутой гимнастерке жуёт корку хлеба, крошки падают на его черную волосатую грудь. Все празднуют очередную победу.

— Андрей... у тебя есть что сообщить ГПУ? — тихо спросила Кира.

— Да, — ответил он.

На экране шествует по улице города демонстрация, организованная в честь победы. Перед камерой медленно проплывают знамена и лица... В равномерном, нескончаемом потоке, подобно восковым фигурам, которые управляются невидимыми нитями, движутся миллионы людей, молодых и старых, в темных платках, вязаных шалях, солдатских фуражках, кожаных кепках. Их лица одинаково

неподвижны и суровы; их невыразительные глаза кажутся нарисованными; губы у них мягкие и бесформенные. Никакой воли, никакой работы мышц — мостовая сама движется под ногами. Энергию сообщают только реюющие, как паруса, знамена. Топливо заменяет духота, исходящая от слабой, тестообразной плоти. Дыхание отсутствует, чувствуется только запах залатанных подмышек и взмыленных сгорбленных плеч, которые бредут, бредут и бредут. В этом шестивии нет никаких признаков жизни.

Кира резко вскинула голову. Дрожь пробежала по всему ее телу.

— Андрей, пойдем, — задыхаясь, выговорила она.

Он покорно вскочил.

Когда на улице Андрей кликнул сани, Кира, обращаясь к нему, сказала:

— Давай прогуляемся пешком.

— Что случилось, Кира? — поинтересовался он, взяв ее за руку.

— Ничего, — Кира шла, прислушиваясь к живому звуку хрустящего под ее каблуками снега. — Мне... мне не понравился фильм.

— Извини, дорогая. Я ни в чем тебя не виню. Мне бы хотелось, чтобы они, для своей же пользы, перестали снимать такие фильмы.

— Андрей, ведь ты хотел бросить это все и уехать за границу?

— Да.

— В таком случае к чему ты затеваешь против кого-то что-то непонятное... с целью помочь хозяевам, которым ты больше не хочешь служить?

— Я хочу выяснить, стоит ли все еще работать на них.

— Какая тебе разница?

— От этого зависит вся моя дальнейшая жизнь.

— Что ты имеешь в виду?

— Я даю себе последний шанс: у меня есть что им предъявить. Я знаю, что в таком случае они должны делать. Но я также догадываюсь, что они в этом случае сделают. Я все еще член партии. В скором времени будет ясно, останусь ли я им.

— Ты проводишь эксперимент, Андрей? Который будет стоить жизни нескольким людям!

— Только тем, с кем необходимо покончить.

— Андрей!

Он взглянул на побледневшее от волнения лицо Киры.

— Кира, в чем дело? Ты никогда не спрашивала меня о моей работе. Мы с тобой никогда не обсуждали ее. Ты знаешь, что по долгу служебной я имею дело с человеческой жизнью и, если необходимо, смертью. Тебя никогда это так не пугало. Об этом, Кира, мы с тобой не должны говорить.

— Ты запрещаешь мне говорить на эту тему?

— Да. И еще я хочу тебе кое-что сказать. Пожалуйста, послушай меня внимательно и не отвечай, потому что я не хочу знать ответа. Мне нужно, чтобы ты хранила молчание, потому что я не хочу знать, насколько хорошо ты осведомлена в деле, которое я расследую. Боюсь, мне уже известно, что ты некоторым образом причастна. От тех, к кому я обращаюсь, я ожидаю полной честности. И сам я не могу явиться к ним, что-то утаивая.

Пытаясь сохранить спокойствие, Кира сказала своим трепещущим от страха, неподдающимся контролю голосом:

— Андрей, я не буду отвечать. Теперь послушай меня и, пожалуйста, не задавай никаких вопросов. Я хочу сказать тебе только одно: умоляю тебя — надеюсь, ты меня понимаешь, — умоляю тебя, первый раз за все время я настойчиво прошу тебя о чем-либо, умоляю, если дело все еще находится в твоих руках, Андрей, откажись от него! Исключительно ради меня!

Он обернулся. Кира никогда еще не видела такого выражения на лице Андрея, теперь это было безжалостное лицо товарища Таганова, сотрудника ГПУ, видевшего тайные казни в темных секретных камерах. Андрей спросил, чеканя каждое слово:

— Кира, кем приходится тебе этот человек?

По тону его голоса Кира поняла, что лучшим способом защитить его будет молчание. Пожимая плечами, она ответила:

— Просто другом. Мы будем хранить молчание, Андрей. Уже поздно. Отвези меня домой.

Когда Андрей оставил Киру у подъезда дома ее родителей, она подождала, пока стихли его шаги за углом, а затем помчалась по темным улицам. Поймав первое попавшееся такси, она прыгнула в него, бросив на ходу шоферу:

— Мариинский театр. Как можно быстрее!

В тусклом пустынном фойе театра Кира услышала за закрытыми дверями громыхание оркестра, ужасную какофонию звуков.

— Сейчас нельзя входить, гражданка, — категорически заявил билетер.

Кира, сунув ему в руку смятую банкноту, тихо попросила:

— Мне нужно найти одного человека, товарищ... Это вопрос жизни или смерти... его мать умирает...

Между синими бархатными занавесками Кира бесшумно прошмыгнула в темный полупустой зал. На залитой светом сцене порхали хрупкие балерины кордебалета в огненно-красных тюлевых пачках, взмахивая тоненькими припудренными ручками, на которых висели желтые цепи из папье-маше. Исполнялся «танец тружениц».

Лео и Антонина Павловна сидели в удобных креслах, одни во всем ряду. Они подскочили, когда увидели Киру, пробирающуюся к ним через длинные ряды кресел.

— Сядьте же! — шикнул кто-то сзади них.

— Лео, — шепнула Кира. — Пойдем! Прямо сейчас.

— Что случилось?

— Пойдем! Я тебе все объясню! Выйдем отсюда!

Лео последовал за Кирой по темному проходу. За ними торопливо семенила Антонина Павловна. На ее лице застыло любопытство.

В углу пустынного фойе Кира тихо сказала:

— Лео, ГПУ следит за твоим магазином. Они что-то пронюхали.

— Что? Откуда ты это узнала?

— Я только что видела Андрея Таганова, и он...

— Ты видела Андрея Таганова? Где? Мне казалось, что ты собиралась навестить своих родителей.

— Я встретила его на улице и...

— На какой улице?

— Лео! Оставь весь этот вздор! Неужели ты не понимаешь? Мы не должны терять ни минуты!

— Что он сказал?

— Не многое. Так, на кое-что намекнул. Он предупредил меня, чтобы я держалась от тебя подальше, если не хочу быть арестованной. Андрей сказал, что ты владелец частного продовольственного магазина, и в связи с этим упомянул Павла Серова. Из его слов я поняла, что он хочет сообщить о чем-то в ГПУ.

— Итак, он велел тебе держаться от меня подальше...

— Лео! Ты не хочешь...

— Я не хочу, чтобы меня запугивали всякие ревнивые дураки!

— Лео, ты его не знаешь! Он не имеет обыкновения шутить насчет ГПУ, и он не испытывает по отношению к тебе никакого чувства ревности!

— В каком отделе ГПУ он работает?

— В разведке.

— Так значит, не в экономическом отделе?

— Нет, но он действует по своей инициативе.

— Ладно, пойдем. Позвоним Морозову и Павлу Серову. Пусть Серов свяжется со своим другом из экономического отдела и выяснит, чем занимается этот твой Таганов. Не впадай в панику. Бояться нечего. Друг Серова все уладит. Пойдем.

Лео и Кира поспешили к выходу, чтобы поймать такси.

— Лео, — задыхалась бегущая за ними Антонина Павловна. — Лео, я никоим образом не связана с магазином! Если будет расследование,

помни, я не имею никакого к нему отношения! Я только относил деньги Серову и не знала, откуда они берутся! Лео, запомнил?

Через час к черному входу магазина с вывеской «Лев Коваленский. Продовольственные товары» бесшумно подкатили сани. Двое мужчин молча спустились по обледенелым неосвещенным лестницам в подвал, где при свете старого тусклого фонаря их ждали Лео и продавец. Вновь прибывшие не произнесли ни звука. После того как Лео молча указал на мешки и ящики, они оперативно перенесли их в сани, покрытые большим меховым пледом. Не прошло и десяти минут, как подвал был пуст.

— Ну что? — с тревогой поинтересовалась Кира, когда Лео пришел домой.

— Иди спать, — сказал Лео, — и не думай ни о каких агентах ГПУ.

— Что ты сделал?

— Все что нужно. Мы от всего избавились. В данный момент все это вывозится из красного Ленинграда. К нам завтра вечером должен был прибыть новый груз от товарища Серова, но мы отменили эту сделку. У нас будет просто маленький продуктовый магазин — на время. Пока Серов не уладит все.

— Лео, я...

— Не надо начинать новых споров. Я уже сказал: я не собираюсь уезжать из города. Это было бы самым опасным, самым подозрительным из всего, что я могу сделать. Нам не о чем беспокоиться. Серов слишком силен в ГПУ при любых...

— Лео, ты не знаешь Андрея Таганова.

— Нет, я не знаю его. Но ты, похоже, знаешь его слишком хорошо.

— Лео, его нельзя подкупить.

— Может быть. Но они могут заставить его заткнуться.

— Если ты не боишься...

— Конечно, я не боюсь! — и о его лицо было бледнее, чем обычно, и она заметила, что его руки, расстегивавшие пальто, дрожали.

— Лео, пожалуйста! Послушай! — стала умолять она его. — Лео, пожалуйста, я...

— Заткнись! — сказал Лео.

ГЛАВА XII

Секретарь экономического отдела ГПУ вызвал Андрея Таганова в свой кабинет.

Кабинет располагался в здании главного управления ГПУ. Ни один посетитель никогда не приближался к этому зданию, и очень немногие служащие имели в него допуск. Те, кто все же имел, говорили тихим уважительным голосом и никогда не чувствовали себя здесь непринужденно.

Секретарь сидел за столом. На нем была военная форма, узкие бриджи, высокие сапоги и пистолет на бедре. У него были коротко стриженные волосы и чисто выбритое лицо, по которому невозможно было угадать его возраст. Когда он улыбался, то видны были короткие зубы и очень широкие, коричневые десны. В его улыбке не было веселья, она была лишена всякого значения; видя эту улыбку, люди понимали, что он улыбается лишь потому, что мускулы его рта сжимаются и обнажают десны.

Он сказал:

— Товарищ Таганов, я так понимаю, что вы проводите какое-то расследование по делу, которое находится в компетенции экономического отдела?

Андрей сказал:

— Да, это так.

— Кто дал вам такое право?

Андрей сказал:

— Мой партийный билет.

Секретарь улыбнулся, показав свои десны, и спросил:

— Что заставило вас начать это расследование?

— Одна серьезная улика.

— Против члена партии?

— Да.

— Почему же вы не передали ее нам?

— Я хотел, чтобы у меня было полное досье для доклада.

— Ну и что же, оно у вас есть?

— Да.

— Вы собираетесь доложить начальнику вашего отдела?

— Да.

Секретарь улыбнулся и сказал:

— Я предлагаю вам прекратить это дело.

Андрей сказал:

— Если это приказ, то я напоминаю вам, что вы — не мой начальник. Если это совет, то я в нем не нуждаюсь.

Секретарь молча посмотрел на него, а затем сказал:

— Строгая дисциплина и преданность — похвальные черты, товарищ Таганов. Однако, как сказал товарищ Ленин, коммунист должен приспосабливаться к реальной действительности. Вы обдумали все последствия ваших разоблачений?

— Обдумал.

— Вы считаете целесообразным устраивать публичный скандал с вовлечением в него члена партии — в такое время?

— Об этом надо было подумать тому самому члену партии, который втянут в эту историю.

— Вы знаете... что я заинтересован в этом человеке?

— Знаю.

— Может ли этот факт как-то изменить ваши планы?

— никоим образом.

— Вы когда-нибудь задумывались о том, что я могу вам пригодиться?

— Нет. Не задумывался.

— Тогда не думаете ли вы, что вам стоит задуматься над этим?

— Нет. Не думаю.

— Сколько времени вы занимаете свою настоящую должность, товарищ Таганов?

— Два года и три месяца.

— С одним и тем же окладом?

— Да.

— Не находите ли вы желательным ваше продвижение по службе?

— Нет.

— Вы не верите в дух взаимопомощи и сотрудничества между членами партии?

— Если он не противоречит духу самой партии.

— Вы преданы партии?

— Да.

— Во всем?

- Да.
 - Сколько раз вам приходилось проходить партчистку?
 - Три раза.
 - Вы знаете, что скоро будет новая чистка?
 - Да.
 - И вы собираетесь сделать вашему начальнику доклад по делу, которое вы расследовали?
 - Да.
 - Когда?
 - Сегодня, в четыре часа дня.
- Секретарь посмотрел на свои наручные часы:
- Очень хорошо. Значит, через полтора часа.
 - Это все?
 - Вы свободны, товарищ Таганов.

* * *

Несколько дней спустя начальник Андрея вызвал его к себе. Это был высокий худощавый мужчина с остренькой белой бородкой; на его тонком носу сидело пенсне в золотой оправе. На нем был дорогой костюм цвета кофе с молоком — один из тех, которые носят иностранные туристы; руки его были длинными и костлявыми, как у скелета; внешностью он напоминал не очень преуспевающего университетского преподавателя.

— Садитесь, — сказал он и поднялся, чтобы закрыть дверь. Андрей сел.

— Примите мои поздравления, товарищ Таганов, — начал начальник.

Андрей склонил голову.

— Товарищ Таганов, вы сделали ценную работу и оказали большую услугу партии. Вы выбрали для этого как нельзя более подходящее время. Вы передали в наши руки дело, которое нам сейчас как раз необходимо. Учитывая сегодняшнее тяжелое экономическое положение и опасные тенденции в общественных настроениях, руководству страны необходимо таким образом показать массам, кто повинен в их страданиях, чтобы это запомнилось навсегда. Вероломные спекулянты, занимающиеся контрреволюционной деятельностью, лишая наших тружеников их тяжелым трудом заработанных продовольственных пайков, должны быть преданы в руки пролетарского правосудия. Рабочим необходимо дать понять, что их классовые враги денно и нощно плетут сети заговоров и интриг с целью подрыва единственного в мире государства рабочих и крестьян. Необходимо сказать

трудящимся массам, что они должны терпеливо переносить временные трудности и всецело оказывать поддержку правительству, которое, как покажет расследованное вами дело, борется за их интересы со значительно превосходящими силами. Это, по существу, явилось предметом моего сегодняшнего разговора с редактором газеты «Правда» относительно кампании, которую мы задумываем. Мы должны дать показательный пример. В осуществлении поставленной задачи будут задействованы все газеты, клубы, общественные трибуны. Судебный процесс над гражданином Коваленским будет передан по радио по всем городам Союза Советских Социалистических Республик.

— Судебный процесс над кем?

— Над гражданином Коваленским. Да, кстати, о той записке, написанной товарищем Серовым, которую вы прилагаете в своем докладе по данному делу, — это единственный существующий экземпляр?

— Да.

— Кто еще читал ее, кроме вас?

— Никто.

Начальник, скрестив пальцы рук, размеренно произнес:

— Товарищ Таганов, вы забудете о том, что когда-либо читали эту записку.

Андрей молча посмотрел на него.

— Это приказ комиссии, которая рассмотрела предоставленное вами дело. Однако мне следует дать вам некоторые разъяснения, поскольку я ценю ваше участие в данном вопросе. Вы читаете газеты, товарищ Таганов?

— Да, разумеется.

— Вы имеете представление о том, что происходит сейчас в наших деревнях?

— Конечно.

— Известно ли вам о настроениях среди рабочих? Вы понимаете, что общественное мнение может в любой момент пошатнуться?

— Так точно.

— В таком случае нет необходимости объяснять вам, почему имя члена партии не должно упоминаться в какой-либо связи с делом о спекуляции. Это понятно?

— Вполне.

— Вам следует быть очень осторожным и помнить о том, что вы ничего не знаете о товарище Павле Серове. Вы меня понимаете?

— Как нельзя лучше.

— Товарищ Морозов откажется от своей должности в Пищетресте — по причине плохого здоровья. Его имя не будет упоминаться в деле, поскольку это может представить наш Пищетрест

в неприглядном свете и вызвать ненужные разговоры. Но основной виновник и главный заговорщик — гражданин Коваленский — будет арестован сегодня вечером. Как, вы одобряете это, товарищ Таганов?

— Мое положение не дает мне права высказывать свое одобрение. Я только исполняю приказы.

— Хорошо сказано, товарищ Таганов. Как показала наша проверка, гражданин Коваленский является единственным законным владельцем этого продовольственного магазина. По происхождению он дворянин, и отец его был осужден за контрреволюционную деятельность. Ранее гражданин Коваленский был арестован за незаконную попытку выехать из страны. Он — живой представитель класса, который, по мнению наших рабочих масс, является злейшим врагом Советов. Наши рабочие массы, которые справедливо возмущены затянувшимися лишениями, долгими часами простаивания в очередях в кооперативных магазинах, нехваткой предметов первой необходимости, узнают имя того, кто повинен во всех их страданиях. Им также станет известно, кто наносит сокрушительные удары по сердцу нашей экономики. Последний потомок кровожадной эксплуататорской аристократии заплатит долги, причитающиеся со всех представителей этого класса.

— Я понимаю, что будет публичный процесс с полным освещением в газетах и радиорепортажами из зала суда?

— Именно так, товарищ Таганов.

— А что, если гражданин Коваленский скажет слишком много? Что, если он назовет имена?

— Вряд ли, товарищ Таганов. С этими господами легко договориться. Ему будет обещана жизнь, если он скажет только то, о чем его попросят. Он будет ожидать помилования, даже если ему вынесут смертный приговор. Вы знаете, можно давать обещания, но вовсе не обязательно всегда их выполнять.

— А когда его поставят лицом к стенке — микрофона перед ним уже не будет?

— Абсолютно точно.

— И конечно, вы не будете упоминать о том, что до того, как гражданин Коваленский нанялся к этим особам, он не мог устроиться на работу и умирал от голода?

— Что такое, товарищ Таганов?

— Так, одно предположение. Также важно будет объяснить, как это дворянину без гроша в кармане удалось взять нашу экономику за горло.

— Товарищ Таганов, вы обладаете удивительным даром ораторского искусства. Слишком удивительным даром, что не всегда является

ценным качеством агента ГПУ. Вам следует быть очень осторожным, чтобы в один прекрасный день вас не оценили по достоинству и не назначили на какую-нибудь «чудесную» должность — где-нибудь в Туркестане, например, — где вам представится хорошая возможность проявить свои способности. Подобно товарищу Троцкому, например.

— Я служил в Красной армии под командованием товарища Троцкого.

— На вашем месте, товарищ Таганов, я не стал бы вспоминать об этом слишком часто.

— Хорошо, я постараюсь забыть это.

— Сегодня в шесть часов вечера, товарищ Таганов, вы явитесь с обыском на квартиру гражданина Коваленского с целью обнаружения дополнительных фактов и документов, относящихся к делу. Вам также поручается арестовать гражданина Коваленского.

— Есть, товарищ начальник.

— У меня к вам все, товарищ Таганов.

— Разрешите идти?

* * *

Начальник экономического отдела ГПУ осклабился, показывая свои десны, и холодно обратился к товарищу Павлу Серову:

— В будущем, товарищ Серов, посвящай свои литературные труды исключительно вопросам, касающимся твоей работы на железной дороге.

— Да, конечно, не беспокойся.

— Напоминаю тебе, что в данном случае следует беспокоиться не мне.

— Черт, а я чуть в штаны не наделал. А что поделаешь? Нервы-то не железные!

— Да, вот только жизнь у нас одна.

— Что... что ты имеешь в виду? Письмо ведь у тебя?

— Уже нет.

— Где оно?

— В печке.

— Спасибо, друг.

— У тебя есть все основания благодарить меня.

— Конечно, конечно. Я тебе очень признателен. За добро нужно платить добром. Услуга за услугу... или как там говорится? Ты — мне, я — тебе. Я держу язык за зубами о некоторых делах, а ты заставляешь заткнуться тех, кто интересуется моими грешками. Как старые, добрые друзья.

— Не все так просто, Серов. Твоего разлюбленного друга — гражданина Коваленского — необходимо будет отдать под суд.

— Ты думаешь, я буду рыдать по этому поводу? Я только буду рад стать свидетелем того, как этому надменному дворянчику свернут его холеную шею.

* * *

— Вашему здоровью, товарищ Морозов, необходимы длительный отдых и перемена климата на более теплый, — объяснил совслужащий. — Вот поэтому, в связи с вашим уходом по состоянию здоровья, мы предоставляем вам путевку в дом отдыха. Ясно?

— Да, я понимаю, — пробормотал Морозов, вытирая пот со лба.

— Это оздоровительный санаторий в Крыму, приятный и тихий, вдали от городского шума. Он пойдет на пользу вашему здоровью. Я бы порекомендовал вам провести там, скажем, месяцев шесть. Я бы не советовал вам спешить с возвращением, товарищ Морозов.

— Нет, я спешить не буду.

— И еще один мой вам совет, товарищ Морозов. Из газет вы узнаете о судебном процессе над неким гражданином Коваленским, осужденным за спекуляцию. С вашей стороны было бы благородно, если бы в санатории не знали о вашей осведомленности в данном деле.

— Конечно, конечно. Я ничего не знаю и ничего никому не скажу.

Совслужащий наклонился к Морозову и конфиденциально шепнул ему:

— Будь я на вашем месте, я бы не пытался пускать в ход связи, чтобы помочь Коваленскому, даже если ему грозит вышка.

Морозов поднял на него взгляд.

— Чтобы я пустил в ход связи? Помочь ему? Зачем это мне? — произнес он, растягивая слова и срываясь на хныканье; при этом его широкие ноздри дрожали мелкой дрожью. — У меня нет с ним ничего общего. Владельцем магазина был он. Он один. Можете справиться в регистрационных документах. Он один. Ему не удастся доказать, что я что-либо знал. Он — единственный владелец. Лев Коваленский — можете проверить.

* * *

Дверь открыла жена Лаврова.

При виде Андрея Таганова в кожаной куртке, с кобурой на бедре и сверкающих стальных лезвий четырех штыков за его спиной она,

издав звук, походивший на икоту, застрявшую у нее где-то в горле, зажала рот рукой.

Андрей вошел, сопровождаемый четырьмя бойцами, последний из которых властно хлопнул дверью.

— Боже милостивый! — причитала женщина, вцепившись в свой полинялый передник.

— Всем оставаться на своих местах, — приказал Андрей. — Где комната гражданина Коваленского?

Женщина сделала знак дрожащим пальцем, который нелепо застыл в воздухе. Бойцы проследовали за Андреем. И пока три стальных лезвия медленно проходили мимо женщины и шестеро сапог гроыхали по полу, издавая звук, напоминающий приглушенный барабанный бой, она тупо взирала на одежду вешалку в коридоре и висящие на ней старые, веющие теплом пальто, которые, казалось, сохраняли очертания тел своих владельцев. Четвертый боец остался в дверях.

При виде неожиданных гостей Лавров подскочил. Андрей быстрым шагом прошел через комнату, не обращая на него никакого внимания. Резким и властным, как удар хлыста, движением руки Андрей приказал одному из бойцов остаться в дверях. Остальные вошли за Андреем в комнату Лео.

Лео был один. Он сидел в глубоком кресле у горящего камня и читал книгу, которая, после того как дверь открылась, пришла в движение первой; она медленно опустилась на ручку кресла, после чего уверенная рука захлопнула ее. Лео не спеша встал, мерцание огня играло на его белой, облегающей широкие плечи рубашке.

Скривив губы, Лео презрительно усмехнулся:

— Вот это да, товарищ Таганов. Можно было предположить, что мы когда-нибудь вот так встретимся.

Лицо Андрея ничего не выражало. Оно было застывшим и неподвижным, подобно фотографии в паспорте; как будто застывшие линии и мышцы не несли в себе человеческого содержания, лицо имело только форму человеческого. Он протянул Лео бумагу со служебными печатями. Голосом, который можно было назвать человеческим только потому, что произносимые звуки были воспроизведением знаков алфавита, он отчеканил:

— Ордер на обыск, гражданин Коваленский.

— Прошу, — сказал Лео, строго и любезно кланяясь, как бы обращаясь к гостю на официальном приеме. — Милости просим.

Сделав два отточенных движения рукой, Андрей отослал одного бойца к комоду, другого — к кровати. Один за другим захлопали открывающиеся и закрывающиеся ящики; на полу, вокруг черных

блестящих от тающего снега сапог, росла грудa белого нижнего белья, вылетающего из-под огромных смуглых рук, действующих четко и отработанно. Одно молниеносное движение руки — и с кровати слетело атласное покрывало, за которым последовали стеганое одеяло и простыни; один выпад штыка — и матрас вспорот, два кулака исчезли в его чреве. Андрей открыл ящики стола. Механическими движениями он начал перекладывать их содержимое; с шелестом тасующихся карт он пробежал большим пальцем по страницам развернутых веером книг; отбросив книги в сторону, он собрал все записки и письма и затолкал их к себе в портфель.

Лео одиноко сидел посредине комнаты. Присутствующие не обращали на него никакого внимания, как будто их действия не касались его, как будто он был тем предметом обстановки, который полагалось распотрошить в последнюю очередь. Он сидел, ссутулив плечи и вытянув ноги, на краешке стола, опираясь на него руками. Потрескивали дрова в камине; на пол с грохотом падали вещи, в руках Андрея шелестели бумаги.

— Извини, не смогу сделать тебе одолжения, товарищ Таганов, добровольно представив тебе секретные планы взрыва Кремля и свержения Советов, — съязвил Лео.

— Гражданин Коваленский, — оборвал его Андрей таким тоном, как будто они ранее не встречались, — вы разговариваете с представителем ГПУ.

— А ты подумал, что я об этом забыл?

Один из солдат вонзил штык в лежащую на полу подушку, и белые хлопья вспорхнули, подобно снежинкам.

Андрей дернул дверцу серванта; зазвенели тарелки и бокалы, которые он начал аккуратно составлять на ковер.

Лео, открыв свой позолоченный портсигар, протянул его Андрею.

— Нет, спасибо, — отказался Андрей.

Лео закурил. На некоторое мгновение спичка задрожала, потом пальцы его снова стали уверенными. Он сидел на краешке стола, покачивая ногой; сигаретный дым медленно поднимался к потолку тонкой голубой стружкой.

— Выживают самые приспособленные, — начал Лео. — В этом заключается естественный отбор. Однако не все философы правы. Мне всегда хотелось задать им один вопрос: самые приспособленные — к чему?.. Тебе следовало бы знать ответ на этот вопрос, товарищ Таганов. Каковы твои философские убеждения? У нас с тобой никогда не было возможности поговорить об этом — сейчас самое время.

— Я попросил бы вас помолчать, — отозвался Андрей.

— Просьба представителя ГПУ приравнивается к приказу, не так ли? Я осознаю, что необходимо уважать величие власти при любых обстоятельствах, независимо от пагубности воздействия этого на власть имущих.

Один из бойцов поднял голову и сделал шаг по направлению к Лео. Взглядом Андрей остановил его. Боец, открыв гардероб, начал доставать оттуда один за другим костюмы Лео, проверяя карманы и подкладку.

Андрей открыл другой гардероб.

Раздался запах прекрасных французских духов. В ряд висели женские платья...

— Что такое, товарищ Таганов? — поинтересовался Лео.

Андрей держал в руках красное платье.

Это было простенькое красное платье с поясом из лакированной кожи, четырьмя пуговицами, круглым воротником и огромным бантом.

Андрей смотрел на разложенное у него на руках платье. Красная ткань скользила между пальцев.

Тяжелым взглядом он неторопливо окинул платье, висящие в одну линию в гардеробе. Вдруг он заметил черное бархатное платье, которое ему было знакомо, пальто с меховым воротником, белую блузку.

— Чье это? — спросил Андрей.

— Моей любовницы, — произнес Лео с презрительной усмешкой, придававшей этому слову непристойное звучание; он пристально следил за реакцией Андрея.

Лицо Андрея ничего не выражало, в нем не было ничего человеческого. Андрей смотрел на платье; его ресницы напоминали два полумесяца на фоне впалых щек. Затем Андрей аккуратно расправил платье и повесил его в шкаф, действуя осторожно и несколько неловко, как будто платье было сделано из стекла.

Лео усмехнулся, прищурился свои черные глаза и скривив рот:

— Вот досада-то, правда, товарищ Таганов?

Андрей никак не отреагировал. Он продолжал вынимать одно за другим пахнущие французскими духами платья, прощупывая все карманы и складки.

За дверью послышался шум борьбы; кто-то пытался войти.

— Повторяю, гражданка, сюда нельзя! — раздался из-за двери рев охранника.

Послышался пронзительный женский крик, в котором не улавливалось ничего человеческого. Это был вой зверя в предсмертной агонии:

— Впустите меня! Впустите!

Андрей посмотрел на дверь, потом медленно подошел и открыл ее. Перед ним стояла Кира Аргунова.

— Гражданка Аргунова, вы здесь живете? — каждый звук отчетливо слетал с уст Андрея, подобно размеренно падающим каплям воды.

— Да, — ответила она таким же ровным голосом, гордо вскинув голову и глядя Андрею прямо в глаза.

Она шагнула в комнату, боец закрыл дверь.

Андрей Таганов неторопливо развернулся, опустив при этом правое плечо; каждое его сухожилие напряглось; движения были очень осторожны, как будто их сковывал торчащий между лопатками нож. Рука его неестественно согнулась в локте; пальцы словно цепко удерживали невидимый, наполненный до краев стакан с водой.

— Общитте сервант и ящики в углу, — бросил он бойцам.

Затем Андрей вернулся к открытому гардеробу; тишину нарушали лишь звуки его шагов и потрескивание дров в камине.

Кира прислонилась к стене. Выскользнувшая из ее рук шляпа осталась лежать незамеченной на полу.

— Извини, дорогая, — произнес Лео. — Я надеялся, что к твоему приходу все уже будет кончено.

Кира не взглянула в его сторону. Она следила за высокой фигурой мужчины в кожаной куртке с кобурой на бедре.

Андрей подошел к туалетному столику Киры. Открывая и закрывая ящики, он уверенными движениями рук рылся в ее нижнем белье, прощупывая белые батистовые сорочки и кружевные оборки.

— Проверьте диванные подушки, — приказал Андрей солдатам, — и поднимите коврик.

Колени Киры сжались; она изо всех сил старалась держаться на ногах.

— Пожалуй, все, — сказал Андрей, обращаясь к солдатам, бесшумно задвинув последний ящик.

Взяв со стола свой портфель, Андрей повернулся к Лео.

— Гражданин Коваленский, вы арестованы, — сообщил он, почти не открывая рот, и если нижняя губа еще слегка двигалась, то верхняя оставалась абсолютно неподвижной.

Лео пожал плечами и потянулся за пальто. Несмотря на то что лицо его выражало презрение, пальцы его дрожали. Подняв голову, он бросил:

— Уверен, товарищ Таганов, что вы выполняете данную миссию с ни с чем не сравнимым удовольствием.

Бойцы, расшвыряв ногами вещи, в беспорядке разбросанные по полу, подняли винтовки.

Лео подошел к зеркалу и с щепетильностью человека, собиравшегося на важный официальный прием, поправил галстук, надел пальто, пригладил волосы. Его пальцы приобрели уверенность. Аккуратно сложив носовой платок, Лео положил его в нагрудный карман.

Андрей стоял в ожидании.

На пути к выходу Лео остановился:

— Не хочешь попрощаться, Кира?

Он обнял ее и крепко поцеловал. Андрей терпеливо ждал.

— Только об одном я тебя прошу, Кира, — прошептал Лео. — Забудь меня.

Кира промолчала.

Один из бойцов открыл дверь настежь. Лео вышел вслед за Андреем. Боец закрыл дверь.

ГЛАВА XIII

Лео поместили в одну из камер ГПУ. Когда Андрей возвращался домой, в воротах дворцового сада его окликнул товарищ по партии, который спешил на заседание райкома.

— Товарищ Таганов, сегодня вечером вы выступите перед нами с докладом об обстановке в сельской местности?

— Да, — ответил Таганов.

— В девять часов, если я не ошибаюсь? Мы с нетерпением ждем вас, товарищ Таганов. До девяти тогда.

— Я буду. Ждите.

Андрей с трудом пробрался через глубокий снег в саду. Поднявшись по высокой лестнице, он очутился в своей темной комнате.

Во дворце горело окно зала, где собирался райком, и желтый квадрат света падал на пол комнаты Андрея. Сняв фуражку и кожаную куртку, он отстегнул кобуру и встал у камина, вороша подошвой сапога серые угли. Подбросив дров, он зажег спичку.

Андрей пристроился на ящичке у огня. Он сидел, свесив руки между коленями. В отблеске огня его лицо и кисти рук были розового цвета.

Послышались шаги по лестничной площадке, затем раздался резкий удар в дверь. Андрей не запыртался.

— Войдите! — крикнул он.

На пороге появилась Кира.

Хлопнув за собой дверь, она вошла под своды комнаты. В темноте Андрей не мог разглядеть ее глаз; верхнюю половину лица поглощали черные тени; но красное зарево высвечивало размытые, грубые очертания ее рта.

Андрей поднялся и встал, глядя на нее.

— Ну и что ты собираешься теперь делать? — в бешенстве бросила она.

— Тебе лучше уйти, — медленно произнес Андрей.

— А что, если я не уйду? — поинтересовалась Кира, прислонившись к стене.

— Уходи, — повторил он.

Сорвав с себя шляпу, Кира отшвырнула ее в сторону. Затем она сняла пальто и бросила его на пол.

— Убирайся, ты...

— Шлюха? — закончила за Андрея Кира. — Все правильно, именно это я и хотела от тебя услышать.

— Что тебе нужно? Мне тебе нечего сказать.

— Зато я хочу поговорить с тобой. И ты выслушаешь все, что я скажу. Ты застукал меня, товарищ Таганов. И теперь будешь мстить? Ты пришел со своими солдафонами, товарищ гепэушник, и арестовал его. И теперь, используя все свое влияние, партийное влияние, ты добьешься того, чтобы его поставили к стенке, ведь так? Возможно, ты даже попросишь разрешение на личное руководство расстрелом? Давай! Мсти! Я тоже в долгу не останусь. Я не буду просить за него. Мне нечего больше бояться. Но я буду говорить. Мне так много нужно сказать тебе, всем вам. Я молчала слишком долго, и теперь мне нужно выплеснуть все наружу. В отличие от тебя, мне терять нечего.

— Тебе не кажется, что это бесполезно? К чему разговоры? Если ты хочешь оправдаться... — начал было Андрей.

Кира рассмеялась — в этом смехе не было ничего человеческого, это даже нельзя было назвать смехом.

— Ты глупец! Я испытываю гордость за то, что я сделала! Слышишь, я ни о чем не жалею. Ты думаешь, я любила тебя? Любила, но, как большинство женщин, просто изменяла тебе? Так вот, слушай: ты со своей большой любовью, твои поцелуи и твоё тело значили для меня только одно — пачку хрустящих белых червонцев с серпом и молотом в уголке. Я их посылала в один из туберкулезных санаториев Крыма для того, чтобы спасти жизнь человека, которого я любила еще до того, как встретила тебя, человека, который владел мной еще до того, как ты прикоснулся ко мне, — сейчас ты держишь его в одной из ваших камер и собираешься расстрелять. Что ж, вполне справедливо. Убей его. Лиши его жизни. Ты за нее заплатил.

Кира посмотрела в глаза Андрею, в них она увидела не обиду или злость, а испуг.

— Кира... я... — бормотал Андрей, — я... я не знал.

Кира отклонилась назад; скрестив на груди руки, она мелко тряслась от смеха:

— Ведь ты любил меня? Я была для тебя идеальной женщиной, возвышенной, как храм, военный марш или статуя бога? Не ты ли говорил

мне это? Посмотри на меня! Я всего лишь шлюха, а ты первый мой клиент. Я продавала себя — за деньги, и ты с готовностью платил. Благодаря твоей большой любви мое место — в сточной канаве. Я думала, тебе будет приятно узнать это. Как ты считаешь? Думаешь, я любила тебя? Находясь в твоих объятиях, я думала о нем. Говоря слова любви, я обращалась к нему. Каждый поцелуй, каждое слово, каждый час предназначались ему, а не тебе. Я никогда не любила его так, как в те минуты, когда находилась в твоей постели! Нет, я не оставляю тебе твоих воспоминаний. Они его по праву. Я люблю его. Слышишь? Я люблю его! Давай! Убей его. Но все, что бы ты ни сделал с ним, не сможет сравниться с тем, что я сделала с тобой. Ты это осознаешь?

Кира стояла покачиваясь. Ее поднимавшаяся к потолку тень была так неустойчива, что казалось, еще немного — и она рухнет вниз.

— Я не знал... — повторил беспомощно Андрей, изо всех сил цепляясь за каждое слово.

— Ты не знал. Хотя все было очень просто и довольно обыденно. Пройдись по забитым людьми подвалам и чердакам ваших красных городов, и ты обнаружишь множество подобных случаев. Он хотел жить. Ты считаешь, что все живое имеет право на жизнь? Отнюдь. Тебя учили по-другому, я знаю. Но он один из тех, кто должен был выжить. Таких немного, и поэтому вы их в расчет не берете. Врач сказал, что он умрет. А я любила его. Ведь ты почувствовал на себе, что это значит? Ему не требовалось многого. Только покой, свежий воздух и хорошее питание. Неужели у него не было на это права? Ваше государство утверждало, что нет. Мы просили. Мы унижались, умоляли. Знаешь, каков был их ответ? Врач в одном из госпиталей сказал, что в списке у него сотни ожидающих.

Кира подалась вперед; пытаясь добавить убедительности своим словам, она раскинула руки. Голос ее стал неожиданно спокойным, вкрадчивым; губы слегка раздвинулись, как у удивленного ребенка; но в ее неподвижном взгляде сквозил могильный ужас:

— Ты должен до конца разобраться. Никто, кроме меня, не видит этого. Я вижу и ничего не могу поделать. Ты тоже должен прозреть. Понимаешь? Сотни, тысячи, миллионы. Миллионы чего? Желудков, голов, ног, языков и душ. Даже не важно, совместимы они друг с другом или нет. Просто миллионы. Просто плоть. Человеческая плоть. Их регистрируют и считают, как консервные банки на магазинных полках. Интересно, их принимают по количеству или на вес? У них была возможность жить дальше. А у него нет. Он был всего лишь человек. Из всех камней вы признаете только булыжники. Алмазы бесполезны, поскольку на солнце они сияют слишком ярко для глаз и слишком тверды для сапог, шагающих к пролетарскому будущему. И улицу

алмазами не мостят. Во всем мире им находят достойное применение, однако вы не постигли этого своим умом. Именно поэтому вы вынесли ему и многим другим смертный приговор, который приводится в исполнение не взводом, снаряженным для расстрела, а тяжелым недугом. Я ходила к одному занимающему высокий пост комиссару. Он сказал мне, что сотни тысяч рабочих погибли в Гражданской войне и почему бы одному аристократу не отдать свою жизнь за Союз Советских Социалистических Республик. Но что такое Советский Союз в сравнении с личностью человека? Тебе не ответить на этот вопрос. Я благодарна тому комиссару. Он дал мне разрешение на то, что я сделала. Я не питаю к нему ненависти. Это ты должен ненавидеть его. Он первым сделал то, что я сейчас делаю с тобой!

Андрей пристально смотрел на Киру. Он стоял не шелохнувшись, храня молчание.

Кира подошла к Андрею. Расправив плечи и чуть отклонившись назад, она двигалась медленно и неуверенно, как будто ступая по натянутой проволоке. Прищурив глаза, Кира посмотрела на него; выражение ее лица вдруг стало пустым и спокойным. С трудом шевеля бесцветными губами, она буквально выдавливала из себя каждое слово; ее ровный голос звучал ужасающе естественно.

— Вот в чем вопрос. Почему бы одному аристократу не отдать свою жизнь за Союз Советских Республик? Но ни тебе, ни твоим великим комиссарам, ни миллионам других, подобных тебе, не дано понять этого. Вы породили и вопрос, и ответ. Не плохой же подарок вы сделали миру! Но один из вас уже получил по заслугам. Я отомстила тебе и тобой за все то горе, которое твои соратники причинили миру. Ну, что скажешь, товарищ Таганов, член Всесоюзной коммунистической партии? Вы учили, что наша жизнь ничто по сравнению с интересами государства — тогда почему же ты сейчас так страдаешь? Я довела тебя до отчаяния. Почему же ты не говоришь, что твоя жизнь ничего не значит? — Кира говорила все громче и громче; ее слова, подобно жесткому кнуту, хлестали Андрея по щекам. — Ты любил женщину, а она швырнула твою любовь тебе же в лицо? А в прошлом месяце шахтеры пролетарского Донбасса выдали на гора сто тонн угля! У тебя было два жертвенника, на одном из которых ты вдруг увидел проститутку, а на другом — товарища Морозова? А в прошлом месяце Страна Советов отправила на экспорт десять тысяч тонн зерна. Ты потерпел полное поражение? А пролетарская республика ведет строительство новой гидроэлектростанции на Волге. Почему ты не улыбаешься и не распеваешь хвалебные песни в честь коллективного труда? Твой коллектив все еще ждет тебя. Неужели с тобой что-нибудь случилось? Но ведь

это всего лишь личная проблема частной жизни, которая может волновать только представителей доживающего свой век буржуазного общества. Но у тебя же есть «более высшая» — как выражаются твои товарищи — цель в жизни? Я права, товарищ Таганов?

Ответа не последовало.

Кира широко развела руками; ее старое платье выдавало силуэт вздымавшейся от частого и тяжелого дыхания груди. Андрею казалось, что он видит каждый мускул ее тела, тела женщины в отчаянном порыве гнева. Кира закричала:

— Посмотри на меня! Хорошо посмотри! Я была рождена, и я знала, что я живу, и понимала, чего хочу. Как ты думаешь, что поддерживает во мне жизнь? Почему я живу? Потому, что у меня есть желудок, который я набиваю пищей? Потому, что я дышу и зарабатываю себе на пропитание? Или потому, что я знаю, чего я хочу, — может быть, именно это и есть сама жизнь. И кто в этой проклятой вселенной, кто может сказать мне, почему я должна жить не ради того, чего хочу? Кто членораздельно ответит мне на этот вопрос? Вы пытались дать нам свои установки относительно того, чего нам хотеть, а чего нет. Вы пришли, подобно армии в победном шествии, с миссией построения новой жизни. С корнем вырвав старую жизнь, о которой вы ничего не знали, вы определили критерии новой. Вы влезли во все естество человека, в каждый его час, каждую минуту, каждый нерв, каждую потаенную мысль и заявили, что теперь все обязаны жить иначе. Вы пришли и запретили живым жить. Вы заперли нас в каменном подвале, от ваших тесных оков у нас лопаются вены! И вы с любопытством наблюдаете за тем, что с нами будет. Что ж, смотрите! Смотрите все, у кого есть глаза.

Плечи Киры содрогались от смеха. Сделав несколько шагов к Андрею, она бросила ему в лицо:

— Почему ты стоишь и молчишь?! Ты, наверное, мучаешься тем, что не понял раньше, кто я есть на самом деле? Ну, теперь-то ты видишь?! Вот что от меня осталось после того, как ты добрался до самого дорогого в моей жизни и отнял его у меня, — теперь-то ты знаешь, кто это? Надеюсь, ты понимаешь, что я должна чувствовать, когда меня разлучили с тем, кого я боготворю...

Вдруг Кира замолчала, как будто получив от Андрея пощечину. Задыхаясь, она издала сдавленный звук.

Она хлопнула себя по губам тыльной стороной ладони. Кира молча всматривалась во что-то, что впервые предстало перед ней так полно и ясно.

Мягко, очень медленно улыбнувшись, Андрей протянул ей навстречу руки, пожимая плечами в объяснение, в котором она не нуждалась.

— Андрей... — простонала Кира.

Она отпрянула от Андрея, не спуская с него испуганных глаз.

— Кира, на твоём месте я сделал бы то же самое для любимого мною человека — для тебя, — медленно произнес Андрей.

— Андрей, Андрей, — причитала Кира, прикрывая рот рукой, — что же я с тобой сделала?

Тело Киры обмякло. Огромные глаза на белом лице делали ее похожей на испуганного ребенка.

Андрей подошел к Кире, отведя ее ладони ото рта, он продолжал удерживать ее своей уверенной рукой. Андрей начал говорить, и его слова походили на шаги человека, прилагающего неизмеримые усилия, чтобы ступать как можно тверже:

— Придя сюда и рассказав все, ты оказала мне большую услугу. Видишь ли, ты возвратила мне то, что я считал потерянным навсегда. Мое мнение о тебе не изменилось. Скорее наоборот. Только дело не в том, что ты со мной сделала... а в том, что тебе пришлось пережить, я... я заставил тебя страдать, но все эти минуты посвящались тебе... тебе... — Его голос от волнения прервался. — Послушай, малыш, мы прекратим этот разговор. Я хочу, чтобы ты немного помолчала и успокоилась, понимаешь? Попробуйся ни о чем не думать. Ты вся дрожишь. Тебе нужен отдых. Садись сюда и посиди спокойно несколько минут.

Андрей подвел Киру к креслу. Опустив голову ему на плечо, она прошептала:

— Но, Андрей... ты...

— Забудь, забудь обо всем. Все будет хорошо. Сиди спокойно и ни о чем не думай.

Андрей осторожно поднял Киру и усадил ее в кресло у камина. Она не сопротивлялась. Ее тело обмякло; платье поднялось выше колен. Андрей заметил, как дрожат ее ноги. Он взял свою кожаную куртку и укутал ею Киру.

— Это тебя согреет. Здесь холодно. Затопил совсем недавно. Посиди спокойно.

Кира не шевелилась. Она сидела, запрокинув голову назад; глаза ее были закрыты; на неподвижно свисавшей руке играл розовый отблеск огня.

Андрей стоял у камина и смотрел на нее. Было слышно, как кто-то из райкомовцев играет «Интернационал».

Он не заметил, сколько времени прошло, прежде чем она очнулась и подняла голову.

— Тебе лучше? — поинтересовался Андрей.

Кира сделала слабое движение головой, пытаясь кивнуть.

— Теперь надевай пальто, и я провожу тебя домой, — сказал он. — Я хочу, чтобы ты легла в постель. Отдыхай и ни о чем не думай.

Кира не сопротивлялась. Опустив голову, она следила за тем, как его пальцы застегивают пуговицы ее пальто. Затем она подняла взгляд на Андрея. В глазах его застыла понимающая улыбка, подобно той, которая светилась на его лице во время их первых встреч в институте.

Он помог ей спуститься по высокой лестнице с обледеневшими ступеньками. В воротах сада Андрей кликнул сани и назвал адрес ее дома, дома Лео. Андрей укрыл ноги Киры меховой полостью, и, когда сани тронулись, он обнял ее одной рукой. Всю дорогу они ехали молча.

Когда сани остановились, Андрей обратился к Кире:

— Я хочу, чтобы ты несколько дней отдохнула. Никуда не ходи. Ты ничего не сможешь сделать. Не беспокойся о... нем. Предоставь это мне.

Снег у обочины тротуара был глубокий. Андрей взял Киру на руки и понес ее вверх по лестнице. Кира что-то беззвучно шепнула, по движению губ он понял, что она пытается произнести его имя: «Андрей...»

— Все будет хорошо, — успокоил он.

К саням Андрей вернулся один и назвал извозчику адрес партийного кружка, где его уже ждали товарищи с докладом об обстановке в сельской местности.

* * *

— ...От ваших тесных оков у нас лопаются вены! Вы взвалили на свои плечи ношу, которую никто за всю историю человечества не отваживался взять на себя. Вы говорили, что цель оправдывает средства. Но какова она — ваша цель, товарищи?

Председатель кружка стукнул молотком по столу:

— Товарищ Таганов, я призываю вас к порядку. Не выходите, пожалуйста, за рамки вашего доклада об обстановке в сельской местности.

По переполненным рядам пробежала волна оживления. В большом, слабо освещенном зале послышался шепот. Где-то в глубине кто-то даже рассмеялся.

Андрей Таганов стоял на трибуне. Все помещение освещала только одна лампочка, горевшая над столом председателя. Черная кожаная куртка Андрея слилась с темным фоном стены. Из темноты проступали три светлых пятна: две длинные тонкие руки Андрея, его

лицо. Его руки зависли в черной пустоте; на лице выделялись темные тени глазниц и впадин на щеках. Андрей говорил монотонным голосом, как бы не слыша самого себя:

— Так вот, об обстановке в сельской местности, товарищи. За последние два месяца в отдаленных деревнях было убито в результате террористических актов двадцать шесть членов партии. Было сожжено восемь клубов, а также три школы и один колхозный амбар. Нужно беспощадно бороться с контрреволюционными элементами на селе, занимающимися сокрытием продовольствия. Секретарь московской партийной организации приводит в качестве примера инцидент в деревне Петровшино, где крестьян, после того как они отказались выдать имена своих руководителей, выстроили в ряд, и каждого третьего из них расстреляли на глазах у сельчан. Крестьяне заперли в местном клубе имени Ленина трех приехавших из города коммунистов и, заколотив досками окна, подожгли здание... Собравшиеся крестьяне стояли и наблюдали за пожаром, горлая песни... чтобы не слышать криков. Они вели себя как животные... обезумевшие от страданий животные. Возможно, в тех далеких деревнях живут молодые, стройные девушки и любящие их больше жизни парни; но им, доведенным до отчаяния, ничего не остается делать, как хладнокровно взирать на происходящее. Возможно, они слишком...

— Товарищ Таганов! — взревел председатель. — Я призываю вас к порядку!

— Да, конечно, товарищ председатель... Секретарь московской партийной организации приводит... На чем я остановился, товарищ председатель?.. Так вот, сельские жители, которые занимаются сокрытием продовольствия... Да... партии необходимо принять самые суровые меры в борьбе с контрреволюционными элементами на селе, которые ставят под угрозу успех проводимой нами большой работы среди крестьянских масс... Мы пришли, подобно армии в победном шествии, с миссией построения новой жизни. Мы ведь считали, что всякий, кто дышит, знает, как жить. Не кажется ли вам, что цель, какая бы она ни была, не стоит того, чтобы ради нее приносить в жертву тех, кто знает, как жить? Какая цель может сравниться с теми, кто сражается за жизнь? Может быть, те, кто ведет борьбу, и есть сама цель, а не средство ее достижения?

— Товарищ Таганов, — снова повторил председатель, — я призываю к порядку!

— Товарищ председатель, я здесь для того, чтобы выступить перед моими партийными товарищами с очень важным докладом, который, по-моему, они должны выслушать. А посвящен он работе, проводимой нами в сельской местности, городах, среди миллионов

жителей. Однако есть вопросы, на которые мы должны ответить. Почему же мы избегаем их?.. Товарищи! Братья! Выслушайте меня! Я обращаюсь к вам, священные воины новой жизни! Действительно ли мы уверены в правильности того, что делаем? Никто не вправе решать за других, ради чего они должны жить, потому что в лучших из нас есть то, что стоит над всеми государствами и коллективами. Я говорю о разуме человека и его ценностях. Вглядитесь в себя бесстрашно и честно, но ни мне, ни кому другому ничего не говорите, просто-напросто задайте себе один вопрос: «Для чего я живу?» Признайтесь, что вы живете только для себя. Называйте это целью, любовью, делом, идеалом, наконец. Но все эти цели и идеалы — ваши, лично ваши, и ничьи другие. Каждого честного человека можно назвать эгоистом. Тот, кто живет не для самого себя, вообще не живет. Вы не сможете изменить этого, потому что с самого рождения единственной и совершенной целью для человека является он сам. Ни законы, ни партия, ни ГПУ никогда не смогут подавить в человеке его собственное «я». Вам не удастся поработить человеческий разум, вы только разрушите его. Вы уже сделали попытку и посмотрите, что получилось. Взгляните на тех, кого вы породили, кому позволили восторжествовать. Отбросьте самое лучшее, что есть в человеке, и вы увидите, что останется. Неужели нам нужны искалеченные и обезображивающие других пресмыкающиеся уроды? А не выхолащиваем ли мы жизнь, для того чтобы увековечить ее?

— Товарищ Та...

— Братья! Послушайте! Мы должны ответить на этот вопрос! — Две белые руки зависли в темной пустоте, голос Андрея стал таким же звучным, как тогда, в те далекие годы Гражданской войны, когда он раздавался по всему мрачному полю боя над окопами. — Мы должны ответить на этот вопрос. В противном случае история сделает это за нас. В наказание нам придется нести эту ношу до конца дней своих! Какова же наша цель, товарищи? Что мы делаем? Хотим ли мы накормить умирающих от голода для того, чтобы спасти им жизнь? Либо мы собираемся лишить их жизни для того, чтобы накормить досыта?

— Товарищ Таганов! — закричал председатель. — Я лишая вас слова!

— Мне... мне... — задыхался Андрей Таганов в волнении, спускаясь с трибуны. — Мне нечего больше сказать.

Высокая, сухопарая фигура одиноко проследовала вдоль прохода. Вслед Андрею оборачивались. Где-то в заднем ряду в торжественном ликовании раздался протяжный низкий свист.

Когда дверь за Андреем закрылась, кто-то прошептал:

— В следующую же чистку товарищ Таганов вылетит из партии.

ГЛАВА XIV

Товарищ Соня, заложив за ухо карандаш, сидела за столом. На ней было полинялое бледно-лиловое кимоно, которое не сходилось спереди, поскольку живот ее уже увеличился до таких размеров, что его невозможно было скрыть. Склонясь над лампой, Соня листала календарь; время от времени она хватала карандаш и на клочке бумаги наспех делала какие-то заметки, она постоянно слюнявила свой химический карандаш, и от этого на нижней губе ее образовался фиолетовый налет.

Павел Серов лежал на тахте, задрав ноги в носках на спинку, и читал газету, щелкая при этом семечки. Шелуху он сплевывал на кипу разбросанных на полу у тахты газет; слетая с его губ, она издавала характерный звук. Павла Серова одолевала скука.

— Наш ребенок, — заметила Товарищ Соня, — будет новым гражданином нового государства. Он родится в атмосфере свободной, здоровой пролетарской идеологии, и никакие буржуазные предрассудки не будут препятствовать его естественному развитию.

— Да уж, — не отрываясь от газеты, произнес Павел Серов.

— С самого дня рождения я зачислю его в пионеры. Ты будешь испытывать гордость за свой живой вклад в будущее Страны Советов при виде того, как наш малыш в синих штанишках и с красным галстуком на шее марширует вместе с другими маленькими гражданами?

— Естественно, — буркнул Павел Серов, сплевывая на газету шелуху.

— Мы устроим настоящие красные крестины. Никаких попов, только наши партийные товарищи. Это будет гражданская церемония с подходящими к случаю речами. Я пытаюсь выбрать имя... Ты слушаешь меня, Павел?

— Да, да, — отозвался Павел, кидая в рот очередную семечку.

— Здесь в календаре предлагается очень много новых, хороших революционных имен вместо глупых, отживших свое имен

из святцев. Я вот выписала некоторые. Что ты думаешь по этому поводу? Я подумала, что, если будет мальчик, неплохо бы назвать его Нинель.

— Что это еще за чертовщина?

— Павел, я не потерплю подобных возражений и такого невежества. Ты даже не задумывался над тем, какое имя мы можем дать малышу.

— Но у меня ведь еще есть время?

— Тебе просто наплевать, вот и все. Не делай из меня дуру, Павел Серов, и не надейся, что я забуду об этом.

— Ну, перестань, Соня. Я предоставляю тебе право выбора. Ты лучше меня разбираешься в этом вопросе.

— Как всегда. Ну так вот. Нинель — это имя нашего великого вождя Ленина наоборот. По-моему, неплохо. Либо мы можем назвать его Виленом по начальным буквам фамилии, имени и отчества нашего великого вождя Владимира Ильича Ленина, понял?

— Да. По мне, любое из них годится.

— Ну а если будет девочка — а я надеюсь на это, поскольку новая женщина получит должную независимость, и будущее страны в значительной большей степени, чем вы, мужчины, можете себе представить, принадлежит свободной пролетарской женщине, — так вот, если будет девочка, у меня припасено на этот случай несколько неплохих имен, но больше всего мне нравится Октябрина, потому что оно будет являть собой живой памятник нашей Великой Октябрьской революции.

— Несколько... длинновато, тебе не кажется?

— Ну и что? Очень хорошее и популярное имя. Знаешь, две недели назад Фимка Попова озвездила свое отродье и назвала ее Октябриной. Даже в газете объявление тиснула. Ее мужа прямо-таки распирала гордость. Как он все-таки слеп и глуп!

— Соня, к чему эти намеки...

— Тоже мне, моралист нашелся! Всем хорошо известно, что эта сука Фимка... А впрочем, черт с ней! Но если она считает, что у нее одной есть право публиковать имя своего отродья в газетах, то я... Я выписала еще несколько хороших современных имен. Например, Марксина — в честь Карла Маркса, или Коммунара. Или...

Что-то загремело под столом.

— Вот зараза, — чертыхнулась Соня. — Эти идиотские тапки! — Она неловко изогнулась на стуле и, вытянув ногу, стала что-то нащупывать ею под столом. Обнаружив предмет поисков, Соня, преодолевая боль в животе, нагнулась и принялась натягивать тапок, держа его за стоптанный каблук. — Посмотри, в каких обносках я хожу! Мне

нужно так много вещей, тем более сейчас, когда я ожидаю ребенка... Ты, пьяный дурак, как нельзя лучше нашел время для писания писем, а мы все тут страдай!

— Не будем начинать все сначала, Соня. Ты же знаешь, мне повезло еще, что я отделался легким испугом.

— Верно! Надеюсь, твоего Коваленского после громкого судебного процесса поставят к стенке. Я позабочусь о том, чтобы наш женотдел устроил демонстрацию протеста против спекулянтов и дворянчиков!

Товарищ Соня продолжала просматривать листки календаря.

— Вот еще одно неплохое имя для девочки: Трибуна. Или — Баррикада! — воскликнула Товарищ Соня, ткнув пальцем в одну из страниц. — Можно что-нибудь в духе современной науки: Университета, например.

— Длинновато, — заметил Серов.

— Мне больше по душе Октябрина. Как-то более символично. Я все-таки надеюсь, что у нас будет девочка Октябрина Серова — будущий вождь пролетариата. Павел, кого ты хочешь — мальчика или девочку?

— Мне все равно, — равнодушно ответил Серов. — Лишь бы не двойню.

— Знаешь, это твое замечание мне совсем не нравится. Оно свидетельствует о том, что ты...

Раздался стук в дверь, который показался Серову слишком продолжительным и властным.

— Войдите! — крикнул он, подняв голову и выпустив из рук газету.

Войдя, Андрей Таганов закрыл за собой дверь. Товарищ Соня выронила календарь. Павел Серов не спеша встал.

— Добрый вечер, — поздоровался Андрей.

— Добрый вечер, — пристально глядя на Андрея, отозвался Серов.

— Это еще что такое, Таганов? — поинтересовалась Товарищ Соня; ее низкий голос звучал сухо и угрожающе.

Андрей даже не посмотрел в ее сторону.

— Мне нужно поговорить с тобой, Серов, — пояснил он.

— Давай выкладывай, — бросил Серов. Он стоял не шелохнувшись.

— Я же сказал, что мне нужно поговорить лично с тобой.

— А я говорю, давай выкладывай, — повторил Серов.

— Пусть твоя жена уйдет.

— У нас с мужем, — вставила Соня, — нет друг от друга никаких секретов.

— Выйди из комнаты, — не повышая голоса, настаивал Андрей, — и подожди в коридоре.

— Павел, если он...

— Тебе лучше уйти, Соня, — медленно выговорил Серов, не глядя в ее сторону. Он все так же пристально смотрел на Андрея.

Товарищ Соня сухо кашлянула.

— Товарищ Таганов действует все так же решительно, да? Посмотрим, что покажет время. К тому же ждать осталось недолго.

Товарищ Соня подобрала свое бледно-лиловое кимоно, плотно стянув его на животе. Вставив в зубы папиросу, она удалилась, шлепая тапками.

— Мне казалось, — начал Павел Серов, — что из того, что произошло за последние дни, ты вынес какие-то уроки.

— Ты не ошибся, — согласился Андрей.

— Что тебе в таком случае еще нужно?

— Лучше, пока я говорю, обувайся. Тебе придется выйти. В твоём распоряжении не так много времени.

— Да неужели? Рад, что ты посвятил меня в эту маленькую тайну. А то ведь я чуть было не решил, что это не входит в мои планы. И куда же я должен идти, товарищ Муссолини-Таганов?

— Освободить Льва Коваленского!

Павел Серов тяжело грохнулся на диван и, зацепив ногой газету, разбросал по полу шелуху семечек.

— Что ты надумал, Таганов? С ума ты сошел, что ли?

— Молчи и слушай. Я объясню, что тебе нужно делать.

— Ты объяснишь, что мне нужно делать? Зачем?

— Об этом поговорим позже. Сейчас ты соберешься и пойдешь к своему другу-гэпэушнику.

— В такой поздний час?

— При необходимости ты вытащишь его из постели. Что и как ты ему будешь говорить, меня не касается. Я хочу быть уверенным только в том, что Лев Коваленский будет освобожден в течение сорока восьми часов.

— И какая же, по-твоему, волшебная палочка может заставить меня сделать это?

— Есть такая волшебная бумажка, Серов. А точнее говоря, их две.

— Кем же они написаны?

— Тобой.

— Мной? Чепуха!

— Это фотокопия записки, написанной твоей рукой.

Серов медленно поднялся и оперся двумя руками о стол.

— Таганов, ты чертова крыса, — прошипел Павел Серов. — Сейчас не подходящее время для шуток.

— А я и не шучу.

— Хорошо, я пойду к своему другу. Ты встретишься со Львом Коваленским — на это уйдет менее сорока восьми часов. Я позабочусь о том, чтобы тебя определили в соседнюю с ним камеру. И тогда мы выясним, какие документы...

— Как я уже сказал, существует две фотокопии. Только лично у меня нет ни одной.

— Что... что ты сделал...

— Они находятся в руках двух моих друзей, которым я могу доверять. Всякая попытка вычислить их имена будет бесполезной. Мы с тобой не первый день знакомы, и ты знаешь, что меня не запугать камерой пыток ГПУ. Условия таковы: если что-нибудь случается со мной до освобождения Льва Коваленского — фотокопии пересылаются в Москву. То же самое будет сделано в случае, если что-нибудь случится с самим Львом Коваленским после его освобождения.

— Ты чертов...

— Ты не заинтересован в том, чтобы фотокопии попали в Москву. Твой друг будет не в состоянии спасти ни твою, ни свою шкуру. Не беспокойся... я не буду очень докучать тебе. Тебе только нужно освободить Льва Коваленского и замять это дело. Ты никогда больше не услышишь об этих фотокопиях и никогда больше не увидишь их.

Серов достал платок и вытер пот со лба.

— Ты лжешь, — прохрипел он. — Ты не делал никаких фотокопий.

— Возможно, — заметил Андрей. — Хочешь рискнуть?

— Садись, — приказал Серов, опускаясь на диван.

Андрей примостился на краю стола и скрестил ноги.

— Послушай, Андрей, — начал Серов. — Давай обговорим все по-деловому. Согласен, все козыри у тебя в руках. Но все-таки ты понимаешь, о чем просишь?

— Тебе это под силу.

— Господи, Андрей! Ведь дело такое серьезное, и мы развернули широкую пропагандистскую кампанию, газетчики набирают статьи...

— Остановите их...

— Но каким образом? Как я смогу обратиться к моему другу? Что я ему скажу?

— Меня это не касается.

— Но после того, что он сделал для моего спасения...

— Не забывай, что это также и в его интересах. Может быть, у него в Москве и есть друзья. Но также у него, возможно, есть и враги.

— Послушай...

— А когда членов партии уже не выгородить, с ними поступают гораздо круче, чем с любыми спекулянтами. Тоже неплохой предмет для очередной кампании.

— Андрей, кто-то из нас двоих сошел с ума. Я не могу понять, почему ты хочешь, чтобы Коваленского выпустили?

— Это не твое дело.

— Но если ты записался в его ангелы-хранители, тогда какого черта ты начинал все это дело?

— Ты же сам сказал, что я извлек из этого урок.

— Андрей, неужели в тебе не осталось никакого уважения к партии? Нам нужно нанести сокрушительный удар по спекулянтам именно сейчас, когда дела с продовольствием плохи и...

— Меня это больше не касается.

— Ты подлый предатель. Предоставляя материалы своего следствия, ты же сказал, что письмо существует в единственном экземпляре.

— Вероятно, я тогда солгал.

— Послушай, давай поговорим как разумные люди. Папироску?

— Спасибо, не хочу.

— Давай поговорим как друзья. Я приношу свои извинения и беру назад все, что я здесь наговорил. Не обижайся на меня, но ты же понимаешь, что от всего этого можно немного свихнуться. Ты ведешь свою игру, я — свою. Я допустил оплошность, но мы с тобой оба не ангелы. Мне кажется, мы пойдем друг друга. Мы были хорошими друзьями, с самого детства, помнишь? Мы можем договориться.

— О чем?

— У меня есть к тебе, Андрей, неплохое предложение. Этот мой друг сможет сделать очень многое, шепни я ему на ухо пару слов. Я полагаю, ты догадываешься, о чем я говорю. У меня достаточно компромата, чтобы его поставили лицом к стенке. Должен тебе сказать, ты успешно осваиваешь правила этой игры. Надеюсь, мы понимаем друг друга. Сейчас я тебе все объясню. Твое положение в партии завидным не назовешь. Думаю, ты осознаешь это. Тем более после твоего вчерашнего выступления. Тебе нелегко придется во время следующей чистки.

— Я понимаю.

— Тебя, наверное, исключат из партии.

— Скорее всего.

— Как ты смотришь на то, чтобы мы с тобой заключили сделку? Ты перестаешь заниматься этим делом, а я похлопочу о том, чтобы тебе не только сохранили партийный билет, но и предоставили любую, по твоему выбору, должность в ГПУ и определили такую зарплату, которую ты захочешь. Все по-тихому, и никакой личной неприязни. Что поделаться, надо и о себе подумать. А мы с тобой можем крепко помочь друг другу. Что ты на это скажешь?

— С чего ты взял, что я хочу остаться в партии?

— Андрей!..

— Тебе незачем помогать мне при следующей чистке. Тебя не должно касаться, выгонят меня из партии, расстреляют или меня переедет грузовик. Понятно? Но не смей трогать Льва Коваленского. И позаботься о том, чтобы никто другой его пальцем не тронул. Независимо от того, что со мной случится, береги его как зеницу ока. Не я, а ты его ангел-хранитель.

— Андрей, — простонал Серов, — что тебе за дело до этого дворяншишки?

Серов медленно встал и, собравшись с духом, сделал последнюю отчаянную попытку:

— Послушай, Андрей, я хочу тебе что-то сказать. Я думал, что ты сам все знаешь, но ошибся. Возьми себя в руки и выслушай, только не обрывай меня на первом же слове. Я знаю, тебе будет неприятно это слышать, но речь о Кире Аргуновой.

— Ну и?..

— Мы же с тобой говорим прямо, без обиняков? Так вот, слушай: ты любишь ее, и вот уже больше года ты спишь с ней. Подожди, дай мне закончить. Все это время она была любовницей Льва Коваленского. Ты, конечно, не обязан мне верить, но проверь сам и убедись.

— Мне не нужно ничего проверять — я знаю это.

— Неужели?! — Павел Серов от неожиданности вскрикнул. Он стоял, покачиваясь с пятки на носок, его взгляд был прикован к Андрею. — Ну конечно, — расхохотался он, — как же я сразу не догадался!

— Бери пальто, — поднимаясь, сказал Андрей.

— Как же мне сразу не пришло в голову, для чего этот благочестивый коммунист пустился на шантаж! Ты дурак! Ты безмозглый, высоконравственный дурак! Так вот какую благородную игру ты ведешь. Мне следовало бы раньше понять, что все эти высокие чувства являются неизлечимой болезнью. Но разве в тебе, Андрей, не осталась ни капли разума? Никакой гордости?

— Мы уже слишком много времени потратили на разговоры, — сухо сказал Андрей. — Ты, кажется, достаточно много знаешь обо мне. Тебе не мешало бы понять, что я своих решений не меняю.

Павел Серов взял пальто и не спеша надел его. Его бледные губы скривились в усмешке.

— Ну что ж, благородный рыцарь шантажа, — съязвил Павел, — ты победил на этот раз. Нет смысла угрожать тебе возмездием. Ты и без меня получишь по заслугам. Через год весь этот шум забудется. Я буду занимать руководящую должность в системе железнодорожного транспорта СССР и покупать атласные пеленки для моего ребенка. А ты будешь безнадежно стоять в очереди за плоской супа. И будешь испытывать чувство удовлетворения, сознавая, что твою возлюбленную... мужчину, которого ты ненавидишь...

— Всего хорошего, товарищ Серов.

— Взаимно, товарищ Таганов.

* * *

Кира сидела на полу, складывая нижнее белье Лео обратно в ящик. Ее платья все еще свалены в кучу перед открытым гардеробом. Когда она передвигалась по комнате, бумаги шуршали у нее под ногами. Из разбросанных по полу вспоротых подушек разлетались перья и оседали на мебель, подобно снегу.

Вот уже два дня Кира не выходила из дома. Она не знала ни о чем, что творится в мире за пределами комнаты. Как-то раз ей позвонила Галина Петровна и начала завывать в трубку. Кира успокоила ее и попросила не приезжать; Галина Петровна так и сделала.

Лавровы решили, что их соседка не была особо потрясена случившейся трагедией; они не слышали слез и не замечали ничего необычного в хрупкой девушке, на которую искоса поглядывали, проходя через ее комнату в ванную. Им только показалось, что Кира несколько заторможена; руки и ноги плохо слушались ее; для того, чтобы пошевелить ими, ей приходилось прилагать значительные усилия; глаза ее пристально смотрели в одну точку, с большим трудом ей удавалось перевести свой ставший чугунным взгляд.

Кира сидела на полу и аккуратно складывала рубашки; расправляя каждую складку, она осторожно опускала их в ящик. На нагрудном кармане одной из рубашек были вышиты инициалы Лео, которые приковали к себе взгляд Киры; она сидела не шевелясь.

Кира услышала, как открывается дверь, но даже не подняла головы.

— Кира, — раздался голос.

Она отпрянула назад, надавив спиной на выдвинутый ящик, который тут же с грохотом захлопнулся. Сверху вниз на Киру смотрел Лео.

Его бесцветные губы обмякли, под глазами отчетливо выделялись синие круги, как грим, наложенный актером-любителем.

— Кира... пожалуйста... без истерики... — изможденным голосом выговорил Лео.

Кира медленно встала, вяло вскинув руки. Закручивая на палец свисавшие волосы, она недоверчиво смотрела на Лео, боясь прикоснуться к нему.

— Лео... Лео... неужели ты на свободе?!

— Да. Меня выпустили. Вышвырнули к чертовой матери.

— Лео... как... как это могло... случиться?..

— Почему мне знать? Я думал, что ты в курсе.

Она целовала его губы, мускулистую шею, которую обнажил порванный воротник рубашки, его руки, ладони. Лео гладил ее волосы и безразлично взирал на разгромленную комнату.

— Лео... — прошептала Кира, глядя в его пустые глаза. — Что они с тобой делали?

— Ничего.

— Они... Они... я слышала, что иногда...

— Нет, они меня не пытали. Говорят, что у них есть для этого специальная комната, но мне не выпала честь побывать там. У меня была чудесная отдельная камера, и мне обеспечили трехразовое питание, хотя похлебка у них такая мерзкая. Я просто просидел там два дня, раздумывая над тем, какие слова я произнесу перед расстрелом. Вполне приятное времяпрепровождение.

Сняв с Лео пальто, Кира усадила его в кресло. Затем, стаскивая с Лео калоши, она опустилась перед ним на колени, на какую-то секунду прижала голову к его коленям, после чего, пряча лицо, склонилась еще ниже и дрожащими пальцами развязала шнурок на ботинке Лео.

— У меня осталось чистое нижнее белье? — поинтересовался он.

— Да... я сейчас достану... только... Лео... я хочу знать... ты не сказал мне...

— Что еще говорить? Все кончено. Дело закрыто. Меня предупредили, чтобы я не попадал в ГПУ в третий раз. — Затем Лео равнодушно добавил: — Я думаю, твой друг Таганов принял участие в моем освобождении.

— Он...

— Ты не обращалась к нему с просьбой?

— Нет, — поднимаясь, произнесла Кира. — Я ни о чем его не просила.

— Они что, разломали всю мебель? И кровать тоже?

— Кто?.. А, те, что приходили с обыском?.. Нет... Впрочем, да... Лео! — крикнула она так неожиданно, что Лео содрогнулся

и посмотрел на нее, с трудом поднимая веки. — Лео, тебе что, нечего сказать?

— А что ты хочешь от меня услышать?

— Неужели... Неужели ты не рад меня видеть?

— Конечно рад. Ты хорошо выглядишь. Только тебе не мешало бы причесаться.

— Лео, ты думал обо мне... там?

— Нет.

— Как... нет?

— Нет. А для чего? Чтобы мне веселее было?

— Лео, ты... любишь меня?

— Что за вопрос... Что за вопрос в такое-то время... Ты становишься такой же, как и все женщины, Кира... Это тебе не идет...

— Извини, дорогой. Я знаю, что веду себя глупо. Не понимаю, почему мне пришло в голову задать этот вопрос... Ты так устал. Я принесу тебе нижнее белье и приготовлю обед. Ты ведь еще не обедал?

— Я ничего не хочу. В доме есть что-нибудь выпить?

— Лео... ты же не собираешься... снова...

— Ты оставишь меня в покое? Убирайся отсюда, пожалуйста. Иди к своим родителям... Или куда-нибудь еще.

— Лео! — Кира стояла, схватившись руками за голову, и недоверчивым взглядом пристально смотрела на него. — Лео, что они с тобой сделали?

Лео сидел, запрокинув назад голову. Кира следила за дрожащим белым треугольником его шеи и подбородка; его глаза были закрыты; медленно шевеля губами, он произнес ровным и невыразительным голосом:

— Ничего, никто мне больше ничего не сделает... Никто... Ни ты, ни кто-нибудь другой... Никто, кроме тебя, не мог причинить мне боль, а сейчас и ты не можешь.

— Лео! — Кира обхватила его голову и начала трясти неистово и безжалостно. — Лео! Так нельзя!

Лео отстранил руки Киры.

— Ты когда-нибудь спустишься с небес на землю? Что ты хочешь? Хочешь, чтобы я распевал гимны во славу жизни, а в промежутках ездил на экскурсиях в ГПУ? Боишься, что они меня сломали? Хочешь, чтобы у меня в руках был спасательный круг, который удерживал бы меня на поверхности болота, чтобы я еще больше страдал, пока оно засасывает меня? Ты добра по отношению ко мне, потому что так сильно любишь меня. Не кажется ли тебе, что было бы гуманнее позволить мне утонуть в этом болоте? Тогда бы я шагал в ногу с нашим временем и ничего бы больше не чувствовал... ничего... никогда...

В дверь постучали.

— Войдите, — отозвалась Кира.

Вошел Андрей Таганов.

— Добрый вечер, Кира, — поздоровался он и, увидев Лео, остановился в нерешительности.

— Добрый вечер, Андрей, — сказала Кира.

Лео с трудом поднял голову. В его пустых глазах мелькнуло удивление.

— Добрый вечер, — обратился к нему Андрей. — Я не знал, что вас уже выпустили.

— Я на свободе. Мне казалось, у тебя были основания ожидать этого.

— Да, конечно. Но я не думал, что они будут действовать так оперативно. Извините, что помешал. Я понимаю, вам не до гостей.

— Все в порядке, Андрей, — успокоила Кира. — Проходи, садись.

— Я хочу тебе кое-что сказать, Кира... — он повернулся к Лео: — Не возражаете, если я украду Киру на несколько минут?

— Конечно, возражаю, — медленно ответил Лео. — У вас с Кирой какие-нибудь секреты?

— Лео! — голос Киры почти сорвался на крик. Затем все еще дрожащим голосом она добавила: — Выйдем, Андрей.

— Нет, — хладнокровно сказал Андрей, садясь на стул. — Это не так уж необходимо. Секрета никакого нет. — Андрей перевел взгляд на Лео. — Я просто хотел освободить вас от необходимости... чувствовать себя обязанным мне, хотя, возможно, будет лучше, если вы тоже все выслушаете. Садись, Кира. Все хорошо. Речь пойдет о его освобождении из ГПУ.

Подавшись вперед, Лео молча смотрел на Андрея пристальным взглядом. Кира стояла, ссутулив плечи. Она сцепила руки за спиной, как будто они были связаны. Она посмотрела в ясные, спокойные глаза Андрея.

— Сядь, Кира, — произнес Андрей очень мягко.

Она повиновалась.

— Для вашей же собственной безопасности, — начал Андрей, — вам обоим нужно знать это. Я не мог рассказать тебе раньше, Кира. Мне нужно было до конца убедиться в том, что все получится. Результаты — налицо. Я полагаю, вы знаете, что за вашим освобождением стоит Павел Серов? Я хотел, чтобы в случае необходимости вы знали, кто стоит за ним.

— Ты. Правильно? — спросил Лео со слабым оттенком колкости в голосе.

— Лео, пожалуйста, помолчи, — попросила Кира, избегая его взгляда.

— Все дело в записке, — спокойно продолжал Андрей, — она была написана Серовым; вы знаете, о чем там идет речь. Мне ее прислал... один человек. У Серова есть влиятельный друг. Это его и спасло. Однако он не отличается смелостью, а это уже спасло вас. Записка была уничтожена. Но я сказал Серову, что у меня есть фотокопии и что они находятся в руках моих друзей, которые перешлют их высшему начальству в Москву в случае, если вас не освободят. Дело прекращено. Я не думаю, что они снова побеспокоят вас. Мне казалось, вам следовало знать это, чтобы в случае чего напомнить Серову о фотокопиях. Если он встанет вам поперек дороги, дайте ему понять, что они находятся в надежных руках и вот-вот будут отправлены в Москву. Вот и все. Не думаю, чтобы вы когда-нибудь этим воспользовались, но все-таки это хорошая защита в наше время — тем более для человека с вашим социальным происхождением.

— А... где же действительно находятся фотокопии? — поинтересовалась Кира.

— Их просто не существует, — ответил Андрей.

Где-то внизу на улице прогрохотал грузовик, задрожали оконные стекла.

Андрей и Кира встретились глазами. Но тут же им пришлось отвести взгляды; за ними наблюдал Лео.

Он-то и нарушил тишину. Лео поднялся и подошел к Андрею. Глядя на Андрея сверху вниз, Лео обратился к нему:

— Пожалуй, мне нужно поблагодарить тебя. Хорошо, считай, что я признателен тебе. Однако я бы не сказал, что благодарен тебе от всего сердца, потому что в глубине души я хотел бы, чтобы меня оставили там, где я был.

— Почему? — поднимая на Лео взгляд, удивился Андрей.

— Как ты считаешь, был ли Лазарь признателен Иисусу за то, что тот, как говорится в Библии, воскресил его из мертвых? Мне кажется, что не более, чем я тебе.

Андрей пристально посмотрел на Лео, лицо у него было суровым, в словах звучала угроза:

— Возьмите себя в руки. Ведь вам есть ради чего жить.

Лео ничего на это не ответил, а только пожал плечами.

— Вам придется закрыть свой магазин. Постарайтесь найти другую работу. Лучше не очень заметную. Восторга это у вас не вызовет. Но придется потерпеть.

— Я не смогу.

— Сможете. Вы обязаны.

— Ты думаешь? — спросил Лео, и Кира заметила, что он смотрит прямо в глаза Андрею.

— Андрей, для чего тебе понадобилось рассказать нам о письме Серова? — поинтересовалась она.

— Просто, чтобы все знали... На случай, если со мной что-нибудь случится.

— Что с тобой может случиться, Андрей?

— Ничего... ничего страшного. — Поднимаясь, он добавил: — Разве только, что меня выгонят из партии.

— Но ведь твоя партия... значила для тебя... так много.

— Да, это так.

— Неужели теперь тебе безразлично, выгонят тебя или нет?

— Нет, для меня по-прежнему она значит очень много.

— Ты будешь... ненавидеть их за то... что они исключают тебя?

— Нет.

— Простишь их... когда-нибудь?

— Мне не за что их прощать. Видишь ли, я очень признателен за то, что было в прошлом, когда я состоял в партии. Я не хочу, чтобы они чувствовали себя виноватыми или увидели, что я их обвиняю. Я не покажу им и вида, что я все понимаю. Однако мне хотелось бы, чтобы они знали это.

— Хотя они больше не вправе о чем-либо тебя спрашивать... их, наверное, будет волновать вопрос... о жизни, которую они загубили...

— Когда они выгонят меня, я настоятельно попрошу их не беспокоиться обо мне. И мой случай... войдет в анналы... партии не как катастрофа, а как неприятное воспоминание. И тем же останется для меня.

— Мне кажется, они смогли бы удовлетворить твою просьбу... если бы они знали.

— Я был бы им благодарен... если бы мог.

Андрей повернулся и взял со стола шапку.

— Ну, мне нужно идти, — сообщил он, застегивая куртку. — Да, вот еще что: держитесь подальше от Морозова. Он, конечно, уедет из города, но не навсегда. Он вернется и возьмется за новые махинации. Будьте осторожны. Он всегда выйдет сухим из воды, а вы будете за все отдуваться.

— Мы... тебя еще увидим, Андрей? — спросила Кира.

— Конечно. Я буду очень занят... некоторое время. Но потом я зайду... Спокойной ночи.

— Всего хорошего, Андрей.

— Подожди минутку, — спохватился Лео. — Я хочу у тебя кое-что спросить.

Держа руки в карманах, он подошел к Андрею, его слова медленно слетали с уст:

— Скажи, для чего ты все это сделал? Что у тебя с Кирой?

Андрей бросил взгляд на Киру. Она стояла молча, с высоко поднятой головой и смотрела на мужчин. Кира все предоставила на усмотрение Андрея.

— Мы просто друзья, — объяснил он.

— Всего хорошего, — сказал Лео.

Дверь за Андреем закрылась, затем хлопнула дверь в комнате Лавровых; вскоре в тишине раздался скрип открывающейся и закрывающейся двери коридора. Вдруг Кира сорвалась с места. Лео не смог рассмотреть ее лица. Он только услышал звук, который был чем-то средним между стоном и плачем. Она выбежала из комнаты; дверь за ней с шумом захлопнулась и задрезжали подвески на люстре.

Кира слетела по лестнице и выскочила на улицу. Шел снег. Она почувствовала, как воздух, подобно струе пара, обжег ее оголенную шею. Ее комнатные туфли были слишком тонкими и легкими для снега. Заметив удаляющуюся высокую фигуру Андрея, она бросилась вслед за ним, окликнув его по имени.

Андрей обернулся и, задыхаясь, проговорил:

— Кира! Такой снег, а ты без пальто!

Он схватил ее за руку и потащил обратно в плохо освещенный подъезд.

— Возвращайся! Немедленно! — приказал Андрей.

— Андрей... — заикалась Кира, — я... я...

В свете отдаленного фонаря она увидела мягкую нежную улыбку на лице Андрея. Он стоял, смахивая рукой снежные хлопья с ее волос.

— Кира, ты не считаешь, что так будет лучше? — прошептал он. — Мы не будем ничего говорить — ведь и без слов... мы знаем, что понимаем друг друга и что у нас с тобой так много общего?

— Конечно, Андрей, — согласилась она.

— Не беспокойся обо мне. Ты мне обещала это. Возвращайся сейчас домой, а то простудишься.

Кира подняла руку, и ее пальцы медленно и осторожно скользнули по щеке Андрея, от шрама на виске до подбородка, как будто кончики ее дрожащих пальцев могли сказать ему то, о чем она молчала. Андрей взял ее руку и прижал к губам. Где-то на улице проехал автомобиль; через стеклянную дверь резкий свет фар, скользнув по их лицам, пробежал по стене и исчез. Андрей выпустил руку Киры. Она повернулась и не спеша начала подниматься по лестнице. Она услышала, как позади нее открылась и закрылась дверь. Кира не обернулась.

Когда она вошла в комнату, Лео звонил по телефону:

— Алло, Тоня!.. Да, я только что вышел... Потом все тебе расскажу... Конечно, приезжай прямо сейчас... Возьми с собой что-нибудь выпить. У меня в доме нет ни капли...

* * *

Андрея Таганова перевели из ГПУ на должность библиотекаря в ленинский уголок кружка домохозяек в пригороде Ленинграда — в Лесном.

Кружок размещался в бывшей церкви. Это было старое деревянное здание, продувавшееся насквозь ветрами, от которых шуршали яркие плакаты; в центре осевшую крышу подпирала перекосившаяся некрашенная балка; окно, в котором торчали остатки стекла, было заколочено досками; отапливала помещение чадившая вовсю буржуйка. Над бывшим алтарем висело знамя из красного ситца, по стенам были развешены вырезанные из журналов картинки с изображением Ленина: «Ленин в детстве», «Ленин-студент», «Ленин, выступающий с приветственной речью перед Петроградским советом народных депутатов», «Ленин в кепке», «Ленин без кепки», «Ленин в Совнарком», «Ленин в гробу». В комнате стояли полки с книгами в бумажном переплете, стенд с лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и гипсовый бюст Ленина, на подбородке которого виднелась полоска засохшего клея.

Андрей Таганов старался сохранять присутствие духа.

В пять часов вечера, когда витрины магазинов начинали отбрасывать на белый снег желтые квадратiki света и трамвайные огни раскатывались по темным улицам города, подобно цветным бусинкам, Андрей выходил из Технологического института и отправлялся в Лесное; сидя у окна в переполненном трамвае, он жевал бутерброд, поскольку времени на обед у него не было. С шести до девяти Андрей в одиночестве сидел в библиотеке ленинского уголка кружка домохозяек, все это время он заполнял картотеку, приклеивал оторванные от книг обложки, подбрасывал в буржуйку дрова, пронумеровывал книги, протирал с полок пыль, а когда, отряхивая снег с тяжелых валенок, входили вперевалку какие-нибудь женщины, говорил:

— Добрый вечер, товарищи!.. Нет, «Азбуки коммунизма» сейчас нет на месте... Оставьте заявку, товарищ... Да, это очень хорошая книга, товарищ Самсонова, очень поучительная и до конца пролетарская... Да, товарищ Данилова, она рекомендована партийным советом сознательным рабочим в качестве обязательного учебника по политобразованию... Товарищ, пожалуйста, впредь не разрисовывайте библиотечных книг... Да, я знаю, товарищ, что печка оставляет

желать лучшего, она постоянно дымит... Нет, у нас нет никаких книг по вопросу регулирования рождаемости... Да, товарищ Селиванова, целесообразно ознакомиться со всеми трудами товарища Ленина для того, чтобы понять идеологию нашего великого вождя. Пожалуйста, откройте дверь, товарищ... Извините, товарищ, туалета у нас нет... Нет, книг Муссолини мы не держим... Романов о любви у нас нет, товарищ Зяблова. Нет, товарищ Зяблова, я не смогу пойти с вами в воскресенье в клуб на танцы... «Азбука коммунизма» сейчас на руках...

В кабинетах ГПУ перешептывались:

— Дождется товарищ Таганов следующей партийной чистки.

Но товарища Таганова партийная чистка не пугала.

Одним субботним вечером Андрей стоял в районном кооперативном магазине в очереди за продовольственным пайком. Пахло керосином и гнилым луком. У прилавка, на котором коптила керосиновая лампа, стояли бочка с квашеной капустой, мешок сухих овощей, жестянка с льняным маслом и сложенные горкой куски голубого жуковского мыла. Через все большое голое помещение вытянулись в одну линию покупатели. Продавец был один, на правом глазу у него выскочил ячмень, что придавало его лицу сонное выражение.

Впереди Андрея стоял мужчина небольшого роста. На спине, чуть ниже расхлябанного воротника его пальто виднелась зеленоватая сальная заплата. Шея у него была тонкой и морщинистой; кадык напоминал куриный зоб. Он судорожно теребил пальцами свою продовольственную карточку и беспокойно ерзал на месте, пытаясь разглядеть через всю очередь прилавков. При этом он простуженно сопел и чесывал кадык.

Он обернулся и дружелюбно улыбнулся в сторону Андрея.

— Партийный? — поинтересовался он, указывая искривленным пальцем на красную звездочку на отвороте куртки Андрея. — Я тоже партиец, можете не сомневаться. Вот моя звездочка. Какой ужасный холод, товарищ. Надеюсь, что до нас сухие овощи не кончатся. Из них получается прекрасный суп «жюльен». Конечно, не мешало бы мяску, но я расскажу вам один маленький секрет: замочите их на ночь, затем пусть они покипят в простой воде, и, когда суп будет почти готов, влейте в него столовую ложку подсолнечного масла, всего одну столовую ложку, и на поверхности появятся такие же пузырьки жира, как и при мясном отваре, ни за что не отличите. Я очень люблю суп «жюльен». Надеюсь, нам достанутся сухие овощи. Продавец не очень-то расторопен. Только я не жалуюсь. Нет, нет, пожалуйста, не подумайте, я не жалуюсь, товарищ.

Он пристально поглядел в сторону прилавка, пересчитал, мусоля в пальцах карточку, оставшиеся талоны и, почесав кадык, конфиденциально прошептал, обращаясь к Андрею:

— Надеюсь, что до нас овощи не кончатся. Вы знаете, было бы неплохо, если бы все продукты продавались в одном магазине. Сегодня мы стоим здесь за овощными продуктами, завтра простоим два часа в очереди в булочной, а послезавтра мы снова придем сюда за керосином. Но все равно я не ропщу. Говорят, что на следующей неделе будут давать свиное сало. Вот будет праздник! Правда? С нетерпением будем ждать этого, не так ли?

Когда подошла очередь Андрея, продавец всучил ему паек и, раздраженно схватив его карточку, проворчал:

— Что за чертовщина, гражданин? Ваш талон наполовину оторван.

— Не знаю, — попытался оправдаться Андрей. — Должно быть, я случайно задел его.

— Вы знаете, что я мог и не принять его? Нельзя, чтобы талон был надорван. У меня нет времени проверять вас, проходимцев. Проследите за тем, чтобы в следующем месяце все было в порядке.

— В следующем... месяце? — изумился Андрей.

— Да. И в следующем году тоже. Иначе будете ходить с пустым брюхом... Следующий!

Андрей вышел из магазина, держа в руках паек, который состоял из фунта квашеной капусты, фунта льняного масла, куска мыла и двух фунтов сухих овощей для супа «жюльен». Он шел по улице, покрытой утоптаным, раскатынным снегом, который, поскрипывая, продавливали каблуки прохожих. Под фонарями снег искрился, подобно хрусталикам соли, и в островках света, отбрасываемого витринами магазинов, играли веселые огоньки. На подернувшемся мягким прозрачным инеем плакате крепкий исполин в красной робе властно и победоносно вздымал руки к лозунгу:

МЫ — СТРОИТЕЛИ НОВОГО ОБЩЕСТВА!

Андрей шел уверенным шагом. Как обычно, приняв решение, он был невозмутим и спокоен.

Войдя в комнату, он включил свет и положил на стол сверток. Сняв шапку и куртку, Андрей повесил их в углу на гвоздь. Медленным движением он смахнул со лба прядь волос. В камине тлели раскаленные угли. Андрей снял пиджак и расправил измятые рукава рубашки.

Он неторопливо осмотрелся по сторонам. Заметив лежащие на полу книги, он поднял их и аккуратно сложил на столе.

Андрей стоял неподвижно посреди комнаты, подобно манекену в витрине магазина, прижав локоть к бедру: не спеша поднося к губам дымящуюся, зажатую между прямыми длинными пальцами сигарету, он описывал рукой в воздухе неизменную траекторию; пепел падал на пол.

Андрей почувствовал, как обожгло ему пальцы — сигарета догорела до основания. Бросив окурок в камин, он подошел к столу и сел за него. Открывая один за другим ящики, Андрей просматривал их содержимое. Выбрав несколько бумаг, он собрал их вместе и положил на стол.

Затем Андрей встал и направился к камину. Он встал рядом с ним на колени и, положив в угли смятую газету, стал дуть на них до тех пор, пока не взметнулись яркие, оранжевые язычки пламени. Подбросив в огонь два полена, Андрей подождал, пока они запылают. После чего он вернулся к столу и, схватив отобранные им бумаги, швырнул их в камин.

Андрей открыл старые ящики, которые служили ему гардеробом. В них были сложены вещи, не предназначавшиеся для всеобщего обозрения. Вытащив оттуда женское атласное платье, Андрей тоже кинул его в камин. Он наблюдал, как съезживается горящая ткань, распространяя едкий запах. Взвилась тоненькие струйки дыма. В глазах Андрея застыли безнадежность и изумление.

Вслед за платьем в огонь последовали черные атласные тапочки, батистовый платочек и кружевная кофточка с белыми ленточками; один из ее рукавов выскользнул из камина и остался лежать на почерневших от сажи кирпичках кладки; нагнувшись, Андрей поднял его и отдал на растерзание пламени.

Среди вещей Андрей обнаружил маленькую игрушку — в стеклянном пузырьке, наполненном красной жидкостью, плавала черная фигурка. Посмотрев на нее, Андрей некоторое время колебался, а затем осторожно опустил ее в тлеющие кружева. Стекланный пузырек лопнул, и вытекшая из него жидкость зашипела на раскаленных углях, фигурка закатилась в золу.

После этого Андрей извлек из ящика черный пеньюар.

Он стоял у камина, перебирая пальцами тонкую черную пелену нежного, неуловимого, как дым, шелка.

Затем, опустившись на колени, Андрей накрыл пеньюаром огонь. На секунду красные угли потускнели, как будто темное мутное стекло отгородило их от внешнего мира; вдруг под действием невидимого порыва ветра по шелку пробежала рябь; уголок оборки пеньюара загнулся, и тоненький язычок голубого пламени лизнул кромку выреза.

Андрей поднялся. Он смотрел, как раскаленные докрасна нити пронизывают черную пелену ткани, которая вздымалась, закручивалась, сжималась, превращаясь в легкий дым.

Он простоял так долго, глядя на неподвижный черный предмет с мерцающими красными краями, который хоть и потерял свою прозрачность, все еще сохранял форму пеньюара.

Едва Андрей коснулся пелены, она рассыпалась, и в дымоход выпорхнули черные хлопья.

Андрей сидел, положив одну руку на стол, другая находилась у него на колене; его кисти безвольно свисали, десять пальцев, прямые линии которых нарушали только костяшки, были настолько неподвижны, что казалось, будто они застряли в воздухе. На полке тикал старый будильник. Лицо Андрея было мрачным и спокойным. Его глаза выражали смирение и удивление...

Он повернулся, вытащил из ящичка стола листок бумаги и написал:

«В моей смерти прошу никого не винить.

Андрей Таганов».

Раздался всего лишь один выстрел, и, поскольку обледеневшая темная мраморная лестница была высокой и выходила в пустой сад, никто не пришел выяснить, что случилось.

ГЛАВА XV

На первой полосе «Правды» в черной рамке было напечатано: «Центральный комитет всесоюзной коммунистической партии выражает свою глубокую скорбь в связи со смертью героического борца за дело революции, бывшего красноармейца, члена партии с 1915 года

ТОВАРИЩА АНДРЕЯ ТАГАНОВА».

Ниже была еще одна рамка:

«Ленинградский комитет
Всесоюзной коммунистической партии
с прискорбием сообщает о смерти

ТОВАРИЩА АНДРЕЯ ТАГАНОВА.

Похороны состоятся завтра на поле Жертв Революции.

Траурное шествие начнется в десять часов утра от Смольного».

В передовице «Правды» говорилось:

«Еще одно имя пополнило славный список тех, кто отдал свою жизнь за дело революции. Может быть, это имя знакомо не многим, но оно символизирует собой рядовых нашей партии, невоспетых героев наших будней. Прощаясь с товарищем Андреем Тагановым, мы отдаем последнюю дань безвестным воинам армии пролетариата. Товарищ Таганов умер. Он совершил самоубийство под действием нервного срыва, вызванного чрезмерной работой. Его здоровье было подорвано требующей больших сил и времени задачей, которую возложила на него партия. Он принес себя в жертву революции. На такие жертвы идет партия, которая действует не для личного обогащения и славы, как поступают правители капиталистических стран, а с целью возложить на себя самую тяжелую и изнуряющую работу — служение общему делу. И если в эти дни борьбы и лишения кто-нибудь из нас ослабнет духом, пусть он посмотрит в качестве

примера на великую Всесоюзную коммунистическую партию, которая руководит нами, не щадя своих сил, энергии и даже жизни. Пусть похороны партийного героя послужат для нас поводом воздать дань уважения нашим вождям. Пусть все труженики Ленинграда присоединятся к процессии и проводят в последний путь товарища Таганова».

В кабинете ГПУ начальник с улыбкой, обнажающей десны, сказал Павлу Серову:

— Что же, в конце концов он предоставил нам хорошую возможность устроить играющее нам на руку шумное действо. Ты выступишь со вступительной речью?

— А как же, — подтвердил Серов.

— Не забудь его заслуг перед Красной армией и все такое прочее. Я надеюсь, что это заткнет рты тем выжившим из ума старым дуракам образца пятого года, которые слишком много говорят о своем дореволюционном членстве в партии и о других вещах, среди которых и дело Коваленского.

— Не беспокойся, — бросил Павел Серов.

* * *

Трудящиеся Ленинграда шествовали за красным гробом.

Они двигались в шеренгах, выстроившихся одна за другой, подобно стенам или ступеням бесконечной лестницы, медленный, все возрастающий прилив тел и знамен поглотил Невский, который содрогался от памятника Александру III до Адмиралтейства, когда тысячи ступающих сапог сливались в единый ритм. Тысячи людей угрюмо шествовали, высоко поднимая багровые знамена в прощальном приветствии.

Мощным оplotом выдвигались красноармейцы: одна за другой проходили шеренги крепких, расправленных плеч, тяжелых, размеренно шагающих сапог, фуражек с красными звездочками на околышах; над ними трепетало красное полотнище, на котором золотыми буквами было написано:

ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШЕМУ ТОВАРИЦУ

Рабочие Путиловского завода медленно двигались непрерывными серыми рядами, чьи-то сильные руки держали красное знамя с надписью:

ОН ВЫШЕЛ ИЗ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ. ОН ОТДАЛ
СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА РАБОЧИХ ВСЕГО МИРА.
ПРОЛЕТАРИАТ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ
ПАВШЕМУ БОРЦУ

Затем следовали студенты Технологического института: множество молодых горячих лиц, печальных глаз, напряженных осанистых тел; на юношах были черные фуражки, на девушках — красные косынки, такие же красные, как и знамя, которое гласило:

СТУДЕНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ГОРДЯТСЯ ЖЕРТВОЙ, ПРИНЕСЕННОЙ ЗА ДЕЛО РЕВОЛЮЦИИ

Выстроившись рядами, угрюмо шествовали члены партгруппы Андрея Таганова — аскетичные, как монахи, величественные, как воины, люди в черных кожаных куртках; их гордо поднятый стяг являл собой узкое красное полотнище, на котором черными буквами, такими же резкими и прямыми, как и те, кто его нес, было начертано:

ВСЕСОЮЗНАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ГОТОВА ОТДАТЬ ЖИЗНЬ КАЖДОГО ЕЕ ЧЛЕНА
ЗА ДЕЛО МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Все заводы Ленинграда, все кружки, учреждения, союзы и небольшие ячейки слились в одной артерии великого города в единый серо-черно-красный трехкилометровый поток фуражек, косынок, сапог и знамен, которые в туманной дымке казались кровотокающими ранами. Серые стены Невского, подобно берегам огромного канала, сковывали людские волны, которые, прокатываясь по твердому, как гранит, снегу, исполняли похоронную песнь.

Стоял пронизывающий до костей холод, который, под стать густому туману, проникал в дома сквозь стены и щели в замазанных окнах. Небо было разорвано на серые лоскуты, и облака, казалось, были замазаны бледными голубоватыми чернилами, по низу которых еще нанесли слой мутной воды с мыльными хлопьями, окончательно размывшей голубой цвет. Из старых труб валил серый дым. Трудно было определить: нависли ли над городом облака, или же это были клубы дыма, и наоборот, извергался ли из труб дым, или же это были каким-то неведомым образом попавшие внутрь дымоходов облака. Выпуская из труб дым, дома, казалось, расставались с теплом. Время от времени лениво падали снежные хлопья и таяли на головах перемещающейся толпы.

Во главе процессии несли открытый гроб красного цвета. Тело покойного было покрыто знаменем из дорогого алого бархата, на фоне красной материи четко выделялся белый безжизненный профиль, черные пряди волос были разбросаны по подушечке, прикрывая на правом виске след от пули. Спокойный лик медленно проплывал мимо серых стен. Падавшие снежные хлопья не таяли на холодном бледном лбу.

Честь нести на своих плечах гроб выпала четверем самым близким соратникам Андрея Таганова. Их преклоненные головы были обнажены. Светлые волосы Павла Серова и черные кудри Виктора Дунаева еще больше подчеркивали красный цвет обивки гроба.

Процессию сопровождал военный оркестр. На больших медных трубах были повязаны ленты из черного крепа. Музыканты играли «Вы жертвою пали».

Много лет назад в укромных подвалах, спрятанных от глаз царских жандармов, на заснеженных дорогах, ведущих в сибирские лагеря, родилась эта песня в память павших в борьбе за свободу. Ее исполняли приглушенным шепотом под звон цепей в честь безвестных героев. Она путешествовала по глухим тропам, не имея ни автора, ни опубликованного варианта. Революция сделала ее популярной, ноты появились в каждом магазине, и каждый оркестр, провожающий в последний путь коммуниста, непременно играл ее. Революция создала «Интернационал» в честь живых, а мертвым оставила «Вы жертвою пали». Эта песня превратилась в официальный похоронный марш новой республики.

Шествую позади открытого гроба, жители Ленинграда мрачно напевали:

*Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любови беззаветной к народу.
Вы отдали все, что могли, за него.
За жизнь его, честь и свободу.*

Музыка, звучавшая с величественной безнадежностью, вскоре переросла в иступленный крик, не выражающий ни радости, ни горя, а затем сорвалась на безжалостную нежность, с какой, без лишних слез, отдают последние почести славному воину. В мелодии сквозила улыбка скорби.

Скрипел под сапогами снег, гремели трубы; медные тарелки отбивали шаги; серые ряды накатывались друг на друга и алые знамена реяли в величественном ритме песни, звучащей в торжественном прощании.

*Настанет пора, и проснется народ,
Великий, могучий, свободный!
Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь благородный.*

Где-то в глубине, очень далеко от головы процессии, за колоннами солдат, студентов и рабочих, в шеренге безымянных оставших

одиноко брела девушка, которая, не моргая, пристально вглядывалась вперед. Ее руки безвольно висели; плотные шерстяные варежки не защищали от холода ее уже обмороженные запястья. Лицо ее ничего не выражало; но в глазах застыло изумление.

Шествующие рядом с девушкой не обращали на нее никакого внимания. Однако в самом начале демонстрации Товарищ Соня, возглавлявшая группу работниц женотдела, пробегая мимо, спеша занять свое место в голове процессии, где она должна была нести знамя, внезапно остановилась и гаркнула:

— Ба! Товарищ Аргунова, ты здесь? А вот тебе-то как раз придти и не следовало бы.

Кира Аргунова ничего не ответила.

Какие-то женщины в красных косынках прошли мимо нее. Одна из них, указывая пальцем на Киру, что-то язвительно прошептала своим подружкам, кто-то из них хихикнул.

Кира медленно шла, глядя вперед. Окружавшие ее пели «Вы жертвою пали». Кира молчала.

На одном из знамен было написано:

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Венушчатая женщина в мужской фуражке, из-под которой торчали пряди рыжих волос, тихо сказала своей соседке:

— Машка, ты получала на этой неделе гречку в кооперативе?

— Нет. А что, давали?

— Да. Два фунта на карточку. Лучше получи, пока она не кончилась. Проплыло знамя, на котором был начертан лозунг:

ВПЕРЕД К СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ БУДУЩЕМУ ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ!

— Вот черт! — прошипела какая-то женщина сквозь почерневшие остатки зубов. — Ну и выбирают они деньки для своих парадов — холод собачий!

Вы жертвою па-а-а-ли

В борьбе роковой

Любви безза-а-ветной к наро-о-оду...

— ...два часа простояла вчера в очереди, а самый хороший лук...

— Дунька, не прозевай, когда будут давать подсолнечное масло в кооперативе...

— Если в них никто не стреляет, так они сами пускают себе пулю в лоб — просто чтобы мы здесь помаршировали...

Вы о-отдали все, что мо-о-огли, за него...

Появился еще один стяг:

**КРЕПИТЕ УЗЫ КЛАССОВОЙ СОЛИДАРНОСТИ
ПОД ЗНАМЕНОМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ!**

— Вот черт! Я оставила суп на примусе. Растечется по всей комнате.

— Товарищ, перестаньте чесаться.

За жи-и-изнь его, че-е-есть и сво-о-ободу...

— Товарищ, перестаньте щелкать семечки. Это неприлично.

— Делается это так, Прасковья: чистишь лук и добавляешь щепотку любой муки, какой сможешь достать, после чего вливаешь немного льняного масла и...

— А этим-то с какой стати стреляться?

Пронесли еще одно знамя:

**КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ИДЕТ НА ЛЮБЫЕ ЖЕРТВЫ
В БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА**

— Там у черного хода есть небольшая кладовая, а в ней немного соломы, и никто нас не услышит.

— А как же мой муж?

— Этот олух никогда не поумнеет.

— Перед тем как готовить, замочи просо на пару часов...

— Господи, уже седьмой месяц! Не могу же я выглядеть как спичка.

А еще придется торчать здесь... это мой пятый...

*Наста-а-а-нет пора, и просне-е-ется народ,
Великий, могучий, свобо-о-одный!..*

— Вот черт! Газета прямо-таки прилипла к пятке. Вы когда-нибудь пробовали класть под носки газетную бумагу, чтобы ноги не мерзли?

— От этого они так неприятно пахнут.

— Прикрывайте же рот рукой, когда зеваете, товарищ.

— Будь прокляты эти демонстрации! Кем он все-таки был, этот покойник?

Вы о-о-отдали все, что-о-о могли, за него...

Поле Жертв Революции представляло собой огромную площадь в самом центре Ленинграда на берегу Невы. Это была безбрежная, протянувшаяся километра на полтора пустошь, своего рода плешина на черепае города. С одной стороны поля просматривались железные

шки ограды Летнего сада, заснеженного пустынного парка, голые деревья которого были как бы выкованы из темного металла.

До революции это место называлось Марсовым полем и использовалось как плац для строевого обучения. Затем здесь был воздвигнут мемориал, представлявший собой небольшой квадратный участок, по периметру которого располагались плиты из розового гранита. Под ними покоились жертвы уличных боев февраля 1917 года. С тех пор число гранитных плит возросло. Высеченные на них имена принадлежали тем, чья смерть послужила поводом для подобных демонстраций, а последней наградой которых стало почетное звание «жертвы революции».

Павел Серов взшел на возвышающуюся над красным гробом гранитную глыбу. Его стройная фигура, облаченная в новую, тщательно подогнанную кожаную куртку, бриджи и высокие военные сапоги, гордо очерчивалась на фоне серого неба; развевались на ветру белокурые волосы; руки его величественно взлетали над застывшим морем голов и знамен, как бы благословляя и призывая.

— Товарищи! — нарушая торжественную тишину среди тысяч собравшихся, зазвучал громкий голос. — Мы собрались здесь, движимые общей скорбью, общим долгом отдать последнюю дань павшему герою. Мы потеряли великого человека. Мы потеряли великого борца. Осмелюсь сказать, что, возможно, я чувствую эту потерю острее, чем многие из тех, кто не знали его живым, но собрались здесь для того, чтобы почтить память покойного. Я же был одним из его самых близких друзей — и сегодня я хочу разделить с вами эту честь.

Андрей Таганов не был известным человеком, но он гордо и достойно нес звание коммуниста. Он вышел родом из трудящихся масс, и детство его прошло за верстаком. Мы с ним выросли и многие годы работали бок о бок на Путиловском заводе. Мы вместе вступили в партию еще задолго до революции, в те мрачные дни, когда за партбилет приговаривали к смертной казни или ссылали в Сибирь. Плечом к плечу мы с товарищем Тагановым сражались на улицах этого города в те славные дни октября 1917 года. Рука об руку мы воевали в рядах Красной армии. В последовавшие за нашей победой годы мира и реконструкции, в это тяжелое и, возможно, более героическое, чем военный период, время он добровольно вносил свой вклад в работу, которую самоотверженно проводит наша партия во имя трудящихся СССР. Он пал жертвою в беззаветном служении вам. Но, скорбя о его кончине, мы должны также испытывать чувство радости за его подвиг. Он умер, однако его дело, наше дело, живет. Человек может пасть, но коллектив живет вечно. Под руководством Советов и Всесоюзной коммунистической партии мы шагаем

в светлое завтра, когда миром будет править честный труд свободных тружеников! Труд перестанет быть рабством, как в капиталистических странах, и превратится в свободную и счастливую обязанность перед тем, что стоит превыше наших мелочных забот и печалей, превыше самой нашей жизни, — перед вечным коллективом пролетарского общества! Наш славный подвиг запомнится навсегда. Но мы неуклонно движемся вперед. Андрей Таганов ушел из жизни, но мы остаемся. Жизнь и победа в наших руках. Нам принадлежит будущее!

Разразившиеся аплодисменты отзвуком грома докатились до Летнего сада и расположенных вдалеке домов; взвились красные стяги. Когда грохот хлопающих ладош стих и взоры устремились на гранитную глыбу, товарища Серова уже не было — на фоне серого неба теперь появилась гордая, непоколебимая фигура Виктора Дунаева, ветер трепал его черные кудри, глаза сверкали, из широко открытого рта, демонстрирующего блестящие белые зубы, вылетали ясные, звонкие ноты молодого сильного голоса:

— Трудящиеся! Тысячи людей собрались здесь, чтобы почтить память одного человека. Но перед лицом могущественного пролетарского коллектива один человек, независимо от совершенного им подвига, ничего не значит. Мы бы не стояли сейчас здесь, если бы этот человек был всего лишь отдельным индивидуумом и не являлся символом чего-то большего. Это не похороны, товарищи, а празднование дня рождения! Мы не поминаем покойного, а отмечаем рождение нового человечества. Андрей Таганов был одним из первых, но далеко не последним представителем этого человечества. Советы, товарищи, создают новую человеческую расу, которая вселяет ужас старому миру, уничтожая все его пережитки. Каковы же принципы нового человечества? Первый и основной заключается в том, что мы изъяли из нашего языка самое опасное, самое коварное и самое порочное слово — слово «Я». Мы переросли его. «Мы» — вот девиз будущего. «Коллективное» занимает сегодня в наших сердцах место старого чудовищного «личного». Мы не почитаем личный бумажник, личную власть и самолюбие. Мы не стремимся к обогащению и получению наград. Единственной честью для нас является честь служения коллективу. Наша единственная цель — честный труд, прибыль от которого идет не одному из нас, а всем. Какие примеры мы должны сегодня усвоить сами и преподать нашим заграничным недругам? Пример партийца, отдающего жизнь за коллектив. Пример партии, приносящей себя в жертву тем, кем она руководит. Посмотрите на окружающий нас мир, товарищи! Взгляните, на то, как, ведя кровавую борьбу за власть, жирные слюнявые министры в капиталистических странах наносят друг другу предательские удары! Затем

обратите внимание на тех, кто руководит вами, кто отдает всю свою жизнь бескорыстному служению коллективу, кто несет на себе огромную ответственность диктатуры пролетариата! И вы поймете, поймете, что Всесоюзная коммунистическая партия является на сегодняшний день единственным в мире честным неустрашимым политическим институтом!

Аплодисменты грохнули с такой силой, как будто старые пушки Петропавловской крепости на другом берегу реки выстрелили все разом. То же самое повторилось, когда черные кудри Виктора исчезли в толпе и ветер разметал во все стороны гриву прямых волос Товарища Сони, которая, выступая с речью о долге новой пролетарской женщины, орала так громко, насколько ей это позволяла ее широкая грудная клетка. Затем над толпой возник какой-то оратор в очках, с чахоточным, плохо выбритым лицом. Он широко раскрывал бледный рот, но слова его пропадали в кашле. После него вышел еще один выступающий, который принялся звучно реветь в густую черную бороду. Заикаясь, пробурчал что-то невнятное веснушчатый комсомолец; подбирая нужные слова, он то и дело чесал затылок. Сменившая его какая-то старая дева угрожающе потрясала в воздухе пальцем, как будто давала наставления классу непослушных школьников, ее маленький рот при этом был открыт, как у пациента в зубокабинетном кабинете. За ней появился высокий матрос; стоя руки в боки, он отпускал шуточки; время от времени в голове толпы раздавался дружный смех, который тут же подхватывали не слышащие ни единого слова задние ряды.

Тысячи собравшихся беспокойно переминались с ноги на ногу, отчаянно пытаясь согреться, пряча руки под мышками, в рукавах, под отороченными мехом лацканами, дыша через подернувшиеся влажными сосульками сырые шарфы. Они попеременно держали знамена; тот, кому выпадала очередь, крепко прижимал древко локтем к груди, отогревая своим дыханием замерзшие пальцы. Некоторым удалось незаметно от других улизнуть.

Кира Аргунова стояла молча, не шелохнувшись. Она вслушивалась в каждое слово, надеясь найти в них ответ на застывший в ее глазах немой вопрос.

Синь неба над безбрежным полем принимала темно-серый, грязный оттенок, где-то в далеком окне, приветствуя ранние зимние сумерки, мерцала желтая искорка света. Уже смолк голос последнего выступающего, застыв на морозе, заключающем в свои невидимые оковы все живое. Гроб заколотили и, опустив в яму, закидали землей, после чего водрузили над могилой глыбу красного гранита. Внезапно серое море всколыхнулось, ряды нарушились и по прилегающим

улицам разлились людские потоки, как будто сдерживающая их ранее плотина рухнула. В глубине морозных сумерек удаляющийся военный оркестр заиграл «Интернационал», эту песню живых, звучащую подобно размеренному маршу тяжелых, уверенных солдатских сапог.

Кира Аргунова медленным шагом направилась к свежей могиле.

Поле опустело. Небо над городом образовывало замкнутый темно-синий свод, через трещину в котором проникал холодный тусклый свет одинокой звезды. Плоские ломаные тени домов слились в узкую тонкую ширму, которая в некоторых местах пропускала дрожащие отблески отгораживаемого ею коричнево-красного зарева заката. Пейзаж не был городским. Белая пустыня, над которой кружили вихри мелкой снежной сечки, была погружена в пустое, спокойное молчание сельской местности.

У могильного камня одиноко вырисовывалась маленькая женская фигурка.

Снежные хлопья лениво падали на ее склоненную голову. Решницы ее блестили, но не от слез, а от тающих снежинок. На красном граните было высечено:

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ЖЕРТВАМ РЕВОЛЮЦИИ

АНДРЕЙ ТАГАНОВ

1896–1925

Кира размышляла над тем, кто же все-таки убил его — она сама, революция или и то и другое?

ГЛАВА XVI

Лео в одиночестве сидел у камина и курил. Сигарета, которую он некрепко держал в пальцах, в конечном счете выскользнула и осталась незамеченной лежать на полу. Лео взял еще одну и, не зажигая, долго рассеянно мусолил ее в руках. Затем он огляделся вокруг в поисках спичечного коробка; и хотя тот лежал на ручке кресла, Лео с трудом отыскал его. Подняв коробок, он изумленно уставился на предмет поисков, сиюсья вспомнить, что он хотел сделать.

В последние две недели Лео говорил мало. Изредка он целовал Киру с натянутой нежностью, однако она, чувствуя те усилия, которые он прилагает, старалась избежать прикосновений его губ и рук.

Лео часто уходил из дому, и Кира никогда его ни о чем не спрашивала. Он пил слишком часто и слишком много, но она не делала никаких замечаний. Оставаясь дома вдвоем, они хранили молчание, которое лучше слов говорило ей о том, что все кончено. Лео тратил последние деньги, и Кира не задавала ему вопросов о будущем. Она вообще ни о чем его не спрашивала, потому что боялась заранее известного ей ответа: она проиграла.

Когда Кира пришла с похорон домой, Лео даже не встал, он продолжал неподвижно сидеть у камина, глядя на Киру отсутствующим взглядом.

Кира молча скинула пальто и повесила его в гардероб. Снимая шляпу, она услышала резкий, жестокий смех Лео, который заставил ее обернуться. Она глянула на него широко раскрытыми глазами:

— В чем дело, Лео?

— А ты не знаешь? — вспыхнул он.

Кира отрицательно покачала головой.

— Я все знаю, — бросил он.

— Что именно, Лео?

— Думаю, неуместно говорить об этом прямо сейчас, после похорон твоего любовника. Как ты считаешь?

— Моего...

Лео поднялся и подошел к Кире. Он стоял, держа руки в карманах, окидывая ее тем надменным взглядом, который она боготворила; скривив губы в пренебрежительной усмешке, он четко проговорил три слова:

— Ты — маленькая сучка.

Кира застыла на месте; ее лицо побледнело.

— Лео...

— Заткнись. Я не хочу от тебя ничего слышать. Ты мерзкая маленькая... Я бы не возражал, если бы ты была такая же, как мы все! Но ты, со своей святостью и высокопарностью, наставляя меня на путь истинный, легла под первого партийного засранца, который соблаговолил на тебя влезть.

— Лео, кто...

— Заткнись... А впрочем, я дам тебе возможность ответить всего лишь одним словом на мой вопрос. Ты была любовницей Таганова? Была? Да или нет?

— Да.

— Все время, пока я отсутствовал?

— Да.

— И после моего возвращения?

— Да. Что тебе еще сказали, Лео?

— А что ты еще хотела, чтобы мне сказали?

Лео посмотрел на Киру неожиданно холодным и ясным взглядом.

— Кто рассказал тебе обо всем, Лео?

— Один твой приятель. Вернее, его приятель. Наш дорогой товарищ Павел Серов. Он заходил, возвращаясь с похорон. Он просто хотел поздравить меня со смертью моего соперника.

— Для тебя это было... было большим ударом, Лео!

— Это была самая хорошая новость после революции. Мы пожали друг другу руки и выпили вместе с товарищем Серовым. За тебя и за твоего любовника. А также за всех других твоих любовников. Видишь ли, это значит, что теперь я свободен.

— Свободен... От чего, Лео?

— От маленькой дуры, которая поддерживала во мне остатки самоуважения. Маленькой дуры, которой я не осмеливался смотреть прямо в лицо, которой боялся причинить боль! Знаешь, забавно получается. Я имею в виду тебя и твоего героя-коммуниста. Я думал, он принес себя в жертву, чтобы я был с тобой. А ты просто-напросто надоела ему, и он, возможно, ради какой-нибудь другой шлюхи решил избавиться от тебя. В роду человеческом не осталось ничего благородного.

— Лео, не будем обсуждать его, хорошо?

— Ты по-прежнему его любишь?

— Какая тебе — сейчас — разница?

— Абсолютно никакой. Я даже не буду тебя спрашивать, любила ли ты когда-нибудь меня или нет. Это мне тоже безразлично. Было бы даже лучше, если нет. Легче будет в будущем.

— Ты говоришь о будущем, Лео?

— Каким же ты хотела его видеть?

— Я...

— Догадываюсь. Получив уважаемую должность в советском учреждении и зачехнув над примусом и продовольственными карточками, сохранить непорочность духа, души и чести — всего того, что никогда не существовало и не должно существовать, а если и существовало бы, то заслуживало бы самых чудовищных проклятий. С меня довольно. Все не так уж безысходно. Я буду пить шампанское, есть белый хлеб, носить шелковые рубашки и разъезжать в лимузинах, и мне не придется ни о чем беспокоиться. Да здравствует диктатура пролетариата!

— Лео... что ты собираешься делать?

— Я уйду.

— Куда?

— Сядь.

Лео сел за стол. Взгляд Кире задержался на покоящейся в свете лампы его удивительно белой руке, голубые вены которой казались безжизненными. Кира села рядом, лицо ее ничего не выражало, глаза были полуприкрыты. Лео заметил сухие иголки ее ресниц.

— Гражданин Морозов, — начал он, — уехал из города.

— Ну и что?

— Он не хотел, чтобы копались в его связях, и поэтому расстался с Тоней, оставив ей приличную сумму денег. Она собирается на Кавказ немного отдохнуть и зовет меня с собой. Я принял ее предложение. Лев Коваленский — великий альфонс СССР!

— Лео!

Кира стояла перед ним, и в глазах ее он увидел такой неподдельный и ничем не прикрытый ужас, что предполагаемый смех застрял у него в гортани.

— Лео... только не это!

— Она старая сука. Я знаю. Но все же мне так нравится больше. У нее есть деньги, и она меня хочет. Обычная сделка.

— Лео... ты... ты...

— Называй меня как хочешь. Мои собственные определения все равно будут точнее.

Лео, увидев, что Кира, неестественно отведя руки, попыталась нащупать ими позади себя опору, вскочив, заинтересовался:

— Надеюсь, ты не будешь падать сейчас в обморок?

— Конечно, нет, — съезжившись, успокоила его Кира. — Садись, все в порядке...

Устроившись на краю стола, крепко вцепившись в него руками, она посмотрела на Лео, но тут же отвернулась, не выдержав мертвецкой холодности его глаз.

— Лео, — прошептала она, — если бы тебя убили в застенках ГПУ или ты продал бы себя какой-нибудь прекрасной молодой иностранке и...

— Я пока не могу продаться прекрасной молодой женщине. Через год, может быть, у меня это и получится.

Лео встал и улыбнулся мягкой, безразличной улыбкой.

— Знаешь, не тебе давать мне нравственные наставления. Ну а коли мы оба — одного поля ягоды, не могла бы ты мне сказать, почему, встречаясь с ним, ты не бросила меня? Тебе просто нравилось спать со мной, как всем прочим женщинам? Или ты находила удачным сочетание моих денег и его положения?

Гордо и уверенно поднявшись, Кира спросила:

— Лео, когда ты объявил ей о своем согласии сопровождать ее?

— Три дня назад.

— До того, как ты узнал о нас с Андреем?

— Да.

— Когда ты еще думал, что я тебя люблю?

— Да.

— И тебе было все равно?

— Да.

— Если бы Серов не пришел сегодня, ты бы все равно поехал с ней?

— Да. Только тогда передо мной стояла бы проблема, как сообщить тебе обо всем. Он освободил меня от этого. Вот поэтому-то я и был рад услышанному. Теперь мы можем проститься друг с другом без всяких ненужных сцен.

— Лео, пожалуйста, выслушай меня внимательно. Это очень важно... Сделай мне одолжение и ответь честно на один вопрос: если бы ты вдруг узнал — не имеет значения как, — но, если бы ты узнал, что я люблю и любила тебя и все эти годы была предана тебе, — ты бы все равно уехал с ней?

— Да.

— А... если бы тебе пришлось остаться со мной? Если бы ты узнал что-то такое, что заставило бы тебя остаться... и продолжать бороться — ты бы попробовал еще раз?

— Если бы я был вынужден — ну, кто знает? Я бы мог повторить поступок другого твоего любовника. Это тоже выход из положения.

— Понятно.

— Почему ты спрашиваешь об этом? Что может обязать меня?

Подняв голову и смахнув с бледного лба волосы, она посмотрела ему прямо в глаза и спокойным голосом, шевеля одними губами, ответила:

— Ничего, Лео.

Он снова сел и пожал плечами.

— Так-то вот. Я все еще считаю тебя чудесной женщиной. Я боялся истерики и шума. Но все закончилось как нельзя лучше... Через три дня я уезжаю. Пока я могу выехать из квартиры, если ты хочешь.

— Нет, лучше я сама уйду. Сегодня вечером.

— Почему сегодня вечером?

— Так лучше. Некоторое время я могу пожить с Лидией в одной комнате.

— Денег у меня не много, но все, что осталось, я хочу... те..

— Не нужно.

— Но...

— Пожалуйста, не нужно. Я возьму свою одежду. Больше мне ничего не нужно.

Она укладывала чемодан, повернувшись спиной к Лео, который вдруг спросил:

— Ничего не хочешь сказать?

Обернувшись, Кира спокойно посмотрела на Лео и ответила:

— Разве только то, что я противопоставила себя ста пятидесяти миллионам людей и потерпела поражение.

Кира уже собиралась уходить, когда Лео вдруг поднялся и непроизвольно задал ей вопрос:

— Кира... ты же любила меня, ведь правда?

— Когда любимый человек умирает, мы же не перестаем любить его, верно?

— Ты имеешь в виду Таганова или... меня?!

— Разве это имеет какое-то значение, Лео?

— Нет. Тебе помочь снести чемодан?

— Нет, спасибо, он не тяжелый. Прощай, Лео.

Лео взял Киру за руку и стал глядываться в ее лицо, но она только махнула головой.

— Прощай, Кира, — сказал он.

Кира вышла на улицу, слегка наклоняясь в левую сторону, ее правую руку оттягивал чемодан. Над улицей навис густой, как молоко, морозный туман, в котором растворялся желтый свет фонаря. Расправив плечи, она медленно побрела по скрипящему под ногами снегу; высоко подняв голову, она гордо смотрела вперед.

Она спокойно объяснилась с молчаливой, изумленной родней. Выслушав Киру, Галина Петровна вздохнула:

— Но что же случилось с...

— Ничего. Мы просто устали друг от друга.

— Бедный ребенок! Я...

— Не волнуйся обо мне, мама. Лидия, прости меня за причиняемые неудобства. Я останусь здесь ненадолго. Всего на несколько недель. Я вряд ли смогу найти квартиру.

— Конечно, конечно. Я буду только рада принять тебя, Кира, после всего того, что ты для нас сделала. Но почему на несколько недель? Что ты собираешься делать потом?

— Уеду. *За границу*, — с маниакальной страстью в голосе объяснила Кира.

* * *

Утром следующего дня гражданка Кира Аргунова заполнила бланк прошения о предоставлении ей заграничного паспорта. Ответа нужно было ждать несколько недель.

— Это безумие, Кира, — причитала Галина Петровна, — чистое безумие. Во-первых, они тебе его просто не дадут. У тебя нет никаких веских причин для поездки за границу, плюс социальное прошлое твоего отца и все остальное... Даже если ты и получишь паспорт — что тогда? Ни одно зарубежное государство не примет русского, и, по существу, они будут правы. Ну а если они тебя примут, что ты будешь делать тогда? Ты задумывалась над этим?

— Нет, — покачала головой Кира.

— У тебя нет ни денег, ни профессии. Как ты собираешься жить?

— Не знаю.

— Что будет с тобой?

— Мне все равно.

— Но зачем ты это делаешь?

— Я хочу выбраться отсюда.

— Но ты будешь чувствовать себя одинокой и потерянной в огромном мире без единого...

— Я хочу выбраться отсюда.

— ...без единого друга, без цели, будущего...

— Я хочу выбраться отсюда.

Вечером, накануне своего отъезда, Лео пришел попрощаться, и Лидия оставила их одних в комнате.

— Я бы не смог уехать после такого нашего расставания, — начал Лео. — Я пришел сказать тебе «до свидания» и... но если ты...

— Я рада, что ты пришел.

— Я хотел принести свои извинения за многое из того, что наговорил тебе. Я не вправе обвинять тебя. Прости.

— Все хорошо, Лео. Не за что просить прощения.

— Я хотел сказать тебе, что... что... впрочем, нет... Только то... что нас с тобой связывают... многочисленные воспоминания.

— Да, конечно, Лео.

— Тебе будет лучше без меня?

— Не беспокойся обо мне, Лео...

— Я еще вернусь в Ленинград. Мы встретимся снова. Мы встретимся через несколько лет, а ты же знаешь, что время многое меняет.

— Да, Лео.

— Мы больше не будем принимать все так всерьез. Прошлое покажется нам таким странным, правда? Мы еще встретимся, Кира.

— Если ты будешь жив — и не забудешь обо мне.

Этими словами Кира как бы пнула лежащее на дороге умирающее животное, которое забилося в последних конвульсиях.

— Кира... — прошептал он, — не надо.

Но понимая, что это всего-навсего предсмертные судороги, Кира сказала:

— Не буду.

Поцеловав Киру в мягкие, нежные, податливые губы, Лео ушел.

* * *

Ответа нужно было ждать несколько недель.

По вечерам, приходя домой с работы, Александр Дмитриевич стирал в коридоре снег со своих новых дорожных галош и тщательно протирал их тряпочкой.

После ужина, если ему не надо было идти на собрание, он устраивался в углу с некрашеным планшетом в руках и принимался терпеливо наклеивать на нем спичечные этикетки. Он собирал их и ревностно хранил в запирающемся ящике. Ночью он бережно раскладывал их по всему столу, неспешно перемещая с места на место, составляя узоры, подбирая цветовые комбинации. Завершив работу над панно, он оценивающе поглядывал на него, бормоча при этом:

— Вот это красота. Красота, да и только. Бьюсь об заклад, что ни у кого больше в Ленинграде нет подобного. Как ты думаешь, Кира, какие этикетки лучше приклеивать в этот угол: две желтые и одну зеленую или просто три желтые?

— Зеленая будет хорошо смотреться, папа, — спокойно замечала Кира.

С грохотом вваливаясь в квартиру поздно вечером, Галина Петровна швыряла тяжелый портфель на стул в коридоре и, сорвав трубку с недавно установленного телефона, начинала что-то быстро тараторить, стягивая перчатки и расстегивая пальто:

— Товарищ Федоров... это говорит товарищ Аргунова. У меня есть идея относительно того номера «Живая газета» в следующем представлении театрального кружка... Значит, там будет сценка, где мы показываем лорда Чемберлена, угнетающего английский пролетариат, в ходе которой один из учеников, эдакий здоровяк в красной косоворотке, ложится на пол, и мы ставим на него стол — не беспокойтесь, только передние ножки, — затем толстый мальчик в цилиндре, исполняющий роль Чемберлена, садится за него и начинает есть бифштекс. Так вот, бифштекс может быть не настоящим, а сделанным из папье-маше...

Затем Галина Петровна наспех ужинала, не выпуская из рук «Вечерку». Не доев до конца, она подскакивала, глядя на часы, припудривала нос и, схватив портфель, убежала на заседание педсовета. Редкими вечерами оставаясь дома, она раскладывала на обеденном столе книги и газетные вырезки и готовилась к семинару в кружке политпросвета. Подняв голову и рассеянно прищурясь, она спрашивала:

— Кира, не знаешь, в каком году была Парижская коммуна?

— В 1871-м, мама, — спокойно поясняла Кира.

Лидия работала по ночам. Днем она разучивала на стареньком фортепиано, которое вот уже больше года не настраивалось, «Интернационал», «Вы жертвою пали» и «Песню красных кавалеристов». Когда ее просили сыграть что-нибудь из любимой ею классики, она наотрез отказывалась, глупо и упрямо сжимая тонкие губы. Но иногда она усаживалась за инструмент и принималась часами неистово и яростно играть Шопена, Баха и Чайковского, не делая пауз между фрагментами, и только когда ее пальцы онемевали, она разражалась громкими рыданиями, временами однообразно и бессмысленно всхлипывая, подобно младенцу. Галина Петровна не обращала на это никакого внимания, приговаривая:

— У Лидии очередной припадок.

Когда Лидия приходила домой с работы, Кира обычно лежала на полу на матрасе. Лидия тратила уйму времени на то, чтобы раздеться, и еще больше на бесконечные молитвы, которые нашептывала, стоя перед иконами в своем углу. Иногда она подходила к Кире и садилась рядом с ней на матрас: свет уличного фонаря, проникающий через окно, высвечивал ее уставшее лицо с опухшими глазами и сухими морщинками в уголках рта; ее оробевшее тело, дрожащее

под белой ночной сорочкой; ее волосы, собранные сзади в толстую косу; ее сухие, узловатые руки, которые больше уже не казались молодыми.

— Мне снова было видение, Кира, — как бы украдкой шептала она. — Глас Всевышнего. Истинно пророческое видение. Мне было открыто, что спасение не за горами. Придет конец света и царствования антихриста. Приближается Судный день.

Ее шепот звучал взволнованно, хотя, кроме взрыва смеха, Лидия ничего не ждала от своей сестры. Она даже не смотрела на Киру и не была уверена в том, что та ее слышит. Просто ей нужно было выговориться, зная, что кто-то из людей слушает ее.

— Есть один человек, Кира, странник Божий. Я встречалась с ним. Только, пожалуйста, не говори об этом никому, а то меня выгонят из кружка. Он избранник Господа и знает все. Он сказал, что такой исход был предсказан в Священном Писании. Мы несем наказания за свои грехи, подобно тому как настигла кара Божья Содом и Гоморру. Но все тяготы и лишения являются лишь испытанием души праведников. Только через страдание и терпение мы удостоимся Царства Небесного.

— Я никому ничего не скажу, Лидия, — успокаивала Кира, — а сейчас тебе лучше идти в постель, потому что ты очень устала и здесь так холодно.

Днем Кира проводила экскурсии в Музее революции. По вечерам она сидела в столовой и читала старые книги. Говорила Кира редко. Когда кто-нибудь обращался к ней, она отвечала ровным, спокойным голосом, который, казалось, застыл на одной ноте. Галине Петровне хотелось хоть раз увидеть свою дочь рассерженной, но этого никогда не случалось. Однажды вечером Лидия уронила вазу, которая с ужасным грохотом разбилась в тишине столовой, отчего Галина Петровна подскочила, испуганно вскрикнув, а Александр Дмитриевич, передернувшись, прищурился — Кира же с невозмутимым спокойствием подняла голову, как будто ничего не произошло.

Огонек в ее глазах появлялся только тогда, когда по пути домой из экскурсионного центра она останавливалась у витрины магазина «Иностранная литература» на Литейном и погружалась в раздумья, рассматривая яркие обложки с веселыми прыгающими непонятными буквами, на которых были изображены кордебалет девиц, вскинувших длинные сверкающие ноги, колонны и прожектора, большие черные автомобили. В движениях ее пальцев появлялась жизнь лишь по вечерам, когда она с методичностью бухгалтера, орудуя огрызком тусклого карандаша, вычеркивала из висевшего на стене над ее матрасом календаря еще один день.

* * *

В заграничном паспорте было отказано.

Кира восприняла это известие со спокойным безразличием, которое сильно встревожило Галину Петровну. По ней бы лучше дочь дала выход всем своим эмоциям.

— Послушай, Кира, — начала Галина Петровна, с силой захлопнув дверь комнаты и оставшись наедине с дочерью, — давай рассудим здраво. Если у тебя в голове все еще остались бредовые идеи насчет... насчет... В общем, я запрещаю тебе и думать об этом. В конце концов, ты моя дочь. И я человек не посторонний в этом вопросе. Надеюсь, ты понимаешь, что будет, если ты хоть раз попытаешься... или даже помыслишь о незаконном пересечении границы.

— Я никогда ни о чем подобном не говорила, — заметила Кира.

— Согласна. Но я знаю тебя и догадываюсь, о чем ты думаешь. Я представляю, как далеко может зайти твое безрассудство... Послушай, ставлю сто против одного, что у тебя ничего не выйдет. Будет еще хорошо, если тебя просто пристрелят при переходе границы. Но хуже, если тебя поймают и вернут назад. Даже если тебе выпадет удача и ты проскользнешь, тебя все равно загубит снежная буря где-нибудь в приграничных лесах.

— Мама, к чему все эти разговоры?

— Послушай, я удержу тебя здесь, даже если мне придется заковать тебя в цепи. В конечном счете твое сумасшествие заходит слишком далеко. Чего тебе надо? Чем тебя не устраивает наша страна? Да, мы живем не в роскоши, но там тебе придется тоже несладко. Самое большее, на что ты сможешь там надеяться, так это устроиться горничной. Эта страна для молодых. Я знаю твое безудержное упрямство, но ты его в себе переборешь. Посмотри на меня. Я в своем возрасте и то приспособилась, и не могу сказать, что я несчастна. Ты еще слишком молода и не можешь принимать решения, которые заведомо губят твою, по сути еще не начавшуюся жизнь. С возрастом твои убеждения изменятся. Наша молодая страна — страна возможностей.

— Мама, я не хочу ввязываться в бесполезный спор. Поэтому давай закончим этот разговор.

* * *

Кира возвращалась со своих прогулок позднее обычного. Она побывала на тех темных улицах, где украдкой шныряют по плохо освещенным лестницам, то появляясь, то исчезая в мрачных дверных проемах,

подозрительные людишки, которые что-то нашептывали ей на ухо и в чьи руки она щедро отдавала банкноты. Кира узнала, что незаконная переправа на пароходе является самой опасной и требует гораздо больше средств, чем она могла собрать. Лучшим вариантом для нее была бы попытка пешком в одиночку пересечь латвийскую границу. Но для этого ей потребовалось бы белое одеяние. Одеваясь в белое, перебежчики под покровом темноты ползли по глубокому снегу к намеченной цели. На вырученные от продажи часов деньги она приобрела клочок оберточной бумаги, на котором был нанесен план участка, где был возможен переход, с указанием соответствующего населенного пункта и железнодорожной станции. Продав подаренное ей Лео меховое пальто, она заплатила за фальшивый пропуск в погранзону.

Зажигалка, шелковые чулки, французские духи, новые туфли и платья — все пошло на продажу. Насчет покупки платьев пришла поинтересоваться Вава Миловская. Она ввалилась, тяжело шаркая своими изношенными валенками. На ее платье во всю грудь расплылось сальное пятно, а ее спутанные волосы, казалось, никогда не знали расчески. Лицо Вавы с синими мешками под глазами покрывал толстый слой крупной пудры, свалившейся в складки на носу. Когда Вава медленно и неуклюже примеряла платья, Лидия заметила, что ранее стройная талия несколько округлилась.

— Вава, дорогуша! Что, уже? — открыла от удивления рот Лидия.

— Да, — безразлично ответила Вава.

— Дорогая, поздравляю! — восторженно хлопнула в ладоши Лидия.

— Да, — повторила Вава, — у меня будет ребенок. Мне нужно соблюдать режим питания и гулять каждый день на свежем воздухе. Когда он родится, мы зачислим его в пионеры.

— Не вздумай, Вава.

— А почему нет? Почему нет? Ведь он должен иметь в жизни какую-то перспективу? Ему нужно будет учиться в школе, а может быть, даже в университете. Ты что, хочешь, чтобы он был у меня изгоем?.. А впрочем, какая разница. Кто его знает, кто прав, кто виноват. Я ничего уже не понимаю. Мне все равно.

— Но, Вава, это же твой ребенок.

— Лидия, что толку!.. После его рождения мне придется устроиться на работу. Коля уже работает. Это будет ребенок советских служащих. Может быть, позднее его примут в комсомол. Кира, вот то черное бархатное платье очень хорошенькое. Выглядит почти как импортное. Оно мне несколько тесновато сейчас, но потом... может быть, ко мне вернется былая фигура. Конечно, Коля немного

зарабатывает, а у папы мне просить не хочется... Но на день рождения папа подарил мне пятьдесят рублей, и я думаю, что мне не найти нигде ничего подобного.

Вава купила это платье и еще два других.

— Мне они не нужны, — объяснила Кира Галине Петровне. — Я никуда не выхожу. Тем более, мне не нравится, что они постоянно попадают на глаза.

— Воспоминания? — поинтересовалась Галина Петровна.

— Да, именно, — согласилась Кира.

Однако, хотя было продано все что можно, у Киры на руках было не очень много денег. На счету был каждый рубль. Она не могла позволить себе купить белое пальто, но у нее оставалась шкура белого медведя, давным-давно купленная у Василия Ивановича. Кира тайком снесла ее к скорняку и заказала себе шубу. Однако получился всего лишь коротенький полушубок, который едва доходил до колен. Кире необходимо было белое платье, купить которое она не могла. Но она помнила про белое, кружевное свадебное платье Галины Петровны. Будучи одна дома, Кира отнесла на кухню старые валенки и покрыла их слоем извести. Она предусмотрительно купила пару белых варежек и белый шерстяной шарф.

Билет она взяла до станции, расположенной вдали от латвийской границы и от места ее непосредственной цели. Когда все было готово, Кира зашила под подкладку белого полушубка свернутые в трубочку банкноты. Они должны были ей пригодиться на случай, если она окажется по ту сторону границы.

Серым зимним днем, когда дома никого не было, Кира отправилась в путь. Она ни с кем не попрощалась и не оставила никакой записки. Неторопливо спустившись по лестнице и выйдя на улицу, она направилась в сторону углового магазина. На Кире было старое пальто со свалявшимся воротником. В руках она держала маленький чемодан, в котором лежали белый полушубок, свадебное платье, пара валенок, варежки и шарф.

Кира шла на вокзал. Над крышами домов повис коричневый туман. Склонив голову и пряча кисти рук под мышками, прохожие пробирались навстречу ветру. Мороз сковал ледяной глазурью развешанные плакаты. Купола церквей были покрыты тусклым, серебристо-серым налетом. Под ногами стлалась поземка; стоящие в витринах магазина керосиновые лампы отогревали небольшие участки замерзшего стекла.

— Кира, — раздался тихий голос на углу улицы.

Под фонарным столбом, сгорбившись, стоял Василий Иванович; воротник его пальто был высоко поднят, вокруг шеи был намотан

старый шарф; на накинутых на плечи кожаных ремнях висел лоток с тубиками с сахарином.

— Добрый вечер, дядя Василий.

— Куда это ты с чемоданом идешь, Кира?

— Как у вас дела, дядя Василий?

— Все хорошо, детка. Мое занятие может показаться немного странным, но на самом деле не так уж оно и плохо. Я не жалею. Почему бы тебе не зайти навестить нас, Кира?

— Я...

— Конечно, наша комната небольшая, и кроме нас в ней живет еще одна семья. Но мы уживаемся. Ася будет рада видеть тебя. Гости у нас не часто бывают. Ася — милое дитя!

— Конечно, дядя Василий.

— Так забавно наблюдать за тем, как она растет день за днем. Она стала лучше учиться в школе. Я помогаю ей делать домашние задания. Ну и что, что я стою здесь целый день! Я прихожу домой, а там она. Не все еще потеряно. Мне нужно позаботиться о будущем Аси. Она способный ребенок, далеко пойдет.

— Конечно, дядя Василий.

— В свободное время я почитываю газеты. В мире столько всего происходит. Тот, в ком есть еще вера и терпение, должен ждать.

— Дядя Василий, я расскажу им... там... куда я еду... Я расскажу им обо всем. Это как сигнал бедствия... И может быть... кто-нибудь... когда-нибудь... поймет...

— Детка, куда ж ты уезжаешь?

— Продайте мне одну трубочку, дядя Василий.

— Конечно, если тебе нужно, возьми просто так.

— Ни в коем случае. Я все равно собиралась где-нибудь купить сахарину, — солгала Кира. — Или я не подхожу вам в покупатели? Это может принести вам удачу.

— Хорошо, детка.

— Я возьму вот эту — с большими кристалликами. Вот деньги.

Сказав это, она опустила ему в руку монету и бросила себе в карман сахариновый тубик.

— Прощайте, дядя Василий.

— До свидания, Кира.

Она пошла прочь, не оглядываясь, пробираясь сквозь сумерки по серо-белым улицам, над которыми со стен старых домов свисали потускневшие красные знамена. Перейдя через широкую площадь, где мерцающие огни трамваев расплывались в густом тумане, Кира уверенным шагом направилась в сторону обледеневшей вокзальной лестницы.

ГЛАВА XVII

Колеса поезда содрогнулись, затем, уныло щелкнув, замерли и тут же громыхнули снова. Вскоре стук колес напоминал размеренное тиканье часов, отсчитывающих секунды, минуты, километры.

Кира Аргунова сидела на деревянной скамье у окна. Обеими руками, широко растопырив пальцы, она придерживала стоящий у нее на коленях чемодан. Она сидела, откинув голову на спинку скамейки, чувствуя механическую дрожь поезда каждой клеткой своего тела. Веки ее налились свинцом, но глаз она не закрывала; взгляд ее был устремлен в окно. Несколько часов Кира просидела не шелохнувшись. Она уже не чувствовала своих онемевших от неподвижности мышц.

За окном проплывала бесконечная полоса белого снега, изредка прерывающаяся контурами телеграфных столбов; если бы не грохот колес, то можно было подумать, что поезд стоит, а за окном прокручивается киноплёнка с неизменным серо-белым пейзажем. Время от времени на фон белоснежной пустыни выпрыгивала яркая, обрамленная серым размытым ореолом черная проплешина.

Она вспомнила, что последний раз ела очень давно, но сколько часов или дней прошло с тех пор, она с уверенностью не могла определить; забыв про чувство голода, но смутно осознавая необходимость в питании, она все-таки отломилась ломоть от черствой буханки, которую купила на вокзале, и принялась монотонно жевать.

Каждый раз, когда поезд останавливался на какой-нибудь станции, вокруг нее начинали суетиться пробирающиеся к выходу люди, которые через некоторое время возвращались, держа в руках кипящие чайники. Один раз ей всунули в руку кружку, и Кира глотала ее содержимое, обжигая губы о жестяные края.

Телеграфные провода состязались в скорости с поездом; их черные нити встречались и снова расходились, набирая с каждым разом

все большую и большую скорость, превосходящую ту, с которой мчался содрогавшийся состав.

Днем бледная полоска прозрачного серого неба парила над тяжелой заснеженной землей. Ночью же мрачное небо давило на голубоватую ленту снега, лежащую под темной бездной.

Кира спала, положив руки на чемодан и опустив на них голову. Кусочком шнурка она привязала ручку чемодана к своему запястью. Вокруг по вагону то и дело раздавались жалостные стоны о пропаже багажа. Все ее сонное сознание было сосредоточено на драгоценном грузе. И каждый раз, когда при содрогании вагона чемодан слегка соскальзывал с колен, Кира беспокойно просыпалась.

Она ни о чем не думала. Пустота и спокойствие охватывали все ее тело, являвшее собой воплощение воли, которая, подобно напряженной стреле, была направлена в одну цель: во что бы то ни стало пересечь границу. Сейчас для Киры единственным живым существом был ее чемодан. Стук ее сердца сливался со стуком колес.

Однажды Кира поймала неясным взглядом сидевшую напротив нее женщину, прижимающую холодную белую грудь к устам младенца. Еще жили люди, еще существовала жизнь. Кира не была мертва. Она просто ждала своего рождения.

С наступлением темноты Кира часами сидела, уставившись в окно. Она не видела ничего, кроме тусклого отражения отблеска свечи, лавок, дрожащих дощатых стен и тени своей взъерошенной головы. Мир по ту сторону окна отсутствовал. Только где-то далеко за колеями неслась вереница высвечиваемых на земле желтых квадратов окон, сопровождаемая снежным вихрем. Изредка темноту пронзал исходящий из-под небесного купола яркий свет, который неожиданно возрождал к жизни бесконечную синюю пустоту за окном. Вспышка — и все исчезало во мгле, на оконном стекле оставались дощатые стены, свечи и взъерошенная голова.

На некоторых станциях Кира выходила, стояла у окошек касс на продуваемых ветром платформах, ожидала следующего, грохочущего в сумерках поезда, который, появляясь, извергал фейерверк красных искр из трубы черного паровоза.

Затем снова стук колес, новые станции, кассы, другие поезда. Проходили день за днем, ночь за ночью, но Кира этого не замечала. Люди в форменных фуражках, проверяющие билеты, не могли знать, что эта девушка в старом пальто с потрепанным меховым воротником направляется к границе Латвии.

Последняя станция, на которой она уже не покупала билета, была темной маленькой платформой из гнилых деревянных досок, это была последняя станция перед пограничным городком.

Становилось темно. Коричневая колея в снегу уходила вдаль и сливалась там в красное пятно. Несколько сонных бойцов на платформе не обратили на нее никакого внимания. Большая плетеная корзинка с грохотом рухнула на землю, когда здоровые ручки выкинули ее из багажного вагона. У двери вокзала кто-то громко просил кипятку. В окнах вагонов мерцали огоньки.

Она пошла прочь по машинной колее, сжимая свой чемодан.

Она шла, и ее черная худенькая фигура слегка клонилась назад. Она была одна в огромном поле, которое казалось ржавым в отблеске заходящего солнца.

Было уже темно, когда она увидела дома деревни и желтые пятна свечей в низеньких окнах этих домов. Она постучала в какую-то дверь. Дверь открыл мужчина; его волосы и борода были каким-то светлым кустистым клубком, из которого на нее с любопытством смотрели два глаза. Она сунула ему в руку купюру и попыталась объяснить ему все быстрым приглушенным шепотом. Ей не нужно было объяснять слишком долго. Те, кто был в доме, все знали и все понимали.

За деревянной перегородкой, стоя в соломе, где спали, прижавшись друг к другу, две свиньи, она переделась, а те, кто были в доме, сидели у стола так, словно ее и не было; пять светловолосых голов, одна из которых была покрыта косынкой. Деревянные ложки стучали по деревянной посуде на столе, и стук еще одной ложки доносился от кирпичной печки в углу, где над деревянной плоской склонилась, вздыхая, седая голова. На столе стояла свеча, и еще три маленьких язычка пламени плясали перед бронзовым треугольником из икон в углу: маленькие красные отблески на бронзовых нимбах.

Она надела белые валенки и достала свое платье; ее голые руки слегка дрожали, хотя в комнате было тепло и даже душно. Она надела на себя белое свадебное платье, его длинный шлейф шуршал в соломе, одна из свиней приоткрыла глаз. Кира подняла шлейф и тщательно приколола его большими английскими булавами к поясу. Она крепко обвязала волосы белым шарфом и надела свой белый меховой полушубок. Она осторожно потрогала маленький бугорок над ее левой грудью, куда она зашила ассигнации; это было последним и единственным оружием, которое ей понадобится.

Когда она подошла к столу, светловолосый гигант сказал голосом, лишенным всякого выражения:

— Лучше подождать часок, пока луну не закроет. Тучи не очень плотные.

Он подвинулся, давая ей место на лавке. Затем молча и повелительно указал на это место. Она подняла кружевное платье, переступила через скамью и села. Она сняла шубку и, повесив ее себе на руку,

прижала к телу. Две пары женских глаз уставились на ее кружевной воротник, и девочка в голубой косынке прошептала что-то женщине постарше. Ее глаза были испуганными и недоверчивыми.

Мужчина молча поставил перед ней дымящуюся плошку.

— Нет, спасибо, — сказала она. — Я не голодна.

— Ешь, — приказал он. — Тебе это понадобится.

Она послушно стала есть густые щи, приправленные свиным салом.

Мужчина неожиданно прервал тишину. Он сказал, не глядя на нее:

— Почитай всю ночь идти.

Она кивнула.

— Совсем молодая, — сказала женщина с другого конца стола, покачивая головой и вздыхая.

Когда она была готова идти, мужчина открыл дверь, и ветер жалобно завыл в пустой темноте. Мужчина пробормотал в свою светлую бороду:

— Иди, пока сможешь. Когда увидишь пограничников — ползи.

— Спасибо, — сказала она, и дверь закрылась.

* * *

Снег был ей до колен, каждый шаг превратился в падение вперед, так что ей пришлось высоко поднять свое платье, сжав подол в руках. Вокруг нее синева, которая совсем не была синей, скорее некий цвет, которого не существовало в известном ей мире, простирался бесконечно, и ей то казалось, что она стоит одиноко очень высоко над плоским кругом, то казалось, что эта белая синева огромной стеной сомкнулась над ее головой.

Низкое небо было испещрено серыми и черными с голубыми прожилками кляксами, которые не увидишь в дневное время; между облаками тонкими струйками просачивался из ниоткуда тусклый свет. Кира не могла смотреть на все это и опустила глаза.

Света впереди не было; хотя Кира не оглядывалась, она наверняка знала, что огни позади нее уже давно растворились. Теперь в руках у нее ничего не было: чемодан и старую одежду она оставила в деревне; там, впереди, ей ничего не понадобится, кроме небольшого свертка под подкладкой, который она время от времени нащупывала рукой.

Колени Киры пронзала острая боль растянутых сухожилий, как во время восхождения по высокой лестнице. Она с любопытством, как бы извне, наблюдала эту боль. Мороз обжигал ее щеки, вызывая зуд. Время от времени она безуспешно царапала их своими белыми варежками.

Кроме скрипа под ногами, Кира ничего не слышала, она пыталась идти как можно быстрее, стараясь не прислушиваться ко всем оттенкам этого нависшего над нею звука.

Она осознавала, что идет уже на протяжении нескольких часов. Однако здесь не существовало времени. Секунды, минуты, часы отсутствовали: сейчас существовали только шаги, только ноги, вынырывающие из бесконечного снега и снова утопающие в нем. Были ли границы у этой белоснежной пустыни?

Это неважно. Она не должна думать об этом. Она должна думать только о необходимости идти. Идти на запад. В этом заключалась ее единственная задача, объединяющая в себе все. Стоят ли перед ней какие-нибудь вопросы? Если да, то она ответит на них — там. Она не должна об этом думать сейчас. Ей нужно только выбраться. Она будет решать проблемы — там, по мере возникновения. Только бы выбраться отсюда. Только бы выбраться.

Пальцы ее под белыми варежками болели, кости ломило; суставы были как бы сдавлены в тисках. Кира думала, что она, должно быть, замерзла; она смутно попыталась определить, насколько морозна ночь.

Перед ней лежал светящийся снег, озаряющий небесный купол. Там, на горизонте, где земля сходилась с небом, не было ничего, кроме нависшей дымки, и было трудно определить, были ли проплывающие перед лицом Киры облака близко или очень-очень далеко.

Позади у нее ничего не оставалось. Она словно выбиралась из белой, нереальной пустоты. Кира не могла сдать. Ноги все еще ее слушались, что-то внутри ее заставляло их двигаться. Она не сдастся. Она жива, жива, находясь в одиночестве посреди мертвой пустыни. Она еще не умерла, и поэтому ей нужно идти. Она должна выбраться.

Впереди нее взметнулся в облака вихрь снега. Кира увидела над головой светящиеся пылинки. Она вся съежилась, чтобы не быть замеченной.

Кира почувствовала боль в боку, каждый шаг резко отдавался в позвоночнике, и вверх по спине пробегала сильная дрожь. Она нащупала пальцами заветный бугорок под полусубком. Его нельзя потерять. Она должна оберегать этот сверток и свои ноги. Остальное не имеет значения.

Вдруг, увидев дерево, Кира остановилась; посреди снега возвышалась белая пирамида гигантской сосны; Кира затаила дыхание, колени ее подкосились; припав к земле, словно животное, она прислушалась. Все было тихо. Под ветками не раздавалось ни единого шороха. Немного переждав, Кира продолжила путь.

Она уже не чувствовала, идет ли она вперед, или ее ноги топчутся на месте. Белая бесконечность вокруг нее была неизменной. Она походила на муравья, карабкающегося по блестящей поверхности белого полированного стола. Раскинув широко руки, она сразу же почувствовала пространство. Высоко закинув голову, Кира обратила свой взор к небу. Говорят, эти мерцающие точки — целые миры. Неужели для нее нет места во Вселенной? Кто же и с какой целью не дает ей спокойно жить? Ответ на этот вопрос она забыла. Ей нужно выбраться.

Ноги больше не подчинялись ее воле. Они работали подобно колесу, подобно рычагам, сгибаясь, поднимаясь вверх, и резким, отдававшимся в ее черепе движением падали вниз.

Вдруг усталость исчезла; боль прекратилась; Кире стало легко и свободно. Она чувствовала себя хорошо, слишком хорошо; она поверила, что может идти так сквозь годы. Затем резкий приступ боли свел лопатки; Кира вздрогнула; ей показалось, что прошли часы, прежде чем ее застывшая нога, чуть-чуть приподнявшись, прорезая снег, опустилась. Кира снова зашагала. Она, обхватив себя руками, сжалась в комок, пытаясь уменьшить давление на ноги.

Где-то там была граница, которую нужно пересечь. Неожиданно Кире представился ресторан, промелькнувший как-то в одном из кадров какого-то немецкого фильма. На стеклянной вывеске его тонкими никелированными, дерзкими в своей простоте буквами было выведено: «Кафе “Дигги-Дегги”». В стране, которую она покидает, таких вывесок нет. Здесь нет и блестящих, как пол танцевального зала, тротуаров. Кира бессмысленно, не слыша произносимых звуков, повторяла подобно молитве, подобно заклинанию: «Кафе “Дигги-Дегги”... Ка... фе... “Диг... ги... Дег... ги”...» — и пыталась идти в ритме слогов. Теперь Кире не требовалось приказывать своим ногам. Они бежали сами. Ею руководил животный инстинкт, слепо тянувший ее в борьбу за самосохранение.

Шевеля замерзшими губами, она шептала:

— Ты хороший солдат, Кира Аргунова, ты хороший солдат...

* * *

Впереди нее на фоне неба нечетко вздымался голубой снег. Подойдя ближе, Кира увидела в темноте волнообразные контуры холмов. К небу тянулись белые конусы с черными краями веток.

Затем она разглядела темную фигуру, которая двигалась вдоль горизонта, по прямой линии через холмы. Контуры ног человека,

подобно ножницам, сходились и расходились. На плече у него поблескивал штык винтовки.

Кира припала к земле. Она, как бы находясь под наркозом, тупо чувствовала, как снег, попадая в рукава и закатываясь в валенки, облипает оголенные участки тела. Кира лежала неподвижно, сердце ее сильно билось.

Затем, чуть приподняв голову, она медленно поползла. И снова остановилась и замерла, наблюдая за темной фигурой вдалеке, потом снова поползла и снова остановилась, чтобы присмотреться и двинуться дальше.

Рост гражданина Ивана Иванова составлял один метр восемьдесят сантиметров. У него был широкий рот и нос картошкой; когда Иван Иванов над чем-нибудь задумывался, он прищуривался и чесал затылок.

Гражданин Иван Иванов родился в 1900 году в подвале дома, стоящего в одном из закоулков города Витебска. Он был девятым ребенком в семье. В шестилетнем возрасте он поступил в подмастерье к сапожнику, который лупил его кожаными помочами и кормил гречневой кашей. Когда Ивану Иванову исполнилось десять лет, он самостоятельно сшил первую пару туфель и с гордостью носил их, прохаживаясь по улице и скрипя кожей. Это был первый день в его жизни, который он запомнил навсегда.

В возрасте пятнадцати лет он заманил дочку местного бакалейщика в пустой сарай и изнасиловал ее. Она была двенадцатилетней девочкой с плоской, как у мальчика, грудью. После случившегося она принялась жалобно скулить. Иван Иванов заставил ее пообещать, что она будет молчать, и дал ей пятнадцать копеек и фунт леденцов. Это был второй день, который он запомнил.

В шестнадцать лет он первый раз сшил пару военных сапог для настоящего генерала; начистил их до блеска, поплеывая на флаanelевую тряпочку, и лично доставил их заказчику, который похлопал Ивана Иванова по плечу и дал ему рубль на чай. Таков был третий запомнившийся ему день.

Около обувной мастерской постоянно собиралась компания развеселых молодых людей. Они вставали ни свет ни заря и работали не покладая рук, зато вечерами веселились до упаду. На углу улицы располагался кабак, в котором они, обхватив друг друга за плечи, распевали песни. За углом находилось известного рода заведение, маленький иссохший старичок играл там на пианино; фавориткой Ивана была толстая блондинка в розовом кимоно; она была иностранкой, и звали ее Гретхен. Ночи, проведенные с ней, запомнились гражданину Ивану Иванову навсегда.

Он служил в Красной армии; в то время как над головой свистели снаряды, Иван Иванов, сидя в окопе с другими солдатами, делал ставки на устраиваемых ими блошинных бегах.

На войне Ивана Иванова ранило, и врачи сказали, что смертельно. Он лежал в своей палате, безразлично уставившись в потолок.

Иван Иванов выкарабкался и женился «по залету» на грудастой санитарке с розовыми щеками. Своего сына, светловолосого здоровяка, они назвали Иваном. По воскресеньям семейство ходило в церковь и жена готовила лук с жареной бараниной, когда им удавалось достать ее. По субботам жена Ивана, задрав высоко юбку и ползая на коленях, драила деревянный пол их комнаты; раз в месяц она посылала своего мужа в баню. Гражданин Иван Иванов был счастлив.

Когда его перевели в пограничники, жена его, забрав сына, уехала в деревню к родителям.

Гражданин Иван Иванов так и не научился читать.

Гражданин Иван Иванов охранял рубежи Союза Советских Социалистических Республик.

Он медленно брел по снегу с ружьем на плече, согревая дыханием обмороженные пальцы и проклиная холод. Иван Иванов не имел ничего против спуска с холма, но подниматься было тяжело; и вот он, постанывая, карабкался вверх, чтобы занять свой пост; ветер дул ему прямо в лицо; на километры вокруг не было ни одной живой души.

Вдруг гражданин Иван Иванов заметил, что вдалеке что-то движется.

Не будучи до конца уверенным, он уставился в темноту, но в это время ветер поднял над равниной вихри снега, и Иван Иванов подумал, что, скорее всего, он ошибся; однако ему все же опять показалось, что что-то движется.

— Кто идет? — заорал Иван Иванов, складывая руки рупором. Никто не отвечал.

Никакого движения на равнине под холмом не наблюдалось.

— Стой! Стрелять буду! — снова завопил он.

Ответа не последовало.

Он стоял в нерешительности, почесывая шею, вглядываясь в темноту ночи.

На всякий случай, для большей верности вскинул ружье на плечо и выстрелил.

Голубое пламя прорезало темноту, и глухое эхо раскатилось далеко по равнине. Никакого звука или движения в ответ не последовало.

Гражданин Иван Иванов снова почесал шею. «Нужно спуститься и проверить», — подумал он.

Но уклон был слишком крут, снег слишком глубокий, а ветер слишком холоден. Иван Иванов махнул рукой и отвернулся.

— Скорее всего, кролик какой-нибудь, — проворчал он, спускаясь по холму и продолжая свой маршрут.

Кира Аргунова неподвижно лежала на снегу, вытянув вперед руки: только выбившийся из-под шарфа локон волос развеялся на ветру, глазами она следила за темной фигурой часового, исчезающей за холмами.

Застыв, Кира долго лежала, наблюдая за тем, как увеличивается под ней на снегу красное пятно.

— Итак, я ранена. Вот значит, что чувствует раненый человек. Не очень-то и страшно, — размышляла Кира почти вслух.

Она медленно поднялась на колени. Сняв перчатку, Кира запустила руку в полушубок, чтобы проверить, цела ли пачка денег. Она надеялась, что пуля не задела банкноты. Так оно и было. Маленькая дырочка от пули проходила как раз под ними. Пальцы Киры нащупали что-то теплое и липкое.

Было не очень больно. Она чувствовала жжение в боку, но оно причиняло гораздо меньшую боль, чем уставшие ноги. Она попыталась подняться. Качнувшись немного, Кира все же устояла. На полушубке виднелось темное пятно и мех слипся красными теплыми комочками. Рана кровоточила не сильно. Она почувствовала, что по коже ползет всего несколько капелек.

Она может идти. Она будет держать руку на груди, и это остановит кровь. До границы осталось недалеко. Там ей окажут помощь. Ранение не серьезное, и она выживет. Ей нужно идти.

Она сделала несколько шагов вперед и удивилась слабости в коленях. «Конечно, ты ранена, ты немного слаба. Что же тут такого! Пустяки», — шептала про себя Кира, шевеля синееющими губами.

Кира, опустив плечи, волочила по снегу ноги, шатаясь как пьяная. Она видела, как маленькие темные капли время от времени медленно скатывались с кромки кружевного платя. Скоро они прекратились. Кира улыбнулась.

Она не чувствовала боли. Остатки ее сознания ушли в ноги, становившиеся все слабее и слабее. Она должна идти. Она должна выбраться. Она должна выбраться.

— Ты хороший солдат, Кира Аргунова, ты хороший солдат. И сейчас самое время доказать, на что ты способна... Сейчас... Еще одно усилие... Последнее усилие... Все не так-то плохо... Ты можешь... Иди... Пожалуйста, иди... Ты должна вырваться... вырваться... вырваться... вырваться, — шептала про себя Кира, как будто ее голос был живой водой, придающей ей силы.

Она прижала руку к свернутым трубочкой банкнотам. Она ни в коем случае не должна потерять их. Перед глазами у Киры все плыло.

Голова ее поникла. Она наполовину сомкнула ресницы, оставив небольшую щель, чтобы следить за ногами, которым нельзя было останавливаться.

Вдруг, открыв глаза, Кира увидела, что лежит на снегу. Она медленно подняла голову, сясь понять, почему она упала.

«Должно быть, я потеряла сознание», — подумала она в недоумении, поскольку не могла вспомнить, как это произошло.

Прошло много времени, прежде чем она поднялась. На снегу, где она лежала, Кира заметила красное пятно, по которому она поняла, что лежала довольно долго. Она, шатаясь, побрела вперед. Затем остановилась. В ее тусклых глазах медленно проступила какая-то мысль; Кира вернулась и засыпала пятно снегом. Она продолжала идти, смутно размышляя о том, почему это стало так жарко, а снег не тает, в то время как горячий воздух не дает ей дышать, а что было бы, если бы он растаял? Она смогла бы плыть, она хорошо плавала, тогда бы ей не пришлось идти и ноги могли бы отдохнуть.

Кира, шатаясь, пробиралась вперед. Теперь она не знала, в правильном ли направлении идет. Она просто забыла, что ей нужно идти в определенном направлении. Кира только помнила, что ей нужно идти.

Кира не заметила, как холм резко оборвался оврагом. Она упала и кубарем покатила по белому склону.

Сначала она смогла пошевелить только одной рукой, пытаясь смахнуть мокрый снег с лица, губ, замороженных ресниц. Она лежала на дне оврага. Время, которое она затратила на то, чтобы встать, показалось ей вечностью: она подтянула руки, ладонями вниз, прижав локти к телу, развернула ноги и согнула их в коленях, опираясь на напряженные дрожащие локти и тяжело дыша; затем она поднялась чуть выше, перенесла тяжесть тела на одну руку, и, поднявшись, выпрямилась; каждый глоток воздуха больно резал грудь.

Кира сделала несколько шагов. Но у нее не было сил для того, чтобы вскарабкаться по другому склону оврага. Она скатывалась и ползла снова, упиравшись руками и коленями, зарываясь лицом в обжигающий щеки снег.

На вершине холма она снова встала на ноги. Она заметила, что потеряла варежки. Почувствовав в уголках рта что-то теплое, она вытерла губы и посмотрела на пальцы, испачканные розовой пеной.

Кире было очень жарко. Она сорвала с головы белый шарф и бросила его вниз. Поток воздуха, откинувший назад ее волосы, был настоящим облегчением.

Она шла навстречу ветру.

Ей все еще было жарко; она не могла дышать. Она скинула полушубок и, не оборачиваясь, оставила его лежать на снегу.

В небе вихрем проносились голубые, серые и темно-зеленые облака. Впереди нее засияла бледная полоска света, принимающая на фоне снега слегка зеленоватый оттенок.

Кира рванулась вперед, но ее тут же качнуло назад. Смахивая с глаз волосы; дрожа в своем длинном, кружевном, белом, как снег вокруг, платье, она все же, спотыкаясь и пошатываясь, упорно продолжала идти.

Подобранный к поясу шлейф платья распустился; ноги Кире путались в длинных кружевах. Она слепо пробиралась против ветра, развевавшего ее волосы и раскачивавшего ее руки. Кира вытянулась, выставляя вперед грудь; с левой стороны белого атласного платья проступил тоненький ручеек, который сползал на шлейф, окрашивая белые кружева в красный цвет.

Затем ее сухие, спекшиеся от пены губы раскрылись, и она, словно моля о помощи оттуда, из-за границы, тихо и нежно позвала:

— Лео!..

Кира повторяла это имя все громче и громче, без тени отчаяния, как будто это было единственное в мире, что вселяло в нее жизнь:

— Лео!.. Лео!.. Лео!..

Она звала его, того Лео, который мог бы существовать и существовал бы, живи он там, куда она так стремится, — за границей. Он ждет ее там, и она должна идти дальше. Она должна идти. Там, в том мире, по ту сторону границы, ее ждет жизнь, которой она была верна каждый час *своей* жизни, которая является ее единственным гордо реющим знаменем, жизнь, которую она не предала раньше и не предаст сейчас, отказываясь идти, пока в ней есть еще силы, жизнь, которой она может еще служить, двигаясь вперед, шаг за шагом, еще чуть-чуть.

Затем она услышала песню, слабую, еле различимую мелодию, походившую на прощальный боевой марш; но в то же время это была не погребальная песнь, не молитва, не гимн, это была мелодия из старой оперетты, «Песня разбитого бокала».

Короткие нотки дрожали в нерешительности и, вырвавшись, разбегались быстрыми, мелкими волнами, подобно тонкому ясному дребезжанию стекла, нотки прыгали, взрывались и закатывались громким, веселым смехом величайшей радости, доступной человеку.

Кира не осознавала, поет ли она сама, или она просто слышит доносящуюся откуда-то музыку.

Мелодия была обещанием, обещанием на заре ее жизни, и в том, что было обещано, не смогут отказать ей сейчас. Она должна идти.

И хрупкая девушка в разлетающемся платье средневековой монахини с обгаренными кровью кружевными цветами шла вперед.

На рассвете она упала на краю склона. Она лежала не двигаясь, потому что знала, что ей больше не подняться.

Где-то далеко внизу бесконечная снежная равнина тянулась к восходящему солнцу. Над голубой безмерностью искр, сверкающих над тонким покрывалом, разлилось свежее дыхание бледно-розового сияния, напоминавшего гладь призрачного озера с растворенным в его глубинах летним солнцем. Снег в восходе этого жидкого зарева начал оживать, дрожа нежными бликами. Через равнину растянулись голубые тени, которые на границе со светом рассыпались мелкими огоньками.

Посреди равнины одиноко стояло маленькое деревцо. Хрупкие редкие веточки его не удерживали снега. В напряженном ожидании будущей весны и жизни оно тянулось своими тонкими черными ветками к заре, занимающейся над необъятной землей.

Кира лежала на краю холма и смотрела на небо. Бледная рука ее неподвижно свисала над склоном, и маленькие капли скатывались по снегу вниз.

Кира улыбнулась. Она понимала, что умирает. Но для нее это больше не имело значения. Она узнала то, о чем никто из людей не рассказал бы ей. Она прожила годы в ожидании этой жизни, верила в возможность ее существования, а сейчас почувствовала, что с самого детства она жила ею. Жизнь была, и была только потому, что она, Кира, не сомневалась, что жизнь возможна. В глубине души она слышала беззвучный гимн своей мечте. Момент или вечность — разве это имеет значение? Непобежденная жизнь существует и будет существовать.

Она улыбнулась в последний раз — тому многому, что было так возможно.

КОНЕЦ

Рэнд Айн

МЫ ЖИВЫЕ

Корректор *О. Ильинская*
Компьютерная верстка *М. Поташкин*

Подписано в печать 08.12.2010. Формат 60×90 1/16.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Объем 30 печ. л. Тираж 3000 экз. Заказ № .

ООО «Альпина»
123007, Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 5, стр. 1
Тел. (495) 980-53-54
e-mail: info@alpinabook.ru
www.alpinabook.ru

Айн Рэнд (Алиса Розенбаум) — наша бывшая соотечественница, крупнейшая американская писательница, создатель философии объективизма, основанного на принципах разумного эгоизма и индивидуализма. Яростный пропагандист идей капитализма, свободы личности, ограничения роли государства. Влияние ее творчества, особенно бестселлеров «Источник» и «Атлант расправил плечи», столь велико, что в США несколько организаций занимаются исключительно изучением ее творчества и пропагандой взглядов.

Философия Айн Рэнд сформировалась во многом под воздействием событий русской истории начала XX века. «Мы живые» — первый роман Айн Рэнд. В нем рассказывается о трагических событиях 1920-х годов в СССР.

ISBN 978-5-9614-1513-1



9 785961 415131

альпина ПАБЛИШЕРЗ

заказ книг [495] 980-80-77
и на сайте www.alpinabook.ru

Подарки покупателям!

ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП — БЕСПЛАТНО!

Нужные
книги
здесь
и сейчас!

ДЕЛОВАЯ
ОНЛАЙН
БИБЛИОТЕКА

www.lib.alpinabook.ru